

ДЕНИС ДАВЫДОВ



Теннадий
Серебряков



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

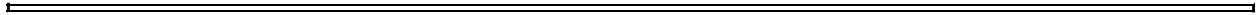
Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой Отечественной войны 1812 года, верный последователь суворовских традиций, он был одним из инициаторов партизанского движения в России. Денис Давыдов известен и как самобытный поэт, и как автор произведений по истории военного искусства. О жизни «певца-героя», полного мужества и отваги, всегда готового «вновь за родину восстать», и рассказывает автор.

- [Геннадий Серебряков](#)
 -
 -
 -
 - [Благословение](#)
 - [Лик переменчивой фортуны](#)
 - [«Голова и Ноги»](#)
 - [Крещение](#)
 - [Глаза в глаза](#)
 - [Дым салонных баталий](#)
 - [Под инеем севера...](#)
 - [Под зноем юга](#)
 - [«Отступая... Наступать!»](#)
 - [Огненные версты](#)
 - [Малая война](#)
 - [Преследование](#)
 - [На полях Европы](#)
 - [Генерал... по ошибке](#)
 - [Потаенный огонь](#)
 - [Штурм или осада?](#)
 - [Эхо декабрьской грозы](#)
 - [Последняя война](#)
 - [Любовь и слава](#)
 - [Основные даты жизни и творчества Д. В. Давыдова](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -



- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 14

(661)

Геннадий Серебряков

ДЕНИС ДАВЫДОВ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

Рецензент
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института истории СССР
АН СССР *А. В. Семенова*

© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.



Петерс Давыдов



Партизанам 1812 года и народным мстителям Великой Отечественной войны, светлой памяти отца моего, Серебрякова Виктора Алексеевича, начальника штаба Дятьковской партизанской бригады, павшего смертью храбрых на Брянщине, посвящаю.

От редкого Семеновского леса знакомо пахнуло влажной лиственной прелью и грибами.

Денис Давыдов, ехавший вдоль самой опушки так, что ближние ветки мягко шуршали по киверу, почуяв этот тонкий и грустный аромат ранней осени, памятный с самого детства, непроизвольно придержал коня и вдруг почти неожиданно для себя понял, что спешить, собственно, некуда. Отправляться к полку, бывшему в арьергарде Коновницына за Колоцким монастырем, не имело смысла. Надо было где-то здесь, вблизи главной квартиры, дожидаться столь важного для себя решения светлейшего. Князь Багратион обещал всячески поддержать перед Кутузовым просьбу Давыдова о посылке под его командой в неприятельский тыл летучего отряда.

Мысль о сем дерзком военном предприятии владела Денисом давно, чуть ли не с самого начала кампании. Ему памятли были сообщения об успешных действиях испанских гверильяс¹, против которых были бессильны лучшие наполеоновские маршалы. Эти сообщения он всегда читывал с восторгом. Да и собственный кое-какой опыт у Давыдова тоже имелся: во время Северной войны с малым авангардом Кульнева он за год

трижды прошел Финляндию из конца в конец и сам убедился, как страшен был для шведов урон, который они тогда чинили средствам сообщения и тылам неприятельской армии. Тактика, какой они пользовались в ту пору, и была, по сути, самой что ни на есть партизанскою: тайные стремительные рейды и внезапные налеты на шведские гарнизоны и транспорты.

Окончательно утвердился Давыдов в этой сокровенной мысли после разговора с добрым приятелем своим и сотоварищем брата Евдокима по кавалергардскому полку поручиком Михаилом Орловым, который со специальной парламентерской миссией успел дважды побывать у французов и даже встречался с Наполеоном.

Пробыв в общей сложности во вражеском стане около двух недель, лихой и сметливый кавалергардский поручик сумел узнать многое. Сведения, им привезенные и изложенные в «Бюллетене особых известий», были поистине бесценны.

— Ежели б ты видел, какую нужду уже терпит сия хваленая победоносная армия в российских пределах, — рассказывал, поблескивая живыми, чуть навывкате глазами, Михаил Орлов при встрече Давыдову. — Наполеон намеревался в двадцать дней поставить отечество наше на колени. Именно настолько и было взято с собою продовольствия. Ан не вышло!.. Теперь же у них ни хлеба, ни фуража. Местных же припасов хватает лишь тем, кто идет впереди. Да и то с натяжкой, поскольку мужички наши за дело берутся: сами палят амбары да по лесам с вилами-топорами хоронятся. За передовыми французскими корпусами двигается ныне истинно голодная орда, Ксерксовы толпы. Особое бедствие терпит кавалерия, обочины дорог, где мне проезжать доводилось, чуть ли не сплошь завалены трупами павших лошадей да брошенными фурами.

— А сильна ли служба аванпостная? — поинтересовался Денис Давыдов.

— Да таковой, как мне сдается, по тылам ныне и вовсе нет. Француз по натуре своей беспечен, охранение почитает излишним. Его, мол, и так все бояться должны. Ох, казачков наших залетных сотню-другую к ним бы в гости туда, — мечтательно заключил Орлов. — Вот бы страху нагнали, вот бы потешились!..

После этого разговора Давыдов принял окончательное решение просить под свое начало поисковый отряд, с которым намеревался принести пользу отечеству гораздо большую, чем неся службу в составе полка. Где-то за Гжатью, воспользовавшись передышкою в аванпостных сшибках с неприятелем, он написал князю Багратиону письмо и передал его с адъютантом, своим юным двоюродным братом, лейб-гусарским

поручиком, исполнительным и расторопным Базилом Давыдовым, которого сам не так давно настоятельно рекомендовал князю Петру Ивановичу.

И вот вчера, 21. августа², Денис Давыдов был зван к Багратиону в его квартиру, наскоро размещенную в полутемном овине при Колонком монастыре. Разговор состоялся добрый. Князь Петр Иванович, уже извещенный, что отступление наконец-то прекращено и наши войска твердо встают на позиции для генерального, так давно желанного им сражения, был по сему случаю в отличнейшем расположении духа, возбужден, порывист и деятелен. Ответив на приветствие, тут же спросил:

— А сельцо-то Бородино, как мне сказывали, брат Денис, вроде бы твое родное гнездо?

— Да уж куда роднее... Именье батюшки моего! Здесь я, можно сказать, и вырос и ощутил первые порывы сердца к любви и к славе, — с невольною грустью откликнулся Давыдов.

— Понимаю, — голос Багратиона зарокотал мягче, — однако ж и горжусь вместе с тобою, что судьба определила место сие к решающей битве во избавление России от грозного нашествия. Пусть же родные веси твои послужат нетленной ратной славе отечества нашего!..

Соображения Дениса относительно партизанских действий противу французов князь слушал внимательно, чуть прищулив свои огненно-быстрые глаза, как будто вглядываясь куда-то в даль из зыбкого полусумрака монастырского овина. Давыдов же, сразу уловив подлинный интерес славного боевого генерала к его словам, все более воодушевлялся:

— Неприятель идет одним путем, и путь сей протяжением своим вышел из меры; транспорты его жизненного и боевого продовольствия покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее... Что делают толпы казаков при авангарде? Оставляя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить остальное на партии и пустить их в середину каравана, следующего за Наполеоном. Они истребят источник силы и жизни неприятельской армии. Откуда возьмет она заряды и пропитание?.. К тому же обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и обратит войсковую войну в народную...

— А ведь ты дело говоришь, — раздумчиво произнес князь, и брови его столкнулись у резкой поперечной складки на переносье. — Нынче же пойду к светлейшему и изложу ему твои мысли!

Однако Кутузов вчера оказался занятым неотложными делами по диспозиции предстоящего сражения, и разговор с ним князю Петру Ивановичу пришлось перенести на сегодняшний день.

— Мне велено находиться при левом фланге в Семеновской, — кратко

сказал он Давыдову. — Будь неподалеку. Пришлю в случае нужды за тобою адъютанта.

...Так что теперь остается одно: набраться терпения и ждать известия Багратиона о решении светлейшего. Да, видимо, и ехать далее никуда отсюда не надобно — вот оно, Семеновское, рядом, ежели чего, в два скака — и там... Самое время передохнуть малость и кости размять.

Давыдов привычным махом спрыгнул с седла и снял с притороки плотно скатанную черную кавказскую бурку, жалованную в свое время князем Багратионом, и раскинул ее на мягкую шелестящую лиственную россыпь под березами. Коня же, ослабив подпруги, пустил вольно, зная, что, приученный к порядку, он от лежащего хозяина далее чем на два-три шага не отойдет. Потом, с наслаждением вытянувшись и зарывшись в длинный шелковистый мех бурки, стойко пропахший лошадиным потом и бивачной костровой дымной горечью, не спеша набил табаком и раскурил маленькую болгарскую черешневую трубку, которую возил с собою с Дунайского похода. Уставшее тело наливалось зыбкой и сладкой истомой, а к горлу сама собой подкатывала теплая и солоноватая жалостливая волна...

Нет, никогда ранее не думал Денис Давыдов, что ему, боевому офицеру, прошедшему несколько кампаний, доведется вернуться в родимые, столь близкие его душе края вот так — вместе с войною, яростно отбиваясь, но все равно ведя за собою прямо к отцовскому порогу тяжело нависавшего на самые плечи неприятеля. Осознавать эту суровую правду было больно и горько.

Все вокруг было прежним, и все менялось на глазах. Отеческий дом на бородинском взгорке, крепкий и приземистый, с двумя могучими дубовыми колоннами по фронту, с конюшней, каретным сараем и флигелями был занят высокими чинами главной квартиры и окутан бивачным дымом расположившихся поблизости гвардейских егерей Бистрома и елизаветградских гусар. На Курганном холме, хорошо видимом отсюда, где он когда-то мальчиком играл и резвился и с упоением читал известия об итальянских и швейцарских победах Суворова, без усталости трудились пехотинцы и артиллеристы 7-го корпуса под командою его сводного двоюродного брата Николая Раевского, сооружая батарейный редут, которому суждено будет остаться в истории под именем их славного командира... Повсюду — и в Бородине, и в Семеновском, и в Горках — с глухим грохотом и треском рушились крестьянские избы, овины, сараи и курные бани: бревна тут же подавались на строительство флангов, двойных палисадов и других укреплений. Светлый и нарядный лесок впереди кургана, сквозь который он подростком любил проскакивать с лихими

гончими, наотмашь рубили топорами расторопные пионеры, превращая живую красоту в засеку, в неодолимую преграду для вражеской кавалерии...

Уже за вечерело. Белая бородинская Рождественская церковь на холме над низинным заливным лугом, всегда напоминавшая Денису Давыдову летящий корабль, окрасилась неярким закатным багрянцем. А он все лежал с давно погасшею трубкой в руке на остывающей, прохваченной сумеречной сыростью отчей земле и с какой-то отрешенной, почти спокойной ясностью думал о том, что вся его жизнь с самой ранней поры, с которой он себя помнил, вся жизнь с ее радостями и печалью, восторженными порывами и тягостными сомнениями, с ее добром и злом, честолюбивыми мечтами и суровой неприкрашенной явью, может быть, и была дана ему лишь для того, чтобы он в минуту смертельной опасности, нависшей над Россией, отдал ее на общее благо, как отдают ныне свои жизни тысячи других соотечественников. И ничего нет на земле и не будет вовеки превыше этого священного долга.

Обостренное, пронзительное чувство, испытанное и окончательно непреложно понятое им на опушке Семеновского леса, на окраине родимого Бородинского поля, Денис Давыдов сумеет выразить позже как главное и, пожалуй, единственное в ту пору устремление и предназначение своего поколения: «...Под Бородином дело шло о том — быть или не быть России... В эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим политическим существованием, — всей нашей прошедшей славы, всей нашей народной чести, народной гордости, величия имени Русского и всего нашего будущего».

Теперь он знал твердо: как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, какие бы ни уготовила ему испытания, в решающий, даже в самый тяжкий свой час он не посрамит ни этой щедрой и горькой многострадальной земли, ни старинного своего рода, ни крепкой отцовской солдатской веры в его ратные доблести, ни добрых, связанных с ним, большею частью молчаливых надежд матери, которые до сей поры так нечасто сбывались...

Давыдов почувствовал, как снова теплой прозрачной волною накатились воспоминания. Они росли и множились в укрепившемся сердце, раздвигая и время и пространство, легко высветляя даль пройденных годов. Все, к чему он ни обращался мысленно в эти минуты, представало перед ним на удивление живо и явственно, в причудливо переплетающейся, а порою и противоречивой взаимосвязи человеческих характеров и лиц, событий и явлений...

Прикоснувшись к дорогим воспоминаниям, скрасившим напряженное

ожидание, Денис Давыдов, конечно, не ведал, что совсем скоро в сгустившихся синих сумерках исполнительный адъютант Багратиона, любезный двоюродный брат Василий Давыдов, в будущем декабрист, осужденный по первому разряду, горяча коня, поскачет по прилегающей к Семеновскому ближней окрестности, разыскивая и клича его, а потом, найдя наконец на лесной опушке, с радостью сообщит, что князь Петр Иванович срочно требует к себе: смелую идею партизанского поиска светлейший одобрил, пора принимать отряд...

И снова жизнь Дениса Давыдова придет в движение и закружится с неистовой быстротой. Все это скоро будет. А пока же для памяти сердца есть еще какое-то время...

Благословение



Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечастном зрелище солдат и лагеря? А тип всего военного, русского, родного, не был ли тогда Суворов?

Д. Давыдов

Красное поле и синее небо неодолимо влекут вперед.

Даже захватывающий рассказ о баталии с турками дослушать более нет мочи. Денис рывком дергает поводья и, припав к жесткой гриве низкорослого калмыцкого коня, во весь дух мчит по гулкому весеннему простору, густо расшитому маковым цветом. За спиною вихрем взлетают и кружатся сбитые ярим разгоном багряные лепестки, что-то кричит приставленный к нему «дядькою» сотник Донского войска Филипп Михайлович Ежов, но он ничего не слышит и не видит, кроме стремительно накатывающегося под ноги коню зыбкого красного полымя, маков и летящего прямо в лицо вместе с тугим и пахучим цветочным ветром ослепительно синего и звонкого малороссийского неба...

Потом они снова едут рядом, и Филипп Михайлович с добродушной напускной строгостью журит разгоряченного неистойой скачкою Дениса:

— Ить матушка ваша Елена Евдокимовна что наказывала? Гонок, упаси боже, не учинять, езживать потиху, без прыти. Третьего дни братец

ваш молодой Евдоким Васильич падать с седла изволили и нос расшибить, чем родительницу перпужали сильно. Так что нам с вами ее строгость надобно блюсти и сломя голову по полям да яругам никак не скакать... Хотя, с другой стороны, — раздумчиво и уже, видимо, более для себя, чем для воспитанника своего, философски продолжает сотник, — как же дитю, прости господи, кавалерийским аллюром овладеть, с коня не падучи?..

Денис, по обыкновению пропустив мимо ушей назидательное и незлобивое ворчание «дядьки», торопится возвратить его к прерванному рассказу:

— А Суворов что?..

При этом имени Филипп Михайлович разом приосанивается, повыше вскидывает плечи, и на расправленной широкой груди его, затянутой в серый кавказский чекмень, ярко вспыхивает под солнцем так хорошо знакомая Денису золотая Очаковская медаль в форме креста с закругленными концами и двумя четкими надписями: «За службу и храбрость» и «Очаков взят в декабре 1788». В свои пятьдесят лет, дослужившись из простых казаков до сотника, он был участником многих походов и баталий под водительством таких славных полководцев, как Румянцев, Потемкин, Репнин, Салтыков, но из всех любимейшим и наиболее почитаемым для него был и остается генерал-аншеф Суворов.

— А Александра Васильич, наш батюшка, — живо откликается «дядька» на вопрос Дениса, — завидя этакую тьму басурманскую, что на нас прет со свистом да гоготом, не засмутился ни на толику. Шпагою своею сверк. «Богатыри! — кричит весело. — Чем неприятеля больше, тем славнее виктория! Турок, помилуй бог, расшибется о вашу храбрость. Команды слушать и исполнять резво! Колонны, стройся в кареи³. Пушки вовнутрь! Казачки и прочая кавалерия — за фронт! Вам покуда не время... Пальба плутонгами⁴, в ранжире⁵! Стрелять цельно⁶! Начинай... разом! Так, еще раз, еще — славно! Стрелки, расступись! Пушки в дело! Фитили на картечь! Еще, еще, еще!.. Турки в землю, куча мала! Стрелкам — атака, барабанам — бой! Коли, круши, бери в полон! Басурман в ретиреде, кавалерию — в догон!..»

— И тогда... — возбужденный рассказом, восторженно вскрикивает Денис.

— И тады, — столь же разгоряченно вторит ему Ежов, — мы лавою, легкоконные строим. А с ними и батюшка ваш, Василий Денисыч, по той поре эскадронный. Сабли в небо, пики — вперевес. Турки от нас, мы

следом. Они балкою уйти помышляли, а мы на них с высоты-то и пали с двух сторон, да тут уж и вдарили!..

— И что?

— Да ничего, — разом убавляет голос Филипп Михайлович, — так вдарили, прости господи, что ажник мокро стало... — Он вздыхает и мелко крестит темно-русую бороду.

Все суворовские победы Денис уже знает наперечет: и Туртукай, и Кинбурн, и Фокшаны, и Рымник, и Измаил... И не только знает, стараньями «дядьки» своего Филиппа Михайловича Ежова в любом из этих сражений будто сам побывал...

К дому Денис с «дядькою» подъезжают тихо и степенно.

На просторном парадном крыльце, попыхивая трубкой с длинным прямым чубуком, их встречает батюшка Василий Денисович, уже успевший по возвращении из полка переменить полковничий мундир на белую, открытую на груди рубаху. Тут же появляется, шумя платьем, и матушка Елена Евдокимовна, как всегда, аккуратно и тщательно прибранная. Окинув чуть прищуренным взглядом сына и его воспитателя, строгим голосом вопрошает:

— Соблюдался ли мой наказ со спокойствием езживать?

— Ну знамо дело, матушка... Памятовали о сем крепко, как же иначе? Упаси нас, боже, чтоб послушаться, — бодро отвечает Филипп Михайлович и смиренно опускает свои хитроватые глаза.

Удовлетворенная Елена Евдокимовна уходит.

Василий Денисович опытным кавалерийским оком тотчас же подмечает, что бока обеих лошадей в жарких мыльных подпалинах, весело хохочет, и, удостоверившись, что удалившаяся супруга их уже не слышит, заговорщически спрашивает «дядьку», кивая на сына:

— Как в седле держится мой старший при эдакой-то тихой езде?

— Как влитой! — оживленно откликается Ежов. — Одно слово — казак! Суворовец!..

Дома нынче тоже только что и разговоров — о Суворове. Особенно с той поры, как недавним рескриптом государыни Екатерины II он сызнова направлен со шведских пределов на юг и ему препоручены войска «в Екатеринославской губернии, Тавриде и во вновь приобретенной области». Теперь и отцовский Полтавский легкоконный полк, и три прочих кавалерийских, стоящих лагерями по соседству вдоль побережья Днепра, — Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные, командиры которых со своими офицерами бывают у Давыдовых запросто, — подчинены непосредственно генерал-аншефу

Суворову. Новость эту встретили в полках бурной радостью. Служить под его водительством уже почиталось честью.

— Коли граф Суворов корпус наш принял, значит, все будет как надобно! — возбужденно говорил отец, широко улыбаясь и довольно потирая руки.

— А тебе оно, конечно, без пальбы-то скучно, — поджимала тонкие губы матушка. — Все бы тебе в драку. Чай, уж не молоденький. Вон дети-то, — она кивала на смирно сидящих рядом сыновей, — тебя подпирают, что Денис, что Евдокимушка. Почитай, совсем солдаты. В доме-то их и не вижу, все при твоём лагере...

— Да я про то, душа моя, — веселым голосом продолжал отец, — что время-то ныне больно тревожно, вспышливо, аки порох. Доподлинно ведомо: турки в приграничных областях снова вооружаются, а Польша, недовольная разделом, к возмущению готова и зарится на Украину. Так что одна весть о бытии здесь Суворова на все зломыслящие противу нас стороны свое действие возымеет и к вящему утишению событий послужит.

— Эк ты об утишении-то событий печешься, — качала головою матушка. — Что-то я такого за тобою и не упомяну...

— Ну уж, коли граф Александр Васильевич укажет на врага, то мы, конечно, с готовностью, на то она и служба наша, — бодро отвечал отец.

— Так бы и сказывал сразу, что ждешь не дожدهшься от Суворова такого указу. Небось во сне токмо сие и видишь, как семью свою сызнова забросить да на войну податься, где по лихости твоей всякое может статься...

— Ну разве ж это женщина? — в который раз восхищенно вскрикивал Василий Денисович. — Это же сущий обер-прокурор в юбке!..

Губы матушкины оставались по-прежнему чопорно поджатыми, лицо неприступным. А глаза смеялись...

Перепалки да пикировки, наподобие этой, были в доме Давыдовых делом обычным, и дети к ним давно привыкли.

Матушка Елена Евдокимовна и батюшка Василий Денисович являли собою друг другу, пожалуй, полную противоположность. И по внешнему облику, и по характеру.

Давыдов-старший был роста невеликого, приземист, крепок и округл, румян и черноволос и нравом обладал поистине вулканическим — уж ежели чем увлекался, то непременно с неистовой страстью, деятельность его была неумолимою, хотя и не всегда полезною, широта же натуры проявлялась в его необыкновенном радушии и хлебосольстве (всегда жили

открытым домом, и гости не переводились) и в карточной игре, в которой он разом забывал все на свете и обуздывать своих размашистых порывов никогда не мог, чем неоднократно семейство свое приводил в весьма затруднительное положение. При сем он был неизменно весел, почитался в армии известным острословом и завсегда становился душою всякой офицерской компании. Нижние же чины в полку легко прощали своему командиру некую излишнюю шумливую докучливость за его истинную храбрость, прямоту и справедливость.

Елена Евдокимовна превосходила своего супруга ростом на целую голову. Да к тому ж имела обыкновение светлые волосы свои, притененные до модного в ту пору blond cendre⁷, зачесывать и подымать кверху, отчего казалась рядом с ним еще величественнее и выше. Властностью же и строгостью она, должно быть, походила на отца своего генерал-аншефа Щербинина, о котором скорый на колкости Василий Денисович говаривал, что тесть его для собственных войск «завсегда был страшнее любого неприятеля...». Воспитанная в старинных правилах, она чувствами своими владела совершенно и никогда их не выказывала. Хотя в доме ее постоянно и непременно что-то фрисировало⁸, как она выражалась, лицо ее сияло все тою же холодно-спокойною белизною, а голос оставался ровным и тогда, когда она отчитывала дворню либо спорила с мужем. Даже с господом богом Елена Евдокимовна в молитвах своих разговаривала как с ровней, тоном, пожалуй, не столь просительным, сколь назидательным, напоминая ему о делах вполне практических: «Ты уж сподобь, Спаси Мой, дабы маневры ныне устроились, как надобно, а не то, что в прошлый раз, по недогляду твоему, — по сыри да хмари... Да и о чине бригадирском⁹ для моего Василья Денисыча тоже памятуй, оно давно бы пора и полетам его, и по заслугам ратным!...»

За внешнею суровостью и неприступностью ее, как хорошо знали и дети, и сам Василий Денисович, скрывалась душа заботливая и добрая. Потому, несмотря на внешнюю несхожесть разность в характерах, супруги Давыдовы жили если не всегда в согласии, то всегда в любви. Друг без друга они подолгу оставаться не могли.

Поначалу, сразу после женитьбы, широко жили в Москве, в обширной Давыдовской усадьбе по соседству с Пречистенкой, где 16 июля 1784 года у них и родился первенец, названный Денисом в честь деда Дениса Васильевича Давыдова, известного елизаветинского вельможи, водившего короткую дружбу с Ломоносовым. Здесь же через полтора года появился на свет второй сын, который был наречен уже по имени другого деда, по

материнской линии, генерал-аншефа Щербинина — Евдокимом.

Потом загремели по российскому югу затяжные турецкие войны. И Василий Денисович улетел туда, где вились прошитые картечью и закопченные в пороховом дыму знамена Румянцева, Потемкина и Суворова. В первопрестольную он с той поры почти не наезжал, лишь слал горячие, порывистые, тоскующие письма.

Едва выходило с турками замирение, как Елена Евдокимовна тут же снималась с места и, перекрестившись па светлую главу Ивана Великого, вместе с малыми сыновьями, няньками, мамками и прочею челядью уже скакала со строгим лицом, не щадя лошадей, к своему суженому, который все свои регалии и чины от легкоконного корнета до полковника добывал в громовом марсовом огне. Возвращалась в Москву она всегда с неохотою и печалью. А когда Василий Денисович получил под начало Полтавский легкоконный полк, и вообще отрезала мужу:

— Будет!.. Помыкалась я по худым дорогам туда-сюда. Вон ажник высохла вся. И дети в небрежении. Более от тебя никуда не уеду, ты в поход — и я с тобою.

С той поры матушка, как она сама говорила, «несла службу при полку», который в ту пору квартировал в известном в Полтавской губернии селе Грушевка, принадлежавшем ее хорошей московской знакомой княгине Елене Никитичне Вяземской. Полковнику Давыдову с семьею отдан был в полное распоряжение огромный и величественный особняк, выстроенный по соседству с этим селом на живописном днепровском взгорье для императрицы Екатерины II во время ее памятного путешествия в Крымскую область. Как и прочие «путевые дворцы», воздвигнутые по приказу светлейшего князя Потемкина с пышностью и размахом в Малороссии и Тавриде, этот дом сооружался, видимо, на скорую руку и, оставленный после проезда государыни без присмотра, на удивление быстро пришел в запустение и ветхость.

Елена Евдокимовна как могла боролась с этою разрухою. В доме под ее неусыпным надзором постоянно что-то подмазывалось, латалось, красилось, подбивалось, в большой зале и в передних комнатах толкались задумчивые мужички в замурзанный передниках, и стойко пахло вареной олифой, клейстерами и известкою. Отец, добродушно посмеиваясь, не раз говаривал озабоченной матушке, что сим работам, знать, вовек конца не будет...

Кстати, теперь именно эти ремонтные работы, неустанно ведущиеся в доме, его более всего и тревожили в связи со столь вероятным скорым приездом Суворова.

— Граф Александр Васильевич, как мне доподлинно ведомо, уже привел в усмотрение и порядок войска в Херсонской губернии и в Тавриде. Со дня на день к нам припожалует. Как, душа моя, станем гостя-то принимать, ужели вот эдак — среди клея да красок? — робко поинтересовался у жены Василий Денисович.

— То-то я не знаю, как столь славного генерала почтить надобно, — обидчиво поджала тонкие губы Елена Евдокимовна. — Ты уж заботься о том, чтобы полк твой перед графом не осрамился, а по дому я уж и сама, слава богу, управлюсь, как и завсегда, без твоей печали-помощи...

Однако строгость к мастеровому люду она, видимо, проявила сполна: на следующее утро мужички в передниках забежали по комнатам куда как резво и не в пример бойчее замахали своими кистями да мастерками. В два дня все дело было завершено и прибрано до блеску.

А славный Суворов, которого в Грушевке так ждали, а более всех, пожалуй, девятилетний Денис с братом своим Евдокимом, так покуда сюда и не ехал.

Последнее время мальчишки дневали и ночевали в отцовском лагере, отстоявшем от дома не более как в ста шагах. Здесь для них по приказу Василия Денисовича была установлена специальная палатка, точно такая же, как и все прочие, только поменьше.

Однажды ночью, заслышав вокруг какой-то шум, Денис проснулся первым и, как был в длинной белой рубаше, вымахнул наружу. Тут творилось что-то необычное: весь полк уже сидел на конях, палатки сняты, кроме их единственной, детской, в зыбком синем воздухе раскатисто пели кавалерийские трубы, позвякивали шпоры и амуниция, слышались отрывистые и быстрые выкрики офицерских команд. Потом разом дрогнула загудевшая под копытами земля, и полк, взметнувший облако невидимой в ночи и лишь ощутимой на зубах пыли, куда-то умчался. Одно и успел узнать Денис — что из Херсона прибыл Суворов, остановившийся сейчас в десяти верстах отсюда, в Стародубском лагере, куда и затребовал спешно для смотра и маневров прочие кавалерийские полки.

Теплая волна радости захлестнула сердце: Суворов здесь, Суворов по соседству, и уж теперь-то Денис с Евдокимом его непременно увидят.

Уговорить матушку не составило труда, ей и самой не терпелось взглянуть на прославленного генерала. Приказав заложить коляску, Елена Евдокимовна, прихватив сыновей, рано поутру пустилась вслед за полком к Стародубскому лагерю. Но и здесь никого, кроме караульных, не оказалось. Где-то вдалеке, за покатыми холмами, клубились и грохотали идущие

полным ходом маневры.

Лишь к полудню появились у лагеря первые усталые эскадроны. Прибыл и отец со своими офицерами, все запыленные и утомленные, но еще возбужденные только что завершенной экзерцицией¹⁰. Имя Суворова у них не сходило с уст. Однако в этот день Денис с Евдокимом своего кумира так и не увидели.

С рассветом войска снова выступили из лагеря для продолжения маневров. Елена Евдокимовна с сыновьями устремилась за ними в коляске. В ту же сторону двигалось множество народу: и в легких бричках, и в тяжелых каретах, и пешком. Глянуть бы глазом на столь известного полководца жаждали все — и местные помещики, и торговцы, и провинциальные барышни, и дворовые.

Сневысокого косогора, поросшего диким вишняком, где толпился любопытный люд, только было и видно, как вдали в клубах желтоватой пыли в глухом неумолчном гуле перекатывались, то сшибаясь, то расходясь врозь, конные лавы.

Сколь ни напрягали зрение Денис с Евдокимом, более ничего им рассмотреть не удавалось. Матушка велела поворотить коляску к лагерю, сказав сыновьям в утешение, что там ныне его повстречать куда надежнее.

Так оно и случилось. Едва они возвратились и разместились в отцовской палатке, как слышали снаружи приближающийся шум и крики. Денис с Евдокимом проворно выбежали на волю и саженьях в ста увидели группу офицеров, скачущих к лагерю, среди которых они сразу же узнали округлую и плотную фигуру отца. Во главе же группы на так хорошо знакомом саврасом калмыцком коне, на котором постоянно езживал Денис, стремительно мчался Суворов — в белой распахнутой рубашке, в узких белых же полотняных штанах. Никаких лент и орденов на нем не было.

Этот момент первой встречи с великим полководцем навсегда запечатлется в сердце и памяти Дениса. Яркое, как солнечная вспышка, ощущение безудержного душевного порыва, испытываемое им сейчас, он сможет потом, даже через много лет, пережив неоднократно заново, передать с исчерпывающей полнотою в своих записках: «Я помню, что сердце мое упало, — как после упало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг...»

Разом и навсегда отпечатается в его памяти и прямая, быстрая, сухоощавая фигура Суворова, и его изрезанное резкими морщинами обветренное и загорелое лицо, живое, открытое, с быстро меняющимся выражением, чего впоследствии он так и не сможет разглядеть в виденных им многочисленных живописных и скульптурных портретах славного

полководца, за исключением разве что его посмертного бюста, отлитого и отчеканенного мастером Василием Можаловым «под смотрением профессора Гишара» в 1801 году...

Разогнав саврасого коня, Суворов чуть было не проскочил мимо, направляясь к своей командирской палатке, и тут, на счастье для ребят, позади послышался голос его бессменного ординарца казачьего вахмистра Тищенко:

— Граф! Что вы так скачете, посмотрите — вот дети Василья Денисовича!..

— Где они? Где они? — живо откликнулся Суворов и тут же, заметив мальчиков, остановился.

Подсказали и прочие офицеры и адъютанты, с которыми был и отец.

— Гляди-ко, какие молодцы у тебя, Василий Денисович, — кивнул ему Суворов с улыбкою. — Помилуй бог, молодцы!..

Узнав имена ребят, он подозвал их поближе и уже с серьезным видом благословил каждого.

— Любишь ли ты солдат, друг мой? — быстро спросил у Дениса.

— Я люблю графа Суворова, — со всею пылкостью и непосредственностью воскликнул он, — в нем все — и солдаты, и победа, и слава!

— О, помилуй бог, какой удалой! — сказал Суворов с радостным удивленьем. И тут же добавил: — Это будет не иначе как военный человек; помяните меня, я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот, — он испытующим проворным взглядом окинул более толстого и медлительного Евдокима, — пойдет по гражданской службе.

После этого Суворов поскакал к своей палатке, а за ним и все офицеры, которых перед тем генерал-аншеф пригласил к себе на обед.

К вечеру отец возвратился от Суворова и, сияя улыбкою, объявил матушке, что граф Александр Васильевич сам возжелал завтра после маневров непременно побывать в давыдовском доме и отобедать чем господь пошлет, вместе с семейством полковника и теми офицерами, которых он соизволит пригласить.

Лицо матушки слегка порозовело, а тонкие брови вскинулись кверху, что было у нее признаком крайнего волнения.

— Чем потчевать дорогого гостя, ума не приложу, — с неподдельною тревогой вздохнула она, — ныне на дворе-то, как на грех, неделя петровского поста...

— Да уж ты постарайся, голубушка, — с мольбою воскликнул. Василий Денисович, — всю округу всполоши, но уж рыбки раздобудь

получше да покрупнее и всего там прочего, что к постному дню годится... Опять же прикажи, душа моя, зеркала камкою либо кисеей призавесить, граф, как сказывали, их вовсе терпеть не может. Да еще чтоб никто из домашних в черном платье к представленью-то не выходил, сей цвет для него тоже весьма не любезен.

Елена Евдокимовна сразу же после сего разговора, захватив с собою сыновей, помчалась в коляске во весь дух в Грушевку, и на лице ее была ясно обозначена суровая аскетическая отрешенность и готовность к самопожертвованию.

К назначенному часу все, однако, было готово...

В большой зале, обращенной в столовую, накрыли длинный стол на двадцать два прибора без малейших украшений посредине, без ваз с фруктами и вареньями, без фарфоровых кукол, столь тогда распространенных, — всего этого Суворов, как известно было, не любил. Даже суповых чаш не поставили, поскольку граф опять же предпочитал кушанье прямо с кухонного огня, без лишнего разлива, поскольку походную похлебку привык есть кипящую, прямиком из бивачного костра.

Первыми в дом, хоть и скакали из разных мест, прибыли Василий Денисович и Суворов. Оба на сей раз были покрыты пылью настолько, что черты лица у того и другого угадывались с трудом.

— Веди меня, полковник, поживее на обмывку, — приговаривал Суворов, следуя за отцом, — а то, помилуй бог, эдаким видом всех твоих домашних перепугаю...

Вскоро один за другим начали подъезжать и другие приглашенные к обеду офицеры. Все они, включая и отца, успевшего привести себя в порядок, были при полном параде, со всеми регалиями и в шарфах. А Суворов все из отведенной ему туалетной комнаты не выходил. Для Дениса это время ожидания тянулось нескончаемо долго.

Потом наконец заветная дверь распахнулась, и граф Александр Васильевич спорым, легким шагом вышел из мягкого полусумрака своего убежища к резкому и праздничному свету большой залы. Он весь сиял прямо-таки младенческой крещенской чистотой и опрятностью. На сей раз на нем был легкоконный мундир полного генерала, темно-синий с красным воротником и отворотами, шитый серебром и сияющий тремя алмазными звездами. Белый летний жилет его пересекала радужная лента Святого Георгия первого класса. На ногах блестящие глянец ботфорты, на бедре шпага со старинным витым эфесом. Его белые, чуть тронутые желтизной волосы еще были влажны и кудрявились на лбу более обыкновенного.

Отец вышел навстречу, чтобы представить свое семейство.

Елену Евдокимовну Суворов ласково поцеловал в обе щеки и помянул добрым словом покойного ее батюшку генерал-аншефа Щербинина.

Переведя же взгляд на сыновей полковника, улыбнулся.

— А это мои знакомые!

И снова благословил обоих и дал поцеловать руку. И опять, кивнув на Дениса, убежденно повторил:

— Этот по всем статьям будет военным. Я еще не умру, а он выиграет три сражения.

И закуски, и обеденные блюда Суворову, видимо, пришлись по вкусу. Он ел с аппетитом, подхваливая каждое кушанье. Матушкины глаза влажнели от удовольствия.

Лишних, а тем более деловых разговоров за столом генерал-аншеф не любил, а потому обед проходил в чинной тишине и спокойствии. Лишь после того как трапеза завершилась, Суворов снова оживился и первый же завязал непринужденный разговор. Прежде всего начал хвалить калмыцкого саврасого коня, предоставленного ему на эти дни полковником Давыдовым. Лошадь подобной же редкой силы и резвости, по его рассказу, попадалась ему лишь раз, в сражении при Козлуджей.

Денис был рад несказанно: саврасым, на котором он вихрем гонял по маковым полям и низинным лугам, восторгался сам Суворов!

Через некоторое время генерал-аншеф простился с гостеприимным Давыдовским домом и в коляске уехал в лагерь, где перед отъездом в Херсон издал лаконичный приказ по результатам кавалерийских маневров с оценкою выучки и действия легкоконных, конно-егерей и карабинеров: «Первый полк отличный, второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится».

У Давыдовых этот приказ отозвался всеобщим удовлетворением: отец был счастлив, матушка Елена Евдокимовна творила благодарственную молитву господу, а Денис с Евдокимом преисполнились великой гордости, ибо под номером первым, как все ведали, в этих учениях значился Полтавский легкоконный полк...

После отбытия графа Александра Васильевича на перекладных к своей главной квартире Василий Денисович забрал себе на память его оставшуюся в лагере легкую и простую курьерскую тележку, на которой он сюда перед тем приехал. Этой тележке, заботливо хранимой отцом многие годы и в Малороссии, и в Москве, и в их подмосковном сельце Бородине, суждено будет сгореть вместе со всею усадьбою во время знаменитого Бородинского сражения...

Никакой иной доли для себя, кроме той, которую предназначал ему великий Суворов, маленький Денис и не желал, и не представлял. Он крепко и окончательно уверовал в то, что непременно станет военным. Горячее и пылкое воображение отчетливо рисовало ему яростные баталии и лихие кавалерийские сшибки.

Лик переменчивой фортуны



*Давно ль? — и сладкий сон исчез!
И гимны наши — голос муки,
И дни восторгов — дни разлуки!
Вотще возносим к небу руки,
Пощады нет нам от небес!*

Кн. П. А. Вяземский

Шестого ноября 1796 года, тусклым и знобливым осенним днем-нерассветаем, неожиданно для всех, так и не приходя в сознание после апоплексического удара, почил в бозе императрица Екатерина II. Еще накануне на проходившем у нее малом эрмитаже¹¹ была она, по своему обыкновению, и здорова, и галантна, и весела, как всегда, подтрунивала над записным дворцовым острословом Львом Александровичем Нарышкиным...

В Петербург, будто в неприятельский город, хмуро и недоверчиво вступили гатчинские войска дождавшегося наконец своего часа Павла Петровича. Крутой нрав, жестокосердие и неистовое сумасбродство его были хорошо всем ведомы. И двор, и высшие вельможи и чины пребывали в великом смятении и панике: что-то теперь будет, что станется?..

Хорошо памятуя завет своего кумира прусского короля Фридриха II о

том, что подданных надобно брать в руки не медля, не давая им для раздумья ни часу, наследник-цесаревич, стуча по навоощенным паркетам толстою суковатою тростью, когда утонувшее в душных пуховиках тело матери еще не успело окончательно застыть, повлек за собою перепуганную и оглушенную печальным известием сановную толпу в дворцовую церковь и привел ее к присяге после зачитания спешно написанного разворотливым генерал-прокурором графом Самойловым манифеста о кончине Екатерины и вступлении на престол Павла I...

Павел I рассудил, что до него дисциплины и порядка не было у российских подданных ни в чем — ни в службе, ни в нравственности, ни в одежде. Его борьба с всеохватным общественным разгильдяйством началась с того, что посланные по его приказу по петербургским улицам и прешпектам полицейские и драгуны начали отлавливать среди бела дня близ гостиных рядов, модных магазинов и лавок праздных обывателей самого разного звания и сурово вопрошать о том, почему сей люд болтается без дела. Тех, кто пытался что-либо перечить, без разговору волокли на съезжую «для выяснения». Особливо доставалось всяческим модникам и франтам: с них либо прямо на улице, принародно, либо в участке срывали круглые французские шляпы, безжалостно срезали почитаемые Павлом Петровичем яковинскими отложные воротники, в клочья полосовали жилеты и спарывали с сапог отвороты, в которых император тоже усматривал явные признаки вольнодумства.

Для наглядной видимости порядка по всей северной столице спешно устанавливались полосатые будки, а у многочисленных мостов — такие же шлагбаумы, глянцево крашенные на прусский образец бело-черно-красною краскою.

Громко заговорил Павел Петрович и о необходимом пресечении столь распространенного в империи мздоимства и других злоупотреблений. С этою целью по многим казенным местам назначались разного рода ревизии, инспекции и проверки. Строжайше запрещено было использовать нижних военных чинов, а заодно и статскую канцелярскую мелочь в услужении по домам, дачам и деревням государственных мужей и сановников. Кроме того, государь назначил два дня в неделю, в которые всякий подданный без различия своего положения и звания мог явиться прямо к нему с просьбой или жалобой. Правда, заслышав про такое нововведение, потянулись было к нему мужики с обидами на помещиков, но после того, как первые же из них за свои челобитные по царскому слову были нещадно выпороты на Сенной площади, охотников на жалбу и прошения более не находилось.

Нешадная борьба за дисциплину и порядок повелась и в армии. Первыми тяжелую и жесткую императорскую длань ощутили на себе столичные гвардейские офицеры, привычно щеголявшие до сей поры в модных французских фраках и бальных башмаках, а в мундиры облачавшиеся лишь изредка, поскольку долгим пребыванием в полках себя не обременяли. Теперь же они принуждены были неотлучно торчать в казармах и потеть на плацу, где свирепые гатчинские унтеры обучали их прусскому гусиному шагу и ружейным артикулам наравне с новобранцами. Даже своей нарядной тонкотканой светло-зеленой формы гвардия была отныне лишена, ей были предписаны темно-зеленые общевойсковые мундиры из толстого сукна. Обязательны были теперь и все те же прусские букли обочь висков, дурацкие косички, навораченные на жесткую гнутую проволоку и украшенные серебряным галуном и большою черною петлицею шляпы такого несуразного покрою, что они сваливались с головы при маршировке...

О «золотом веке» Екатерины, сладкогласно воспетом Державиным, Капнистом и Дмитриевым, теперь никто не поминал. Новое же царствование теперь официально именовалось «Возрождением».

Вести о петербургских переменах очень скоро достигли и Грушевки, где по-прежнему стоял на расквартировке Полтавский легкоконный полк Василия Денисовича Давыдова. Первым привез их сюда бывший в столице в отпуску добрый знакомый отца секунд-майор Иван Афанасьевич Шпербер, успевший там каким-то образом сцепиться с пьяным гатчинским драгунским ротмистром и его приятелями и во избежание скандала поспешивший уехать к своему полку до срока.

— Веришь ли, Василий Денисович, — возбужденно рассказывал он отцу, — злы, аки волки, весь Петербург во страхе держат. Ранее над ними подсмеивались, за то они и мстят люто всему белу свету, властью-то заручившись. Кто в доброе время в гатчинцы шел? Известное дело кто — неучи, да голодранцы, да пьяницы. Окромя фрунту, они ничего не ведают и ведать не желают. А государь их с гвардиею уравниал, чин в чин, чего доселе и не бывало. Полковником гвардии, как ты знаешь, лишь сама матушка императрица числилась. А теперь таких-то полковников объявилось разом как собак нерезаных. Одним словом, ни фамилии старинные добрые ныне не в чести, ни заслуги воинские, на ратном поле добытые. Ежели и у нас все тем же порядком пойдет, Василий Денисыч, то не вижу другого спасения от эдакого сраму, как чин свой положить, да в деревню...

— Ну что ж, — неопределенно вздыхал посерьезневший полковник Давыдов, — поживем — увидим...

Поначалу, однако, для Василия Денисовича новое царствование сверкнуло улыбкою фортуны. В то время как многие боевые офицеры лишались по малейшему поводу, а то и без повода должностей и званий либо отправлялись в ссылку вместе со своими частями, командир Полтавского легкоконного полка был зван в Петербург для получения так давножданного им бригадирского чина. В столице среди других вновь произведенных он был принят самим Павлом Петровичем, а потом представлялся императрице Марии Федоровне. Однако возвратился он домой без особой радости, к которой ранее так был всегда склонен, а каким-то молчаливым и, должно быть, удрученным.

— Да что это с тобою, Василий Денисович, — сразу что-то почуяв сердцем, встревожилась Елена Евдокимовна, — ты как будто и не счастлив вовсе высочайшею-то милостью?

— Я-то, матушка, бригадирством жалован, — отвечивал срывающимся голосом отец, — а вот братья мои единокровные уже в немилости. Владимир Денисович из Петербурга выслан. Лев Денисович еще там, но от службы отставлен, и пасынок его Николай Раевский, как он мне сказывал, будто бы тоже уже не у дел... Да и о графе Александре Васильевиче государь в разговоре со мною изволил помянуть без одобрения. Чует моя душа, что и на фельдмаршала он свой гнев обратит.

— Ужели столь громкая слава Суворова тому преградой не послужит? — задумчиво спросила матушка.

— Ныне всего ждать можно. Знаешь, какие слова Карамзина в Петербурге мне слыхивать довелось о нашем времени? Будто бы так он сказал: «Награда утратила прелесть, а наказание — сопряженный с ним стыд». Как ни прикинь, а горькая правда в сих словах есть. И никуда от нее не денешься...

Отец будто в воду глядел, говоря о неблагоприятном положении Павла I к Суворову.

Славный боевой фельдмаршал, размещавшийся со своею главною квартирою в эту пору в селе Тимановка близ Тульчина, отнюдь не спешил безоглядно вводить в своих войсках настойчиво внедряемые, вернее, вбиваемые в армию новым императором прусские порядки. Он усматривал в этом поправление русского национального достоинства, а заодно и умаление собственных полководческих заслуг.

— Мне ли перенимать прусские ухватки да протухлую тактику покойного короля Фридриха? — с гневной горячностью вопрошал Суворов.

— Я в отличие от сего великого монарха, помилуй бог, баталий не проигрывал... Русские прусских всегда бивали!

О введении же крайне стеснительной и несуразной чужеземной формы, неудобной даже для полевых экзерциций, не то что для боя, выразился еще более резким афоризмом, сразу же разлетевшимся по всей армии:

— Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак!

Стараньями доброхотов суворовские слова были донесены Павлу I, который с побелевшими от бешенства глазами приказал впредь докладывать ему немедля о любых своеволиях и служебных промашках фельдмаршала. Промашки тут же были найдены, правда весьма незначительные. Но тем не менее покорителю Измаила и Варшавы в течение краткого времени дважды с объявлением по всем войскам было высказано высочайшее монаршее неудовольствие. Поняв, что обухом палку не перешибешь, Суворов написал прошение об отставке. Но оказалось, что император уже опередил его: 6 февраля 1797 года, когда граф Александр Васильевич еще только обдумывал, как ему написать сию просьбу, Павел I при разводе отдал приказ: «Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы». Наушники оказались куда проворнее даже официальных бумаг.

Весть об увольнении его любимейшего героя и прославленного полководца полностью — от службы «без ношения мундира» — глубоко и больно резанула по сердцу Дениса Давыдова. Ему доходил уже тринадцатый год, и он, выросший в военном лагере и с жарким вниманием всегда повивший разговоры офицеров и солдат, уже многое, может быть, ранее своих иных сверстников понимал, а еще более — стремился постичь и осмыслить.

Беда, нечаянная и негаданная, пала на давыдовский дом, словно гроза поднебесная. Сначала слепящею молнией хлестнула с размаху совершенно невероятная весть о том, что любимые племянники Василия Денисовича, отмеченные Суворовым в польском походе, полковник Александр Каховский и бомбардирский капитан Алексей Ермолов взяты под стражу в своих смоленских имениях со страшным обвинением в злоумыслии противу особы государя и будто бы с лишением чинов и дворянства заточены в крепость. Потом ударил и яростный гром: в Полтавском полку объявилась ревизия, причем не бригадная и не корпусная, а прямоком из

Петербурга, с особыми ордерами и полномочьями. И это несмотря на то, что с прежней проверки полковой казны, имущества и припасов, проведенной строго, взыскательно и по всей форме Тульчинской военной инспекцией и никаких злоупотреблений не обнаружившей, прошло менее полугода.

Ревизорская команда развила бурную деятельность, перевернула все архивы, долго и зловеще шуршала бумагами, в которых Василий Денисович всегда был не очень сведущ, а потом объявила о великой недостатке казенных средств. На полкового командира был составлен начет более чем в 100 тысяч рублей — сумма по тем временам баснословная. На все имения бригадира Давыдова налагался арест, а сам он отстранялся от должности и в случае неуплаты в определенный срок числящихся за ним долговых денег отдавался под суд.

Столь страшная по своей внезапности и последствиям беда не отвратила от Василия Денисовича друзей. Полковники и бригадиры соседних кавалерийских полков, Доподлинно зная бескорыстие Давыдова и его всегдашнюю строгость в отношении казенных финансов, утешали и успокаивали своего доброго приятеля и давнего сослуживца как могли.

— Эти крючкотворы гатчинские, — говорили они, — как захотят, так дело и обернут. Много ли мы в канцелярской волоките смыслим — любого коснись... Вон ведь и на графа Суворова ныне сии бумажные коршуны налетели. По кляузе прощелыги Вронского судное дело учинили и по одному польскому походу произвели начет на фельдмаршала в полмиллиона.

Друзья-приятели в один голос советовали Давыдову ехать в Петербург и искать защиты у государя. Василий Денисович горячился и тоже твердил, что сумеет доказать перед Павлом Петровичем тайный умысел ревизоров, дабы опорочить его, боевого командира, и разорить.

Однако матушка Елена Евдокимовна и острым своим умом, и женским чутьем угадала, что эта скандальная история произошла уж никак неспроста.

— Это какую ж правду ты сыскать, друг мой сердешный, замыслил в пору, когда племянники твои к заговорщикам причислены да в темницы упрятаны? Али не понимаешь, что и на тебя гонение по сему же делу произведено?

Отец, понимая, что старшие сыновья уже многое разумеют, счел своим долгом с ними объясниться.

— Видя в вас надежду свою и опору и льстя себя верою, что поймете меня, — обратился он к ним с мягкой грустью в голосе, — скажу вам одно:

перед совестью и перед вами я чист. Ежели есть моя вина в сем прискорбном происшествии, то проистекает она единственно от недогляда за полковою отчетностью и обыкновения моего целиком полагаться в бумажных делах на писарей да интендантов. Своекорыстия же моего не ведаю. О сем вы знать и помнить должны, дабы славную фамилию Давыдовых носить и впредь с подобающей гордостью и честью.

Эти отцовские слова Денис с Евдокимом запомнили крепко.

Многое в сей истории оставалось для Дениса неясным, тем более что никаких подробностей об аресте «смоленских заговорщиков» родители тогда, видимо, не знали или из великой и нелишней в ту пору предосторожности не хотели говорить сыновьям.

Лишь позднее, уже будучи кавалергардом, Денис узнает от бывшего «главою заговора» своего двоюродного брата Александра Михайловича Каховского, наказанного с великою строгостью лишением чинов, дворянства и навечным заточением в Динамюндскую крепость и помилованного лишь со смертью Павла I, что группа офицеров под его водительством имела намерение освободить из новгородской ссылки Суворова, а потом, подняв войска именем опального фельдмаршала, сделать попытку к перемене правления в России по подобию французского. Однако организация их, хотя и была обширною и простиралась, как отмечалось на следствии, «от Калуги до литовской границы и от Орла до Петербурга», оказалась то ли по доносу, то ли по чьей-либо неосмотрительности вскорости раскрытою. Сам Александр Михайлович угодил в крепостной каземат, а остальные из более чем 30 арестованных офицеров приговорены были к поселению со строгим военным и полицейским надзором. Двоюродный братец Алексей Ермолов отправился под охраною в Костромскую губернию и вызволен был оттуда лишь при воцарении Александра I.

Причиною же гонения на отца Дениса, как предполагал Александр Михайлович, очень сожалевший об участи своего дяди, видимо, послужили слова из признания арестованного по делу «смоленского заговора» капитана Кряжева, фигурировавшие потом и в обвинительном акте Каховского. Под напором рьяно проводившего следствие свирепого генерала Линденера дрогнувший духом капитан показал, что «означенный Каховский», задумав военное возмущение, прежде всего «хотел ехать в Полтаву, где дядя его, Давыдов, стоял с легкоконным полком и, если б он с полком своим не пошел к Суворову, сам бы принял полк и с ним пошел».

Этих слов, где причастность бригадира Василия Денисовича Давыдова к заговору отнюдь не доказывалась, а лишь подразумевалась, как с горечью

поймет Денис, вполне оказалось достаточно для того, чтобы учинить над отцом и безо всякого ареста суровую расправу — опорочить, лишить службы и в конце концов разорить...

Распрощавшись с полком, семейство Давыдовых выехало в Москву.

Надобно было спешно улаживать финансовые дела. Одно за другим были проданы наиболее обширные и доходные поместья, доставшиеся Василию Денисовичу по наследству и полученные в приданое за Еленой Евдокимовной. Лишь одну деревеньку Денисовку в Орловской губернии, где прошло его детство, отец оставил за собою. Однако ж вырученных денег на то, чтобы разом покрыть Долговой начет, покуда не хватало. Да и самим как-никак нужно было жить, тем более что с переездом в Белокаменную расходы резко возросли, а на батюшкино жалованье рассчитывать более не приходилось.

Василий Денисович в соответствии с увлекающимся характером своим поначалу занялся денежно-кредитными заботами горячо и рьяно, но вскорости поостыл и стал частенько впадать в уныние. Тут к тому же объявились какие-то его старинные московские приятели, а с ними — шумные трактирные гулянья, вино, цыгане и, конечно, карты. С тайною мыслью разом поправить дела крупным выигрышем отец с былою неистовой страстью кинулся в игру и, конечно, же только усугубил и без того бедственное положение своего семейства.

И невесть чем все это бы кончилось, ежели бы матушка своею железною волею и твердой рукою разом не сотворила сюркуп¹² и не пресекла столь широкого по размаху московского разгула Василия Денисовича.

— Будет! — строго отрезала она. — Ни себя, ни детей пустить по миру я тебе не дам. Да и самому в долговую яму угодить — тоже. Покупай-ка, друг мой сердечный, подмосковную деревню и берись-ка за хозяйство, все польза будет, и от приятелей подальше...

— Вот и славно, — с готовностью ухватился за новую идею Василий Денисович, — надобна нам подмосковная деревня. Что может быть лучше! Я о сельском уединении и скромном уделе земледельца всю жизнь мечтал. Истинно тебе говорю, моя радость, все брошу, удалюсь от бренного мира и буду капусту сажать, как Гораций!

— С одною разницей, — тонкие губы матушки искривила горьковатая усмешка, — что Горацию имение-то жаловано было Меценатом, а тебе деревеньку будет надобно на мои кровные покупать, для чего я уже и бриллианты свои фамильные заложила.

Стараньями и заботами Елены Евдокимовны в казну единовременно было внесено свыше семидесяти тысяч рублей, а на остальные тридцать тысяч отец подписал обязательство выплатить их в рассрочку. Кляузное судное дело тем самым удалось прекратить совершенно.

Приглядели и подмосковную. Более других имений, продававшихся в эту пору своею волею или пускаемых по казенной описи с молотка, родителям понравилось небольшое сельцо Бородино в 11 верстах перед Можайском и в 112 верстах от Москвы, при слиянии речки Войны с рекой Колочью, с небольшим, но добротным барским домом на веселом зеленом взгорке, откуда открывался вид на широкую равнину с живописными холмами, светлыми лесами и перелесками и синеющими вдали строгими контурами мужского Колоцкого монастыря. Глянулось и то, что избы крестьянские здесь казались хоть и небогатыми, но опрятными и мужики вид имели покладистый и незлобивый.

В старину сельцо принадлежало как будто бы думному дьяку Коноплеву, а затем перешло к Петру Тимофеевичу Савелову, бывшему в Можайске воеводою. С его дальними родственниками, делившими наследство, и пришлось Давыдовым иметь дело. Сторговались быстро и оформили купчую.

Денису, приехавшему сюда впервые сразу же после покупки, привыкшему с детства к тучной и благодатной Полтавщине, место это показалось поначалу куда как скромным, ежели не бедным, но чем дольше находился он в Бородине, тем более влюблялся в его спокойную, неброскую, овеванную какой-то тихой и задумчивой прелестью среднерусскую красоту.

Здесь, в Бородине, с весны 1799 года он снова будет следить с тревожным восторгом и упоением за взлетевшей вновь из темнойвойного лесного новгородского небытия и официального забвения на покрытые дымом баталий испуганные европейские небеса стремительной и возгоревшей еще более ярким и славным блеском военной звездой Суворова.

В Европе уже седьмой год грохотала война. Вначале революционная Франция самоотверженно и дерзко отбивалась от наседавших на нее врагов. Потом она окрепла, заматерела и очень скоро сама уже рвала пожирнее куски у других хищников — Англии и Австрии. Бонапарт, рядом блистательных побед отхватив у римского цесаря, как высокопарно именовал себя австрийский император, многие италийские владения, теперь нещадно обирал и грабил их с не меньшею страстью, чем его предшественник и противник...

Захватнические виктории Франции все более тревожили Павла I. Он начинал подумывать о том, чтобы оказать военную помощь англичанам и австрийцам. Вскоре нашелся и благовидный повод: Наполеон высадил свои войска на Мальте, где ныне прозябал некогда известный и могущественный в пору разбойничьих крестовых походов рыцарский державный орден святого Иоанна Иерусалимского. Павел тотчас же порешил худосочных мальтийских рыцарей взять под свою опеку и, приняв сан великого магистра ордена, поспешил начать с Францией войну, которая его душе мнилась не иначе как новым крестовым походом против общеевропейской крамолы.

Венский двор был в полном восторге. Грести итальянский жар он с удовольствием предпочел русскими руками. Более того, австрийский император Франц, кроме русского корпуса Розенберга и Германа, любезно предоставленного ему Павлом I, непременно возжелал, чтобы главнокомандование союзными войсками, действующими в Италии, было препоручено славному Суворову, который, как хорошо было ведомо, за всю свою жизнь не потерпел ни единого поражения.

В серую и унылую новгородскую деревеньку Кончанское, затерянную за песками, за лесами в дальнем безвестии, сломя голову поскакали исполнительные царские адъютанты и привлекли хоть и порастрясенного в спешной дороге, но бодрого и веселого старого фельдмаршала пред светлые государевы очи.

— Веди войну по-своему, как умеешь, — сказал Павел I ему на прощанье.

И Суворов уехал, окрыленный. Он знал, что свою самую главную нравственную викторию над самовластной заносчивостью и венценосным упрямством уже одержал. Все остальное для него было проще.

И загремели на весь потрясенный мир, утверждая гордую бессмертную славу русского оружия, новые суворовские победы...

Их гулкое раскатистое эхо докатывалось и до Бородина.

Денис Давыдов, которому доходил пятнадцатый год, пожалуй, никогда прежде с таким радостным возбуждением и нетерпением не накидывался на московские и петербургские газеты, которые в эту пору важнее всех прочих новостей почитали сообщения с итальянского военного театра. Имя Суворова звучало на все лады, но с неизменным восхищением и восторгом.

Европейскую славу Александра Васильевича поддержал и Павел I. Строки из его именного указа, напечатанные крупными литерами, Денис Давыдов сразу с гордостью вытвердил наизусть: «...отдавать князю Итальянскому, графу Суворову-Рымникскому, даже и в присутствии

государя, все воинские почести, подобно отдаваемым особе его императорского величества».

В благородных порывах Павел Петрович был столь же широк, как и в своем сумасбродстве...

28 октября 1799 года высочайшим указом Александру Васильевичу Суворову было жаловано звание генералиссимуса всех войск Российских...

Вскороги после семейного совета, на котором было принято окончательное решение относительно будущей службы Дениса, Василий Денисович в своем отставном бригадирском мундире при всех регалиях отбыл на почтовых в Петербург хлопотать об устройстве старшего сына. На сем же совете, видимо, приняв во внимание слова. Суворова, которые отец с матушкою почитали чуть ли не пророческими, определили, что Евдокиму надобно идти по статской части, для чего намеревались определить его в Московский архив Иностранной коллегии юнкером. Благо протекция кое-какая для сего имелась.

Отец отсутствовал более трех недель. Домой же вернулся на самое рождество, румяный, радостный, с ворохом перевязанных цветными лентами подарков, и чуть ли не с порога объявил, довольный, что записал Дениса в кавалергарды.

— В кавалергарды? — с сомнением переспросила матушка. — Эк ты хватил, да ведь туда, сказывают, все рослых берут. А наш-то вон, словно шарик катается, — ухмыльнулась она ласково.

— Ничего, к шестнадцати-то годам, когда срок подойдет в полк ехать, глядишь, и подрастет, вытянется. Время-то, слава богу, еще есть, — успокоительно ответил Василий Денисович. — Пока же сынок наш, хотя и к службе приписан, будет числиться в отпуску...

Денис был счастлив совершенно. Он уже воочию видел себя в белоснежном нарядном колете, в сияющей каске и шелковистом белом, тщательно завитом на висках и легко припудренном парике, в каком приезжал недавно в отпуск в Москву старший двоюродный его братец кавалергард-ротмистр Александр Львович Давыдов. До чего же красив и вальяжен был он в сей великолепной форме! Портили несколько его вид, пожалуй, лишь реденькие, должно быть, никак не желавшие расти, неопределенного цвета усы да уже чуток выпиравшее из-под тесного колета мягкое и круглое брюшко, которое выдавало ленивый нрав и гурманские склонности братца, не знавшего счету деньгам.

Так началась для Дениса Давыдова его большая и долгая военная карьера, в которой будет все — и быстрые взлеты, и столь же скорые падения, и честолюбивые мечты, и горькие разочарования.

Все это будет. А пока же порывистой душой Дениса целиком владело известие о том, что его вступление на военную стезю состоялось. В послужном списке, заведенном на него по всей форме в кавалергардском полку, событие это уже было отмечено краткой официальной записью от 22 декабря 1799 года.

Для получения первого офицерского чина в эту пору военное образование было вовсе не обязательно. Считалось, что для сего вполне достаточно начальных сведений по марсовым наукам, получаемым дома, и, конечно, непреременных навыков в верховой езде и фехтовании. Куда важнее считалось обучение премудростям светским — двум-трем иностранным языкам, изысканным непринужденным манерам, музицированию на клавикордах и танцам. Для занятий с детьми дворяне-родители брали в дом по обыкновению иностранцев-гувернеров, а по отдельным предметам еще и приглашали пришлых учителей «по билетам».

Предпочтение, отдаваемое иноземным наставникам и воспитателям, радушно раскрывало двери в дворянские особняки довольно случайному чужестранному люду, жаждавшему поживиться на ниве просвещения в России. Среди учителей и гувернеров тогда нередко обнаруживались бывшие кучера, отставные барабанщики, а то и того хлестче — беглые каторжники либо тронутые умом.

Сам Денис Давыдов о своем домашнем воспитании с ироничною улыбкою так напишет в мистифицированной автобиографии, где будет речь о себе вести в третьем лице: «Но как тогда учили? Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке; тому же учился и Давыдов до 13-летнего возраста. Тут пора было подумать и о будущем: он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаею гончих собак по мхам и болотам — и тем заключил свое воспитание».

От истины все это было очень недалеко.

Чтение, к которому Денис возымел склонность довольно рано, многих и глубоких сведений ему пока тоже не дало, поскольку носило характер случайный и беспорядочный.

Батюшка Василий Денисович однажды решил употребить свое родительское влияние на книжные склонности сына.

— Поищи-ка в кабинете, друг мой, — посоветовал он, — записки Юлия Кесаря о галльской войне, первые части Роленовой истории да мечтания графа де Сакса. Думаю, что сии сочинения тебе впору придутся.

Копаясь в книжных кабинетных завалах, где попадались издания и

вовсе целые либо разрезанные на первых страницах, Денис однажды наткнулся на какой-то трактат, который хотя толковал о предметах малопонятных, политических, но писан был легким и остроумным слогом. Некоторые возникшие у него при чтении вопросы он захотел выяснить у отца и спросил у него за вечерним чаем:

— Батюшка, а что есть свобода и что есть узурпация власти?

— Узурпация власти? — весело поначалу откликнулся Василий Денисович. — Это, должно быть, что-то нашей матушки касаемое... — и лихо засмеялся своей остроте.

Потом, однако же, вдруг насторожился:

— А ты откуда эдаких мудреных слов набрался?

— В книге про сие сказано...

— Это в какой же книге? Неси-ка сюды, да и покажи нам, чтобы мы тоже ведали.

Денис принес из кабинета тонкую, невзрачную с виду книжицу Монтескье, тиснутую на голубоватой грубой бумаге, полистал, водя пальцем по страницам, и тут же внятно и старательно зачел:

— «Если в руках одного и того же лица или учреждения власть законодательная соединена с исполнительной — свободы не существует». А вот далее следует и эта самая «узурпация власти»...

— Да ну? — искренне удивился Василий Денисович. — Вот и читывал я, помнится, сей трактат, однако мест подобных в нем как-то не приметил.

— Вот-вот, — с торжествующей язвительностью поджала губы матушка, — не приметил... А надобно бы примечать! Эдак-то сами в незрелые умы сыновей своих семена сомнения да неверия сеем, а потом диву даемся — откуда, мол, крамольники берутся?

С сего дня кабинет свой отец стал прикрывать, а книги давал лишь по выбору, которые сам до того основательно прочитал и ничего предосудительного в них не нашел. Однако ж такие благонравные или слишком серьезные сочинения все чаще оказывались не по вкусу Денису. Особенно с той поры, когда по переезде семьи в Москву он познакомился с некоторыми воспитанниками благородного пансиона при Московском университете, у которых, как оказалось, было особое литературное общество «Собрание», со своим уставом, ритуалами, библиотекой и даже готовящимся к печати специальным изданием «Утренняя заря», где должны были публиковаться их первые опыты в стихах и прозе.

Ввести Дениса в этот кружок, узнав о некоторой склонности старшего сына бригадира Василия Денисовича Давыдова к увлечению словесностью,

взялся их родственник — богатый вельможа и известный в Белокаменной масон Иван Владимирович Лопухин. (Брат отца, Владимир Денисович Давыдов, был женат на одной из его племянниц — Прасковье Николаевне Лопухиной, которая, в свою очередь, по матери являлась родною теткой графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской... В ту пору, надо сказать, даже дальние родственные связи поддерживались и блюлись строго.) Иван Владимирович (как и брат его, бывший московский губернатор Петр Лопухин) был мартинистом ревностным, по убеждению, и самыми тесными узами — и открытыми и тайными — был связан с известным кружком русского просветителя Николая Ивановича Новикова, вовлеченного в масоны обманом, и не менее известной «Типографической компанией», всеми делами и изрядными капиталами которой, прикрываясь именем все того же Новикова, заправлял, равно как и всеми розенкрейцерскими ложами первопрестольной, негласный агент немецкой масонской «системы строгого наблюдения» ловкий проходимец и авантюрист Иоганн Георг Шварц, коего русские «братья» с почтением именовали Иваном Григорьевичем.

Рьяным помощником Шварца во всех его темных деяньях неизменно был сановный Иван Владимирович Лопухин. Сливший любителем и ценителем искусств и поэзии и покровительствовавший юным литературным талантам в университете, он ловко опутывал липкими орденскими сетями Новикова, яро и непримиримо травил Николая Карамзина, видимо распознавшего зловещую сущность тайного масонского сообщества и нашедшего в себе силу решительно с ним порвать. Про молодого писателя, замыслившего проявить самостоятельность, распускались оскорбительные сплетни и слухи, печатались журнальные пасквилы, ему подкидывались подметные письма с откровенными угрозами расправы. Лопухин не сомневался, что литературную карьеру будущего автора «Истории государства Российского» удастся сломать, как и намерения по борьбе с масонами недавно назначенного Екатериною II нового московского главнокомандующего.

Незадолго до своей кончины, окончательно убедившись, что «мартышки», как она называла масонов, связанные многими тайными нитями со своими заграничными хозяевами, замышляют злоумышление и противу ее особы, государыня императрица повелела произвести следствие над мартинистами. Дело, однако, повелось таким образом, что более всех поплатился лукаво подставленный под удар «братьями» Николай Иванович Новиков, который и был водворен «на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость». Остальные же масоны большого урона не понесли, до поры

затаившись. Тихо отсиделся от высочайшей грозы в своем великолепном имении Саввинском в 30 верстах от Москвы и Иван Владимирович Лопухин. Времени он, впрочем, зря не терял, а, отдавшись литературному вдохновению, сочинял пухлую книгу «О внутренней церкви», в которой под видом стремления к добродетели и самоусовершенствованию подрывал основы патриотизма и нравственности.

С воцарением Павла I, посвященного в члены ордена еще в бытность его наследником-цесаревичем, сторонники масонства приободрились. Свое торжество «вольные каменщики» уже намеревались ознаменовать построением в Петербурге под видом Казанского собора грандиозного и помпезного масонского храма, начертание проекта которого уже было поручено гениальному зодчему Василию Баженову, тоже в свое время «уловленному» в орденские сети.

В первопрестольной по-своему торжествовал Иван Владимирович «со товарищи». Все сколь-нибудь значительные градоправительственные должности переведены были масонам. Еще крепче прежнего взяли «братья» в свои руки и рассадник будущих умов общественных и государственных — Московский университет: директорство над ним было передано старому улыбчивому масону Ивану Петровичу Тургеневу (отцу будущих декабристов), а полное и безраздельное попечительство над благородным пансионом, учрежденным при том же университете в 1797 году, взял на себя верный и преданный семинарист и выкормыш Шварца Антон Антонович Прокопович-Антонский. Преподавание и заведование кафедрами в обоих учебных заведениях отдавалось людям соответственным.

Посему и ездил Иван Владимирович Лопухин и в университетские горницы на Моховую, где тут же при храме наук размещалось в эту пору семейство Тургеневых, и в крашенный желтою краской длинный и приземистый особняк на Тверской (на месте нынешнего Центрального телеграфа), в котором учились и обитали юные благородные пансионеры, ровно в свою вотчину, где его негласные советы и наставления имели великое почтение и силу...

Однако больших масонских надежд Павел I не оправдал. Видимо, почувствовав в масонстве, таящем в себе глухую и страшную антиобщественную силу, опасность для своей короны, он охладел к «братьям». Открытой войны «вольным каменщикам», как его мать Екатерина, он не объявлял, но потворствовать им более не желал, а сверх того понемногу стал чинить всяческие препоны.

Предчувствуя надвигающуюся опасность, Павел I становился все

более подозрительным и желчным, не доверял уже никому, в том числе и супруге своей Марии Федоровне, и спешно возводил в Петербурге для себя внушительное убежище — Михайловский замок, а по сути, настоящую боевую крепость с куртинами, бастионами и глубокими рвами, заполненными водой. Однако даже эта вновь отстроенная и почти неприступная в военном отношении твердыня не спасет его, как известно, от скорой лютой расправы заговорщиков...

Не последнюю скрипку в подготовке цареубийства через своих родственников, приближенных ко двору, и других сановных «братьев» сыграет и величественный московский старец, с довольно свежим, еще розовым и твердым лицом, в снежно-белом, гладком на старинный манер, лишь с одною подвитою волнистою скобкою вокруг головы парике и красною орденскою лентою по-старинному же, шитому по груди и узкому стоячему вороту камзолу — Иван Владимирович Лопухин, который в один из необычайно теплых мартовских дней 1800 года в своей выписной карете¹³, запряженной шестернею цугом, после заезда с визитом в давыдовский дом на Пречистенке, прихватит с собою Дениса и привезет его в благородный пансион для знакомства с юными членами литературного кружка, на заседаниях которого, устраиваемых каждую среду, он так любил бывать на правах «почетного члена, споспешествующего Собранию».

Конечно, в эту пору Денис Давыдов ни о каких масонских кознях, равно как о принадлежности ко многим из них своего вельможного родственного сопровождателя, не имел ни малого понятия. Кое-что он узнает впоследствии от своих близких друзей и двоюродных братьев, кое в чем разберется сам, научившись вдумчиво озирая прошедшее и сопоставлять и анализировать события и факты. Многое для него, вероятно, так и останется тайною. Однако к деятельности «вольных каменщиков», которую он назовет «зловредным немецким бунтом», он всегда будет настроен резко отрицательно. И не случайно, когда его двоюродный брат — известный декабрист Василий Львович Давыдов туманно предложит ему вступить в их тайное общество «по подобию масонов», он решительно откажется.

Представления Ивана Владимировича Лопухина оказалось достаточным, чтобы юные литераторы «Собрания» сразу же радушно приняли в свой круг чуточку смущенного и дичившегося поначалу Дениса. Председательствовал среди своих товарищей миловидный мальчик с тонким, удлинненным, бледным лицом и томным, мечтательным взором, уже признанный среди прочих стихотворец — Василий Жуковский. Он-то и

назвал своих приятелей — толстого и рыхлого Александра Тургенева, угловатого и нервного Семена Родзянко, смугловатых и быстроглазых братьев Кайсаровых, самого младшего, беленького, схожего с херувимом 12-летнего баснописца Ваню Петина и других. Здесь же, в сторонке, рядом с Лопухиным, восседал, рассыпав по плечам темные длинные волосы, с молчаливым аскетическим протодиаконовским ликом и сам директор пансиона Антон Антонович Прокопович-Антонский, прозванный пансионерами «Три Антона».

— Цель «Собрания» нашего, — сказал Денису Жуковский, — исправление сердца, очищение ума и вообще обрабатывание вкуса. На заседаниях своих мы читаем по очереди речи о разных, большею частью нравственных предметах на русском языке, разбираем критически собственные сочинения и переводы, а также знакомимся с образцовыми отечественными сочинениями в стихах и прозе, с выражением чувств и мыслей авторских и с критическим показанием красот их и недостатков. Впрочем, надеюсь, что вы во всем разберетесь сами, ежели будете бывать у нас на дружеских «Собраниях»... Сегодня, к примеру, мы будем вести речь о тех творениях воспитанников пансиона, кои готовятся к напечатанию в первой книжке нашего альманаха «Утренняя заря».

Потом Жуковский произнес нерифмованный монолог «К надежде», в котором провозглашал мысль, что в брэнном и скоротечном мире все тщетно, окромя упования на божественные начала, которые человек призван некою силою отыскать в себе самом.

Лопухин и «Три Антона» благожелательно кивали головами.

Следом Александр Тургенев меланхолично и монотонно зачитал свой прозаический перевод «Песнь на случай открытия синагоги, сочиненную В. Бинком, семнадцатилетним евреем».

Затем свои басни «Осел и Лев на звериной ловле» и «Солнечные часы» несвойственным его виду густым басовитым голосом продекламировал «херувим» Ваня Петин, какие-то стихотворные опыты и переводы читали братья: Кайсаровы и Семен Родзянко...

Но более всего произвело на Дениса впечатление, пожалуй, то, что эти мальчишки, его примерные сверстники по годам, а ежели, взять «херувима» Петина, то и того младше, называют себя «пиитами», «авторами», и впрямь так лихо умеют завить вроде бы привычные словеса, что они разом обретают и особый строй, и звучность, и сладкогласие. Он слушал стихотворные строки своих новых знакомцев и невольно ощущал, как в душе его просыпается какое-то неведомое до сей поры, но, видимо, исподволь томившее его душу стремление самому попытаться выразить

свои мысли и чувства в слове.

Воодушевленный примером сверстников-пансионеров, Денис дома тут же закрылся в своей комнате и попробовал тоже испытать свои силы в сочинительстве. Однако, оставшись наедине с бумагой, он с пугающей тоскою убедился, что все слова и мысли, которые перед тем так лихо вились и роились в его голове, куда-то разом исчезли, а радостное предвкушение чего-то волнующего и необычного, готовое вот-вот раскрыться в первом его творении, сменилось в душе ознобною звенящею пустотою. Сколько он ни черкал бумажные листы и ни грыз перья, ничего не получалось.

Тогда Денис решил обратиться к переводу. Отыскал какую-то французскую пастораль и попробовал изложить ее русскими стихами:

Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
«О, милая овечка! Когда я думала, что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы, по моему сердцу судя,
Я не думала, что другу можно изменить!»

Перечитав несколько раз то, что получилось, с печалью убедился, что слог его тяжел и неповоротлив, а слова бледны и невыразительны.

Впрочем, скорое печальное событие, больно ударившее по сердцу, на какое-то время целиком заслонило от него и новые московские знакомства, и первые стихотворные опыты. Из северной столицы пришла горестная весть о кончине Суворова.

Скорбь, без сомнения, была всенародной. Однако со стороны властей опять творилось что-то непонятное. Официальные сообщения о смерти героя Италии генералиссимуса всех Российских войск были на удивление кратки и сухи, а потом и того более — вдруг последовал строгий запрет на траурные панихиды в церквах по умершему. Это казалось Денису невероятным, волна горечи и обиды захлестывала разум. Как же так? Что же произошло? Ужели переменчивая Фортуна так легко может отворачивать свой сияющий лик даже от таких великих героев?.. Эти вопросы не давали покоя.

В событиях, без сомнения, ускоривших кончину Суворова и

лишивших его даже заслуженных посмертных почестей, ветренная Фортуна была повинна, пожалуй, менее всего. За ее мифическою изящною классическою фигурой и ниспадающими мягкими складками покрывами маячили, как всегда, вполне реальные и отнюдь не бескорыстные личности.

Поначалу Павел I готовил возвращающемуся из победоносного похода полководцу величественную и пышную встречу, достойную его последних воинских лавров. Но триумфальное возвращение в Петербург князя Итальянского и графа Рымникского было совершенно некстати заговорщикам, уже вплотную занятым подготовкою к устранению оказавшегося столь упрямым и несговорчивым монарха. Взрыв народного и армейского энтузиазма, вызванного торжественным величанием полководца, мог спутать им все карты.

И заработала хорошо отлаженная и умело управляемая машина коварного оговора и вкрадчивого очернения. Благо для этого у заговорщиков оказалось и время: сильно подорвавший свое здоровье в только что завершенной кампании Суворов смог доехать от границы лишь до Кончанского, где и вынужден был отлеживаться, чтобы превозмочь тяжелый недуг.

Будущие цареубийцы, их сановные помощники и вдохновители старались повсю. Ухищрениями этих «доброхотов», и в первую очередь вошедшего в фавор бывшего рижского губернатора, а ныне генерал-губернатора Петербурга, начальника почт и полиции, члена Иностранной комиссии, обладавшего, по свидетельству современников, на вид удивительно прямодушной и открытой розовой физиономией графа фон дер Палена, впавшему и без того в болезненную подозрительность Павлу I стало внушаться, что самую большую опасность для него представляет не кто иной, как Суворов, которому император изволил отдать под начало все русские войска. Что, дескать, стоит теперь генералиссимусу повернуть подвластные ему армии и против самого государя?..

Это, конечно, были бредни чистой воды. Однако настойчивость и уменье, с которыми они подавались, возымели действие. И славный полководец, еще будучи в Кончанском, вдруг совершенно неожиданно для себя ощутил признаки явной и отнюдь не заслуженной им, как ему казалось, новой царской немилости. Сначала ему сделано было высочайшее порицание по войскам за содержание при его корпусе дежурного генерала, потом снято было генерал-адъютантство с его сына Аркадия, затем был отнят адъютант у самого генералиссимуса. В довершение всего прибыло предписание, которым государь отменял торжественную встречу в Петербурге, в столицу Суворову надлежало

въехать вечером, потемну, и, не привлекая ничьего внимания, проследовать в дом своего племянника графа Хвостова на Крюковом канале.

Вопиющая несправедливость, проявленная Павлом I к полководцу, усугубила болезнь и окончательно подорвала его силы. В столицу он прибыл, как и предписывалось, никем не встреченный и не почтенный, здесь к тому же стало известно, что герою Итальянского похода воспрещено являться к императору. И без того худо себя чувствовавший граф Александр Васильевич слег у племянника в доме и более не поднялся. 6 мая 1800 года он скончался.

Все эти печальные подробности Денис Давыдов узнает позднее от племянников Суворова Андрея Горчакова и посредственного стихотворца графа Дмитрия Хвостова, от его верного ученика и славного сподвижника князя Петра Ивановича Багратиона, который чуть ли не единственный из боевых соратников полководца, презрев все высочайшие запреты, приезжал к нему, чтобы отдать последний поклон гению русского воинского искусства. И уже на смертном одре сказал ему Александр Васильевич Суворов свои провидческие слова, выдохнутые из глубины души с последними покидающими его силами: «Помни, князь Петр, война с французами еще будет! Помяни мое слово... Берегите Россию...»

«Голова и Ноги»



*...А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись —
как же быть, —
Твое величество об камень расшибить.*

Д. Давыдов

В марте 1801 года за полторы недели до пасхи Москва узнала о внезапной смерти Павла I.

Весть эту в Давыдовский дом на Пречистенке первым принес кучер Ерофей, которого матушка Елена Евдокимовна посылала за какой-то надобностью в Охотный ряд. Поручения он не исполнил, однако явился не скоро, с лицом возбужденно-озабоченным и красным, явно навеселе, и прямо с порогу брякнул:

— Император помер! Царствие ему небесное... — и истово перекрестился.

— Как? — вскинулись матушка с батюшкой.

— Очень просто, представился — и все тут! Сказывают, народ уже к

присяге приводят новому государю Лександру Палычу... А в торговом-то ряду что деется, прямо-таки чудо. Купцы, те вроде бы как-то опечалились. А два барина, оба важные из себя, как о скончании-то царском прослышали, ажник все засветились, проздравлять друг дружку кинулись и христосоваться, будто в светлое воскресение. Один из барей-то с радости даже кошелек нам бросил: «Выпейте-де, мужички, за упокой тирана». Оно, конечно, мы и уважили за упокой-то...

Василий Денисович сразу же поехал по друзьям и знакомым. Весть подтвердилась.

— Может быть, мне теперь к полку отправляться следует? — в нерешительности спросил Денис отца.

— Нет, пожалуй, стоит повременить. Пусть-ка все прояснится и образуется, — рассудил Василий Денисович. — Судя по началу нового царствования, перемены должны быть...

Еще прошлым летом Денис, которому не терпелось на военную службу, совсем было собрался в Петербург для окончательного определения в кавалергардский полк, к которому он. был приписан, благо и возраст уже тому не препятствовал — ему исполнилось 16 лет. И батюшка с матушкою дали на отъезд свое согласие. Но тут Василий Денисович вдруг узнал от кого-то из приятелей, что Павел Петрович будто бы за какую-то провинность либо служебное небрежение подверг кавалергардов жестокому монаршему разносу и отправил полк в полном составе в ссылку, в дальние деревни Петербургской губернии. Родители порешили, что начинать службу Денису, оказавшись сразу «ссылошным», негоже, надобно обождать, когда горячий, но отходчивый император сменит гнев свой к кавалергардам на милость.

Новости, приходящие из северной столицы, по первой поре были утешительными. Александр I, объявивший в своем манифесте, что будет править «по законам и по сердцу» августейшей бабушки, и вправду, казалось, возвращался к более либеральному духу екатерининских времен. К радости помещного дворянства, стало известно, что новый государь снял введенный Павлом I запрет на ввоз в Россию иностранных товаров и на вывоз за границу русского хлеба. Сразу же было разрешено вновь свободно получать из-за рубежа книги и ноты. В начале апреля по повелению Александра Павловича была уничтожена Тайная экспедиция и из Петропавловской крепости выпущены все затворники — 153 человека.

Из писем родных и знакомых в давыдовском доме уже знали, что монаршая милость простерлась и на бывших «смоленских заговорщиков»: Александр Михайлович Каховский, как доподлинно известно, уже вольно

прибыл в Петербург, а Алексей Петрович Ермолов, возвращенный из костромской ссылки, гостит в орловском родительском имении. Вновь объявился в петербургском высшем свете и Александр Львович Давыдов. Стало быть, из деревенской глуши в столицу вернулись и кавалергарды.

— Ну вот теперь можно и ехать, — сказал Денису отец.

Сборы были недолгими. Скоро у крыльца уже стояла матушкина дорожная выдавшая виды кибитка, заложённая тройкою лучших лошадей, с Ерофеем на козлах.

Отец бодрился, но повлажневшие глаза выдавали его печаль и волнение за сына.

— Верю, что служить будешь достойно и фамилии нашей доброй не посрамишь, — говорил он на прощанье каким-то неестественно звонким голосом. — Всегда памятуй, что благословил тебя на военное поприще сам великий Суворов... — и порывисто привлек Дениса к груди.

— Деньгами не сори, — строго и тихо наказывала матушка, передав Денису 400 рублей ассигнациями, — сам знаешь о теперешнем нашем состоянии... И карт, упаси боже, в руки не бери, — она быстро глянула на Василия Денисовича, — уговор наш с тобою на сей счет не забывай. И письма пиши, они будут для сердца моего в разлуке с тобою и радостью и утешением, — вздохнув, заключила она и поцеловала сына сухими горячими губами.

Москва провожала Дениса залиvistым щебетом ласточек, вьющихся над золочеными маковками церквей, и сладким и печальным запахом увяданья — в просторных московских городских усадьбах косили траву.

Первой и поистине ошеломляющей для Дениса по приезде в северную столицу явилась новость о том, что Павел I вовсе и не умер «апоплексическим ударом», как было извещено в газетах, а лишен жизни насильственно группой заговорщиков, которые ходят ныне чуть ли не в героях, и среди них полковой командир кавалергардов, дальний родственник известного полководца Павел Васильевич Голенищев-Кутузов.

— Неужели сие правда? — недоверчиво переспрашивал Денис еще более раздобревшего с той поры, как они в последний раз виделись, Александра Львовича Давыдова, в обширной квартире которого, занимавшей весь второй этаж в богатом и величественном доме графа Самойлова по соседству с Адмиралтейством, он покуда остановился.

— Да ты что, братец, с луны свалился? — с обычною своею ироничной и ленивой улыбкой отвечивал кавалергард-ротмистр. — Про то в столице любому лакею ведомо. Вот уж истинно говорят, что старушка

Москва кушает исправно все, что ей преподносят на газетном блюде. — И он со многими достоверными подробностями рассказал о событиях, происшедших в Михайловском замке в ту трагическую для Павла Петровича ночь.

Дениса буквально поразила осведомленность Александра Давыдова, а еще более, пожалуй, то, что рассказывал он о страшных дворцовых событиях тоном совершенно спокойным, даже лениво-будничным, словно о деле обыкновенном и не стоящим особого внимания.

Из разговора с братом выяснилось и то, что с известием о высылке Павлом I кавалергардского полка из столицы произошла какая-то путаница. Кто-то из приятелей отца, сообщивший сию новость Василию Денисовичу в Москву, должно быть, человек статский, ибо каким-то образом принял за кавалергардов действительно подвергшихся опале и сосланных в петербургские деревни конногвардейцев, имевших с ними довольно схожую форму...

Денису, разумеется, очень хотелось определиться в полк поскорее. Однако, как когда-то и предполагала Елена Евдокимовна, серьезным препятствием этому послужил его малый рост. Дежурный офицер, к которому было Денис явился для представления, отказал наотрез:

— И не думай, братец, и не мечтай. Недомеркам в кавалергарды ходу нет. С этим у нас строго. Будь хоть семи пядей во лбу, а коли ростом не вышел — прощевай!.. И мало что приписан. Как приписали, так и выпишем... А ты лучше шел бы к великому князю Константину, он эдаких недорослых да курносых жалует, поскольку сам таков...

Денис изрядно пал духом. Александр Львович сразу же взялся поспособствовать, переговорить по сему поводу с самим полковником Кутузовым, а ежели потребуется, с кем и повыше, но командир кавалергардов, как оказалось, все более находился при особе нового государя, то во дворце, то на Каменном острове, потом встречал какого-то вюртембергского принца, затем с каким-то поручением императора уехал в Митаву...

Дни шли за днями, а дело не двигалось.

— А куда тебе и торопиться, — сказал как-то, позевывая, Александр Львович, — в полковой хомут влезть завсегда успеешь.

Себя самого, как успел убедиться Денис, Александр Львович ни заботами, ни службою не обременял. При великом богатстве это было позволительно. Мать его, как хорошо знал Денис по домашним разговорам, Екатерина Николаевна Давыдова, урожденная графиня Самойлова, приходилась родною племянницей могущественному и славному

светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину, который ее когда-то, еще четырнадцатилетней девочкой, и сосватал шумно и весело за одного из своих любимцев, боевого офицера Николая Семеновича Раевского. Екатерина Николаевна, как сказывали, только что и видела своего суженого на свадьбе. Потом он уехал со светлейшим в турецкий поход и вскорости сложил голову где-то под Яссами. И неполных шестнадцати лет от роду осталась Екатерина Николаевна с родившимся у нее сыном Николенькой Раевским одинокою горькою вдовицей при огромном богатстве. В этом состоянии и сосватал ее брат Денисова отца Лев Денисович Давыдов, с которым и живут они с той поры в любви и согласии вот уже тридцать лет то в Петербурге, то в своем великолепном имении Каменке, в Киевской губернии. Земельных же владений у них по всей южной России столько, что, как с улыбкою говорил Василий Денисович, однажды брат его ради шутки из одних начальных букв принадлежащих им поместий сумел составить фразу: «Лев любит Екатерину».

В шикарнейшей квартире Александра Львовича, где покуда остановился Денис, ежевечерне, как говорится, дым стоял коромыслом. Здесь собирались многочисленные его приятели и друзья — блестящие молодые гвардейские офицеры, великосветские молодые люди, непременно бывали всяческие заезжие знаменитости и иностранные дипломаты. Александр Львович потчевал гостей изысканными кулинарными твореньями своего повара-француза. Шампанское лилось, как всегда, рекою, звучала музыка, и шла крупная картежная игра. Расходились и разъезжались по обыкновению часу в пятом утра.

Денис робко принимал участие в этих ночных бдениях. Более, конечно, слушал и вбирал жадным умом на удивление смелые суждения шумливой дворянской столичной молодежи, почитавшей своим долгом за пиршескими и ломберными столами живо обсуждать европейские дела и со снисходительными улыбками бранить правительство. Вовсю доставалось, конечно, и новому императору. Причем мнения здесь были самые разные. Одни хвалили его за либеральные устремления, но порицали за непомерную скупость и мелочность. Другие находили изящными (не в пример Павлу I) вкус и манеры Александра, но двусмысленно подсмеивались над причиной его столь рано развившейся глухоты.

С усмешками толковали и о том, что если при Павле Петровиче главными словами царствования были «дисциплина» и «порядок», то теперь в большем ходу и в государстве и в обществе другие — «экономия» и «бережливость». И сам государь тому, сказывают, подает первейший

пример: когда приносят ему на подпись указы либо другие документы и листы оказываются исписанными не полностью, то Александр I отрывает от сих листов чистые четвертушки и восьмушки и с укоризною откладывает их в сторону, дабы бумага не пропадала попусту. И при этом вздыхает, что ежели бы все так поступали в империи, то сколько добра всяческого было бы сбережено...

Офицеров в первую очередь, конечно, волновали предполагаемые изменения в армии. По сему поводу уже, как все знали, заседала специальная комиссия, в которую, помимо генералов и военных чиновников, входил и сам государь с великим князем Константином. Больших перемен, однако, комиссия пока не сулила, поскольку и Александр, и его брат, выросшие на отцовских вахтпарадах, заражены были пруссоманией с детства.

Меж тем Денис продолжал оставаться не у дел. Он еще несколько раз заговаривал с Александром Львовичем по поводу своего устройства в полк, но тот под разными предлогами все откладывал свои хлопоты по сему предмету. Поэтому Денис и решил побывать у другого своего двоюродного брата — Александра Михайловича Каховского, которого хорошо помнил еще по Грушевке, стройного, подтянутого, необычайно серьезного, в бытность его адъютантом графа Суворова. Ныне, по возвращении в Петербург, он снимал квартиру где-то на Галерной.

Узнав о печали Дениса, Александр Михайлович неожиданно улыбнулся доброю, необычайно приятною, красившей его аскетическое лицо улыбкой и тут же сказал в утешение:

— Вон Бонапарт при малом росте своем уже до императоров дошагал, да и князь Суворов, как ты и сам видывал, отнюдь был не из великанов. Величье человеческое не ростом измеряется, а высотой духа и деяний его. Для русского это всегда связано со служением общественному благу. Помни про то. А о малорослости своей не кручинься, сию пустую преграду мы одолеем. Постой, — он на секунду задумался, — кто же из друзей моих может стать нам с тобою в этом деле пособником? Пожалуй, князь Четвертинский, он с Павлом Кутузовым, по-моему, в приятельстве состоит. Кстати, Борис — славный офицер, отставленный в свое время, как и я, прежним императором от Суворова. Был он при графе Александре Васильевиче в Кобрине среди прочих его восемнадцати любимцев, пожелавших разделить с ним опалу...

Александр Михайлович Каховский был человеком дела и на следующий же день познакомил Дениса с князем Борисом Четвертинским,

статным красавцем с темно-русыми усами и открытым и пылким взглядом. Несмотря на разницу в возрасте в шесть или семь лет, они как-то на удивление быстро сошлись и подружились.

Вскоре стараниями князя Бориса и других приятелей Каховского столь заботившее Дениса дело было улажено. 28 сентября 1801 года он вступил эстандарт-юнкером в кавалергардский полк. Вид у него после облачения формы, конечно, был презабавный. Позднее в автобиографии он сам весело обрисует себя в сей знаменательный час (снова ведя речь о собственной персоне в третьем лице): «Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною шляпою.

Таким чудовищем спешит он к двоюродному брату своему А. М. Каховскому, чтобы порадовать его своею радостью...»

Александр Михайлович, конечно, и посмеялся от души, и порадовался. Однако тут же перевел разговор на тему серьезную:

— Мундир и оружие еще не делают человека военным. Ежели ты намерен служить, а не играть со службою, — он сделал твердый упор на этих словах, — как многие гвардейские петиметры, на коих ты уже, как думаю, у братца Александра Давыдова успел наглядеться, то надобно с первого же дня взяться за ум. Поприще, тобою избранное, кроме личных качеств незаурядных — хладнокровия, выдержки, смелости, — требует к тому же трудов неустанных и обширных знаний. Лишь тогда оно вознаградит тебя истинной славою, иначе же это пустая и никому не потребная забава. Офицеру русскому о многом надобно думать и свое представление иметь. Того от него и время и отечество наше требуют.

Поведя речь с Денисом о его познаниях, Каховский скоро убедился, что они весьма и весьма скромны и сумбурны, оказалось, что о многих, даже элементарных вещах он и вовсе не имеет понятия. Пристыдив младшего брата за то, что он пришел на службу, по сути, неучем, Александр Михайлович сам взялся за восполнение столь существенных пробелов в его образовании. Для этого он составил для Дениса специальную учебную программу, подобрал книги по самым различным отраслям знаний — от военной истории, фортификации и картографии до экономических теорий английских экономистов и российской словесности.

Добрую службу здесь сыграло и уязвленное самолюбие Дениса. Поначалу ему лишь хотелось доказать Александру Михайловичу, что и он, как говорится, не лыком шит и способен овладеть любой премудростью, однако занятия его скоро увлекли и сделались, к собственному удивлению, насущной потребностью. Видимо, сказала и дремавшая до поры

подспудно природная даровитость, живой и пытливый ум его все, что он читал в эту пору, схватывал буквально на лету. Каховский с радостью отмечал столь быстрые и несомненные успехи Дениса и все чаще и все откровеннее стал беседовать с ним о предметах, которые более всего волновали его самого.

Из этих доверительных разговоров с Александром Михайловичем, познания которого и интересы были разносторонни, глубоки и обширны, а ум острым и критическим, он почерпнул для себя, пожалуй, не менее, чем из хороших и дельных книг.

Лютого царевубийства в ночь на 11 марта Каховский, несмотря на то, что натерпелся немало от Павла I, не одобрял, видя в нем кровавое злодеяние, однако считал, что русское дворянство вправе развенчать монарха, который поскушается интересами державы и своих подданных.

— Но ведь царь всему хозяин, всему голова, — пробовал робко возразить Денис. — Да к тому же говорят, что власть его от бога.

— В государстве все взаимосвязано, как и в натуре человеческой. Ежели государь голова, то сословие дворянское суть ноги, ибо без нас верховный правитель разом лишается опоры и движения. Коли умна вознесенная голова, тогда для всех благо, а то коли вдруг сумасбродна либо невежественна окажется, тогда что? — резко спрашивал он и сам же отвечал: — Ежели не видит она истинной дороги и сама клонится к бездне разверстой, то и ноги, споткнувшись во спасение, не ровен час и ее могут зашибить об камень. И возможно ли винить их за то?..

Такие разговоры, конечно, крепко западали Денису в душу, давали пищу для острого, склонного к иронии ума.

Понемногу юный эстандарт-юнкер привыкал и к полковой жизни. Новые приятели кавалергарды, сразу же прозававшие его «маленьким Денисом», «маленьким Давыдовым», поначалу взялись было подтрунивать над ним, но он тут же срезал одного-другого шутника разящим и метким словом под всеобщий хохот, и охотники в этом плане поубавились. Из уст в уста передавались его веселые рифмованные каламбуры, которые он придумывал прямо на ходу — и во время экзерциций на плацу или в манеже, и в дружеском застолье. В пирушках, хотя пил совершенно немного, Денис был неизменно весел и неутомим. А вот карт, однако, в руки не брал, — слово, данное матери, держал строго. С этим приятели тоже быстро смирились и стали почитать нового юнкера, может быть, несколько излишне бережливым, но в общем-то добрым и компанейским малым.

А дело, конечно, было отнюдь не в свойстве характера Дениса.

Строгий учет своих расходов ему приходилось вести волей-неволей, на родительские средства рассчитывать покуда более не приходилось.

Брать же денег у богатых двоюродных братьев Денис не мог совершенно, ему просто стыдно было признаться в своем бедственном положении. А оно именно таковым и было. Позднее, вспоминая это время, он скажет коротко: «В бытность мою юнкером питался одним картофелем».

Однажды, уже под вечер, Дениса, чистившего лошадь в конюшне кавалергардского полка, разыскал слуга Каховского, сухой и немногословный Антон Артемьевич и передал приглашение хозяина безотлагательно к нему прибыть.

— Уж не случилось ли чего? Здоров ли Александр Михайлович? — обеспокоился Денис.

— Слава господу, — ответствовал Антон Артемьевич, — в здравии. — И тут же объяснил со сдержанною улыбкою: — Братец Алексей Петрович Ермолов приехать изволили. Вас видеть непременно желают...

Давыдов тотчас поспешил на Галерную.

Алексея Петровича Ермолова Денис до того видел лишь раз, когда он был совсем юным, семнадцатилетним артиллерийским поручиком, но отец, Василий Денисович, помнится, говорил про него тогда, что племянник, судя по всему, далеко пойдет, ибо обладает качествами отменного офицера. Скоро это подтвердилось: при взятии варшавского предместья Праги, решившего, по сути, исход польской кампании 1794 года, Ермолова отметил сам Суворов, вручив ему орден святого Георгия 4-го класса. Потом Алексей Петрович принял участие в персидском походе, за что тоже удостоился наград. Его военная карьера была на самом взлете, когда разразилось вдруг злополучное «смоленское дело»...

Александр Михайловичу Каховскому Ермолов приходился единоутробным братом, мать у них была одна, а вот отцы — разные. Родная тетка Дениса по отцу, Мария Денисовна Давыдова, как он хорошо знал, поначалу была замужем за гвардейским офицером Михаилом Каховским, а после гибели его стала женою и поныне здравствующего Петра Алексеевича Ермолова. От второго брака, помимо сына Алексея Петровича, у нее была еще дочь Анна...

Денису показалось, что весь знакомый кабинет Александра Михайловича был заполнен Ермоловым — и рослою, поистине богатырской его фигурой с крупной головой, увенчанной пышной львиной гривой темно-русых волос, и его густым и зычным голосом. Широко расхаживая в отставном артиллерийском сюртуке и позванивая крестами,

он что-то, возбужденно жестикулируя, рассказывал Каховскому, сидящему перед ним в глубоких вольтеровских креслах и выглядевшему рядом с румяным и пышущим здоровьем братом еще более бледным и узким.

— А, Денис! — тут же узнал его и шумно обрадовался Ермолов. — Много наслышан о тебе от Саши. Хвалит тебя!.. — и он без обиняков, породственному слегка приподнял его с полу и порывисто прижал к своим колючим орденам. — Рад тебе душевно, считаю, что полку нашего в армии прибыло...

Приезд Ермолова в столицу из Орловской губернии и встреча его с братьями были отпразднованы.

Оказался и еще один повод для родственного торжества. Алексей Петрович сразу по возвращении из костромской ссылки начал хлопоты об устройстве на службу, к которой питал великую склонность. Пока дело решалось, он гостевал в родительском имении. Ныне же, приехав в Петербург, первым делом поспешил в артиллерийское ведомство, где с удовлетворением узнал, что просьбу его государь уважил: разрешил отправиться в Вильну и принять командование над артиллерийскою ротою. Это была немалая победа, поскольку и Александру Каховскому, и другим офицерам, проходившим по «смоленскому делу», в аналогичных прошениях покуда отказывалось.

— Что с понижением назначен, не тужу, — усмехался Ермолов, — мне бы лишь зацепку в армии иметь. Я все должности прежние еще верну и превзойду оные, ибо служить худо не умею.

Чувствовалось, что в этот вечер Ермолов был в ударе и в самом добром расположении духа. Он много шутил, смеялся, вспоминал различные истории. Александр Михайлович радовался за него и смотрел на брата со светлой и чуть грустной улыбкой.

С этого согретого братским теплом и откровенностью вечера и начнется у Дениса Давыдова добрая дружба с Алексеем Петровичем Ермоловым, скрепленная не только родством по крови, но и родством душ, и дружба эта, пройдя все испытания, продлится всю его жизнь.

26 июня 1802 года, после завершения гвардейских маневров, в которых принимали участие и кавалергарды, Денис Давыдов, исхлопотав отпуск, отбыл к родителям в Москву. Какое-то время пробыл в Белокаменной, где по летней поре оставался лишь брат Евдоким, служивший в Московском архиве иностранных дел юнкером вместе с Александром Тургеневым. Большую же часть отпуска провел в Бородине, где помогал отцу по хозяйству, наносил обычные деревенские визиты

соседям и много читал. Здесь же под монотонный шелест дождя (лето выдалось, как на грех, ненастное) написал несколько острых и озорных эпиграмм и начал переводить басню Сегюра «Река и Зеркало», которую, как ни бился, так и не смог завершить.

К началу осени вернулся в Петербург, где в сентябре, к великой радости для себя, выслушал торжественно зачитанный командиром кавалергардов Павлом Кутузовым приказ о своем производстве в корнеты.

Однако не зря говорится, что об руку с радостью часто ходит и беда. Еще не успел Денис Давыдов остыть от праздничного возбуждения по поводу своего производства в корнеты, как из Москвы грянула тревожная весть о том, что весьма опасно болен батюшка Василий Денисович.

Денис снова помчался в первопрестольную.

В полк он смог вернуться лишь 5 октября 1803 года. Причем привез с собою и брата Евдокима. У того к архивному делу душа никак не лежала, да и жалованье, ему положенное, к тому же было мизерным. Военская же служба, особенно гвардейская, давно уже прельщавшая брата, конечно, считалась более престижной, чем статская, да и к тому же сулила в будущем большее материальное обеспечение. Посему и рассудили на семейном совете, что Евдоким пойдет по стопам Дениса — в кавалергарды. Квартиру же в целях сбережения средств, конечно, снимут одну на двоих, а то и вообще будут пользоваться казенной при полковых казармах. А поскольку наем слуг в Петербурге дорог, то братьям в услужение дали отцовского казачка Андрюшку.

С Евдокимом дело уладилось на удивление скоро. Рослый, в матушку Елену Евдокимовну, он как-то разом глянулся начальству, и никаких проволочек с его зачислением в полк юнкером не было.

Почти годичный отпуск по семейным обстоятельствам на продвижение Дениса по службе не повлиял. Вскоре по приезде в Петербург он получил очередной чин поручика. В формулярном его списке это событие отмечено записью от 2 ноября 1803 года.

Этой осенью Денису Давыдову вместе с другими кавалергардами довелось нести караульную службу во внутренних покоях Зимнего дворца. Государь, благоволивший к их командиру Павлу Кутузову, тем самым проявлял свое милостивое доверие и к полку. Таким же особым расположением царя до сей поры пользовались, пожалуй, лишь семеновцы, у которых он сам числился шефом. Поэтому кавалергарды теперь часто на разводах и постах оказывались вместе с семеновскими офицерами.

С одним из них, коротая ночные часы в дворцовой кордегардии¹⁴, как-то и познакомился Денис Давыдов. Офицер сей привлек его внимание

своей на редкость безобразной наружностью. Был он щупл, тщедушен и коротконог, зато имел непомерной длины руки, доходившие ему чуть ли не до колен, ко всему же рыж, с каким-то красно-коричневым, густо уляпанным веснушками лицом, ко всему прочему постоянно дергающимся в причудливых гримасах и обезьяньих ужимках. «Вот же, прости господи, чудо уродилось, — сочувственно подумал в первый момент Давыдов, — и ничего, однако, во дворце служит...»

Денис из вежливости представился.

— Барон Иоганн Дибич, — с готовностью откликнулось «чудо» в семеновском мундире.

Слово за слово, с превеликим трудом разговорились, поскольку прусский барон по-русски изъяснялся еле-еле, а французского не знал вовсе. Денис же, в свою очередь, в эту пору еще только думал заняться немецким языком...

Так у Давыдова произошла первая встреча с будущим фельдмаршалом и графом Дибичем, к фамилии которого присовокупится громкое добавление «Забалканский», а величать его по имени будут почтительно, на русский манер — Иваном Ивановичем.

Разговорившись с Давыдовым и убедившись, что кавалергардский поручик имеет желание к совершенствованию военных знаний, Дибич тут же предложил Денису совместно с ним брать уроки у некоего майора Торри, служившего прежде при Бертье в главном штабе Бонапарта, а теперь волею какого-то случая оказавшегося при русском дворе. Этот майор будто бы обладает обширными сведениями по новейшей тактике и штабному делу и согласен прочесть курс лекций частным образом, однако же дорого за это просит, а вот если бы сложились вдвоем, то это вышло бы куда дешевле.

Давыдов с Дибичем начали брать уроки у майора Торри. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что верткий француз то ли сам обладал познаниями в тактическом искусстве весьма скудными, то ли ничего существенного не хотел раскрыть офицерам русской службы, но толковал лишь о прописных истинах, известных любому юнкеру. Сии многообещающие занятия пришлось прекратить. А деньги, которые оборотистый майор взял вперед, естественно, пропали. Добрые же приятельские отношения, установившиеся в эту пору у Дениса с Дибичем, остались.

Именно осенью 1803 года Давыдов снова ощутил в душе своей неодолимую тягу к стихотворному слову. Эта тяга временами томила его и

раньше, он брался за перо, но скоро оставлял его, убеждаясь, что из-под него выходило пока нечто совсем иное, него он ожидал и хотел бы. Смутная неудовлетворенность, оседавшая где-то в глубине сознания, тревожила и снова и снова обращала его мысли к рифмованным строкам...

Общество, как уже хорошо понимал Давыдов, после многих радужных надежд, связанных с новым царствованием, все более разочаровывалось в молодом императоре. После некоторых незначительных либеральных послаблений опять повсюду господствовали формализм и казенщина, в армии процветали все те же «прусские порядки», а славные суворовские боевые традиции находились в небрежении и загоне. На смену прямолинейной грубости и самодурству Павла I пришли утонченная официальная ложь, двоедушие и лукавство. Царь, более всего заботившийся «об европейской внешности», только что и делал: провозглашал одно, а творил совершенно другое. Посему число недовольных и в армии, и в обществе постоянно росло.

Об этом Давыдов неоднократно задумывался и ранее, однако теперь он впервые почувствовал, что сможет, сумеет выразить общие умонастроения в злых и ироничных стихах. Надобно найти только какую-то хитроумную иносказательную форму. И тут невольно пришел ему на память разговор с Александром Михайловичем Каховским, который тогда на сравнение государя с головою с жаром отвечал, что в этом случае дворянство — это ноги, без коих не может быть никакого движения. «Да вот же и весь стихотворный ход, который надобен, — с пронзившей его холодящей радостью нежданного открытия подумал Денис. — Как же просто... Именно так и быть должно. И название уже есть — «Голова и Ноги». Должна сложиться басня на манер Лафонтеновой...»

Эта мысль, осенившая его в карауле Зимнего дворца, не давала покою. Он еле дождался вечернего развода и поспешил на квартиру, которую они снимали с Евдокимом при кавалергардских казармах. Дома никого не было. Брат, должно быть, закатился на какую-нибудь дружескую пирушку, поскольку до книг, как оказалось, пока он не большой охотник. А Андрюшка либо увязался с ним же, чтобы потереться в людской с другими слугами и хватить, если удастся, стаканчик, либо болтался где-нибудь по Петербургу.

Денис запалил свечи и сел к столу, даже не сбросив кокетливого, но совершенно не спасающего от осенней стужи и сырости кавалергардского плаща. Первые строки, пришедшие ему на ум, когда он только что шлепал по стылым лужам и грязной мостовой, сами просились на бумагу:

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой:
«За что мы у тебя под властью такой,
Что целый век должны тебе одной повиноваться...»

Денис легко представил себе умильно-розовый лик государя, виденный не далее как сегодня, когда царь прохаживался по анфиладе с князем Волконским, и, слушая собеседника своего, рассеянно улыбался и с наигранной наивностью прикрывал глаза и вскидывал брови. Теперь свои наболевшие, жгучие вопросы Давыдов непосредственно бросал ему, лукавому и расчетливому венценосному притворщику, по единому лишь знаку которого все должно трепетать и повиноваться:

«Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться
Туда, сюда, куда велишь;
А к этому еще, окутавши чулками,
Ботфортами да башмаками,
Ты нас, как ссылочных невольников, моришь
И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами...»

Ему сразу представилось, как от таких дерзких, брошенных ему в лицо слов Александр разом налился злою багровой кровью и вмиг откинул всю свою благопристойность.

«Молчите, дерзкие, — им Голова сказала, —
Иль силою я вас заставлю замолчать!..
Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?»
«Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться

И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить».

Денис резко поставил последнюю точку и, вскочив, возбужденно зашагал по комнате. Басня, написанная за один присест, получилась, он чувствовал это. Однако почему-то медлил перечитать ее заново, словно страшился, что та жгучая и гневная страсть, только что пережитая им за столом и без остатка выплеснутая на бумагу, вдруг снова что-то утратит и потеряется в стихотворных строчках.

Скинув сырую и холодящую кавалергардскую пелерину, Давыдов заменил свечи в шандале и теперь уже, несколько поостыв от своей поэтической горячности, не спеша перечитал написанное. Нет, вроде бы все было на месте, все звучало так, как он и намеревался выразить: и дерзостно и хлестко.

Денису, конечно, очень хотелось прочесть свою басню вернувшемуся под утро подгулявшему Евдокиму (под статью ему оказался и явившийся с ним Андрюшка), однако удержался, благоразумно рассудив про себя: «Молод еще... В случае чего — он ни при чем, не слышал...»

Близким же друзьям свое творение показал. Басня вызвала бурный восторг, особенно у князя Бориса Четвертинского. Все вперебой просили ее переписать. Денис, польщенный похвалами, разумеется, давал, однако выражал непременно желание, чтобы авторство не разглашалось.

С неимоверной быстротой басня «Голова и Ноги» разлетелась по всему Петербургу, ее читали и в великосветских салонах, и в гвардейских казармах, и в чиновных казенных палатах.

Басня эта, без преувеличения, прогремела в российском обществе наподобие разорвавшейся бомбы. И громовое эхо ее будет звучать еще очень долго. Вместе с вольнолюбивыми пушкинскими творениями ее возьмут на вооружение члены тайных революционных обществ. В своем письме Николаю I декабрист Владимир Штейнгель напишет в 1826 году из крепости: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой, кто не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и Ноги»!»

Первый литературный успех окрылил Давыдова.

И он вновь берется за перевод басни Луи-Филиппа Сегюра, названный им «Река и Зеркало»¹⁵ и начатый еще в Бородине. Слепо французскому тексту он следовать не собирается. Довольно известный сюжет ему нужен

лишь для того, чтобы вложить в него свои собственные мысли и чувства. Вначале поводом к переводу басни Денису послужила несправедливая опала Суворова, поэтому под видом старого философа, смело беседующего с царем-деспотом, он подразумевал попавшего в немилость славного полководца:

За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей, — деспот
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.
Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать —
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но, если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.
Царь жаждет слов его: философ не страшится...

Теперь же суровая царская кара уже вполне реально грозила ему самому. И басня как бы предваряла высочайшую расправу, перед которой Денис, как и правдивый философ, не думал склонять голову. Грозный царь уподоблялся ребенку, разбившему зеркало, в котором увидел свое некрасивое отражение, однако тот же безобразный лик явила ему и река, над которой он склонился, гуляя в поле, а поделать что-либо с рекою оказалось не в его силах.

Под пером Дениса Давыдова французская басня неожиданно обрела злободневную полемическую остроту и совершенно недвусмысленную российскую окраску:

«...Монарх, стыдись! Ужели это сходство
Прилично для тебя?..
Я — зеркало: разбей меня,
Река — твоё потомство:
Ты в ней найдешь ещё себя».
Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел и жизнь и волю дать...
Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать,
А то бы эта была на басню походила.

Новая притча Дениса Давыдова с пометкою «Из Сегюра» разлетелась столь же быстро, как и первая, и тоже вызвала широкие толки. Друзья с улыбкою говорили, что басня «Река и Зеркало» упредила государя: теперь явным преследованием автора он только подтвердит перед обществом, что в сатирических строках Давыдова узнал себя. Однако тайных козней в соответствии с его двоедушием и вероломством ожидать надобно.

— Будь что будет. Волков бояться — басен не писать! — отшучивался Денис.

В самый канун рождества появилась его ироническая и озорная фантазмагория «Сон».

Стихотворение это Давыдов адресовал своим друзьям и приятелям, которых тут же весело вышучивал.

Среди них милый, обаятельный, никогда не повышавший голоса 28-летний офицер Преображенского полка, уже получивший широкую известность своими сатирами, шуточными стихами и куплетами Сергей Марин, одна из песен которого, «Барышня, сударышня, пожалуйста ручку», перешла уже в народ и распевалась всюду. Всем в гвардии было ведомо, что полковым занятиям он давно предпочел сочинительство и на служебные дела времени у него как-то просто не оставалось... Кстати, с началом военных действий Сергей Марин окажется прекрасным боевым офицером, станет одним из любимых сподвижников Багратиона.

Не менее громкой славой, но, пожалуй, несколько иного свойства, пользовался в дружеском гвардейском кружке более старший по возрасту бесшабашный гуляка, желчный острослов и лихой дуэлянт Алексей Данилович Копьев. Блестящий офицер Измайловского полка, он при Павле I был разжалован в рядовые за то, что явился однажды на дворцовый карнавал в «шутовском наряде», высмеивающем гатчинскую форму. Лишь совсем недавно ему вновь была возвращена офицерская шпага. Алексей Данилович тоже был склонен к сочинительству.

Беззлбно зацепил Денис Давыдов в своем стихотворении и своего приятеля Дибича, и даже князя Петра Ивановича Багратиона, о внушительном носе которого в свете ходило много шуток и анекдотов.

Зато влиятельным и сановным особам досталось, как говорится, по первое число. Хотя имена их и были обозначены лишь начальными да конечными буквами, все, конечно, тотчас узнали и старого глухого обер-шенка двора Николая Александровича Загряжского, и более молодого камергера Николая Петровича Свистунова, известных своим высокомерным чванством и скудоумием. Распознали и дворцового обер-гофмаршала и директора Императорских театров, веселого, напомаженного

попрыгунчика Льва Александровича Нарышкина, промотавшего огромное наследственное состояние и теперь с тою же легкостью проживавшего деньги своих кредиторов, и по-индюшину надутого и косящегося на всех подозрительным оком церемониймейстера императорского двора камергера и графа Ивана Степановича Лавалю.

Шум в свете разразился неимоверный. Одни хвалили Дениса за остроумие и лихость, другие громогласно требовали наказать озорника, осмелившегося, дескать, своим зубоскальством затронуть самым государем возвеличенных вельмож. У оскорбленных сановников тут же отыскиались ревностные защитники.

И дело приняло нешуточный оборот. Влиятельные особы, уязвленные Давыдовым, не успокаивались. «Маленькому Денису за пересмешливую сатиру «Сон» мылили голову», — отметит один из современников. Сначала с ним имел строгую беседу командир кавалергардов Павел Кутузов. Потом в ответ на жалобу кого-то из вельмож Давыдова затребовал в свою канцелярию военный губернатор Петербурга Михаил Илларионович Кутузов и, как вспомнит потом Денис, «журил его по-отечески», но, должно быть, вынужден был предупредить, что ежели юный поэт и далее не станет соблюдать должной скромности в отношении высокопоставленных личностей, то это может повлечь за собою последствия весьма пагубные.

Кстати, это будет чуть ли не последняя «охранительная акция» старого боевого генерала в сей должности. Вскоре Александр I, уже давно недовольный полицейскими порядками в столице, опять же действуя лукаво и за его спиною, освободит Михаила Илларионовича, как сообщалось в указе сената, «от всех должностей по приключившейся ему болезни для поправления здоровья». На его место он тут же назначит фельдмаршала Каменского, а Кутузову, обремененному большою семьею и оставшемуся не у дел, придется отправиться в свое волынское имение Горошки на правах чуть ли не ссылошного... А печальный удел прославленного полководца и дипломата, верного сподвижника Суворова, вызовет резкое возмущение оппозиционно настроенного к государю гвардейского офицерства и, конечно, в их числе Дениса Давыдова.

Вероятнее всего, что именно вероломное и несправедливое удаление Кутузова послужило главным толчком к написанию новой и, пожалуй, самой дерзостной и обличительной басни Дениса Давыдова «Орлица, Турухтан и Тетерев», после которой за туговатым на ухо Александром I до конца его дней укоренится всеобщее прозвище «Глухой Тетери».

Любому, даже неискушенному читателю, взявшему в руки басню,

сразу же становилось ясно, что под державною Орлицей имеется в виду добрая и мудрая матушка государыня Екатерина II, царствование которой по сравнению с последующими временами выглядело и впрямь чуть ли не «золотым веком»:

Орлица
Царица
Над стадом птиц была,
Любила истину, щедроты изливала,
Неправду, клевету с престола презирала...

Не надобно было иметь семи пядей во лбу, чтобы угадать и за обликом драчливого кулика Турухтана, избранного на птичье царство, явившегося на смену Екатерине вздорного и взбалмошного Павла I:

А он —
Лишь шаг на трон...
Кого велит до смерти заклевать,
Кого в леса дальнейшие сослать,
Кого велит терзать сорокопугу —
И всякую минуту
Несчастья каждый ждал,
Томился птичий род, стонал...

Далее все развивалось в соответствии с недавними, столь всем памятными дворцовыми событиями:

Когда народ, стенёт, всяк час беда, напасть,
Пернаты, зная, злодейств терпеть не станут боле!
Им нужен добрый царь, — ты ж гнусен на престоле!
Коль необуздан ты — твоя несносна власть!
И птичий весь совет решился,
Чтоб жизни Турухтан и царствия лишился...

Однако недалёковидные птицы не придумали ничего лучше, как избрать в цари Тетерева — Александра I. На него самого и на плоды его

правления Давыдов не жалел желчи:

И вдруг сомкнулись все, во всех местах запели,
И все согласно захотели,
Чтоб Тетерев был царь.
Хоть он глухая тварь,
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок он готовый...
...Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают...
Их гнусной прихотью кто по миру пошел,
Иной лишен гнезда — у них коль не нашел.
Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
И сущий стал разврат во всем дичином царстве.
Ведь выбор без ума урок вам дал таков:
Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.

Действие новой басни на умы было еще более ошеломляющим. Даже хитроумный Николай Греч, которого за изворотливость называли «двудонным», подручный Булгарина и недруг Пушкина, однако в ту пору склонный к некоему либерализму, вспоминал впоследствии, делая вид, что об авторстве он не ведает: «Нельзя сказать, чтоб и тогда были довольны настоящим порядком дел... Порицания проявлялись в рукописных стихотворениях. Самое сильное из этих стихотворений было «Орлица, Турухтан и Тетерев», написанное не помню кем».

То, что басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», как и прежние сатирические сочинения Давыдова, сразу же легла на стол Александра I и вызвала его бешенство, несомненно. Мстительный и злопамятный, он не забудет сей обиды никогда и неоднократно сумеет доказать это.

А пока же над буйною головою Дениса сгущалась и клубилась безмолвная грозовая туча государева гнева.

На Давыдова за малейшую промашку, а то и без оной одно за другим посыпались дисциплинарные взыскания по службе. От них не было никакого продыха. Наконец, с некоторою оттяжкой, грянул и тяжелый державный гром: 13 сентября 1804 года Денис Давыдов был исключен из гвардии и переведен в Белорусский армейский гусарский полк, расквартированный в глухом местечке Звенигородке Киевской губернии. Подобострастный Павел Кутузов торжествующе снял с Дениса знаки

отличия кавалергарда. Отбыть из Петербурга строжайше предписывалось — немедленно.

По той поре наказание это было весьма суровым, а если точнее — изощренно-суровым, поскольку изгнание из гвардии само собой подразумевало запятнанную честь провинившегося. Считалось, что в армейские полки отсылаются по обыкновению великосветские карточные шулера, схваченные за руку казнокрады либо трусы, проявившие перед лицом товарищей заведомое малодушие.

Дениса как могли утешали на прощанье и Александр Михайлович Каховский, и брат Евдоким, и князь Борис Четвертинский, который клятвенно обещал незамедлительно начать настоятельные хлопоты по возвращении его в гвардию, и прочие друзья-приятели.

Однако делать было нечего, и Денис, переодевшись покуда в штатский сюртук и взяв с собою Андрюшку, выехал на почтовых в Киевскую губернию.

Впрочем, все оказалось не таким уж страшным. Звенигородка — большое торговое село, населенное вперемешку украинцами, поляками и евреями, хотя и пыльное, но удивительно песенное и утопающее по плечи в чуть тронутых багрянцем тучных садах, где еще, словно луны, светились поздние яблоки, — Денису понравилось. Новые приятели по полку, до которых, как стало сразу же известно, уже докатилась громкая слава его сатир и басен, встретили восторженной впереводку искрение предлагали свою дружбу.

Настроение у Дениса поднялось. Да и молодость (ему недавно исполнилось 20 лет) отнюдь не располагала к унынию. Тем более что в богатых звенигородских домах и окрестных имениях уже гремели осенние хотя и простенькие, но балы, а пышнотелые малороссийки и не отличающиеся строгостью нравов знойные полячки весьма благоволили к гусарам. «Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, — напишет он впоследствии о себе, — покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду».

Очень скоро Давыдов, к своему удивлению, почувствовал себя в полку более своим человеком, чем это было в Петербурге. Если там ему волей-неволей почти всегда приходилось с горечью ощущать ограниченность своих средств по сравнению со своими состоятельными родственниками и друзьями, то здесь в этом плане все были примерно равны. Да и расходы в Звенигородке не шли ни в какое сравнение со столицей: при местной дешевизне даже при скромном достатке Денис с Андрюшкой чувствовали себя чуть ли не королями. Пришелся по сердцу Денису и царивший в

гусарском кругу совершенно иной, чем у кавалергардов, дух вольного офицерского братства, с его веселой, бравирующей бесшабашностью, презрением к опасностям и пренебрежением к богатству. Этот веселый и лихой дух всю свою русскую сутью бунтовал и противился против официального формализма и казенщины, против механических «пруссских порядков», насаждаемых в армии.

Живым его воплощением для Дениса явился в первую очередь разбитной и разгульный, отчаянный рубака и бессребреник, троюродный брат Сергея Марина, гусарский поручик Алексей Бурцов, с которым он как-то сразу сошелся более других. Натура его была кипящею и буйной, совершенно не уместящейся в твердые берега здравого смысла. Он мог, например, отдать первому встречному нищему свой последний золотой червонец, потрясти еврея-шинкаря, обиравшего округу, и, потребовав у него под пистолетом долговые книги, изрубить их саблею «в песи»; ворваться на чужую свадьбу, прослышав от кого-то, что невесту выдают против воли, и расстроить вконец сие торжество; въехать на коне на спор в дом дворянского предводителя... Да мало ли чего мог еще забубенная голова Алешка Бурцов, голубоглазый красавец с желтыми пшеничными усами, известный всей армии.

Ему-то и посвятит Денис Давыдов свои лихие и звонкие гусарские «зачашные песни», которые принесут автору славу не менее громкую, чем его острые политические басни.

Лихой перезвон гусарских стаканов, перемешанный с дымом бивачных костров, услышит вся Россия:

Собирайся в круговую,
Православный весь причёт!
Подавай лохань златую,
Где веселие живет!
Наливай обширны чаши
В шуме радостных речей,
Как пивали предки наши
Среди копий и мечей.
Бурцов, ты — гусар гусаров!
Ты на ухарском коне
Жесточайший из угаров
И наездник на войне!..

Однако в веселье гусарских пиров все явственнее входила тревога.

Ни для кого не было секретом, что Россия стояла на пороге войны. Отношения с Францией, и без того не блестящие после победных суворовских походов, натянулись до предела после известия о том, что Бонапарт сперва объявил себя пожизненным консулом, а затем и императором. Александр I уже обменялся с ним оскорбительными нотами и сколачивал против новоявленного венценосца европейскую коалицию.

В июле 1805 года стало известно, что император вернул из волынского имения Кутузова и назначил его командующим подольской армией, направляемой в Моравию в помощь австрийской, будто бы выступившей против Наполеона.

В Белорусском гусарском полку теперь только и разговоров было о вновь открывающейся кампании. Все надеялись принять в ней участие, с нетерпением ждали приказа о выступлении. И каждый готов был снова и снова повторять, как клятву, за своим полковым признанным стихотворцем Денисом Давыдовым:

Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, поблднеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем!..

Крещение



*Пойдемте, братцы, за границу
Бить отечества врага!*

Сергей Марин. «Марш русской гвардии»

Хлопоты друзей, и в первую очередь князя Бориса Антоновича Четвертинского, наконец-то увенчались успехом. В июле 1806 года Денис Давыдов получил известие о том, что он снова переведен в гвардию, в лейб-гусарский полк прежним чином поручика.

Известие это застало его вблизи границы с дунайскими княжествами, где Белорусский гусарский полк, приведенный в боевую готовность с началом кампании, стоял в ожидании дальнейших приказов. Однако корпус генерала Тормасова, куда входили и белорусские гусары, так и остался в резерве и участия в действиях на военном театре не принял.

Денис Давыдов с приятелями по полку внимательно следили за тревожно развивающимися европейскими событиями.

Войну против Наполеона, как известно, с благословения Англии, которой Бонапарт угрожал вторжением, первую начала Австрия, намереваясь вернуть свои вассальные владения в Италии. Александр I уверил венский двор в своей поддержке и двинул в помощь австрийцам свои войска двумя группами под водительством Кутузова и Буксгевдена.

Соединившись с цесарским воинством, русские корпуса должны были устремиться на Францию.

Однако Наполеон опередил союзников. Выступив из булонского лагеря, где он готовил грандиозный десант в Британию, он сам устремился навстречу австрийцам. Под Ульмом и Трахтельфингеном Бонапарт окружил бездарных австрийских военачальников Мака и Вернека и почти без боя заставил их капитулировать. Австрия потеряла свыше 30 тысяч пленными и почти всю наличную полевую артиллерию. Заодно потеряла и захваченную французами Вену. Все это разыгралось до подхода русских корпусов Кутузова и Буксгевдена, которым теперь, по сути, одним предстояло противостоять всей французской армии во главе с Наполеоном. Бонапарт, конечно, приложил все свои силы и умение, чтобы разбить русские группировки порознь, однако благодаря блистательным действиям Кутузова это ему не удалось. В Ольмюце наши войска соединились, к ним пристал и австрийский 15-тысячный отряд.

Сюда же вместе с прибывшей из Петербурга гвардией пожаловал и Александр I, возомнивший себя полководцем и возгоревший желанием нанести поражение возмутителю всей Европы — Бонапарту. Фактически устранив Кутузова от главнокомандования и даже не вняв его настоятельным советам хотя бы выяснить предварительно расположение неприятеля и его намерения, русский император в паре с австрийским генерал-квартирмейстером Вейротером поспешили дать генеральное сражение у богемской деревни Аустерлиц. Несмотря на героические усилия, проявленные русскими войсками на поле брани, битва по вине бездарного руководства была позорно проиграна. Этому в немалой степени способствовало и то, как выяснится значительно позднее, что знаменитый наполеоновский шпион Карл Шульмейстер, действовавший по заданию генерала Савари, подкупил австрийских и немецких офицеров в русско-австрийском штабе и сумел заполучить от них подробную диспозицию предстоящего сражения. Русские солдаты и офицеры, стойко умиравшие под тусклым ноябрьским небом Аустерлица (об их стойкости и доблести вспомнит на острове Святой Елены Наполеон), были преданы самым бесчестным образом. Сначала корыстными союзниками, а потом и своим монархом, незадачливым «полководцем» Александром I, бросившим войска в самые решительные минуты и спешно ретировавшимся с поля сражения. «Под Австерлицем он бежал», — презрительно напишет о нем Пушкин.

Кутузов и князь Багратион сделали все, чтобы спасти армию от полного разгрома и вывести из-под огня оставшиеся полки. И тем не менее

урон был громаден: русские потеряли 21 тысячу убитыми и ранеными.

После сего поражения Австрия тут же вышла из коалиции и подписала в Прессбурге мирный договор с французами. Русские войска были возвращены в свои пределы.

К терпкой горечи, вызванной этими невеселыми событиями, у Дениса Давыдова подмешивалась и всевозрастающая тревога о судьбе брата Евдокима. Известно было лишь, что вместе с кавалергардским полком он выступил в заграничный поход. С тех пор, около полугода, от него не приходило никаких вестей.

Предписание следовать к лейб-гусарскому полку прибыло как нельзя кстати: разузнать об участии брата в Петербурге, куда возвратилась гвардия, наверняка будет проще.

Распрощавшись с друзьями по Белорусскому гусарскому полку, к которым он привязался всею душою, Денис с неизменным своим Андриюшкой выехал в северную столицу, а оттуда почти незамедлительно в Павловск, где квартировал эскадрон, в который он был определен. Эскадронный командир и добрый душевный приятель князь Борис Четвертинский, поблескивая двумя новенькими крестами, встретил его с распростертыми объятиями:

— Ну, слава богу, снова вместе! Уж не чаял тебя дожидаться, брат Денис. Твои же гусарские песни у нас в ходу и большом почете. Идем, представлю тебя господам лейб-гусарам. То-то будет радости! Они о тебе все наслышаны... Да, — спохватился князь Борис, — еще одною доброю вестью хочу тебя порадовать, зная тревогу твою о брате Евдокиме, — теперь доподлинно известно, что он жив и находится в плену у французов. Я наводил справки о нем. Был жестоко ранен под Аустерлицем, теперь, говорят, лучше. Обмен пленными уже завершается, многие возвратились, стало быть, и его надобно скоро ждать в Петербурге.

— Более мне и желать нечего! — радостно воскликнул Денис. — Вовек твоей доброты, Борис Антонович, не забуду!..

Лейб-гусары действительно встретили Давыдова восторженно. И басни, и гусарские «зачашные песни» были у всех на устах. Это, конечно же, очень льстило его самолюбию. Единственно, что несколько удручало Дениса в кругу новых полковых товарищей, — это их рассказы и шумные обсуждения минувшей кампании. Тут к горячим спорам и резким суждениям своих сослуживцев он ничего не мог добавить. Так уж случилось, вспоминал Давыдов с сожалением позже, что, оставив гвардию, еще не слышавшую боевого выстрела, он провел два года в полку, бывшем в стороне от военных действий, и вернулся в ту же гвардию, когда она уже

пришла из-под Аустерлица.

Кстати, последняя кампания, завершившаяся, как известно, для наших войск неудачно, оказалась довольно щедрою на награды. Александр I пытался жалованными крестами хоть как-то сгладить горечь поражения...

Европейские события меж тем становились все более угрожающими.

После Аустерлица Наполеон, как сам он говорил, «принялся за немецкие дела». Из 16 мелких германских княжеств он создал так называемый Рейнский союз, который сам и возглавил в качестве протектора. В случае войны этому союзу было предписано выставить на сторону французов 63 тысячи человек войска. Полному господству Наполеона в Германии теперь мешала лишь Пруссия, которая в прошлую кампанию так и не склонилась на сторону коалиции и упорно держалась нейтралитета.

Теперь, как говорится, пришел ее черед. Прусский король — тугодумный и меланхоличный Фридрих-Вильгельм III — с тоскою следил за тем, как Бонапарт сосредоточивал свои войска в Южной Германии, главным образом в Баварии. Было ясно как божий день, что император французов готовится к новому вторжению и следующей его жертвой наверняка должна стать Пруссия.

На стороне Фридриха-Вильгельма пока числилась одна Саксония. Теперь уповать ему можно было лишь на Россию. После долгих колебаний Александр I наконец решил послать в помощь берлинскому двору экспедиционные войска числом в 70 тысяч человек.

Узнав об этом и несколько приободрившись, прусский венценосец ничего не придумал лучшего, как направить немедленно Наполеону категорическое требование об отводе французских войска за Рейн. Бонапарту, искавшему повода к войне, только того было и надобно. Получив прусский ультиматум, он на следующий же день перешел в наступление.

Фридрих-Вильгельм, не предполагавший такого крутого поворота событий, смертельно перепугался.

Да и было отчего. Кто-кто, а уж он-то, видимо, представлял себе, какою реальной силой обладает его армия, занимавшаяся со времен Фридриха II большею частью шагистикой и парадными аллюрами. С первых же дней кампании к королю стали поступать известия о массовом разрыве ружейных стволов в его полках. Это был плачевный результат усердной их чистки толченым кирпичом. Кроме того, множество ружей оказались без мушек. Не в лучшем состоянии была и артиллерия.

В прусской армии в последние годы более заботились о солдатских

косах и буклях да внешнем блеске оружия, чем о настоящей боевой выучке.

Результаты всего этого не замедлили сказаться.

Ровно через неделю после начала наступления Бонапарт сообщил в очередном бюллетене своего главного штаба, что прусская 150-тысячная армия рассеялась, «как осенний туман». Путь на Берлин для Наполеона был открыт, куда он и не замедлил войти. Прусская королевская, семья бежала к российским границам.

Как и в прошлую кампанию, русским войскам, двинутым Александром I на соединение с союзной армией, уже, по сути дела, не с кем было соединяться. Однако царь снова был настроен воинственно. Аустерлиц, видимо, ничему его не научил. Для начальствования над войсками по его настоянию был вытребован из своей орловской деревни престарелый фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский, где он, будучи давно в отставке, занимался последние годы алгебраическими выкладками да истязанием крепостных. Прибывший в столицу и облаканный государем, он тут же пообещал привезти Бонапарта в Петербург в клетке, «ровно Емельку Пугачева».

Прослышав обо всех этих новостях, которые живо обсуждались в полку, Денис Давыдов твердо решил для себя, что на этот раз он своего шанса не упустит и непременно добьется назначения в действующую армию.

Дело это оказалось весьма непростым. В военных канцеляриях и ведомствах, куда обращался Давыдов, хвалили его благородный порыв, но ничего определенного не обещали, ссылаясь на то, что государь не любит волонтеров. По этому поводу Денис напишет потом с тонкой язвительной иронией: «Я принимал за клевету такое святотатственное слово насчет государя императора, почитая за сверхъестественное дело, чтобы русский царь не любил тех, кои рвутся вперед...»

Единственная надежда оставалась на главнокомандующего графа Каменского, который был еще в столице и готовился к отъезду в действующую армию. Всему Петербургу было ведомо, что старый фельдмаршал проживал покуда в 9-м номере «Северной» гостиницы, где каждое утро с самого ранья его осаждали военные чиновники, интендантские начальники, сиятельные вельможи и частные просители самого разного рода и звания, испрашивавшие должностей и мест при армии для себя либо для своих родных, близких или знакомых. Без подобного протектирования в эту пору ничего не делалось.

Денис, побывав здесь однажды, с печалью понял, что наверняка затеряется в этой толпе и ничего не добьется. Для решения его участи

нужен был хотя бы краткий, но доверительный разговор с фельдмаршалом.

И Давыдов решился на отчаянный шаг: 16 ноября в четвертом часу пополудни он пробрался в «Северную» гостиницу. Будучи наслышан о бешеном нраве старика, о необузданных порывах его гнева, во время которых он в действиях своих не отдает себе отчета, Денис страшился лишь одного — попасть к своенравному графу именно под такую горячую руку. Тогда пиши все пропало.

Терзаемый подобными мыслями и сомнениями, завернувшись в шинель и прислонившись к стене, он коротал томительно тянувшееся время неподалеку от 9-го номера в тесном низкосводчатом гостиничном зябком коридоре на третьем этаже, тускло освещаемом едва теплившимся фонарем. Кстати, через много лет Давыдов весело расскажет Пушкину о своем ночном походе к старому фельдмаршалу и о тех чувствах, которые его тогда обуревали. Александр Сергеевич с обычной своей непринужденностью и легкостью будет дотошно выпрашивать его о всех подробностях и деталях сего необычного визита. А потом Денис Давыдов с улыбкою прочитает на удивление знакомое описание столь же томительной и таинственной ночной сцены в его новой повести «Пиковая дама», напечатанной во второй книжке «Библиотеки для чтения» за 1834 год, и порадует, что любезному Пушкину что-то сгодилось и из его незатейливого рассказа. Подивится и тому, что найдет здесь в качестве эпиграфа к одной из частей и свой шуточный разговор с сестрою бывшего эскадронного командира Бориса Четвертинского — Марией Антоновной Нарышкиной, как-то пересказанный Пушкину...

Из заветного номера вдруг выкатился маленький старичок в белом ночном одеянье и весьма озабоченно и бодро зашаркал по коридору, видимо, в сторону отхожего места. Оказалось, что это фельдмаршал.

Граф Михаил Федорович, узнав, зачем ночной гость пожаловал, разом переменился в лице, весь затрясся и слабо застонал:

— Да что это за мученье! Замучили меня просьбами, спасу нет! Да кто вы таковы?

Денис снова повторил свое имя, должно быть, не расслышанное стариком в коридоре.

— Какой Давыдов?

— Сын Василия Денисовича, отставного бригадира... Полтавским легкоконным командовал...

— Знал отца твоего, — смягчился фельдмаршал, — да и деда Дениса Васильевича помню, в приязни с ним состоял, преважный был вельможа, — и тут же перечислил еще с десятков родственников Давыдова,

с которыми он знался либо водил приятельство. Потом, что-то припомнив, неожиданно спросил с весьма добродушным видом: — Ежели не ошибаюсь, то ты против воли должен был однажды выйти из гвардии. За что?

Давыдов рассказал, как было дело, и даже прочел несколько строк из сатиры «Сон», где были задеты весьма сиятельные лица. Это старику фельдмаршалу даже понравилось, и он теперь, вроде бы окончательно оттаяв, сказал:

— Ишь ты какой хват. Поглядим, как в деле супротив французов будешь.

Поутру Каменский всем рассказывал о необычном ночном визите к нему поручика Давыдова, и скоро об этом походе уже знал весь салонный Петербург. Многие заранее поздравляли Дениса с адъютантской должностью при главнокомандующем. Однако на сей счет должен еще был сказать свое слово государь...

Когда на следующий день Давыдов в час развода пробился к фельдмаршалу, тот отвел его в сторону и беспомощно развел руками:

— Я говорил о тебе, любезный Давыдов! Просил тебя к себе в адъютанты в несколько приемов, но мне отказано под предлогом, что тебе надо еще послужить во фронте. — Он понизил голос. — Признаюсь тебе, что по словам и по лицу государя я увидел невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось. Более он и слышать о сем деле не пожелал. А против его воли я ничего не могу. — Он снова беспомощно развел руками.

У Давыдова потемнело в глазах. Ему показалось, что все его честолюбивые мечты относительно действующей армии теперь окончательно рухнули.

Впрочем, смелое похождение Давыдова к старому фельдмаршалу, столь известному своим бешеным нравом, не прошло бесследно. В свете об этом говорили с удивлением, похвалою и сочувствием, а имя молодого лейб-гусарского поручика, так горячо и страстно рвущегося навстречу военной опасности, неожиданно обрело в общественном мнении некий романтический ореол. Особенно у дам.

Сестра Бориса Четвертинского Мария Антоновна Нарышкина, которой, как было всем известно, в последнее время увлекся государь, встретив Дениса у себя вместе с братом, тотчас же спросила, сверкая обворожительной улыбкой:

— И зачем, Денисушка, друг мой сердечный, тебе так рисковать надо было? Этот старый олух сослепу, либо со страху, либо во гневе своем безумном пальнул бы в тебя из пистолета. И спросу с него не было бы...

Слава богу, что все так обошлось. Надо было меня своим адвокатом избрать, — она с непринужденной кокетливостью чуть повела крутым обнаженным плечом, — может быть, желание твое давно бы и решилось. Нет, видно, и впрямь мне самой надобно о тебе похлопотать!..

Денис с немой благодарностью и восторгом поцеловал ее прелестную руку.

Через несколько дней Давыдов был вызван из Павловска радостной вестью: вернулся Евдоким. Он, конечно, тут же помчался в Петербург для свидания с братом.

В кавалергардских казармах уже вторые сутки шло празднество по поводу благополучного возвращения младшего Давыдова из французской неволи. Обмен пленными, как известно, был давным-давно завершен, однако Евдокиму вернуться на родину вместе с другими русскими до сей поры не позволяло состояние здоровья: под Аустерлицем во время знаменитой атаки кавалергардов он получил семь ран — пять сабельных, одну пулевую и одну штыковую. Эти раны, красноречиво свидетельствующие о его храбрости и мужестве в бою, и были причиной того, что в полк Евдоким Давыдов из всех оставшихся в живых офицеров вернулся самым последним.

Теперь кавалергарды отдавали должное своему боевому товарищу. В обширной сводчатой зале офицерского собрания голубоватым огнем пылали пуншевые чаши, пенилось шампанское, клубился табачный дым и, почти беспрестанно, сменяя друг друга, заливались два хора песельников.

Евдоким, в новом, блестящем, с иголки мундире, сидел в центре дружеского круга, неестественно бледный, похудевший, с левою рукою на черной шелковой перевязи, с лихорадочно горящими, глубоко запавшими глазами, видимо, безмерно усталый и безмерно счастливый.

Денис, сердечно обнявший и расцеловавший брата, был встречен всеобщими радостными кликами и тут же усажен за стол рядом с Евдокимом. От него начали требовать стихов.

— Погодите, господа, — улыбнулся Давыдов-старший, — все будет, и стихи, само собою, обещаю вам. Однако прежде хочу услышать о зловключениях младшего брата своего, о коих мне ничего не ведомо.

— Справедливо! — рассудили кавалергарды и в который уж, видимо, раз заставили Евдокима снова рассказать о том, что выпало на его долю после Аустерлица.

Получив многочисленные жестокие раны, он, как оказалось, рухнул на поле битвы замертво вместе с конем и был завален целою грудой окровавленных трупов. Здесь его никто не отыскал, да и, видимо, не до

того тогда и было. Очнулся уже глубокой ночью, с великим трудом, преодолевая боль, выбрался из страшного завала и кое-как добрался до мерцавшего неподалеку огня, возле которого нашел других русских раненых. Здесь, к его радости, оказались и двое кавалергардов — Арапов и Барковский, тоже помятые и порубанные, но не так сильно, как он. Товарищи по полку оказали Евдокиму посильную помощь. Посоветовавшись, решили, куда смогут, двигаться за отступающей русской армией. Однако вскоре их настиг французский конно-гренадерский эскадрон, патрулировавший местность. Раненые кавалергарды были объявлены пленными и отправлены в Брюн, где тогда находилась главная квартира Наполеона.

Тут, однако, силы окончательно покинули Евдокима. Идти далее он уже не мог. И сопровождавший их французский поручик Серюг проявил редкое великодушие: он уступил тяжелораненому русскому офицеру своего коня, поделился едой, а в ближайшем же селении приказал местному пастору снарядить для впадавшего в забытие Евдокима специальную повозку. В Брюне этот же поручик помог разместить его в полевой французский госпиталь и посоветовал в случае нужды обращаться за помощью и защитой к дяде своему, министру Маре, находящемуся при главной императорской квартире. Сего поручика Серюга Евдоким теперь по справедливости считал своим спасителем.

В госпитале в Брюне Давыдов-младший пролежал довольно долго. Здесь, кстати, демонстрируя свою заботу о раненых и страждущих и заботясь об упрочении авторитета человеколюбивого монарха, в окружении пышной свиты побывал Наполеон. Заглянул он и в помещение, отведенное для русских офицеров. А Евдокима удостоил даже краткой беседы. Завидев его, почти всего запеленутого в повязки и лубки, он подошел и спросил: «Combien de blessures, monsieur?» — «Sept, sire», — ответил Евдоким. «Autant de marques d'honneur!»¹⁶ — сказал Бонапарт в явном расчете на эффект и проследовал дальше. Эту беседу дословно воспроизводили потом многие европейские газеты...

Случайное личное благосклонное внимание, проявленное к Евдокиму со стороны Наполеона, видимо, сыграло свою роль в том, что раненому русскому кавалергарду была оказана и в последующем должная забота: для окончательного выздоровления его, чуть ли не единственного из всех прочих, отправили в глубь Франции на берега Роны. Там в маленьком уютном городке, оплетенном виноградными лозами, он пробыл почти до последнего времени. Была там и юная француженка, которая к нему привязалась и очень удивлялась, что русский офицер так рвется на свой

дикий заснеженный север. И на это он с печалью отвечал: «Rendez mon mes frimas...»¹⁷.

Денис Давыдов слушал эту удивительную, почти неправдоподобную историю, происшедшую в действительности с его братом, и невольно думал о том, что она вполне бы могла послужить своим сюжетом для захватывающего романа.

Впрочем, эта история, долго бытовавшая в изустных офицерских преданиях, найдет свое отражение и в литературе. Сохранится свидетельство Пушкина о том, что свое романтическое стихотворение «Пленный» Константин Батюшков написал именно тогда, когда узнал о приключениях раненого брата Дениса Давыдова во французском плену.

Томительное обостренное чувство родины, пылкий патриотический порыв этих стихов переживет свое время, а заодно и сохранит добрую память о храбром и честном русском офицере, брате Дениса Давыдова — Евдокиме.

Вслед за первою радостью почти тут же последовала и вторая.

Мария Антоновна Нарышкина, пообещавшая похлопотать за Дениса, видимо, времени даром не теряла. При следующей же встрече в ее доме она с улыбкою известила Дениса, что дело его решилось и он приписан адъютантом к князю Петру Ивановичу Багратиону, только что назначенному командиром авангарда действующей армии. О лучшем для себя Давыдов не мог и мечтать! Что за славный подарок ему к новому, 1807 году!

— А твой-то доброхот граф Каменский что выкинул, слышал ли? — весело спросила Мария Антоновна. — Не иначе после того, как ты его ночью в «Северной» гостинице припугнул, он теперь и совсем умом тронулся. Лишь неделю всего армией и главнокомандовал. Но за неделю сию таких приказов надавал, что всех запутал и сам запутался. Потом в завершение явился перед войском в заячем тулупе, голова платком повязана и возопил: «Братцы, спасайтесь как можете!.. Кругом измена!» С тем сел в коляску да и укатил в свою деревню. А государю депешу прислал, дескать, стар я и глуп и к ответственности эдакой не способен.

— А кто же принял армию? — поинтересовался еще не знавший этих последних известий Давыдов.

— Поначалу Буксгевден. А теперь, когда от генерала Беннингсена прибыл курьером граф Васильев с неожиданной вестью о победе при Пултуске, государь будто бы намеревается препоручить главнокомандование Беннингсену. Впрочем, — ласково усмехнулась она,

— бог его ведает, я этих дел не касаюсь. И так тебе лишку наговорила, — хотя по всему свободному, чуть озорному и лукавому виду красавицы Марии Антоновны было приметно, что она и к этим, и ко многим прочим державным делам касательство имеет, и отнюдь не последнее. «Одно слово этой женщины было тогда повелением», — напишет о ней позднее Давыдов. И в этом он убедится еще неоднократно...

Третьего января 1807 года, распрощавшись с друзьями и братом Евдокимом, Денис Давыдов на почтовых выехал из Петербурга в армию, действующую за границей.

Где-то около Пскова Денис догнал тоже направляющегося в главную квартиру знакомого корнета кавалергардского полка князя Федора Гагарина, с которым недавно в числе других офицеров праздновал возвращение брата Евдокима. Далее решили ехать вместе: и веселее, и расходы можно делить на двоих. Для только что крупно проигравшегося князя это тоже имело значение.

Миновали Вильну, где еще гремели веселые и беззаботные новогодние балы, потом Скидель и Гродну и наконец пересекли российские пределы.

Пятнадцатого января в 9 часов утра Давыдов со своим попутчиком князем Гагариным приехали в Либштадт к главной квартире в тот самый момент, когда она уже снималась с места, чтобы спешно вместе с войсками выступить к Морунгену, где за два дня до этого была атакована и разбита часть русского авангарда под командою генерала Маркова.

В ставке главнокомандующего все было охвачено сборами и суматохой. К удовольствию своему, Денис увидел немало знакомых лиц. Его тут же обступили и начали расспрашивать о петербургских новостях. Уважив приятелей и ответив на их вопросы относительно здоровья родных и близких, Давыдов поспешил к главнокомандующему, для которого ему в столице было передано несколько официальных пакетов. Его тотчас представили генералу Беннингсену, которому он и вручил привезенную корреспонденцию.

Войска меж тем уже начинали движение. Чтобы следовать с армией, Давыдову еще нужно было позаботиться о лошади. Своих у него пока еще не было, поскольку он прибыл к главной квартире на почтовых.

Выручил один из только что встреченных приятелей, дал на время своего коня. В путь Денис отправился, пристав к Павлоградскому гусарскому полку, шефа которого генерал-майора Чаплица несколько знал по Петербургу. Во время марша познакомился еще с несколькими полковыми офицерами, и среди них — со Степаном Храповицким, который в грозном 1812 году окажется в его партизанском отряде и станет одним из

ближайших его помощников и сподвижников по боевым действиям во французском тылу...

Сейчас же покуда война являлась Денису Давыдову лишь с внешней, картинной стороны. Он во все глаза смотрел вокруг себя, и все естество его переполнялось восторгом.

Давыдов ехал размеренным шагом со своими новыми знакомыми, павлоградскими гусарами, рассказывал им недавние петербургские новости, шутил, смеялся, сыпал остротами и каламбурами, вызывавшими их восхищение, и не знал, что до первого, совсем иного зрелища войны, которое потрясет его до глубины души и заставит о многом призадуматься, оставалось всего несколько верст...

Сначала взору предстало приткнувшееся к покатому холму разрушенное и спаленное селенье, посредине которого сиротливо торчала закопченная кирка с опрокинутым и болтавшимся на ржавых железных прутьях шпилем. Ни одного дома с нею по соседству целого не было — лишь груды камня и обгорелого дерева, в которых с ленивым безразличием, как показалось Давыдову, копались несколько жителей с пустыми серыми лицами. Никто из них даже не повернулся и не глянул на проходившие мимо войска. Сразу же за селеньем вбок раскрывалась довольно широкая долина, перерезанная петляющим ручьем и сплошь усеянная какими-то обломками.

— Ну вот, здесь основное дело и было, — сказал кто-то из гусар. — Наших, говорят, много полегло, но и французам досталось...

— Тут полковник Ермолов отличился с конною артиллерией. Он и сдержал будто бы Бернадота. Кабы не сей полковник, никому бы, я слышал, из марковцев отсюда ноги не унести, — отозвался другой.

У Давыдова от известия о подвиге двоюродного брата сладко заныло сердце. Однако своего родства с уже известным артиллеристом он афишировать не стал.

Полк продолжал двигаться к Морунгену, до которого, судя по всему, было уже недалеко. А Давыдова неодолимо повлекло взглянуть на ратное поле, и он, сказав, чтобы его не ждали, поворотил коня в ту сторону.

То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Денис до этого прочел немало военных книг, хорошо помнил батальные рассказы отца и брата и многих своих друзей и сослуживцев и все же даже представить себе не мог столь ужасающих и страшных последствий неистовой и беспощадной человеческой бойни, которая зовется войною. Впрочем, как он потом сам неоднократно убедится, в бою многого и не видишь, хотя вокруг и кровь и смерть, но это проходит как бы мимо сознания, поскольку сам ты

находишься в движении, а все твоё существо захлестнуто яростным порывом атаки либо ожесточенным напряжением самозащиты.

Ошеломленный и потрясенный, Денис тихо проехал вдоль нашей позиции, а потом вдоль линии наступления французов. Он видел места рукопашных схваток, заваленные горами истерзанных, сцепившихся в последних неистовых усилиях и судорогах трупов, видел срезанные ермоловской картечью целые порядки неприятельской пехоты и кавалерии, видел искореженные и опрокинутые орудийные лафеты, возле которых тоже шла ужасающая резня...

От всего представшего перед ним Дениса Давыдова охватила какая-то тупая, сперва окостенившая тело, а потом прохватившая его ознобной дрожью слабость. Сначала он даже не понял, что это страх, причем такой пронзительный и изматывающий, которого он никогда еще в жизни не испытывал. Впрочем, потом он не побоится в этом признаться: «...По мере воли, даваемой мною воображению своему, я — со стыдом признаюсь — дошел до той степени беспокойства относительно самого себя, или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я всю ночь не мог сомкнуть глаз...»

Этот страх он, конечно, сумеет пересилить, но мучительно и далеко не сразу. Чтобы победить его, он не раз сам будет проситься в самые опасные места, будет сломя голову кидаться в жаркие яростные схватки, прослывет рискованно малым и отъявленным рубакой, но лишь позднее обретет ту спокойную, рассудительную, диктуемую осознанной необходимостью твердость собственных действий перед лицом противника, которая и отличает подлинную неустрашимость.

Шестнадцатого января рано поутру Давыдов сторговал себе у разбитного уланского вахмистра трофейную французскую лошадь, взятую, как тот выразился, «истинно с бою», и на ней в сопровождении казака отправился из Морунгена к штабу Багратиона. Путь туда, как предупредили в главной квартире, неблизкий. В дороге скоро выяснилось, что французская кобыла, которую Денис про себя уже окрестил изящным именем Мари, оказалась с большими причудами. На ходу она ни с того ни с сего вдруг неожиданно останавливалась как вкопанная и начинала, крутя хвостом, пританцовывать на задние ноги. Сдвинуть ее снова с места стоило немалых усилий. Кроме того, она частенько подкашивала глазом назад и, едва Денис терял бдительность, как тут же пыталась ухватить его за колено.

— О, вражина, — кивал на нее сопровождавший Давыдова казак, — это уж точно хрэнцуженка, все хватки ихние, то тебе крупом крутит, и тут

же норовит зубами... Намучаетесь вы с нею, ваше благородие, как пить дать!

Проведя весь день в дороге и переночевав в дивизии Николая Тучкова, занимавшей Любемиль, Давыдов, выехав затемно, с первыми солнечными лучами был уже в расположении князя Багратиона. Штаб его размещался в большой прусской крестьянской избе, весь пол которой был устлан мягко шуршащей золотистой соломой. Такая же солома была густо набросана и на простую, крепко сбитую кровать, стоящую в углу просторной горницы с наброшенной поверх черной кавказской буркой. Это, по-видимому, была постель князя Петра Ивановича, не терпевшего в походе, как известно, как и его учитель Суворов, никакой роскоши.

Багратион в будничном мундирном сюртуке с одною звездой Георгия 2-го класса сидел за столом над раскинутой картой. Здесь же были офицеры свиты и штаба и военачальники подчиненных ему частей. Среди присутствующих, к своей великой радости, Денис первым увидел Алексея Петровича Ермолова в артиллерийском полковничьем мундире, сразу же широко улыбнувшегося и по-свойски подмигнувшего ему.

Попросив дозволения у Багратиона, Денис представился.

— Вот он, тот самый маладец, — окинув его чуть прищуренным взглядом, улыбнулся князь Петр Иванович, — который над моим выдающимся носом, данным мне родителем и природою, публично потешаться изволил в своей сатире «Сон», собственноручный текст коей, правда, он, помнится, у Марии Антоновны Нарышкиной сам мне преподнес в подарок, за что был мною прощен и даже взят в адъютанты. С этой минуты он исполняет сию должность. Прошу любить и жаловать!..

— При всех свидетельствую, ваше сиятельство, — живо откликнулся Давыдов, — что затронул столь известную часть вашего лица единственно из зависти, поскольку сам оной части почти не имею, — и указал на свой заносчивый носик пуговкой.

Горница загудела от дружного смеха. Заливисто хохотал и сам Багратион. Даже на бесстрастном лице Барклая, плоховато знавшего русский язык, изобразилось некое подобие улыбки.

— Так и быть, штаб-ротмистр, претензий к вам я не имею, однако оставляю за собою право, — добродушно предупредил Багратион, — при случае отстоять преимущество своего носа перед вашим... Долг, как говорится, платежом красен.

Скоро такая возможность князю Петру Ивановичу, любившему шутку и острое слово, действительно представится. Денис Давыдов, ездивший по поручению Багратиона к Беннингсену, прискачет однажды с весьма

спешным известием.

— Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, — выпалит он, запыхавшись, — что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить!..

— Неприятель у нас на носу? — невозмутимо переспросит князь в присутствии офицеров штаба. — На чьем? Ежели на вашем, так близко; а коли на моем, так мы успеем еще отобедать.

Эта шутка Багратиона тотчас же разлетится по всей армии, а потом станет историческим анекдотом и еще долго будет передаваться из уст в уста. Дойдет она и до Пушкина, который запишет ее в своих знаменитых Table-talk («Застольных беседах»).

Вступив в должность адъютанта Багратиона, Давыдов довольно быстро сумел разобраться в тех событиях, которые разворачивались на прусском военном театре. Наполеон пока почти целиком владел инициативой и теснил русскую армию, стремясь обходными маневрами поставить под угрозу пути ее снабжения и связи с Россией. Об очередном таком весьма опасном маневре Бонапарта стало известно 21 января. В этот день полковник Юрковский, командующий аванпостными линиями Багратиона, прислал князю Петру Ивановичу перехваченного нашими казаками французского курьера, ехавшего с приказом императора к Бернадоту. Из этого приказа явствовало, что Наполеон 22 января с главными силами намеревается выйти к Алленштейну и с ходу нанести русской армии фланговый удар. Наши же силы были в это время значительно растянуты, что как нельзя лучше способствовало замыслу предводителя французов.

Багратион, оценив обстановку и поняв всю ее серьезность, спешно отправил главнокомандующему бумагу, добытую у неприятельского курьера, а сам, не дожидаясь приказов, повел марш-броском свой авангард в Янково на соединение с главными силами. Как выяснилось на следующий день, Беннингсен никаких выводов из предостережения Багратиона не сделал, и левый фланг армии оказался под угрозой. Вечером стало известно, что Наполеон стремится к неукоснительному выполнению своего плана: по его приказу в стык русских корпусов активно действовали маршал Султ и генерал Гюйо, захватившие мост через Алле и значительную часть обозов, принадлежащих левому крылу русской армии.

Единственным спасением в этой ситуации был спешный и сосредоточенный отход наших частей к Вольфсдорфу. Промедление в сем деле действительно могло обернуться не только подобием, но и самой смертью.

Ночной марш по узким лесным дорогам, по колено, а где и по пояс в снегу, с неприятелем на фланге на расстоянии пушечного выстрела, был ужасен. Он запомнится Денису Давыдову надолго. «Я в продолжение службы моей был свидетелем многих отступлений, — вспомнит он впоследствии, — но никогда не видал ничего подобного!..»

23 января главным русским силам удалось наконец сосредоточиться у Вольфсдорфа. Это оказалось возможным благодаря хладнокровному Барклаю, успешно прикрывшему отступление. Князь Багратион вполне заслуженно представил его за доблестное отражение французского натиска к очередной награде.

Наступало 24 января — день, который останется памятным для Дениса Давыдова навсегда, поскольку ознаменуется его первым боевым крещением.

Около десяти часов утра Багратиону донесли, что неприятель начал сбивать передовую нашу цепь под Варлаком, что верстах в четырех от Вольфсдорфа. Князь Петр Иванович поставил весь авангард, превратившийся теперь в арьергард, в ружье, чтобы прикрыть дорогу, по которой ему следовало отходить вслед за отступавшей армией. Вольфсдорф для сбережения этого селения он приказал войскам оставить и встретить французов на открытой местности.

С передовой нашей линии уже трещала ружейная перестрелка, перекрываемая иногда глухим уханьем пушек.

Денис твердо решил для себя, что непременно должен сегодня побывать в бою и испытать, на что способен. После убийственного зрелища под Морунгеном и изнулившей его робости это нужно было сделать во что бы то ни стало.

С этой мыслью он и отпросился у Багратиона в передовую цепь, будто бы для наблюдения за движением неприятеля.

Вскочив на трофейную Мари, к которой за последние дни успел приноровиться, разговаривая с нею, как со светскою дамою, исключительно по-французски, Давыдов поскакал туда, откуда слышалась неторопливая пальба, и скоро увидел казаков, лениво перестреливающихся с наступавшими на них неприятельскими фланкерами¹⁸, за которыми в отдалении виднелись сомкнутые колонны пехоты и перемещавшиеся массы конницы.

На серьезный бой, к которому себя внутренне готовил Денис, дело покуда вовсе не походило. Французские стрелки не спеша продвигались вперед, а казаки крутились перед ними и столь же неторопливо отходили к своим. До

вражеских фланкеров, вытянувшихся в редкую цепь, было совсем недалеко, отсюда можно было даже различить их усатые смуглые лица. Ближе прочих к Давыдову оказался высокий и тощий француз в синем плаще и лохматой медвежьей шапке, показавшийся ему своим гордым и независимым видом офицером. Денису не терпелось совершить что-нибудь отчаянное и смелое. Он подскакал к казакам и крикнул срывающимся от волнения голосом:

— Братцы! А не отбить ли нам сего офицера, что от своих выдвинулся? Ежели дружно навалимся, глядишь, и захватим! А? Ну как, братцы?..

У казаков его предложение, к удивлению, никакого энтузиазма не вызвало.

— Да нехай себе едет, — ухмыльнулся один из них, — мы их не шибко тревожим, а они нас. Чего же на рожон-то лезть?

Давыдов, конечно, не выдержал и выскочил навстречу офицеру один и тут же пальнул в него из пистолета. Француз ответил из своего. Несколько других фланкеров выстрелили по Денису из карабинов.

Над ухом его с тонким и каким-то сверлящим посвистом пролетели первые пули. Это показалось не таким уж страшным и неожиданно разозлило Давыдова. Он выхватил саблю, начал ею яростно размахивать и, осыпая неприятельского офицера отборными французскими ругательствами, вызывать его на поединок, предлагая ему сразиться перед цепью. Фланкер ответил такую же бранью, однако вылетать навстречу столь задиристому русскому офицеру, видимо, не спешил.

Тут к Давыдову, горяча коня, подскакал казачий урядник. Лицо его было хмуро и недовольно.

— Не дело, ваше благородие, эдак-то ругаться, — сказал он. — Грех! Стражение — святое дело, браниться в нем все то же, что в церкви: бог убьет! Пропадете, да и мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда приехали.

Только тут Денис понял разумом свою пустую горячность и, устыдившись рассудительных слов казачьего урядника, уехал из цепи к Багратиону.

— А, Давыдов, — обрадовался тот, увидев его подле себя. — Дело есть для тебя, и весьма важное, от выполнения коего много зависит. Пулею лети к 5-му егерскому полку с моим приказом оставить немедленно занимаемый ими лес и двинуться к Дитрихсдорфу, где избрана для арьергарда вторая позиция. Если сейчас сего не исполнить, то полк будет отрезан обходом и истреблен. Допустить этого никак нельзя! Понял? Действуй, братец!..

Давыдов помчался к егерям и четко выполнил поручение. Однако на

обратном пути его начало мучить сомнение относительно того, не поспешил ли князь Багратион оставить место при Вольфсдорфе без сильного отпора неприятелю. Те же егеря, например, как он только что убедился, не сделали по французам еще ни выстрела. Да и так ли действительно им угрожает обход? Может, это лишь мнимое опасение Петра Ивановича?

У него тут же мелькнула дерзко-сумасбродная мысль: а что, если ударить передовую цепью встреч неприятелю? Увидев это, его поддержат и собирающиеся на опушке егеря. А там, глядишь, и Багратион, заметив перемену в обстановке, поддержит этот успех всем авангардом. Тогда уж и главнокомандующий повернет армию обратно... В конце концов, читал же Денис о том, что иногда волею случая отчаянный смельчак увлекал за собою войска и решал участь больших сражений!

Подъехав к цепи, которую он незадолго перед тем оставил, Давыдов снова увидел знакомого строгого урядника.

— А что, брат, ежели бы сейчас по французам ударить? — спросил он его.

— Для чего ж нет, ваше благородие, — проявил тот нежданную сговорчивость, — давеча мы одни были, а теперь вон и пехоту нашу видать, есть кому поддержать.

— Ну так ты уговори казачков, — обрадовался удаче Давыдов, — а я подобью к сему делу гусар и улан, их вон в рассыпном строю неподалеку тоже взвода два наберется...

Атака, как ни странно, удалась. Русская цепь, возглавляемая Давыдовым и казачьим урядником, дружно гикнула и со свистом и криком «ура!» обрушилась на французских фланкеров, видимо, уверовавших в свою силу и двигавшихся вальяжно и не ожидавших такого отчаянного налета.

Загремели выстрелы, засверкали клинки. Давыдов помнил лишь, что он мчался вперед во весь опор на своей бесноватой Мари, которая во время схватки почему-то начала неистово ржать, с кем-то сшибался, в кого-то палил из пистолета, по чьей-то лохматой шапке почти вслепую наотмашь рубанул саблей...

Почти все французские застрельщики оказались смятыми, опрокинутыми и порубанными. Оставшиеся в живых кинулись прочь. И снова пальба и азартно-слепящая горячка погони.

— Стой, ваше благородие! Сто-ой! — услышал он вдруг почти у самого уха срывающийся крик урядника и тут же уловил какой-то глухой накатывающийся гул. — Драгуны, — зло выругался казак и махнул рукою.

— К лесу! Всем к лесу!..

Денис увидел, как из-за ближнего холма на них стремительно летела темная и огромная, как показалось ему, туча тяжелых всадников. Уже видны были развевающиеся конские хвосты на гребнях металлических шлемов и посверкивающие холодным устрашающим блеском вскинутые в небо неестественно длинные и прямые лезвия палашей.

Русская летучая цепь на более легких и прытких конях кинулась к спасительной лесной опушке, где теперь, к несчастью, уже не было способных прикрыть огнем наших егерей, и, влетев в заросли, наконец врассыпную ушла от погони. Правда, кого-то тяжело грохочущая драгунская туча успела накрыть и подмять под себя...

Проскакав какое-то время по лесу, Давыдов скоро убедился, что обочь его никого из своих нет.

Вокруг было на удивление тихо, никакой пальбы более не слышалось. Придя в себя после всего только что пережитого и перечувствованного, он ехал довольно тихо и клял себя за то, что по своей опрометчивости чуть было не погубил всю нашу аванпостную линию.

Уже намереваясь встретить своих, Давыдов из низины поднялся на небольшой взгорок и тут почти лицом к лицу столкнулся с шестью французскими конноегерями, бывшими, должно быть, в наблюдательном разъезде. Всё решили какие-то мгновения. Французы от неожиданности, видимо, чуть призамешкались, и Давыдов дал шпоры лошади, которая вихрем взяла с места. Вслед ему вразнобой застучали выстрелы из карабинов. Мари, должно быть, оказалась раненой. Давыдов почувствовал, как она разом дрогнула на скаку всем телом и хотя не сбавила хода, но задышала чаще и запаленнее. А неприятельские конноегеря, почувствовав легкую добычу, уже мчались следом, обходя слева и справа.

Денис ощутил вдоль спины противный холодок страха. И еще какую-то острую, пронзившую горло обиду за свою глупую беспомощность. Денис не мог даже отстреливаться, пистолеты у седла были пусты, после атаки на фланкеров он даже не успел их перезарядить,

Положение было действительно отчаянным. Мари продолжала скакать, но, как с ужасом понимал Давыдов, из самых последних сил. Один из французов, лошадь у которого была, должно быть, порезвее, настиг его уже настолько, что сумел ухватиться за край развевающейся, схваченной у горла на одну пуговицу шинели. Рванув ее на себя, он чуть было не выдернул Дениса из седла. Слава богу, не выдержала пуговица, и в руках преследователя осталась одна шинель.

Однако Мари, неистово проскакав еще сажень двести, влетела в

какое-то припорошенное снегом болотце, с размаху увязла по брюхо, дернулась и грянулась замертво. Денис, заляпанный жирной коричневой тиной, успел вскочить, намереваясь в последнем отчаянье рубиться до последнего, покуда не сомнут либо не застрелят, и вдруг, еще сам не веря в свое чудесное избавление, увидел, что настигающий его конноегерь, уже почти нависший над ним с обнаженным клинком, круто поворотил коня и помчался куда-то вбок, увлекая своих товарищей. И только тут услышал карабинную пальбу и знакомый казачий посвист.

На тело его разом навалилась какая-то невероятная тяжесть, ноги подогнулись, и Денис, не в силах более с ними совладать, присел на сырую промозглую болотистую кочку возле мертвой Мари.

Сюда к нему подъехали его спасители — казаки все с тем же знакомым урядником.

— Ну, спасибо, братцы, век не забуду, — сказал Денис растроганно...

Вскоре Денис предстал перед Багратионом как был — без шинели, в заляпанном тиной, еще недавно сияющем новизною лейб-гусарском доломане, на чужой лошади. Князь вопросительно вскинул свои разлетные брови. Денис отрапортовал о происшедшем.

— Так это ты с аванпостными во фронте у французов столько шуму наделал? — радостно удивился Багратион. — И как только в голову тебе это пришло! Как нельзя кстати оказалась сия демонстрационная атака! Неприятель своею тяжелой кавалерией успел-таки обойти наших егерей. Еще бы чуть, и не было бы им выхода. Тут-то как раз и началась твоя пальба, чему я и сам поначалу подивился. А французы, видимо, тем паче. Они тут же порешили, что я перешел здесь в отпор всем авангардом, и, оставив егерей наших, кинули сюда свою конницу. Благодаря чему пятый полк вышел в полном составе, не потеряв ни единого человека, а неприятель все движение свое замедлил, видимо, до сей поры в том, что свершилось, еще никак не разберется... Так что — маладец! За дело, тобой учиненное, будешь представлен к награде! — заключил князь и, заметив, что улыбающийся Денис совсем посинел и продрог от холода, велел подать свою знаменитую лохматую бурку и уже с мягким рокотом в голосе добавил: — А это от меня. Взамен утраченной шинели. Бурка сия меня еще в Альпах от стужи спасала. Пусть теперь тебе послужит. Дарю! Ты ее, брат Денис, достоин!..

Впоследствии Денис Давыдов сумеет заслужить немало боевых наград. Но, пожалуй, ни одна из них не будет для него столь дорога и близка сердцу, как эта выдавшая виды, пропахшая пороховым и бивачным дымом славных суворовских походов черная кавказская бурка князя

Багратиона.

Глаза в глаза



*Между враждебных берегов
Струился Неман...*

А. С. Пушкин

Принявшись за свои военно-исторические записки, дотошно изучив многие документы и свидетельства очевидцев и участников боевых действий и присовокупив к ним свои живые впечатления, оставшиеся в памяти, Денис Давыдов будет внимательно и вдумчиво анализировать события этой кампании и неоднократно с печалью и горечью убедится в том, насколько безответственно и бездарно в военном отношении она велась со стороны высшего командования и какого огромного количества бессмысленных, неоправданных жертв стоило это русскому народу. Впрочем, Беннингсена, верховодившего армией и высокомерно не желавшего даже принимать российского подданства, эти потери никогда особенно не интересовали. Такие понятия, как отечество, ратная национальная слава, были для него пустым звуком. Служа не России, а лишь государю, он в этой войне, как и в последующих, более заботился не об интересах пригравшей его державы, а о своих корыстных целях и выгодах. А сии выгоды, как позже убедится Давыдов, окажутся весьма

немалыми, помимо щедрых монарших милостей и наград. Непреложные факты и документы подтвердят, что Беннингсен, состоя в сговоре с хищниками интендантами, где первые скрипки играли представители все той же «немецкой партии», беззастенчиво обирал истекающую кровью русскую армию и сумел составить себе за прусскую кампанию, продолжавшуюся немногим более полугода, баснословное по тем временам состояние. Об этом будет множество гневных разговоров и в войсках и в обществе, однако Беннингсену, продолжавшему неизменно находиться в фаворе у государя, все сойдет с рук. В 1812 году он еще по настоянию Александра I займет должность начальника главного штаба и, как один из самых ярых врагов Кутузова, станет плести против него свои ядовитые и злобные интриги, а его распоряжение, сделанное втайне от светлейшего князя о перемещении корпуса Тучкова на Бородинском поле, чуть было не обернется непоправимой бедой...

Все свои усилия в двадцатых числах января 1807 года Наполеон направлял на то, чтобы, перерезав линию снабжения русской армии, отбросить ее к Кенигсбергу и в конце концов прижать тылом к Фриш-Гафскому заливу. Все марши и перемещения войск, предпринимаемые в эти дни Беннингсеном, как ни странно, лишь способствовали этому плану. Главнокомандующий с каким-то непонятным, слепым упорством и методичностью сам шел в сети, расставляемые ему Бонапартом. Армия же, им ведомая, устав от бесконечных спешных передвижений, смысл которых ни для кого не был вразумителен, начала роптать.

И Беннингсен, до сих пор избегавший серьезных столкновений с французами, наконец, опять же неожиданно для всех, порешил дать при Прейсиш-Эйлау генеральное сражение.

В историю наполеоновских войн оно войдет как одно из самых жестоких и кровопролитных. Для арьергарда Багратиона, прикрывавшего общее отступление армии, это сражение начнется почти двумя сутками ранее. С 24 декабря, столь памятного Денису Давыдову его первым боевым крещением, войска князя Петра Ивановича будут почти непрерывно находиться в огне, сдерживая своими плечами значительно превосходящие силы французов, ведомые самим Наполеоном. Багратиону ценою большой крови придется выигрывать время, надобное русской армии для окончательного сосредоточения и подтягивания растянувшихся по худым, заметенным снегом дорогам артиллерийских батарей и парков.

В памяти Дениса Давыдова эти дни и ночи, прошитые гулом артиллерийской канонады, останутся то усиливающимися, то откатывающимися назад натисками неприятельской пехоты и конницы,

крутыми контратаками наших полков, дерущихся с каким-то отчаянным и отрешенным спокойствием, и тяжелой, сгибающей плечи и звенящей в голове усталостью, поскольку ему, как и всем бывшим в арьергарде в продолжение четырех бесконечно долгих суток, не придется сомкнуть глаз. Останется в его памяти и то, как, жестоко теснимые французами, они дойдут до самого Прейсиш-Эйлау, как начнется яростный бой на улицах города, во время которого он увидит, как будут расти и громоздиться в узких теснинах между домами целые завалы окровавленных трупов, как мелькнет известково-белое бесстрастное лицо тяжело раненного Барклая, как князь Багратион перед подавляющей силой противника выведет наконец терпящий значительный урон арьергард за городскую черту и тут вдруг появится неловко восседающий на коне, негнувшийся Беннингсен, который вместо благодарности князю Петру Ивановичу за понесенные труды, недовольно кривя узкие провалившиеся губы, упрекнет его в попустительстве неприятелю и прикажет сызнова взять только что оставленный по великой необходимости город. И Багратион, гневно полыхнув глазами, с мертвенно-серым от усталости и незаслуженной обиды лицом, сойдет с лошади и, встав со шпагой в руке во главе колонны, сам поведет своих испытанных гренадер и егерей к Прейсиш-Эйлау. И Давыдов вместе с двумя другими адъютантами Петра Ивановича — Офросимовым и Грабовским — тоже оставят седла и пойдут рядом с князем в безмолвную и страшную атаку, после которой у Дениса надо лбом в пышном смоляном чубе навсегда останется снежно-белая поседевшая прядь. Колонна пойдет без выстрела, не прибавляя шагу, на беспощадно-разящий огонь неприятеля и, вплотную приблизившись к французам, ударит в штыки с такою неистовой и ужасающей врага решительностью, что единым махом напроць вышибет его из только что захваченного города.

О губительном смертоносном огне основной баталии, разыгравшейся на следующий день, Давыдов так потом напишет в своем историческом очерке «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау»: «Черт знает, какие тучи ядер пролетали, ревели, сыпались, прыгали вокруг меня, бороздили по всем направлениям сомкнутые громады войск наших, и какие тучи гранат лопались над головой моею и под моими ногами! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание; оно продолжалось от полудня 26-го до 11-ти часов вечера 27-го числа».

Жестокая битва под Прейсиш-Эйлау, в которой и русские и французы потеряли убитыми и ранеными примерно по 25 тысяч человек, не принесла сколько-нибудь значительного перевеса ни одной из сторон. Обе армии

остались на своих позициях.

Беннингсен вскорости, «дабы запастись необходимыми зарядами», покинул поле сражения и отвел войска в том же направлении, куда он двигался и до этого, — в сторону Кенигсберга, чтобы остановиться в его окрестностях.

Восьмого февраля стало известно, что Наполеон, так ничего и не выстояв на месте сражения, начал поначалу медленный, а потом все убыстряющийся отвод своих войск к реке Пассарге. На прусском военном театре установилось временное затишье.

Именно в эти дни и произошла почти невероятная и весьма печальная история, которая надолго врезалась в память Дениса Давыдова.

Отпросившись у князя Багратиона, он поехал как-то из Ландсберга, где размещался арьергард, по личной нужде в Кенигсберг и был немало удивлен, когда узнал от коменданта — знакомого генерала Чаплица, что какой-то раненый французский офицер упорно справлялся о гвардейском поручике Давыдове. Наведя, в свою очередь, справки, Денис узнал, что просьба эта исходила от пленного конно-гренадерского поручика Серюга, и тотчас же вспомнил волнующий рассказ брата Евдокима, называвшего этого неприятельского офицера своим спасителем. Вполне естественно, что Давыдов кинулся на розыски.

Серюга Денис нашел в одном из частных прусских домов, причем довольно богатым, где ему был создан, как успел заметить Давыдов, чуть ли не идеальный уход. Однако поручику ничего, видимо, не могло уже помочь. У него было несколько сабельных ран на голове и на руках и одна от казачьей пики в пах — очень глубокая и, по всей вероятности, смертельная. Пленный неимоверно страдал.

Давыдов представился распластанному без движения офицеру и сердечно поблагодарил его за благородное участие в судьбе брата. И, в свою очередь, со всем пылом вызвался исполнить любое пожелание раненого. Тот слабо улыбнулся и, справясь о здоровье Евдокима, сказал, что ему самому уже ничто не может помочь и он уже чувствует приближение конца своих страданий. Но одна самая последняя просьба у него есть: разыскать кого-либо из его однополчан (он помнил, что среди пленных были конногренадеры), поскольку перед смертью хотел бы хоть раз еще глянуть на форму столь любимого им своего полка.

Как было не уважить подобную просьбу? Денис исколесил город, но разыскал-таки и привел к умирающему двоих рядовых усачей конногренадер. Вместе с этими гренадерами Давыдов проводил тело поручика Серюга на кенигсбергское кладбище...

На фронте было тихо, зато разгорелась «баталия» в главной квартире.

Князь Багратион был зван туда срочно главнокомандующим и возвратился с сумрачным лицом.

— Ну вот сего нам только и не хватало, — сказал он резко, нервно расхаживая по своей штабной избе. — Беннингсен со стариком Кноррингом войну меж собой затеяли. Один начальствование над войсками за собою оставить желает, другой винит его во всех смертных грехах, шлет государю доносы с нарочными и сам норовит на его место, хотя оба друг друга, как говорится, стоят. Вся главная квартира кипит... Разделились на две партии, того и гляди за грудки возьмутся. Никому теперь и не до французов вовсе, со своими бы как совладать... Вот и мне главнокомандующий приказал скакать срочно в Петербург, везти государю какие-то оправдательные его документы, коих он никому прочему, кроме меня, зная мое благородство, как он выразился, доверить не может.

На другой день Багратион отбыл в Петербург. Беннингсен для сего важного для него путешествия даже отдал князю Петру Ивановичу свою венскую коляску.

В эти дни главнокомандование войсками практически не осуществлялось. Главная квартира была целиком занята интригами и распрями. О том, что кампания еще отнюдь не закончена, помнили в эту пору, пожалуй, лишь линейные офицеры да командиры отдельных полков и отрядов.

Так, стало известно, что поручики Сумского гусарского полка Генкель и Обозенко, с которыми Давыдов познакомился еще тогда, когда после отчисления из гвардии следовал к новому месту службы, взяв несколько эскадронов, совершили смелый рейд во французский тыл, захватили множество пленных и учинили среди неприятельских квартирмейстеров и интендантов великий переполох.

По своей же инициативе начал преследование своими казачьими летучими полками отступающей от Прейсиш-Эйлау армии Наполеона и недавно прибывший с Дона атаман Матвей Иванович Платов. Он воистину не давал покоя ретирующимся французам ни днем ни ночью. Бонапарт приходил в бешенство: ему ежедневно докладывали о новых дерзостях казаков — об отбитии ими транспортов с продовольствием и артиллерийскими припасами, о взятии пленных, о разгроме полковых и даже корпусных штабов. Как раз с этих дней имя Платова обрело европейскую известность.

Денису Давыдову 15 февраля представился счастливый случай познакомиться с удалым донским атаманом. В этот день Алексей Петрович

Ермолов задумал навестить своего давнего приятеля и сотоварища по костромской ссылке и взял с собою к Платову и его. Матвей Иванович, временно квартировавший в Гутштадте и занимавший дом местного бургомистра, встретил Ермолова с распростертыми объятьями. Обнялись, троекратно, по-русски, расцеловались. Алексей Петрович представил Дениса.

— Значит, двоюродный братец, — радушно улыбнулся Платов, — а это из каких же Давыдовых?

Узнав, что перед ним сын бригадира Василия Денисовича, обрадовался пуще прежнего:

— Как же, батюшку твоего еще по Очакову помню!..

...Погостевав вечером у радушного Матвея Ивановича Платова, Денис, распрощавшись с добрым хозяином и Алексеем Петровичем Ермоловым, направившимся к главной квартире по каким-то артиллерийским надобностям, решил завернуть к своему весьма хорошему знакомому, молодому 30-летнему генералу князю Алексею Григорьевичу Щербатову, которого в Петербурге неоднократно встречал в доме Нарышкиных. Тем более что у него, по словам атамана, вот-вот должно было начаться весьма жаркое дело: в ту сторону следовали войска маршала Нея.

По дороге Давыдов, к радости своей, повстречал друга своего — князя Бориса Антоновича Четвертинского с офицером Левашевым. Оба они, услышав об угрожающем продвижении неприятеля, тотчас же согласились отправиться вместе с Денисом.

Вскоре предсказание Платова сбылось: французы навалились на весьма небольшой отряд князя Щербатова, составленный из Старооскольского и Костромского пехотных и Ольвиопольского гусарского полков при нескольких легких пушках, значительно превосходящими силами. И дело завязалось действительно крутое и жаркое. Несмотря на численный перевес неприятеля, генерал Щербатов с присущим ему мужеством и неустрашимостью повел бой вдоль гутштадтской дороги, поскольку никуда почти в сторону свернуть было нельзя из-за ростепельной непролазной грязи.

В этом тяжелом оборонительном бою командиру отряда очень сгодились нечаянно прибывшие к нему незадолго перед этим друзья-офицеры. В бумагах Дениса Давыдова сохранится благодарственный аттестат, выданный ему после сего сражения бригадным генералом 18-й пехотной дивизии князем Щербатовым, в котором будет сказано, что «находящийся при нем добровольно во время всего дела штаб-ротмистр Давыдов способствовал ему в размещении войск, с неустрашимостью и

точностью отдавал его приказания под картечью и пулями», а когда отряд начал отступление, то Давыдов был послан с двумя пушками «для постановления на выгодную высоту, что и исполнил с поспешностью, через это неприятелю нанесен был великий вред».

Наполеон со своею армией, обескровленной под Прейсиш-Эйлау, конечно, покуда не мог отважиться на какое-либо более серьезное действие. Он ждал подкреплений, во Франции в спешном порядке проходили сразу два рекрутских набора. Корпусу же Нея Бонапартом, как скоро выяснилось, поставлены были ограниченные задачи — «попугать русских» и оттеснить подальше от реки Пассарги, по которой располагались французские продовольственные магазины так докучавших ему платовских казаков.

На фронте, не имевшем четких, определенных очертаний, поскольку русские войска, к этой поре почти начисто лишенные командованием снабжения, бродили с места на место в довольно тщетных поисках пропитания и фуража, установилось опять относительное затишье, прерываемое лишь частными аванпостными стычками и отнюдь не прекратившимися летучими набегами все тех же казаков.

В двадцатых числах февраля из Петербурга вернулся Багратион. Он рассказал, что несколько раз встречался в столице с государем и подробно докладывал ему о весьма пагубной обстановке, сложившейся в действующей армии. Александр I намеревался вскорости вместе с гвардией и великим князем Константином прибыть на прусский военный театр и принять все меры по утишению страстей в главной квартире и по улучшению снабжения и пополнения войск.

Настроение у Багратиона, судя по всему, поднялось, он выглядел прибодрившимся и повеселевшим.

Вновь приняв команду над авангардом, князь Петр Иванович деятельно принялся за устройство вверенных ему войск. Лучшие генералы армии, уставшие от бездействия и безначалия, стали проситься к нему, заранее зная, что с Багратионом скучать и попусту мыкаться по прусской территории наверняка не придется.

Однако помышлять о каких-то серьезных действиях покуда было неимоверно сложно. Войска, почти напрочь лишенные припасов и фуража, бедствовали. Князь Петр Иванович, гневно сверкая глазами, сотрясал главную квартиру, громил интендантов и разного рода хозяйственников, все клятвенно божились и обещали поправить положение, а дело меж тем почти не менялось.

Сотнями, как-то враз стали падать истощенные до крайности лошади.

Голодные солдаты с землистыми безразличными лицами бродили по раскисшим от грязи окрестным полям, ковыряя штыками и шомполами полусгнивший летошний картофель. Некоторые из них, окончательно ослабев, опускались прямо в истоптанную слякоть и более не подымались...

У Дениса Давыдова, видевшего все это, сердце кипело от бессильного негодования и боли. Война открывалась ему с новой и, пожалуй, с самой тягостной своей стороны. Крепкие, сноровистые русские парни и мужики вынуждены были вдали от отчего дома скитаться по чужой неприветливой земле и умирать неизвестно за что, самое обидное, даже не от вражеских штыков и ядер, а от изнурения, грязи, болезней и голода. Постигать это умом и сердцем было нестерпимо горько.

Вместе с тем в душе Давыдова, часто бывавшего по долгу службы в главной квартире и хорошо знавшего по лоснящимся, самодовольным и сытым лицам истинных виновников этих бедствий, копилась и искала выхода ярая гневная желчь к высокопоставленным мошенникам и казнокрадам. «Нет выражения достаточно сильного, чтобы описать гибельное состояние нашей армии!.. — восклицает он в эти дни. — Клеймо проклятия горит на всех тех, кои не хотели из своекорыстных видов печься о благе и довольстве тысячей храбрых, вверенных их попечению. Да будет полное презрение их соотечественников наградою им за их вполне преступные и предосудительные действия. Да послужит неумолимое правосудие к изобличению этих злодеев рода человеческого...»

В это время Давыдов еще верил в торжество справедливости и в непременное наказание виновных. Однако скоро, когда к армии прибудет государь, Денис с не меньшею горечью убедится, что с голов сиятельных хапуг и лихоимцев, доведших войска до столь ужасающего бедствия, как говорится, и волосы не падет. Те же самые лица, морившие солдат голодом, окружают приехавшего царя подобострастьем и льстивым угодничеством в Бартенштейне, где разместится его походная ставка и куда переберется спешно главная квартира, и будут с не меньшим рвением, чем обворовывали казну, трудиться над организацией и устройством всевозможных высочайших потех и увеселений.

Беннингсена, конечно, царь не дал в обиду. Видимо, хорошо помнил, сколько он обязан его решимости, проявленной в злополучную мартовскую ночь в Михайловском замке. Было объявлено монаршее подтверждение о дальнейшем полномочном исполнении им полномочий главнокомандующего.

Впрочем, пребывание императора на военном театре принесло и кое-

какие положительные плоды. Хищники-интенданты, видимо, все же страшись близости государя к войскам, несколько поуменили свои аппетиты и улучшили продовольствование армии. Наконец кое-чего стало доходить и до авангарда, и, слава богу, люди и лошади в полках перестали падать от истощения. Это уже можно было счесть за великое благо.

Между прочим, Александр I пребывал при армии не так уж долго. Он провел несколько высочайших смотров отдельным частям, в том числе и авангарду Багратиона, коим остался будто бы доволен. Затем подписал с большою пышностью в Бартенштейне новый договор с Фридрихом-Вильгельмом III, в котором клялся Пруссии в вечной дружбе и в готовности неукоснительно и далее отстаивать ее интересы (этот договор вскорости при свидании с Наполеоном будет им с необычайной легкостью попан), после этого, демонстративно подчеркнув, что он самолично не желает вмешиваться в ход кампании (из Аустерлица им кое-какие выводы, видимо, все-таки были сделаны!), государь со своею свитою, министрами и чинами двора отбыл в сторону Тильзита, где намеревался дожидаться благоприятных для себя известий.

Пока совершались все эти события, Наполеон времени даром не терял. Обратив основное свое внимание на Данциг, он добился, что 13 мая прусский генерал Калькрейт, оборонявший эту крепость, подписал капитуляцию. Сорокатысячный осадный корпус маршала Лефевра, развязав себе руки, присоединился к основным силам Бонапарта. Подошли резервы и из Франции. За счет пушек, взятых у пруссаков, Наполеон значительно укрепил огневую мощь своей артиллерии.

Именно в этот момент, когда предводитель французов почувствовал свой явный перевес в силах, Беннингсен, подталкиваемый великим князем Константином, наконец отважился начать наступление. Однако его приказы были столь неуверенны, а порою противоречивы, что русские войска, выйдя к реке Пассарге, продолжали топтаться вдоль ее берегов, ничего серьезного не предпринимая.

Бонапарт, конечно, сразу же воспользовался нерешительностью главнокомандующего русских и перехватил инициативу в свои руки.

Второго июня грянул Фридланд.

Трудно себе представить позицию пагубнее и несуразнее той, которую избрал для русской армии при этом городе Беннингсен. Он разместил войска на противоположном от Фридланда берегу, перед лесом, занятым французами, в тесной пойменной долине. Непосредственно к тылу армии примыкала довольно быстрая и мутная река Алле с четырьмя понтонными мостами. При таком расположении любая, даже малая неудача могла

обернуться большою бедою, поскольку русские заранее были лишены маневра и нормальных путей к отступлению.

Не было произведено и должной разведки. Беннингсен полагал своими сосредоточенными силами обрушиться против оторвавшейся, как он думал, от своих главных сил гренадерской дивизии Удино. Однако Наполеон, мгновенно оценив рискованную обстановку, в которой оказались по воле главнокомандующего русские войска, кинулся сюда сам со всею армией.

Урон русских войск, поставленных в такие условия, что они не смогли не только продвигаться навстречу противнику, но и как следует оборониться, был страшен.

Оставив за плечами заваленные трупами узкие улочки Фридланда, армия начала поспешное отступление сначала за Прегель, а потом, когда стало известно, что Кенигсберг, едва дотуда дошла весть о поражении русских, растворил свои городские ворота перед французами, — к Неману.

На долю Багратиона, при котором все это время неотлучно находился Денис Давыдов, как всегда, выпало самое тяжкое: сдержать натиск ободренного успехом неприятеля и тем самым спасти армию от окончательного разгрома. Поредевшие полки арьергарда, выдержавшие перед тем десять дней почти непрерывных боев и принявшие на себя наравне с прочими страшный фридландский удар, буквально валились с ног от изнеможения и усталости.

Князь Петр Иванович в сопровождении адъютантов подъезжал к своим понуродвигающимся маршевым колоннам и, сняв простреленную в нескольких местах генеральскую шляпу с черным плюмажем, кланялся солдатам и говорил хриплым, срывающимся голосом:

— Не приказываю, братцы. Прошу... Снова надобно драться. Окромя нас, некому. Надо соблюсти честь России. Не приказываю... Прошу...

Маршевые колонны тут же перестраивались в боевые линейные порядки и привычно брали на изготовку ружья.

— Спасибо, братцы... Я с вами, вы со мною... Как всегда, — растроганно говорил Багратион.

В эти суровые минуты простого, но великого человеческого мужества Денис Давыдов невольно чувствовал, как влажнеют его глаза, а к горлу подкатывает комок.

И так будет до самого Немана.

Наконец все главные русские силы были на правом берегу.

По гулкому деревянному мосту в потрепанных мундирах, пропыленные и закопченные в форсированных маршах и непрерывных

стычках с неприятелем, но в полном боевом порядке проходили последние части арьергарда Багратиона.

По улицам Тильзита петляли лишь несколько десятков казаков летучего прикрытия да прибившиеся к ним, пугающие местных жителей экзотически-свирепым видом калмыки и башкиры — меднолицые, в островерхих меховых шапках, в пестротканых халатах, вооруженные луками и стрелами, — из резерва, спешно подведенного князем Лобановым-Ростовским. По мысли военного ведомства, конные азиатские полки должны были продемонстрировать Наполеону, что на него поднимаются все подвластные России народы...

Однако после жестокого урона, понесенного русской армией по милости Беннингсена под Фридландом, эти демонстрации особого впечатления не произвели. Вернее, было попросту не до них. Французы, впервые увидевшие степных лучников на подступах к Тильзиту, сразу же прозвали их «северными купидонами».

Князь Багратион, как всегда при отходе арьергарда, отослав вперед штабных, следовал в самом хвосте колонны. Почти рядом с ним, приотстав на половину корпуса коня, ехал Денис Давыдов. Глядя на генерала, видел, как тот осунулся и еще более почернел за эти тяжкие дни. Шутка ли, прикрывая главные русские силы, сдерживать своими плечами всю охмелевшую от успеха французскую армию во главе с самим Наполеоном. И не только мужественно и стойко отбиваться, не давая себя обойти, но и наносить ответные весьма чувствительные удары. Вон ведь как распушили Ланна да и коннице Мюрата, вздумавшего одним махом опрокинуть русский арьергард, досталось изрядно...

Говорят, после этого уязвленный великий герцог Бергский, первый щеголь Франции, чрезвычайно склонный к театральным жестам, поклялся на своем дамасском клинке, украшенном знаменитой гравировкой «Честь и дамы!», что в долгу у Багратиона не останется.

Кто-кто, а Денис Давыдов знал преотлично, что князь Петр Иванович смертельно не любит отступать. Он сразу мрачнеет, жалуется на всевозможные хворости, да и впрямь выглядит нездоровым: его курчавые пышные бакенбарды обвисают, внушительный горбатый нос еще более заостряется, а быстрый, горячий взор меркнет и затягивается прохладной сизоватой дымкой.

Вот и сейчас он едет насупившись, молча. Несмотря на теплынь, на плечи его наподобие бурки накинута отороченная серым каракулем суконная бекеша, застегнутая у горла на одну пуговицу.

Мост через Неман кажется бесконечно длинным.

Сзади от Тильзита глухо, как удары деревянными палками, доносятся ружейные выстрелы. Видимо, казаки прикрытия схватились с французскими вольтижерами.

На мосту, не обращая внимания на проходящий арьергард, чумазые и потные солдаты пионерного батальона возятся со смоляными бочками и пороховыми зарядами. Ими командует молоденький поручик без шляпы, с задорно торчащим петушиным хохолком на голове, с наспех перемотанной то ли раненой, то ли обожженной рукой.

— Никитенко! — кричит он ломающимся мальчишеским баском. — Смотри у меня, чтобы все было как надобно, не как в прошлый раз...

— Дак в прошлом разе хвители трофейные были, итальянские, что ли, разве ж это хвители? — оборачивается кряжистый Никитенко с добродушным, густо облитым веснушками лицом. — А нынче хвители я сам крутил, надежные, не сумлевайтесь, ваше благородие. Как команда будет, так и полыхнёт. Знатно полыхнёт. И опять же, разе мы не понимаем, что Бонапартию на ваш берег хода давать никак нельзя. Здесь ведь как-никак уже Россия-матушка начинается...

Денис Давыдов, приотставший от князя возле пионеров, улыбнулся про себя спокойным и рассудительным словам и, подстегнув коня, вдруг почувствовал, что солдатская уверенность легко передалась и ему. И неутоленная обида, и растерянность, и сознание собственного бессилия перед трагичной неизбежностью последних событий, которые тяготили его после Фридланда и которых не могло заглушить даже ожесточение арьергардных стычек с неприятелем, как бы вдруг отступили куда-то, и он скорее еще не сознанием, а каким-то внутренним обостренным чутьем угадал в себе крепнущую готовность к чему-то гораздо более значительному, чем все, что было до сей поры.

— Здесь... Россия-матушка начинается... — протяжным эхом отозвались в его душе слова веснушчатого Никитенко.

Начиная открывать для себя в них какой-то глубокий и сокровенный смысл, так естественно и обстоятельно понимаемый простым солдатом, Денис Давыдов, может быть, впервые с такой неизбежной и пронзительной ясностью увидел всю свою блестящую кавалергардскую и адъютантскую службу и свою болезненно-бесшабашную честолубивую храбрость, с которой он бросался в самые опасные места, часто и без особой на то надобности, а лишь для того, чтобы поддержать столь лестную для себя репутацию отчаянного рубаки и сорвиголовы...

Конь на ходу нетерпеливо потянулся вперед, качнулся, и Денис Давыдов и слухом и всем телом ощутил, как лошадиные копыта с гулкого

деревянного настила переступили на податливо-мягкую землю цветущей луговой поймы.

И он не знал, сколько прошло времени, пока тянулся этот бесконечно длинный неманский мост: то ли несколько стремительных, как карточные пули, минут, то ли половина жизни...

Выстрелы со стороны Тильзита застучали чаще.

Судя по всему, на казаков прикрытия и степных лучников французы наваливались уже значительными силами.

После переправы князь Багратион не покинул седла. Лишь сбросил на руки расторопного вестового суконную бекешу и остался в своем строгом полевом генеральском мундире без шитья и орденов, с одним неизменным Георгием на шее, полученным еще из рук Суворова. Он ждал, когда на залидном неманском лугу окончат построение части его арьергарда, чтобы по обыкновению поблагодарить их за службу.

И князь Петр Иванович и его адъютанты с тревогой посматривали в сторону Тильзита, откуда еще слышалась ружейная пальба: успеют ли казаки прикрытия оторваться от преследования и проскочить мост, который по приказу должен быть предан огню?..

Прошло еще несколько томительно-тягучих минут.

Наконец на крутом противоположном берегу замелькали конные фигуры. Они выскакивали из тесных каменных улиц городка и стекались к узкой горловине мостового спуска. И вот уже деревянный настил загремел под копытами казачьих и низкорослых степных коней.

И почти тут же из улочек Тильзита выплеснулась тяжеловесная лава французской регулярной кавалерии. Вспыхнули на солнце сверкающие панцири кирасир и горящие полированной бронзой хвостатые каски драгун. Их старание настигнуть, смять и растоптать горстку казаков и «северных купидонов», видимо, было так велико, что в теснине спуска произошло замешательство, несколько лошадей сшиблось, кто-то опрокинулся, и яростный поток разгоряченных всадников закружился на месте.

Однако самые резвые продолжали преследование. Впереди проскочивших к берегу кирасир и драгун на тонконогом стройном коне, посверкивая обнаженным клинком, скакала фигура в ярко-желтом, канареечном наряде, с длинными развевающимися темными волосами и летящими по ветру за плечами пестрыми шарфами и шальями.

Денис Давыдов тотчас узнал Мюрата. В столь фантастическом одеянии мог щеголять во французской армии только герцог Бергский.

На полном скаку он первым влетел на мост.

Но тут громыхнули пороховые заряды, с шипением и свистом взметнулись в небо фонтаны искр. Почти перед самой мордой лошади Мюрата вскинулись языки пламени.

Полыхнуло, как и обещал Никитенко, знатно. С ревом и треском огонь начал закручиваться в длинные ярые жгуты.

Мюрат картинно вздыбил коня. А потом, медленно повернув его, шагом поехал прочь. Благо с русского берега не стреляли. «Эх, поспешил поручик со своими пионерами, — подумал Денис Давыдов, — еще бы немного, и не в меру резвый герцог в горячке сам бы в плен пожаловал. Вот была бы потеха!...»

Выйдя к берегам Немана и впервые увидев с крутого откоса затянутую синей дымкой, пугающую своей необозримой бесконечностью русскую равнину, Наполеон со всею очевидностью понял, что пора заканчивать затянувшуюся кампанию.

Он, как всегда, безошибочно угадал, что война достигла своей высшей критической точки. Сейчас она напоминала вздыбленную в яростном порыве лошадь, которая рубит передними копытами воздух. Долго ее в этом положении не удержишь, как бы ни были крепки поводья и уверенна рука седока. Если чуть переусердствовать, можно вылететь из седла...

Успехи, которых добился Бонапарт в этой кампании, были немалыми. Два года назад Франция покоилась в своих границах за Рейном. А теперь, оцетинившись штыками, она вплотную придвинулась к пределам России. Две великие, противостоящие друг другу империи теперь не разделял никто.

Однако идти дальше на восток Наполеон пока и не помышлял. Впереди лежала Россия с ее немыслимыми расстояниями, грозная и бездонная. Позади — Пруссия, которая хотя и лишилась армии, но была отнюдь не безопасной. Народ ее, оскорбленный в своей чести и ожесточенный против завоевателей, того и гляди возьмется за оружие, было бы только к кому пристать. Ну хотя бы к той же Австрии, правда до сих пор еще оглушенной Ульмом и Аустерлицем, но уже приходящей в себя и обладающей к тому же все еще внушительной 340-тысячной армией. По последнему докладу озабоченного начальника главного штаба Бертье, к которому стекается вся агентурная военная информация, австрийцы уже двинули 80-тысячный авангард в Богемию, угрожая путям сообщения великой армии с Францией.

Да и в самой первой империи далеко не все благополучно.

Продовольственные бунты в Вандее и Нормандии пришлось подавлять силой оружия. А министр полиции Жозеф Фуше, этот обтекаемо-скользкий тип с вкрадчивыми манерами сельского кюре и ухватками профессионального мошенника, которому пришлось пожаловать титул герцога Отрантского за помощь в перевороте 18 брюмера, доносит о бесконечных заговорах роялистов и коварных происках Англии. Добрая половина этих враждебных актов наверняка инспирирована им самим для демонстрации собственного высокого рвения в борьбе с недругами императора. За этой бестией нужен глаз да глаз. Да и за прочими — тоже. Не зря Наполеон, помимо жандармерии обязательного и хваткого Савари, приглядывающего за Фуше, был вынужден создать еще и свою личную полицию во главе с флегматичным, но пока безраздельно преданным Дюбуа, тайно предписав ему строго следить за обоими учреждениями сыска и надзора. Сам Дюбуа, на всякий случай, конечно, тоже остался не без присмотра.

Все более беспокоили Наполеона и братья-масоны. С ними Бонапарт, как ему казалось, вел особо тонкую и сложную игру. Самые влиятельнейшие из них, включая все того же Фуше, швейцарского банкира Халлера и многих других, своими хитроумными и запутанными интригами всячески способствовали его приходу к власти. И конечно, ждали, что он будет править по их указке и внушению. И Бонапарт не спешил их в этом разуверить.

Но, официально приняв масонство под свою высокую руку, Наполеон прежде всего стремился прибрать его к рукам.

С благословения императора гроссмейстером ложи «Великий Восток», объединявшей восемьсот двадцать шесть лож и триста тридцать семь масонских капитулов Франции, был провозглашен его родной брат Иосиф, незадолго до этого объявленный королем Обеих Сицилии. Ему в помощники Наполеон дал своего шурина принца Мюрата. В списках братьев числились имена маршалов Ожеро, Массены, Ланна, Лефевра, Сульта и Мортье, статс-секретаря Симеона, главного судьи Ренье, генерал-прокурора Мерлина и множество других высокопоставленных лиц из его окружения.

Поскольку в стране господствовал милитаристский дух, то и масонство стало военным. Новому властителю Франции нравилось, что в войсковых ложах недавно посвященные в братство обучаются шагу и воинским артикулам.

И все же отлично натренированным чутьем политика и интригана Наполеон постоянно, особенно в последнее время, ощущал какую-то

смутную, неотвратимо надвигающуюся опасность. Причем опасность пострашнее взрыва адской машины на узкой парижской улочке Сен-Никез в тот вечер, когда он спешил в оперу на первое представление оратории Гайдна «Сотворение мира». Тогда лишь скорость мчавшегося во весь опор экипажа Наполеона спасла его от гибели. В отставшей на несколько десятков метров карете Жозефины вылетели все стекла. Ужасное зрелище, представшее в тот момент его глазам, он запомнил на всю жизнь.

В ходе следствия, рьяно проводимого Фуше, сначала обвиняли и казнили на эшафоте якобинцев, потом роялистов. Среди тех и других мелькали братья-масоны. Но это были мелкие исполнители, с которыми расправа вершилась на удивление скоро. А кто стоял за всем этим? Нити темных связей уходили не только к берегам враждебного Альбиона, но и в столицы союзных дружественных держав, и еще дальше — в Америку...

Через несколько месяцев после взрыва на улице Сен-Никез в зябком Петербурге, в только что построенном, нелепо огромном, выкрашенном в резкий красный цвет неприступном Михайловском замке с непонятною надписью на фронтоне «Дому Твоему подобает святыня Господня в долготу дней» был удушен скользкими офицерскими шарфами русский император Павел I, с которым Наполеон только успел наконец наладить добрые отношения.

И опять говорили о коварных интригах Лондона, о злодействе английского посла в Петербурге лорда Уитворда и подданного британской короны, ганноверца запутанного происхождения Левина Августа Теофила Беннингсена, нынешнего главнокомандующего русских, которого они простодушно величают Леонтием Леонтиевичем. Этот, кстати, в ту злополучную ночь лично орудовал в Михайловском замке.

Говорили, конечно, и о причастности к петербургскому преступлению и самого наследника Александра, что ему не терпелось, даже ценой жизни отца, водрузить на свою голову монаршую корону.

Все это было правдой. Но далеко не полной правдой, ибо у нее была и теневая сторона, за которую смертному заглянуть было не дано.

Однако Наполеону, «любимцу Предвечного», как официально и возвышенно именовали его на сборищах «Великого Востока», от высокопоставленных пастырей «братства» стало известно и кое-что еще: при Павле с известных российскому правительству масонов была взята строжайшая подписка не возобновлять деятельности лож без особого на то распоряжения, которого от самодержца так и не последовало. За эту подписку, столь повредившую успеху масонства в России, Павел I мгновенно при всех монарших дворах Европы был назван отъявленным

самодуром и полупомешанным, получил презрительную кличку «чухонца с движениями автомата», а вскорости, поплатившись репутацией, поплатился и жизнью...

Читывал Наполеон в свое время и собственноручное признание принца бурбонской крови, герцога Орлеанского, ставшего ярым республиканцем и гордо подписывающегося Луи-Филипп-Жозеф Эгалите¹⁹, прямодушие и честность которого, кстати, не могли опорочить даже враги. Втянутый в масоны и даже избранный для престижа мастером главной французской ложи, убедившись в зловещем ее свойстве, он начисто и публично разорвал с ней всяческие связи.

Читая признание бывшего великого мастера, Наполеон выделил в нем тогда самое важное для себя: глава французских масонов, громко именовавшийся гроссмейстером, не знал, из кого состояло сообщество, в котором он столь долгое время председательствовал.

Впрочем, а многое ли изменилось с той поры? Что знает об истинных целях и двигательных пружинах масонства его братец Иосиф, самодовольно грохающий молотком на торжественных, обставленных мистической пышностью собраниях «Великого Востока»? А его первый помощник Мюрат?..

В отличие от многих своих союзников и противников Наполеон, может быть, как никто, умел тщательно анализировать и связывать в единую цепь разрозненные и как будто бы далекие друг от друга факты. Объявив себя народным монархом, он не хотел повторять роковых ошибок всех прочих венценосцев. Заботясь о себе, он заботился о будущей династии наполеонидов, которой, он в этом не сомневался, суждено владеть миром.

Вместе с мрачными предчувствиями и тревожными опасениями здесь, на берегу Немана, вплотную придвинувшись во главе огромной армии к пределам России, Наполеон, как все уязвленные когда-то мстительные люди, испытывал и тайное, тщательно скрываемое злорадство, которое он не хотел раскрывать никому.

Прорвавшись к головокружительным высотам власти, Бонапарт никогда не забывал тот промозглый зимний день в Ливорно в 1789 году, когда он, двадцатилетний артиллерийский поручик, без сантима в кармане, в обшарпанном волглом мундире и потрескавшихся намоклых ботфортах пришел наниматься на русскую службу.

Тогда могущественная и неутомимая Екатерина II вела очередную кампанию против турок. По ее повелению владимирский генерал-губернатор Иван Заборовский, командующий экспедиционным корпусом,

приехал в Ливорно, чтобы приглядеть для ратных дел христиан-волонтеров, которых в средиземноморских краях в ту пору можно было наберечь предостаточно. Брали воинственных албанцев, расторопных и предприимчивых греков, особое предпочтение отдавалось корсиканцам, прошедшим английскую выучку. Однако всех иностранных офицеров зачисляли в русский корпус с понижением в чине.

Едва услышав о наборе, Бонапарт подал прошение о готовности служить российской государыне, но с обязательным сохранением за ним чина поручика.

И незамедлительно получил из походной канцелярии Заборовского лаконичный отказ. Проявив свойственные ему с ранних лет упорство и настойчивость в достижении цели, Наполеон с превеликим трудом добился-таки, чтобы его принял глава русской военной миссии.

Иван Александрович Заборовский почтил захудалого поручика Бонапарте своим благосклонным вниманием в снятом по приезду в Ливорно пышном старинном особняке по соседству с ратушей, просто, по-домашнему, во время обеда, вернее, когда он уже откушал чем бог послал и только что приступал к десерту.

Пройдя в залу, Наполеон почтительно остановился у высоких резных дверей. Из его хлюпающих ботфортов тотчас же натекла на сияющий паркет грязноватая лужица.

Жарко натопленная зала полыхала всеми канделябрами и люстрами, свет которых переливался и множился в массивном столовом серебре и тяжеловесном богемском хрустале.

Генерал, отличившийся еще в Семилетней войне и известный тем, что, преследуя разбитого турецкого сераскира, ближе всех прочих русских полководцев подходил к Константинополю, сидел за огромным столом один, без парика, в восточном халате, затканном немислимыми цветами, из-под которого выбивалась молочная пена тончайших голландских кружев, и ел с ножа большую, исходившую медовым соком грушу. Несколько других, таких же округлых и сочных, золотились в стоящей перед ним вазе.

Груши сами по себе даже здесь, на юге, в эту пору были редкостью. Но таких великолепных, тяжело-прозрачных, наполненных живым загустевшим солнцем плодов Наполеону видеть доселе не приходилось.

Он чувствовал, что его начинает слегка поташнивать от голода.

Мимо него по паркету, мягко шелестя шелковыми ливреями, почти бесшумно скользили, освобождая стол от излишних блюд, фиолетовые лакеи с неестественно белыми лицами. Вдруг качнулся и уплыл куда-то в

сторону и сам российский генерал. Остались лишь эти благоухающие зноем груши и его холеные руки — в одной округлый блестящий нож, в другой — надрезанный плод с лениво ползущей к кружевному запястью тягуче-сладкой струйкою сока...

Неимоверным усилием воли Бонапарт отринул от себя это проклятое наваждение и связно и упрямо изложил свое прежнее прошение.

— Само по себе честолюбье твое, сударь, — Заборовский окинул величественным взглядом многоопытного вельможи щуплую, коротконогую фигуру поручика Бонапарте, — может стать и похвальным, но токмо не применительно к державе, на службу к коей ты проситься изволишь... Подпоручика я тебе дам, а более — уж не взыщи. Ибо достоинств твоих покуда не ведаю. Вижу лишь, что взглядом быстр да строптив не в меру. Господ же офицеров своих я по делам их ратным жалую. И никто, слава богу, пока не в обиде.

Заборовский отрезал еще ломтик податливой душистой мякоти, положил на язык и сладостно прикрыл глаза. Потом опять обратил взор в сторону просителя:

— Да и то сказать, что чином подпоручика армии российской гнушаться тебе, мусью, как я полагаю, резону нету. За честь посчитать должен!.. — И еще раз, уже твердо, повторил: — За честь!..

— Ну тогда я пойду к туркам, — вспыхнув, как порох, и сверкнув глазами, резко бросил Наполеон. — Они мне тотчас же дадут полковника... И вы еще услышите мое имя!..

— Ну что же, воля твоя, мил друг, — снова ровным и спокойным голосом ответил Заборовский. — Ступай к басурманам. Они, может, и вправду тебя полковником сделают. Да ведь одна беда — бьем мы турку. Как бы и тебя ненароком не зашибить....

И генерал снова, теперь уже всецело, занялся грушею.

Наполеон, поняв, что аудиенция окончена, повернулся и, раздраженно стуча ботфортами, вышел из залы. Когда он спускался с лестницы, бесстрастный фиолетовый лакей шел за ним следом и лохматою щеткой подтирал оставшиеся после него следы.

Однако, поостыв на скользком, пахнущем рыбою холодном ливорнском дожде, а потом снова помыкавшись какое-то время в тоске и безденежье, Наполеон еще раз решил попытать счастья на русской службе. Он подал новое прошение прежнего содержания, но на этот раз на имя генерала Тимора — другого начальника русской военной экспедиции. И опять получил незамедлительный и твердый отказ.

Этого Наполеон не забывал никогда. Не раз и не два с горечью и

желчью он перебирал в памяти мельчайшие детали этой истории. И убеждался, что помнит все, как будто это было вчера, хотя прошло уже немало лет. Но все эти годы где-то в глубине души он сознавал, что против России его толкали не только политические и государственные интересы, которые он легко отождествлял со своими собственными, но и неутоленная, глубоко личная и весьма мелочная обида незадачливого наемника и просителя, которому отказали в желаемом месте.

Отправляя через несколько месяцев после Тильзита своим полномочным послом в Петербург благородно-покорного Армана де Коленкура и давая ему подробнейшие инструкции, Наполеон не преминет подчеркнуть:

— Подавите русских неслыханной роскошью. Ваша кухня должна быть самой изысканной и шикарней в Петербурге. Никогда не жалеете денег на фрукты. Пусть о грушах на вашем столе ходят легенды...

«Почему именно о грушах?» — молчаливо удивится тогда Коленкур, но уточнить пожелание повелителя не решится.

Предписание Бонапарта будет выполнено неукоснительно. Слава о кухне французского посольства загремит на всю северную столицу. Повара Коленкура, чародея-кулинара Тардифа, воспоет Пушкин. А груши для посольских приемов и раутов станут выписываться из Персии по баснословной цене — по сто рублей за штуку. И это, конечно, отметят в своих письмах и дневниках пораженные современники.

Восьмого июня поутру Денис Давыдов с поручением от князя Багратиона приехал в главную квартиру, располагавшуюся в Амт-Баублене.

Резиденция Беннингсена, обосновавшаяся в громоздком, похожем на замок доме поспешно отбывшего из столь опасной порубежной зоны какого-то литовского магната, как всегда, была полна самого разномастного, праздно шатающегося люда и напоминала шумное торговое заведение или клуб, но уж никак не штаб действующей армии.

«Это был рынок политических и военных спекуляторов, обанкрутившихся в своих надеждах, планах и замыслах», — презрительно и зло напишет позднее о ставке главнокомандующего Денис Давыдов, рассуждая о причинах неудач наших войск в кампанию 1807 года.

Его всегда тревожило и возмущало то, что в присутствии этой разномастной толпы Беннингсен не только отдает приказы и распоряжения по армии, но и, раскинув на полу карты, со своими генералами квартирмейстерской части громогласно обсуждает и намечает маршруты боевых маневров русских частей и диспозиции предстоящих сражений...

Главная квартира в это утро гудела как растревоженный улей.

Беннингсен, оказывается, уже снесся с французами и предложил им заключить перемирие, столь желаемое Наполеоном. Об этом главнокомандующий уведомил государя, который находился где-то поодаль от армии. И вот сейчас в ставке ждали французских парламентариев.

Новость эта обсуждалась в главной квартире во всех углах.

Английские военные агенты, готовые сражаться с корсиканским узурпатором до последнего русского солдата, чопорно поджимали губы и не скрывали своего недовольства и раздражения.

Явно скучали и пруссаки. Они тоже были за военные действия, хотя от прусской армии остался лишь шеститысячный отряд Лестока, который они упорно продолжали называть корпусом.

Среди русских мнения разделились. Одним война неизвестно за что и мыкания по чужим краям изрядно надоели. И они радовались скорому возвращению к московским и петербургским балам. Другие, напротив, рвались в бой, видя в наполеоновских полчищах, вышедших к рубежам России, серьезную угрозу отечеству. И готовы были лечь костями, но не пропустить врага в родные пределы. Среди последних был и Денис Давыдов.

Вскоре в сопровождении эскорта из тяжеловесных гвардейских кирасир с ответом на предложенное Беннингсеном перемирие прибыл из Тильзита адъютант маршала Бертье, племянник Талейрана, Луи-Эдмонд де Перигор.

Денис Давыдов сразу же узнал его. Три года назад он неоднократно встречался с ним в Петербурге на балах и светских раутах. Тогда Перигор числился при французском посольстве и выглядел совсем мальчишкой вузеньком по парижской моде, обтягивающем фигуру фраке.

Сейчас он заметно возмужал. Его миловидное, почти девичье личико обрело более строгие, холодновато-надменные черты. Это подчеркивал и блестящий гусарский мундир — горящий золотом черный ментик, красные шаровары и высокая медвежья шапка, глухо схваченная у подбородка раззолоченным ремнем.

В Петербурге он, помнится, сам подобострастно искал общества молодых гвардейских офицеров.

Здесь же, увидев Давыдова в главной квартире, Перигор удостоил своего старого знакомого лишь быстрым, еле приметным наклоном головы. Лицо же его оставалось улыбово-бесстрастным. Своим видом он показывал, что преисполнен великой важности возложенной на него миссии.

Все в главной квартире, включая и Беннингсена, были по обыкновению без головных уборов. Элементарное приличие требовало того же и от Перигора. Но и вручая главнокомандующему русской армией письмо маршала Бертье, и сообщая то, что было поручено ему передать на словах, он упрямо и вызывающе не снимал своей лохматой медвежьей шапки. Мало того, красовался в ней и после официального представления, и даже во время обеда, на который был учтиво приглашен главнокомандующим.

Беннингсен без конца облизывал свои узкие сохнувшие губы, что у него всегда было признаком волнения или неудовольствия, багровел негнущейся шеей, но безропотно сносил дерзкую выходку молодого француза. Посему молчали и остальные,

И Денис Давыдов, и другие молодые офицеры, присутствующие на обеде, кипели негодованием. Однако открыто высказать своего оскорбления, глядя на уныло-покорное лицо главнокомандующего, никто так и не решился...

Все испытанное за этим столом Денис Давыдов потом сожгучим, мучительным стыдом переживет еще раз, когда примется за свои военные записки: «Боже мой! какое чувство злобы и негодования пробудилось в сердцах нашей братьи, молодых офицерах, свидетелях этой сцены! Тогда еще между нами не было ни одного космополита; все мы были люди старинного воспитания и духа, православными Россиянами, для коих оскорбление чести отечества было то же, что оскорбление собственной чести».

И сделает для себя строгий и неумолимый вывод, осмысленный и выстраданный с годами: сколько бы ты ни искал себе оправдания, ссылаясь на те или иные обстоятельства и на высокие авторитеты, молчаливое присутствие твое при факте посрамления отечества есть соучастие в оном деянии, усугубленное к тому же постыдным малодушием. И этого с сего злопамятного дня будет стараться не прощать ни себе, ни другим...

День 8 июня Денису Давыдову запомнится не только заносчивой шапкой Перигора. Но и нечаянной радостью, в которой содержалась, однако, и капля жгучего яда.

По возвращении из главной квартиры, еще не остывший от ярости и негодования, он сразу же попал в тесные объятия друзей-офицеров штаба Багратиона. Оказалось, что из походной императорской канцелярии, конечно, с превеликим опозданием и проволочками прибыл наконец высочайший рескрипт на его имя, собственноручно подписанный государем, за участие в горячем столкновении с неприятелем под Прейсиш-

Эйлау.

Друзья и приятели Дениса давно уже успели получить боевые отличия и за более поздние сражения, а все представления на него упорно оставались без последствий. Хоть и старался Давыдов не подавать виду, однако ж переживания его по этому поводу были весьма чувствительными, и о них знали все. Посему так шумно и искренне поздравляли офицеры столь незаслуженно обойденного товарища.

— С Владимиром тебя и с рескриптом, Давыдов! И князь Петр Иванович рад за тебя несказанно! Сказывал, как приедешь, чтобы к нему немедленно!.. — говорили ему вперевод.

Багратион порывисто поднялся навстречу своему адъютанту. Тотчас взял припасенный загодя сверкающий багряной эмалью Владимирский крест. Сказал с мягким рокотом в голосе:

— Носи, Денис, награду сию. Заслужил с честью. Ужели забуду лихую службу твою при Вольфсдорфе? Рад душевно с отличием тебя поздравить. Заслужил! А рескрипт сам читай, — и подал перевитую золоченым шнуром бумагу.

Денис раскатал плотный голубоватый лист, украшенный витиеватым императорским вензелем.

«Господин Лейб-Гвардии Штабс-Ротмистр Давыдов.

В воздание отличной храбрости и мужества, оказанных Вами в сражении против французских войск 24 Генваря, где вы посланы были с приказанием под картечными выстрелами, убита под вами лошадь и захвачены вы были в плен, но отбиты казаками, Жалую вас кавалером ордена святого равноапостольного Князя Владимира четвертой степени, коего знак у сего к вам доставляя, Повелеваю возложить на себя и носить установленным порядком в петлице с бантом, уверен будучи, что сие послужит вам поощрением к вящему продолжению ревностной службы вашей. Пребываю вам благосклонный

АЛЕКСАНДР.

Бартенштейн

26 апреля 1807 года».

Когда Денис Давыдов читал государев рескрипт, его больно резанула по глазам и по сердцу фраза «захвачены вы были в плен, но отбиты казаками».

— Батюшка, Петр Иванович, — сказал он, сглотнув солоноватый комок обиды, — я тогда в плену ни минуты не был. Вы же знаете. Палаша неприятельского чуть было не отведал, это правда. Шинель мою, что у горла на одной пуговице схвачена была, француз сорвал. Одна она в плен попала. А лошадь, хоть и ранена была жестоко, прежде чем пасть, успела меня к казакам вынести от погони. Живым тогда я ни за что бы не дался. Пешим бы рубился, пока не свалили... А тут — плен... За что же и орден тогда? За то, что неприятелю сдался и отбит был?...

— Видит бог, — ответил Багратион и в сердцах хрустнул пальцами, — я в наградной реляции сего не указывал. Небось канцелярские наплели заради страсти. Это они умеют...

Потом помолчал и добавил тихо:

— Да и то сказать, не рескрипт же тебе на груди носить... А ордена сего славного ты по всем статьям достоин.

Святого Владимира Денис Давыдов с приятелями в ту же ночь шумно «обмыли» гусарской жженкой. А рескрипт он упрятал подальше и никому не показал.

И лишь через несколько лет узнал он от знакомого флигель-адъютанта, что злополучную фразу «захвачены вы были в плен, но отбиты казаками» император Александр вписал в подготовленный текст рескрипта собственноручно. И при сем усмехался, весьма довольный...

В последующие дни всеобщее внимание было приковано к событию, так сказать, чрезвычайному — предстоящему свиданию двух императоров, которое приуготовлялось с обеих сторон с неволью бросающейся в глаза торопливой деловитостью.

Денис Давыдов вместе с другими офицерами выезжали на берег, к сожженному мосту и смотрели за работой французских саперов.

На громоздких спаренных барках, установленных строго посередине, или, как принято говорить по-военному, на тельвеге Немана, близ уныло торчащих обгорелых свай возвышались два четырехугольных павильона наподобие речных барских купален. Большой по размеру, видимо, предназначался для императоров, а второй, поскромнее, — для их свит.

Когда вечером Денис Давыдов принес на подпись Багратиону несколько заготовленных штабными очередных бумаг, тот глуховатым будничным тоном, как бы между прочим, сказал:

— Завтра поутру быть при мне. При всем параде. Я наряжен к сопровождению государя до берега Немана.

Заметив, что у Дениса радостно сверкнули глаза, добавил:

— Восторженность твою понимаю. Для тебя сие событие значимо более по внешней стороне. Это молодости и пылкости свойственно. Я же по летам своим, в беспрестанных баталиях с врагами проведенных, а заодно и по скверности моего характера, ничего доброго от этого замирения не жду...

Князь резким движением отбросил в сторону перо, которое он все еще держал в руке, подписав бумаги, и уже с жесткостью в голосе продолжал:

— Всякое сближение с Бонапартом тотчас же отвратит от нас союзные державы — и Англию, и Австрию, и даже судорожно цепляющуюся за нас Пруссию... Разве они не поймут, что улучшение наших отношений с Францией сейчас возможно лишь за их счет? А что мы обретем взамен? Дружество новейшего Аттилы? В это дружество я не верю и не поверю никогда. Незабвенный Александр Васильевич Суворов еще когда раскусил Наполеона и говорил о нем: «Широко шагает мальчик... Помилуй бог, надобно унять!..» Теперь он дошагал до пределов российских. Ужели остановится? Ныне ему нужна лишь передышка. Собравшись с новыми силами, он поведет на нас всю Европу, а заодно и наших теперешних приятелей и союзников. Так оно и будет, помяни мои слова, брат Денис.

Видя, что адъютант его приумолк и призадумался, вздохнул горестно:

— Покою себе не нахожу. Душа изболелась. А открыть ее, окромя тебя, некому.

— А может, еще не поздно, Петр Иванович, вразумить государя и главнокомандующего? — робко предположил Денис.

— Их сейчас и господь бог не вразумит. Я было завел речь с Беннингсеном о единении с армией австрийской, он на меня руками замахал: «Вам бы только драться, генерал. Оставьте суворовские замашки. Народ российский единственно о мире помышляет, дарованном из высоких рук своего монарха». И это мне от имени народа изволил говорить человек, который всегда с наглостью повторяет, что подданства России он никогда не желал и не желает «и на то присягою не обязан»... Каково, а? Тут я, конечно, вскипел, у меня само с языка и срезалось, что о недалёковидном мире он сам прежде народа печется, дабы прикрыть сим замирением спешным свой фридландский позор. К этому я, конечно, еще кое-что добавил. На сем и расстались.

Слушая суровые и резкие в своей прямолинейной правдивости слова Багратиона, Денис Давыдов, может быть, еще и не совсем отчетливо для себя, но начинал понимать, что для пытливого человека мало быть участником либо свидетелем происходящих событий, надобно еще и правильно понять и оценить их, и, исходя из этого, постараться предугадать

ход дальнейшего движения жизни. Определив же свое понимание и убеждение, не отступать от него никому в угоду.

Все это очень пригодится Давыдову потом, когда он примется за свои военно-исторические записки.

Утро 13 июня выдалось погожим.

Ночью прошумел обильный, но скоротечный дождь и только освежил округу. Трава луговой поймы, примятая русскими конными и пешими полками, приободрилась и вновь засветилась сочным малахитовым глянцем.

Когда князь Багратион «при всем иконостасе», как говорил он о своих боевых регалиях, в сопровождении Дениса Давыдова, сверкающего парадным лейб-гусарским ментиком и новеньким Владимиром с бантом, размеренной рысью прискакал в Амт-Баублен, император был уже здесь.

Обширный двор резиденции главнокомандующего поражал многолюдством. От звезд и золотого мундирного шитья рябило в глазах.

Тяжелые двери резиденции тем временем растворились. Конвойные кавалергарды в белых колетах, взмахнув палашами, взяли «на караул».

Скорым шагом, чуть подволакивая левую ногу, на крыльцо вышел Александр I. Он смотрелся картинно: строгий черный мундир Преображенского полка с маленькими золотыми петлицами на воротнике и аксельбантом на правом плече. Белые лосиные панталоны и короткие ботфорты. На голове высокая шляпа с белым плюмажем по краям и пышным черным султаном на гребне. У бедра шпага, на поясе шарф. Довершала убранство императора радужно переливающаяся на солнце голубая андреевская лента.

Для царя, великого князя Константина и других лиц, которым определено было следовать непосредственно на встречу с Наполеоном, к крыльцу подали открытые экипажи. Всем остальным предписывалось сопровождать торжественный выезд верхом.

По обговоренному с французами ритуалу оба императора со своими сподвижниками и доверенными лицами должны были строго одновременно ступить в заранее приготовленные лодки и по единому сигналу отплыть к месту встречи.

Когда русская процессия, без сомнения, хорошо заметная с крутого и высокого тильзитского берега, прибыла в установленное место к сожженному мосту, на неприятельской стороне никакого движения, похожего на выезд Наполеона, не примечалось. Можно было лишь различить выстроенные по кромке берега шпалерами и развернутые в нашу

сторону припараженные войска.

Чтобы высоким особам не маячить в глазах французов, решено было свернуть к расположенной по соседству довольно обширной крестьянской усадьбе, поспешно оставленной хозяевами и, конечно, тут же разоренной проходившими войсками.

Дом с сиротливо торчащими голыми стропилами стоял одиноким и пустынным.

В просторную сельскую горницу, крытую небом, проследовал Александр I, вслед за ним все важные персоны и генералы. А уж потом бочком протиснулись и адъютанты, среди которых оказался и Денис Давыдов.

Император бросил на стол свои белые лосиные перчатки и шляпу и сел на стоящий рядом единственный стул лицом к выходу. Все остальные стояли, выстроившись тесным полукругом.

Среди тягостного молчания, установившегося в горнице, было слышно лишь, как где-то в углу с тонким и нудным отчаянием звенит запутавшаяся в паутине муха, как тяжело отдувается грузный прусский король Фридрих-Вильгельм III и судорожно и нервно, как всегда, хрустит пальцами великий князь Константин Павлович.

Всеобщее томление нарастало.

Так прошло не менее полчаса. Наконец кто-то из дежурных офицеров просунулся в дверь и крикнул:

— Едет, Ваше Величество! Едет!..

Адъютанты дружно рванулись наружу. Это увлекло и остальных. О придворном этикете было забыто совершенно. Бывшие в горнице устремились к двери, не считаясь с чинами и званиями.

Взбешенный государь вышел последним. Но ему хватило сил казаться спокойным. Хотя заметно было, что от скрытого гнева губы его побелели, а по миловидному лицу полыхали красные пятна...

Вместе с Александром I на встречу плыли великий князь Константин, Беннингсен, граф Ливен, князь Лобанов-Ростовский, сияющий белым кавалергардским мундиром генерал Уваров и похожий заостренным лицом на гончую министр иностранных дел Будберг.

Денис Давыдов извлек припасенную загодя зрительную трубу. Она тотчас же приблизила к глазам лодку Наполеона. Повелитель французов был виден отменно. Он стоял особняком от своей свиты, почти на самом носу, со скрещенными на груди руками, в своей излюбленной и известной по многим литографским изображениям позе, которую он, надо полагать, держал в ответственные моменты, дабы еще более закрепить тем самым

свою легендарность. Был он и в той же маленькой шляпе, форма которой была знакома всему свету. Однако остальная одежда выглядела иначе. Вместо традиционного длиннополого серого сюртука, о котором тоже ходили толки, на Бонапарте красовался парадный мундир его старой гвардии — синий с красными отворотами и лентой Почетного легиона через плечо...

Обе лодки шли ходко. Однако Бонапартова успела причалить первой. Нескольких выигранных мгновений вполне хватило Наполеону, чтобы поспешно ступить на плот и уже как хозяину встретить русского царя, который теперь вынужден был играть роль приветливого и покладистого гостя...

Денис Давыдов запрятал свою зрительную трубу. Более смотреть было не на что.

Хотя свидание императоров и проходило без свидетелей, в обстановке сугубо интимной и уединенной, кое-какие подробности их первой беседы стали тут же известны по обоим берегам Немана. Сначала лицам особо доверенным, а затем, как водится, и многим прочим, имеющим к сему событию повышенный интерес.

Вполне естественно, что здесь правда легко обрастала вымыслом, а желаемое столь же просто выдавалось за действительное. Причем каждый непременно хотел уверить, что уж его-то сведения самые что ни на есть достоверные, «прямо... (следовала многозначительная пауза) оттуда...».

Рассказывали, что буквально первую фразу Александра I, ступившего на неманский плот, была следующая: «Государь, я так же, как и вы, ненавижу англичан». — «В таком случае, — ответил Наполеон, — мир заключен».

Разрыв с Лондоном тем самым был уже предрешен.

Далее последовала очередь Вены. Не дожидаясь предупредительного реверанса русского царя, Наполеон сам пошел в атаку. Отношения Франции и России, ежели теперь они установятся, должны напоминать, подчеркнул Бонапарт, брачный союз по любви, который он намерен оберегать с супружеской ревностью. Тут Наполеон и сказал, имея в виду Австрию, ту самую фразу с привкусом казарменной сальности, что с удовольствием будут впоследствии цитировать историки: «Я часто спал вдвоем, но никогда втроем».

Александр I, с раннего отрочества питавший слабость к цитерным утехам, нашел эти слова «прелестными».

Ни о каком сближении с Австрией теперь можно было уже и не помышлять.

Отрешиться с такою же легкостью и от Пруссии русский царь никак не мог. Династию Романовых — Голштейн — Готторпских связывали с королевским домом Гогенцоллернов слишком тесные, в том числе и союзнические, договорные узы. Перемирие с пруссаками, расколов в пух и прах их армию, Наполеон покуда так и не подписал. Условия победителя по отношению к ним были жестокими до крайности. Он требовал безоговорочной сдачи вместе с гарнизонами тех последних крепостей, которые войска Фридриха-Вильгельма еще сохранили каким-то чудом в Силезии и Померании.

Александр I надобно было хоть как-то облегчить участь своей союзницы и избавить ее от дальнейших унижений. Кое-что ему, видимо, удалось. Во всяком случае, на вторую встречу императоров, состоявшуюся на следующий день на том же неманском плоту, был приглашен и Фридрих-Вильгельм. Правда, Наполеон не преминул по отношению к нему дать волю своему злословию.

Никогда не прощавший обид, он вспомнил и о том, что первый министр Пруссии барон Гарденберг перед войной нанес ему оскорбление, отказав в аудиенции французскому послу. В отместку Бонапарт отказывался теперь вести с этим министром какие-либо переговоры.

Прусский монарх растерянно переминался с ноги на ногу, шумно отдувался, мял в руках шляпу и отвечал что-то маловразумительное. Тут, как говорится, было не до собственного унижения. Слава богу, заносчивый победитель более не требовал от него сдачи крепостей...

В отношениях же с Александром I Наполеон решил с самого начала придерживаться иной тактики. Он делал ставку на очарование и обольщение.

Готовясь к встрече в Тильзите, Бонапарт ни на минуту не забывал тонко продуманных и, как всегда, безошибочных советов Талейрана. Союзу, который должен установиться с Россией, необходимо придать черты личной и трогательной дружбы двух императоров. Нужна видимость их полнейшего доверия друг к другу. Впечатлительный русский царь легко поддается идеям, облеченным в красивую и возвышенную форму. Поэтому следует менее всего касаться практических сторон и избегать каких бы то ни было опасных обязательств. Нужно более говорить о будущем, чем о настоящем, удовлетворять скорее самолюбие Александра, чем насущные интересы его народа.

Начиная «войну улыбок», Бонапарт явно недооценил своего противника. Чем-чем, а искусством притворства и коварного обаяния Александр I владел в совершенстве...

После завершения второй встречи на плоту, в тот же самый день в 6 часов пополудни в ответ на любезное приглашение Бонапарта русский царь переехал на жительство в Тильзит.

Когда Петру Ивановичу Багратиону предложили находиться при квартире государя в Тильзите, он тут же сказался больным.

Для большей убедительности, несмотря на установившуюся жару, князь накинул на плечи свою отороченную каракулем бекешу и велел корпусному медику варить по старинному кавказскому рецепту снадобье из трав «для утишения в организме желчи». Он пил густой зеленовато-коричневый отвар, морщился от горечи и лукаво подмигивал Денису Давыдову:

— Ежели кто из высших поинтересуется здоровьем моим, ответствуй одно: совсем-де плох князь Петр Иванович, в лекарстве себя содержит.

По той же самой причине, сказывали, разом занемог и атаман Платов. Этот, правда, пользовал себя не отварами, а лихой донской горчишной настойкою, которую он издавна почитал целебным средством от всех болезней разом.

Многие же другие генералы и офицеры, особенно молодые, наоборот, рвались в Тильзит. Однако посещать тот берег, окромя как войскам конвоя, находящегося при особе государя, и узкого круга лиц, приписанных к главной квартире, никому в армии дозволено не было.

Хотя на Дениса Давыдова, как на адъютанта Багратиона, запрет на поездки в Тильзит не распространялся, он поначалу неотлучно находился при князе. Порешил для себя накрепко: на тот берег ни в коем разе не проситься. Однако, чего греха таить, побывать там хотелось. И даже очень...

Багратион, разумеется, сумел распознать это сразу же:

— А ведь сдается мне, брат Денис, что ты в гостях у Наполеона побывать великое желание имеешь. Али не так?

— Истинно так, Петр Иванович, — ответил, зардевшись, Давыдов. — К чему душой кривить, ежели вы и так все знаете...

— У меня свой взгляд на сей предмет. Я с врагом либо сражаюсь, либо мирюсь. Однако братание с неприятелем ни в обычае, ни в характере моем... А от меня сей воинской непристойности ныне требуют. Я же солдат, дипломатическим тонкостям не обучен. Только дров, прости господи, наломаю. С тобою же — дело другое. На тебя я не токмо как на адъютанта своего, храброго и честного офицера смотрю, но и как на человека пишущего. Тебе все надобно своим глазом повидать. И торжество, и позор отечества нашего. Авось пригодится...

Багратион взял перо и, сломав брови на переносье, быстрыми решительными взмахами набросал что-то на листе бумаги.

— Свезешь сию записку князю Лобанову. Будешь при главной квартире столько, сколько тебе надобно будет. Уверен, что ни в какие свары не ввяжешься и ни своего, ни моего имени не посрамишь... Да, ежели генерала Ланна там повстречаешь, поклон ему от меня передай пренебреженно. Как-никак корпус его мы в последних боях потрепали знатно. Долго меня помнить будет... Ну, с богом!

Вскоро Денис Давыдов при полном параде, в сверкающем черным глянцем кивере и полыхающем золотою шнуровкою красном лейб-гусарском ментике переправился на дежурной барке в Тильзит.

Маленький приграничный городок, волею судьбы ставший центром исторического события, гудел от многолюдства и был празднично разукрашен.

Выполнив поручение Багратиона, Денис Давыдов собирался уже отправиться к своим друзьям-сослуживцам из лейб-гусарского полуэскадрона государственного конвоя, как вдруг в главную квартиру, сияя богатым шитьем обер-шталмейстерского мундира и двумя звездами на груди, пожаловал Коленкур. Его аристократически-утонченное лицо выражало надменную и наглую учтивость, и сразу же напомнило Давыдову заносчивого Перигора. Та же холодная и даже язвительная полуусмешка, та же манера вскидывать подбородок и чуть клонить набок голову, тот же рассеянный, скушающий взгляд. И так же, как племянник Талейрана, он не снял перед русскими своей шляпы.

Жестким, официальным тоном Коленкур объявил, что Наполеон просит пожаловать государя в шесть часов пополудни на маневры, а после этого к его обеденному столу. Выполнив свою миссию, обер-шталмейстер Бонапарта величественно последовал к выходу.

Давыдов кипел от негодования. Он едва сдержал себя, чтобы не бросить вслед Коленкуру какую-нибудь уничтожающую колкость. Но сдержался, вспомнив суровый наказ Багратиона ни в какие свары не ввязываться.

Однако спустя долгое время, принявшись за военные записки, он с тем же гневом припомнит оскорбительную надменность Коленкура в Тильзите. И тут же торжествующе успокоит себя другим воспоминанием о нем, но уже — жалком, растерянном, в блеклом, обшарпанном мундире, подобострастно ищущем милости русских офицеров, во главе своих частей и отрядов только что вступивших в поверженный Париж.

«Спесивая осанка этого временщика переступила меру терпимости! После, во время посольства своего в Петербурге, он был еще напыщеннее и неприступнее; но боже мой! надо было видеть его восемь лет позже, под Парижем, в утро победного вступления нашего в эту столицу!..»

Конвойные лейб-гусары поведали Денису Давыдову о том, что Александр I всячески демонстрировал свое расположение к недавнему неприятелю. Так, при посещении одного из наполеоновских полков он возжелал отведать французской солдатской похлебки. Ему тотчас же был подан котелок. Откушав несколько ложек с великим удовольствием, русский царь повелел наполнить сей котелок золотыми червонцами...

Около шести часов пополудни Денис Давыдов был уже на парадном крыльце главной квартиры. Он знал точно: по заведенному обычаю Наполеон непременно заедет за государем.

Вскоре улица загудела от конского топа. Вдоль по ней стремительно приближалась летевшая во весь опор пестрая толпа верховых. Скорым глазом Давыдов определил, что в ней по крайней мере не менее 300 всадников.

Впереди на одномостных поджарых конях, чуть пригнувшись и, должно быть со свистом рассекая плотный прогретый воздух, мчались конвойные егеря. Вслед за ними облитые золотом и серебром и сверкающие большими и малыми крестами и звездами скакали неестественно прямо восседающие в седлах маршалы. Затем выделялась не менее блестящая кавалькада императорских адъютантов, придворных чинов и офицеров генерального штаба. Замыкали колонну опять же конные егеря.

Маленькую темно-серую шляпу Наполеона Денис Давыдов сумел различить далеко не сразу...

Вскоре Бонапарт вместе с государем оказались не более как в двух шагах от Давыдова. Французский император, оживленно жестикулируя, рассказывал русскому царю что-то забавное.

В первый же миг Дениса поразило полнейшее несходство облика Наполеона со всеми виденными до сей поры многочисленными его печатными литографическими изображениями. По ним он представлял себе французского императора с грозно сведенными бровями, большим и горбатым носом, черными волосами и жгучими глазами. Словом, типом истинно южным, итальянским, скорее даже демоническим. Ничего подобного не было.

«Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин шести вершков,

довольно тучного, хотя ему было тогда только 37 лет от роду, и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности... Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва была приметна весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черные, но темно-русые, брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос, а глаза голубые... Наконец, сколько раз ни случалось мне видеть его, я ни разу не приметил тех нахмуренных бровей, коими одаряли его тогдашние портретчики-памфлетисты».

Все еще рассказывая веселую историю Александру, Наполеон, видимо, почувствовал наконец непривычный для себя пронизательный и острый взгляд, который был устремлен на него Денисом Давыдовым. Продолжая улыбаться, он то ли нервно, то ли зябко вдруг повел плечом и резко обратил лицо в его сторону.

«Взор мой столкнулся с его взором, — запишет потом Давыдов, — и остановился на нем твердо и непоколебимо».

Обычно читавший в глазах окружающих его людей либо страх, либо восхищение и почтение, либо умильно-предупредительную лесть, Наполеон на этот раз и увидел и ощутил в прямом и открытом взгляде молодого курносого русского гусарского офицера какую-то еще неведомую ему спокойную и сдержанную силу, способную противостоять его напористой и всепобеждающей до сей поры властности.

Верх в длившемся несколько напряженных мгновении поединке взглядов остался за Денисом Давыдовым.

Наполеон резко повел плечом и отвернул от него лицо.

Судьба, случайно скрестившая их взоры в шумном и празднично-обольстительном Тильзите, пожалуй, и сама еще не ведала о том, что этот упрямый и уверенный в себе русский гусарский офицер через несколько лет неоднократно заступит дорогу французскому императору. Сначала с оружием — когда он с организованным им первым армейским партизанским отрядом будет беспрестанно тревожить и громить тылы Великой армии, чем регулярно будет приводить Наполеона в бешенство, а под Вязьмою в сыром ольшанике у дороги чуть было не пленит его, позорно ретирующегося из Москвы... А потом со своим острым публицистическим пером — когда столь же яростно и непреклонно вступит в полемику с «Записками» Бонапарта и неоспоримыми доводами и фактами уличит его в высокомерной лжи и умышленной фальсификации исторической правды...

Когда оба императора сошли с крыльца и сели на коней, Наполеон

отрывисто дернул поводья, ожег шпорами бока своего прекрасного скакуна и нетерпеливо рванул его с места. В тот же миг взяла в карьер и вся блестящая кавалькада всадников. Денису Давыдову показалось, что она умчалась вдоль мощенной аккуратным плоским булыжником улице и скрылась из виду наподобие сверкающего и громозвучного метеора.

В последующие дни ему еще несколько раз пришлось видеть Наполеона. Но эти встречи почти не прибавили новых впечатлений.

Переговоры императоров подходили к концу.

Но у Дениса Давыдова и у многих других русских офицеров в душе не только не рассеивалось, но все более крепло тревожно-горьковатое чувство позорности всего этого столь шумного и пышно обставленного тильзитского действия. Вместе с тем росло и ощущение неудовлетворенности и разочарования в тех своих лучших надеждах, которые все они еще в начале этой злосчастной кампании возлагали на русского монарха.

Само собой разумеется, что у них не было, да и не могло быть, уверенности в прочности заключаемого мира. Наоборот, на смену временному успокоению приходило убеждение, что рано ли, поздно ли им предстоит непременно встретиться на ратном поле с нынешним неприятелем. И борьба эта будет беспощадной и страшной.

Эти тревожные настроения, которые все более овладевали лучшей частью русской армии, Денис Давыдов сумеет потом со всею определенностью выразить в своих записках:

«Общество французов нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, даже знакомства ни с одним из них, невзирая на их старание — вследствие тайного приказа Наполеона, — привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью... 1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть».

Дым салонных баталий



*С наемною душой
Развратные счастливыцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!*

К. Н. Батюшков

По возвращении из Тильзита в Петербург Петр Иванович Багратион посчитал своим долгом тотчас же начать настоятельные хлопоты о застрявших неведомо где его наградных представлениях на своего адъютанта Дениса Давыдова. Причем решил действовать не официальным волокитным путем через военное ведомство и канцелярию государя, а использовать, так сказать, решительные обходные маневры.

Первый визит, который он нанес в столице, был к всесильной и всегда благоволившей к нему Марии Антоновне Нарышкиной, которую в свете называли «черноокою Аспазией», а Александр I величал «предметом своих отдохновений».

Ни для кого в Петербурге не служило секретом, что 28-летняя веселая и смешливая супруга обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина

одновременно почитается почти открыто второю и, пожалуй, истинно любимую женой государя. Во всяком случае, все ведали, что влекла она к себе его неодолимо, и чувства, которые он к ней испытывал, были самые нежные, на какие сластолюбивый монарх был только способен. Искренне, без упования на выгоды, любила его и Мария Антоновна.

Возвышенно-холодная и утонченно-чопорная красота императрицы, бывшей принцессы Луизы Баденской, нареченной при крещении православным именем Елизаветы Алексеевны, Александру I быстро наскучила. Законная супруга получила негласную отставку. С нею рядом царь находился лишь на всякого рода торжествах и официальных церемониях. Всем же остальным его свободным временем почти безраздельно (не считая мелких и быстротечных увлечений ветреного государя) владела Мария Антоновна.

Багратион с отцом Марии Антоновны польским князем Антонием Четвертинским, убитым возмущенными соотечественниками в 1794 году за сочувствие русским, был близко знаком в бытность в Варшаве, саму ее знал еще непоседливой и озорной девочкой-подростком, а посему и в пышном нарышкинском доме на Фонтанке всегда бывал запросто. Задумав нанести туда визит, он прихватил с собою и Давыдова.

Мария Антоновна встретила их в своих личных покоях, которые даже желчный, не склонный к восторгам Вигель называл «храмом красоты», с большим радушием и обычной своею веселостью и непосредственностью.

— Ну как мой «крестник», князь Петр Иванович? Я, помнится, участие в нем принимала и в адъютанты его вам сватала. Не посрамил ли меня в чем? — спросила она.

— Как раз и заехал к тебе, добрейшая Мария Антоновна, чтобы поклониться за то, что благодаря заботам и стараниям твоим я в сию кампанию в Денисе Давыдове не только преданного и исполнительного помощника обрел, но истинно и младшего брата своего по душе и чувству. О храбрости его и неустрашимости и других отменных качествах офицера я уже и не говорю. Сам его в самых жарких и трудных делах видывал — всегда был маладец!.. Жаль этого другие видеть не соизволили...

Мария Антоновна вопросительно вскинула брови.

— Изю всех моих наградных реляций, поданных на Давыдова, — с заметно разгорающимся жаром продолжил князь Петр Иванович, — последствия имела одна, да и та с превеликою проволочкою. А ведь всем в армии ведомо: генерал Багратион попусту воинскими регалиями не кидается и жалует оными токмо истинно достойных, заслуживших их не на вахтпарадах, а под огнем неприятельским...

— Ну будет, будет вам, батюшка Петр Иванович, — ласково и успокоительно произнесла Мария Антоновна. — Ужели допущенное небрежение исправить нельзя? Я за своего «крестника», коли он таким храбрецом оказался, — она с явным удовольствием глянула на Давыдова, — сама, слава богу, могу слово замолвить. Вот уж и скажу Саше, — простодушно пообещала Мария Антоновна и тут же с улыбкою поправилась: — Его величеству, что, мол, негоже обиды чинить ни князю Багратиону, ни его адъютанту...

Тем временем подали чай со сладостями и ромом, и Мария Антоновна как радушная хозяйка сама потчевала гостей из серебряного самоварчика с амурами.

— Матушка-государыня Екатерина II из него пивала, — сказала весело, между прочим.

Чай, по-старинному сыченый медом и липовым цветом и сдобренный несколькими каплями густого тягучего ямайского рому из оплетенной лакированной соломкою бутылки, был отменный.

Разговор шел тем временем серьезный — о Тильзитском мире, о его противниках и сторонниках.

Слушая рассудительные слова Марии Антоновны, ее острые и точные характеристики государственных мужей, Денис Давыдов снова убеждался, что за веселостью и простодушием сестры его доброго друга и эскадронного командира скрывается ясный и твердый ум и умение разбираться в столь сложных и запутанных вопросах высшей политики, накрепко переплетенной к тому же с дворцовыми и салонными интригами...

Чаепитие у милейшей Марии Антоновны Нарышкиной на многое раскрыло Денису Давыдову глаза.

Во всяком случае, он узнал немало того, о чем до сей поры попросту и не задумывался, — и о умонастроениях в столице, и о примерной расстановке сил в обществе, и о разгорающейся исподволь непримиримой войне салонов, в которой неискушенному человеку легко оказаться жертвою лукавого обмана или хитро сплетенной интриги.

В том, что великосветский Петербург клокочет изнутри наподобие Везувия, Денис Давыдов вскорости убедился самолично.

Несмотря на разгар лета и на погожую погоду, установившуюся в северной столице с конца мая, почти никто из крупных сановников и дипломатов так и не начал дачного сезона. Лишь государь был в своей летней резиденции на Каменном острове. Сам же Петербург жил в каком-то тревожном и нервном ожидании неведомых событий, которые — в этом

никто не сомневался — непременно должны были скоро произойти.

За внешним блеском и весельем посольских приемов, светских раутов и шумных загородных выездов Давыдов теперь все отчетливее различал и умело скрываемую озабоченность дипломатов, и вкрадчивую деловитость вельмож, старающихся выведать друг у друга тайные намерения, и явную растерянность кое-кого из придворных чипов, еще недавно неприступных и уверенных в себе, а ныне торопливо ищущих, к какой же группе или партии надобно примкнуть. Эти многочисленные группы и партии глухо враждовали меж собой, ибо каждая старалась заполучить для себя поболее влиятельных сторонников и в достижении цели не брезговала ничем — ни щедрыми двусмысленными посулами, ни облеченными в мягкую форму угрозами, ни утонченно-изысканной лестью.

Безоговорочно одобрявших замирение с французами было немного. Хотя Санкт-Петербургские газеты в официальных сообщениях и поведали о том, что в Тильзите русский царь и Наполеон заключили союз и поклялись в вечной дружбе, этому в столице как-то не особо верили. В витринах книжных лавок на Невском по-прежнему красовались выставленные еще во время кампании карикатуры на кровожадного корсиканского узурпатора, зловеще пожиравшего младенцев, а в многочисленных соборах и церквях с прежней гневной страстью в соответствии с постановлением Священного Синода, которое никто не отменял, провозглашали анафему «богопротивному антихристу Бонапарту». Поскольку правительство до сих пор так и не решилось опубликовать Тильзитский договор, то на бирже открыто говорили, что мир, может, вовсе и не заключен, а так просто болтают...

Вдохнув полной грудью порохового дыма петербургских салонов и распалившись всеобщим неудовольствием, громко заговорили о посрамленной чести русского оружия и только что вернувшиеся молодые гвардейские офицеры, еще недавно проклиная надоевшую им кампанию и рвавшиеся с берегов Немана к столичным увеселениям. У дворянской военной молодежи, правда, была и своя корысть: на время похода каждый из них, как известно, освобождался от обязанностей платить долги, а теперь им опять предстояло отбиваться от досужих и прилипчивых кредиторов.

Судя по всему, государь на Каменном острове чувствовал себя весьма одиноко и неуютно — свет держал его там в своеобразной осаде. Никаких официальных церемоний и праздничных торжеств в ознаменование окончания военных действий и подписания мирного трактата Александр I после приезда из Тильзита не проводил. На неопределенное время были

отменены даже обычные вахтпарады и смотры войскам.

Жар «салонных баталий» еще более разгорелся, когда в Петербург почти одновременно прибыли временный поверенный в делах французского императора в России его флигель-адъютант и шеф тайной личной полиции Наполеона генерал Савари и доверенное лицо английского королевского кабинета с туманными полномочиями полковник сэр Роберт Вильсон.

С обоими вновь прибывшими Денис Давыдов встречался ранее. Гладкого, осанистого Савари, затянутого в лазоревый с серебром флигель-адъютантский мундир, с холеным бесстрастным лицом и маленькими колючими, как бы ощупывающими все вокруг себя глазками, он неоднократно видел в свите Наполеона в Тильзите.

С сэром же Вильсоном был знаком короче. Его миловидное, почти женски-лукавое лицо с ласкающим и одновременно пронизывающим взглядом неизменно возникало перед ним в последнюю кампанию при всяком посещении главной квартиры императора Александра I, где англичанин пребывал в должности военного агента почти безотлучно.

Даже не посвященному в тонкости хитроумной международной политики Давыдову было ясно, как божий день, что обер-полицмейстер Наполеона послан в Петербург с главной целью пробить дипломатическую брешь в глухой стене неприязни и отчуждения, которую, несмотря на лучезарную встречу двух императоров, упрямо и своевольно продолжало возводить меж Россией и Францией высшее столичное общество. А миловидный английский полковник, спешно прибывший сюда с какими-то правительственными депешами, своею первейшею заботою почитает решительно воспрепятствовать этому и свести на нет все усилия и ухищрения Бонапартова посланца.

Началось с того, как сказывали, что государь принял на Каменном острове поочередно обоих конкурентов с совершенно одинаковым вниманием и дружественным расположением. Тем самым шансы противникам были даны как бы равные.

С первых же туров дипломатической дуэли ловкий и оборотистый сэр Роберт Вильсон, конечно, явно переигрывал своего более тяжеловесного соперника. Он, как говорится, повел бой. Используя свои многочисленные связи, англичанин разразился целым каскадом блестящих и стремительных выпадов. В ведущих петербургских салопах он с воодушевлением и искренним благородным гневом рассказывал достоверные подробности о личном участии Савари в кровавом злодействе, учиненном над бедным герцогом Энгиенским²⁰. Это, мол, он, а никто

другой в сообществе с коварным Талейраном заманил в Бадене доверчивого бурбонского принца в западню. А приманкою послужила знаменитая актриса Веймер, которую по сцене величают «девицей Жорж» и которая уже давно значится в списке любовниц Наполеона... Будучи проникательным и осведомленным военным разведчиком, сэр Роберт Вильсон, видимо, знал то, о чем говорил.

Политическое убийство, возмущившее три года назад всю Европу, в том числе и сановный Петербург, получило стараниями английского дипломатического агента новую амурно-трагическую окраску и вызвало ярые эмоции в обществе, в первую очередь, конечно, у светских львиц. Тем более что был указан конкретный виновник преступного деяния.

Двери столичных гостиных, только что едва приоткрывшиеся нехотя, со скрипом, для Савари, тут же с глухим стуком захлопнулись перед «палачом герцога Энгийенского».

Однако верный подручный Бонапарта, несмотря на разящие удары, и не думал о ретираде. Он уступал своему супротивнику в проворности и связях, но зато превосходил его в упорстве и терпении.

Нацелившись на главнейшие великосветские «бастионы», Савари начал их планомерную и неторопливую осаду. Используя благосклонность государя, он далеко не сразу, но все-таки сумел добиться представления императрице-матери в Таврическом дворце. И хотя прием был подчеркнута холоден и не продолжался и одной минуты, сам по себе факт этот получил огласку и возымел некое действие на умы. Это было, без сомнения, его победой. И немалой.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна, как известно, лишившись в зловещую мартовскую ночь своего супруга Павла I, сумела сохранить за собою положение, которому в России до сей поры не было примера. Хотя императором тогда тут же был провозглашен ее сын Александр, за нею остался и прежний ранг и все доходы и почетные права, ему соответствующие. Снискавшая еще во времена Екатерины II (и в пику ей!) уважение своей строгой семейной порядочностью и добродетелью, после злополучной ночи она прибавила к сему и ореол страдальцы. Заведование делами благотворительности укрепило мнение о ее милосердии и неустанной заботе о бедных и страждущих.

Двор ее, прозываемый в обществе Старым, большею частью размещался в дорогом вдовьему сердцу Павловске, где все и во дворце и в обширном парке было оставлено так же, как выглядело при незабвенном Павле Петровиче, однако пышные выезды в Петербург следовали часто, поскольку императрица-мать устраняться от многотрудных царственных

забот не желала и за всем, что вершится в столице и в государстве, стремилась приглядывать бдительным и пристальным оком. С этим Александру I волей-неволей приходилось считаться.

Так что брешь, пробитая Савари в отношениях с императрицей-матерью, действительно стоила многого. И пусть Старый двор Тильзита пока не одобрил, а посему посланец крамольной Бонапартовой Франции для него как бы вовсе и не существовал, первая официальная встреча с Марией Федоровной вселяла в генерала кое-какие утешительные надежды.

Следующее наступление временный поверенный Наполеона предпринял на Стрельну, где в тридцати верстах от Петербурга пребывал в своей военизированной вотчине великий князь Константин.

Здесь Савари был встречен с распростертыми объятиями и с радостью убедился, что брат русского царя со времени тильзитского свидания окончательно офранцузился: Наполеона он считал своим богом, а Париж — раем. Выписанные из Франции садовники в белых клеенчатых фартуках лихо переиначивали стрелненский парк в миниатюрный Булонский лес.

Однако радость от посещения Стрельны у Савари вскорости начала быстро угасать, ибо он все полнее убеждался, что взбалмошного Константина не любит никто — ни армия, ни общество. В антипатии к нему даже враждующие меж собой группы и партии были единодушны. Савари понял, что в лице великого князя он вряд ли обретет себе надежного пособника для столь необходимого ему проникновения в высший свет.

Трезво, по полицейской привычке, оценив свои шансы и возможности, посланец Наполеона решил, что в данной ситуации продолжать действовать, так сказать, по женской линии куда вернее. И все свои надежды и упования прежде всего связал с «черноокою Аспазией».

Как ни пыталась Мария Антоновна Нарышкина отбиться от вкрадчивых и подбострастных притязаний Савари на ее внимание, ничего из этого не вышло: государь, ссылаясь на приличия и соображения высшего порядка, настоятельно желал, чтобы она не отказывала в приеме поверенному в делах французского императора.

Мария Антоновна, доверительно рассказывая об этом, часто бывавшему в ее доме Давыдову, сокрушительно вздыхала:

— Ума не приложу, Денисушка, как мне и быть с этим проклятым Савари. Так и вьется вокруг меня, так и оплетает своими словесными кружевами. Ох, умеют это французы, ох, умеют... Вот ведь и знаю и чувствую, что он меня в сети свои увлекает, а противиться в себе сил не нахожу. Где уж такой слабой женщине, как я, устоять перед эдаким хватом?.. Одним печалюсь: прознает про сии шашни Багратион, серчать

станет. А я гневить князя Петра Ивановича по душевной привязанности к нему совершенно не могу. Ты уж разобъясни ему, ради бога, потихоньку, что я не своею волею, а по настоянию государя Бонапартова посланца у себя принимаю да его обхаживания терплю.

О застрявших наградных реляциях более не говорили. «Да и кому сейчас до них, — думал Денис Давыдов, — вон ведь как все вокруг закружилось...»

Хоть и чувствовала Мария Антоновна обволакивающую и притягательную силу словесных кружев Савари, но всего замысленного им по отношению к ней пока не ведала и она. В тонкую, обольстительно-предупредительную его игру с Нарышкиной в это время уже был, оказывается, во всех деталях посвящен Наполеон.

Усмотрев вполне обычную тягу «черноокой Аспазии», как прехорошенькой женщины, к нарядам и ее повышенное внимание к веяниям европейской моды, французский поверенный тут же решил выписать из Парижа все, что смогло бы соответствовать столь безукоризненному и изысканному вкусу Марии Антоновны.

Бонапарт идею Савари одобрил и в своих секретных курьерских депешах давал ему по этому поводу подробнейшие инструкции: как поднести, что при сем сказать...

В ту самую пору, когда первая партия новомодных дамских аксессуаров для Марии Антоновны Нарышкиной, придирчиво и дотошно, со знанием дела, осмотренная перед тем Бонапартом, на взмыленных лошадях уже мчалась по укатанным и гладким европейским трактам к российским пределам, грянуло событие, которого, судя по всему, никак не ждали ни в Париже, ни в Петербурге.

В обеих столицах почти одновременно появились сообщения о том, что английский флот в составе тридцати семи кораблей начал боевые действия против Дании. Остров Зеландия оказался наглухо обложенным с моря, и на него высадились британские экспедиционные войска. Тяжелые фугасные батареи ударили по Копенгагену, город окутался дымом и пламенем, погибли сотни безвинных жертв...

Новые бюллетени принесли вести еще более неутешительные. Не устояв перед английскою варварскою бомбардировкою, датская столица, как оказалось, вскорости покорно растворила городские ворота, сдала арсенал и позволила победителям захватить без сколько-нибудь серьезного сопротивления весь стоящий в гавани внушительный национальный флот из двадцати линейных кораблей.

Эти сообщения привели Бонапарта в неистовое бешенство. Он скрежетал зубами, метался по навоощенным до зеркального блеска паркетам Тюильри и с грохотом колотил о каминные решетки бурбонские фарфоровые вазы.

Британские мортиры, бившие по Копенгагену, нанесли урон не столько датской столице, сколько тайным статьям тильзитского трактата, по которым флоту этой балтийской страны отводилась определенная и немалая роль в борьбе с морским владычеством Англии. Теперь этого флота не было. Вернее, и того хуже — он усилил своим составом британскую морскую мощь. Было с чего Наполеону выходить из себя и неистово колошматить доставшиеся ему в наследство королевские вазы.

Александра I известие о разгроме Дании перепугало до того, что у него усилилась и без того уже приметная для окружающих глухота, которая у него развилась еще в отрочестве, как говорили, вследствие слишком раннего безудержного увлечения цитерными утехами...

Русский император, видимо, не чаял, что британский кабинет предпримет столь решительные действия. А что, если недавняя союзница теперь повернет свои воинственные корабли против России? Воевать сейчас с грозною морскою владычицей в расчеты царя никак не входило. Да и обороняться с моря, по сути, было нечем. На невском рейде стояли лишь несколько устаревших неповоротливых фрегатов да кокетливые прогулочные яхты. Основной же российский флот под командой адмирала Сенявина, действовавший в начале года против турок и только недавно отозванный с Востока, медленно возвращался обратно, огибая Европу. Разбитый на мелкие отряды и ничего не ведающий, а потому не ждущий нападения, он мог легко стать добычею англичан...

Ознобная боязнь императора в мгновение ока передалась и всей северной столице. Всюду — и на улицах и в салонах — громогласно толковали о том, что Петербургу, судя по всему, уготована злополучная участь Копенгагена...

Но, как говорится, господь миловал. Британский флот близ Петербурга не появлялся.

Однако в связи со всеми этими событиями и вполне реальными опасениями акции проанглийски настроенных групп и партий разом заметно пали, в чем сразу же сумел убедиться Денис Давыдов, все еще проводивший время в Петербурге и бывавший во многих салонах и гостиных. Заметно поскущнели еще недавно заносчиво фрондирующие сторонники Новосильцева, Кочубея и Строганова. А сэр Роберт Вильсон, хотя и порхал с прежнею почти женскою легкостью, в движениях его и во

всем облике невольно ощущалось что-то неестественное, суетливо-механическое.

Савари же, наоборот, заметно приободрился и приосанился.

Еще более положение французского поверенного упрочилось после скандальной истории с подметной брошюрой «Размышления о тильзитском мире», отпечатанной в Лондоне и усердно распространяемой в петербургских салонах полковником Вильсоном вкупе с британским послом лордом Говером.

Экземпляр этой брошюры на одном из раутов миловидный англичанин ловко подсунил и Денису Давыдову, таинственно улыбаясь и заговорчищески подмигивая, как будто заранее безоговорочно зачисляя его в свои сообщники:

— Адъютанту генерала Багратиона, снискавшему славу своим острословием, непременно нужно прочесть сей памфлет. Я уверен, что он придется вам по вкусу.

Давыдов перелистал, конечно, вильсоновскую книжицу. Написана она была лихо, с известным остроумием и желчью. В ней высмеивалась алчная захватническая политика Франции и двуличие и коварство Наполеона. Однако были здесь и некоторые фразы, которые вполне можно было посчитать оскорбительными и для императора Александра I...

Денис Давыдов простодушно хотел вначале показать английский памфлет Багратиону, благо и сам тон и оценки последних событий, без сомнения, в чем-то были созвучны умонастроениям князя. Однако, поразмыслив несколько, решил, что ввязывать Петра Ивановича в это сомнительное дело никакой нужды нет. Не дай бог, еще начнутся по сей брошюре дознания — что да как...

История с брошюрой вскорости приняла именно такой оборот, который и предполагал Давыдов. До государя, конечно, сразу же дошел слух о таинственном сочинении, имеющем распространение в высшем обществе. Однако книга оказалась неуловимою: ни министр иностранных дел, ни Кабинет Его Величества пока не могли заполучить ее для представления царю.

И тут во всем блеске проявил свои врожденные способности к сыску генерал Савари. Неизвестно каким способом — шантажом, подкупом или иною хитростью, — но тем не менее экземпляр потаенного лондонского издания он раздобыл и со своими красноречивыми пометами незамедлительно вручил Александру I.

И гроза грянула.

Подталкиваемый Савари, царь решил проявить характер. Первыми

поплатились недавние «молодые друзья» государя: Кочубей расстался с министерским портфелем, Новосильцеву было приказано отправиться путешествовать, подвергся опале и Орлов, перед тем на коленях моливший Александра I о снисхождении за то, что его, мол, бес попутал с этою проклятою брошюрой...

Вильсон, почуяв недоброе, хотел тут же представить русскому императору какие-то объяснения и спешно написал ему письмо. Однако оно возвратилось нераспечатанным. Этим жестом британскому правительственному посреднику как бы высочайше указывалось на дверь...

Более того, вскоре была выпущена грозная декларация, в которой объявлялось о прекращении сношений с английским кабинетом и снова признавалась непререкаемость принципов морского права, как известно, яростно оспариваемых в Лондоне.

Тем самым разрыв с Англией становился реальностью, и даже ранее сроков, обусловленных секретными статьями тильзитского договора...

Все эти события отнюдь не успокоили столичного общества, а скорее наоборот — подлили масла в огонь. Столкновения различных групп и партий разгорелись с новой силою.

В самый разгар всех этих салонных баталий Денис Давыдов неожиданно был спешно затребован к военному министру.

Князь Лобанов-Ростовский в белом генерал-адъютантском мундире встретил его с превеликою ласкою и радушием. Одутловатое лицо министра, отливающее нездоровую желтизной, прямо-таки лучилось от благорасположения:

— Душевно рад за вас, штаб-ротмистр. Много наслышан о доблести вашей в последнюю кампанию. За отечеством и государем ничего не пропадает. Все наградные представления князя Петра Ивановича Багратиона, вас касаемые, уважены, с чем и поздравляю душевно. Извольте получить награды, коих вы удостоены... Высочайшие же рескрипты по великой занятости государя будут вам вручены позже...

Александр I оставался верен себе. Дав свое благоволение на вручение Давыдову боевых наград, он упорно не хотел подписывать рескриптов. Тем самым знаки боевой доблести жаловались адъютанту Багратиона пока как бы условно, без главных оправдательных документов.

Денис Давыдов вновь ощутил солоноватый привкус обиды, но превозмог себя и виду не подал. Потом вспомнил утешительные слова Багратиона при вручении ордена Святого Владимира — «И то сказать, не рескрипт же тебе на груди носить...» — и решил не печалить себя новой

монаршей отместкой.

Князь Лобанов-Ростовский меж тем с пафосом перечислял награды.

За бои под Гауштадтом и Деппеном Давыдов удостоивался золотой сабли с надписью «За храбрость».

За примерную неустрашимость, проявленную в яростных арьергардных схватках при Гейльсберге, награждался орденом Святой Анны 2-го класса.

Золотой Прейсиш-Эйлаусский крест на георгиевской ленте жаловался ему за мужество и отменные боевые качества, оказанные в самом крупном и кровопролитном сражении минувшей кампании.

Кроме всего, за воинские заслуги в заграничном походе он награждался еще и прусским почетным орденом «Pour le merite»...

Когда Денис Давыдов, сверкая золотою наградной саблей и новыми крестами на шее и на красном лейб-гусарском ментике, появился у Багратиона, тот сразу все понял и искренне обрадовался:

— Ну слава богу!.. Наконец-то!.. Теперь моя душа может быть спокойна. Все по справедливости. Поздравляю тебя, Денис! Вот сейчас ты воистину маладец! Глянуть любо-дорого... Можно и в отпуск отбывать. А то мне тебя отпускать без наград, честно заслуженных, прямо-таки совестно было. Нынче же препятствий к твоему отъезду в первопрестольную более не вижу. Поезжай. Пора свою удаль не только французам показать, но и московским барышням. С эдакими регалиями сие и негрешно...

— Не знаю, как и благодарить вас, Петр Иванович. Ежели бы не вы...

Про задержку государевых рескриптов Давыдов так и не сказал: к чему сызнава тревожить и заботить князя Петра Ивановича?.. И так с этим хлопотным делом он столько сил и времени потерял.

О рескриптах он обмолвился лишь Нарышкиной, которую пришел сердечно благодарить за содействие.

— Подпишет, куда он денется?.. — простодушно пообещала Мария Антоновна. — Езжай себе в Москву. И будь покоен. Я за твоими бумагами сама пригляжу...

Получив вперед жалованье и прогонные в оба конца и воспользовавшись первой попавшейся ямскою тройкой, Денис Давыдов вместе со своим неизменным слугой и денщиком Андрюшкой отбыл в Москву, куда давно уже рвался всею душой.

Боевым наградам, вторично завоеванным в Петербурге после ратных полей Пруссии, он был, конечно, несказанно рад. Однако жаль ему было и золотого невозвратного времени, растраченного чуть ли не попусту, какой

думал, в столичных гостиных и салонах.

Давыдов даже и не предполагал, что совсем скоро, когда в родительском доме на Пречистенке он после столь долгого перерыва сядет к письменному столу за свою новую сатиру «Договоры», перед ним вдруг вновь и явственно и зримо предстанут и разномастные политиканы-интриганы, и все эти светские петиметры²¹, с которыми ему в последнее время довелось сталкиваться в кипящих мелкими страстями салонах северной столицы. И он острым и желчным пером тут же сумеет набросать весьма достоверную и резкую картину высшего общества:

Здесь тьма насмешников, которых разговоры
Кипят злословием. Ехидных языков
Я, право, не боюсь; но модных болтунов,
Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами,
С очками на носу, с надутыми брыжжами,
Как можно принимать? Нет! без обиняков,
Нет, нет решительно: отказ им невозвратный.
И для чего нам свет, и чопорный и знатный,
Рой обожателей и шайка сорванцов?
К чему, скажи ты мне, менять нам тихий кров
И мирную любви обитель
На шумный маскарад нахалов и шутов?..

Эти хлесткие стихи Дениса Давыдова в чем-то предвосхитят и утонченно-блистательный смех Пушкина, и язвительно-разящую усмешку Грибоедова. И об этом никогда не забудут оба его младших друга, оба близких его сердцу Александра Сергеевича...

«Договоры» появятся в июньской книжке «Вестника Европы» за 1808 год. Под заглавием Денис Давыдов предусмотрительно укажет: «Перевод из Виже». Да и сюжет он лукаво построит так, что обличительные строки будут как бы прикрыты любовною интригою. Это поначалу введет в заблуждение и читающую публику, и критику. «Договоры» посчитают переводною элегией. И лишь самые проницательные увидят в этом произведении живописную и злую картину высшего света и уж, конечно, отнюдь не парижского...

Впрочем, в дальнейшем это все постарается разъяснить и сам Денис Давыдов, который напечатает новую, более жесткую редакцию «Договоров» вот с таким собственным примечанием:

«Стихотворение это, напечатанное в 1808 году в «Вестнике Европы», принято было за элегию, тогда как оно, под личиною элегии, есть чистая сатира... Впрочем, сему ложному понятию виною был я сам, не выразив, как видно, мысли моей с достаточной ясностью. Вот почему решаюсь вторично выдать в свет стихотворение это, по уменью моему, сколько возможно исправленным».

...А пока же на резвой ямской тройке Денис Давыдов скакал во всю прыть в Москву. И еще не ведал того, что пишущему человеку, в конце концов, все во благо — и радость, и печаль, и даже суматошный дым салонных баталий.

Под инеем севера...



У меня ни малейшего чувства зависти к России, а лишь желание ей славы, благоденствия и увеличения ее территории... Вашему Величеству необходимо отодвинуть шведов от вашей столицы; расширьте ваши границы в ту сторону, насколько вам угодно; я готов всеми моими силами помочь вам в этом...

Наполеон — Александру!

Денис Давыдов торопился.

Известие о начале кампании против Швеции застало его среди шумных и беспечных московских увеселений.

Собравшись в мгновение ока и даже не успев толком проститься с родными, он на почтовых махнул в Петербург, а оттуда как раз на масленичной неделе, пристав к артиллерийскому обозу, выехал в Финляндию.

Опять, как и в прошлую кампанию, ему приходилось догонять действующие войска...

Поначалу все шло ладно.

Из Петербурга отправились по морозцу. По хрустящему укатанному тракту обоз двигался ходко. Собственно, это был не обычный транспорт с

артиллерийскими принадлежностями, а часть только что организованного особым указом подвижного арсенала, куда, помимо конвоя и ездовых, входили мастеровые для ремонта пушек, другого оружия и снаряжения прямо на месте, запасные канониры и фейерверкеры на случай большого урона в артиллерийских прислугах, и служилые люди из лабораторной роты, обученные всяческим пиротехническим премудростям и умеющие при надобности спроворить любой огневой припас от вязаной картечи²² до штуцерного²³ патрона. Народ это был большею частью степенный, знающий себе цену и потому державшийся с известною независимостью...

Однако скоро погода круто переменилась.

С моря подул тугой влажный ветер, который приволок с собою густую, стелющуюся понизу облачную пелену. Она на глазах темнела и тяжелела. И вдруг разом повалил снег, да такой, какого Денису Давыдову давно не приводилось видывать. Это был поистине какой-то обвал, белое небесное низвержение.

Буквально за четверть часа густым снежным слоем чуть ли не в поларшина обросли артиллерийские фуры и зарядные ящики, а лошади и ездовые стали похожи на потешные снежные изваяния в Замоскворечье на масленицу.

Обоз какое-то время по инерции двигался. А потом стал окончательно.

— Попробую далее ехать, — высказал свое решение Давыдов.

— Да куда ж в такую-то непогоду? — изумились артиллеристы. — Долго ли с дороги сбиться? Опять же и к неприятелю угодить можете, время-то военное, сами знаете. Что судьбу-то испытывать?..

— Нет, решительно еду. Возок у меня легонький, коли застряну, плечом подтолкну.

Потом через какое-то время вроде бы чуточку пообвиднелось, и снег хоть и продолжал сыпать, но уже не с такою неистовой силой и густотой.

Так и добрались до финской почтовой станции Сибо.

Здесь Давыдов решил напиться чаю и дать краткий роздых лошадям, поскольку на сменных надеяться никак не приходилось. Смотритель в толстой вязаной шапке с козырьком на все вопросы и просьбы что-то мычал, качал головою и разводил руками. То ли вправду не знал русского языка, то ли прикидывался, каналья.

Поняв, что толковать с ним бесполезно, Давыдов прошел в горницу. В отличие от русских станций, пропахших кислыми щами и самоварным угаром и непременно увешанных тронутыми мухами лубочными картинками, изображавшими «Похороны Кота Тимофеевича мышами» и

«Взятие Очакова», здесь было подчеркнуто, даже вызывающе чисто.

За опрятным столом, на котором стояло с полдюжины порожних чашек, скинув на диван подле себя шинель, сидел молодой пехотный офицер с округлым лицом, на котором совершенно отчетливо отражалось отчаяние.

— Слава тебе господи, наконец-то своего брата русского вижу! — воскликнул он, порывисто вставая навстречу. — Меня этот истукан-смотритель окончательно доконал. Ничего из него выжать не могу, даже слова вразумительного... — И разом спохватился: — Позвольте представиться, господин штабс-ротмистр, поручик Архангелогородского полка Закревский Арсений Андреевич, адъютант графа Каменского.

Представился и Давыдов.

— Простите, а не тот ли вы гусарский поэт Давыдов, о котором слух по всей армии? — живо откликнулся поручик.

— Да, пожалуй, тот, — улыбнулся Денис.

Закревский просиял:

— Душевно рад нашему знакомству. Могу сказать, что стихи ваши и басни у меня списаны в заветную тетрадь, которая всегда со мною. И в этом походе. Нет ли у вас с собою какого нового сочинения?

— Кое-что везу друзьям на потеху.

— Ну уж тогда я не успокоюсь до той поры, пока не получу от вас сей новой пиесы...

...Оставив на столе плату за приют и угощение, они вышли во двор. Расторопный Андрюшка уже хлопотал возле лошадей.

Поодаль маячила и кряжистая фигура неприступного смотрителя.

— А ведь он по-нашему-то понимает, — кивнул на него Андрюшка. — Я давеча упряжь приглядываю да сам с собою толкую, мол, подпруга-то на ладан дышит, и версты не проедем, как лопнет, непременно тогда ворочаться сюды придется. Гляжу, он, ни слова не говоря, ушел куда-то, потом воротился с новою подпругою. Кинул мне, дескать, езжайте да не ворочайтесь. Хитер, бестия!..

— А со мною, — сверкнул глазами Закревский, — держался эдак, будто ни слова не понимает. Я уж его и просил, и пистолет под нос совал — лишь головою мотал.

Смотритель с тою же простодушно-хитроватою невозмутимостью взирал из-под вязаного козырька на сядящихся в возок офицеров.

Если бы ведал финский почтовый служитель, что молодой русский армейский поручик с округлым лицом, и добром и угрозами без успеха добивавшийся от него лошади, в будущем станет, сделав блестящую

военную карьеру, генерал-губернатором Финляндии, то бишь полновластным хозяином всей этой северной страны!..

Но это будет лишь началом его восхождения. Далее Арсению Андреевичу Закревскому будет уготован портфель министра внутренних дел Российской империи и почетная должность генерал-губернатора Москвы. Но и выйдя в высшие военные сановники, он навсегда сохранит в памяти финскую почтовую станцию Сиббо, где судьба свела его с Денисом Давыдовым. Их добрая и неизменная дружба, начавшаяся с сего дня, продлится более тридцати лет...

До Гельсингфорса Давыдов с Закревским добрались без особых приключений.

Здесь тогда располагалась главная квартира командующего всеми войсками в этой кампании графа Буксгевдена.

То, что государь препоручил столь ответственный пост этому генералу, многих в действующей армии весьма озадачило. Никаких особых военных дарований граф до сей поры не выказывал. Зато всем было памятно, как три года назад под Аустерлицем Буксгевден, имея под своим началом внушительную силу в 29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии, бестолково провозился у третьестепенного пункта боя, где его сдерживал ничтожный отряд французов, а потом, вдруг замыслив начать отход, сделал это столь неискусно, что несколько тысяч из его корпуса были отброшены к прудам и здесь потонули...

Ко всему прочему в Петербурге, как рассказывали, уже будучи назначенным на свою новую должность, на крещение, во время торжественной церемонии водосвятия при выстроенных, готовых к походу войсках граф умудрился грохнуться с лошади.

Тут взороптали даже солдаты: худая примета.

— Ну теперича добра не жди, — глухо гудели они. — Коли командующий с коня принародно кувырнулся, вся кампания, почитай, будет конфузная...

Теперь в полках о Буксгевдене за глаза по обыкновению говорили: «Наш-то... об лед стукнутый...»

Слава богу, как все отмечали, дивизионные командиры были не под стать командующему. Армия наша при вступлении в Финляндию имела в своем составе три дивизии: 5, 17 и 21-ю. Первой командовал старший из братьев Тучковых генерал-лейтенант Тучков 1-й, второю генерал-лейтенант граф Каменский и последнею генерал-лейтенант князь Багратион.

Этим дивизиям были приданы и кавалерийские полки — Финляндский

драгунский, Гродненский гусарский и один Донской казачий полк Лоцилина. Данные же сверх того три эскадрона лейб-казаков Буксгевден держал неотлучно при главной квартире, для своего собственного охранения.

В Гельсингфорсе Денис Давыдов узнал, что кампания, принять участие в которой он так торопился, ведется, как говорится, ни шатко ни валко. Нерешительный и тугодумный Буксгевден никаких серьезных действий покуда не предпринимал. Видимо, ждал той поры, когда застигнутые врасплох шведы соберут и сосредоточат свои силы и сами ударят по русским войскам.

Багратиону, как сообщили Давыдову в главной квартире, предписано было двигаться на Тавастгус и Або, но там, по донесениям князя, неприятеля нет и никаких сражений в ближайшее время не предвидится.

Ружейная и пушечная пальба, правда, довольно вялая, слышалась пока лишь в Гельсингфорсе: наши войска без особого рвения обстреливали Свеаборг, а из крепости столь же лениво отвечали. Однако поручик Закревский уверял, что горячий граф Каменский деятельно готовится к штурму: уже припасены лестницы и фашины, подошел подвижной арсенал с огневыми припасами.

Поразмыслив, Денис Давыдов решил задержаться в финской столице еще на несколько дней и непременно принять участие в столь отважном боевом предприятии.

Однако дни шли, а штурм все не было. Наоборот, стали распространяться слухи, что у шведов в Свеаборге худо обстоит дело с припасами, а посему они вот-вот должны запросить переговоров о сдаче крепости...

Чтобы не терять времени зря, Денис отправился далее.

В Або ничто не напоминало о войне.

Горожане, встретившие русскую армию со страхом и недоверием, вскорости убедились, что опасаться им нечего. Никакого разора и бесчинства войска Багратиона не чинили. В городе все осталось как было и ранее, не переменялась даже администрация.

Багратиону приказом главнокомандующего предписывалось пока на неопределенное время оставаться с отрядом в Або. Посему никаких дел, кроме балов и увеселений, князь Петр Иванович своим офицерам на ближайшее время не обещал...

Давыдов после двухдневного пребывания в городе запросился у Багратиона на север, где еще пахло жженым порохом.

— Ну что ж, езжай, брат Денис, — тотчас согласился князь. — Ежели

честно, то и я с тобою туда махнул бы с превеликой радостью, ты мой характер знаешь. Эдакая война не по мне. Либо уж сражаться, либо дома на лежанке бока греть. А так — пустое времяпрепровождение... Езжай!

Давыдов не мешкая выехал в Вазу.

Снова установились морозы. Данный Багратионом в провожатые молодой светлоглазый финн, довольно сносно объяснявшийся по-русски, повез Дениса не по тракту, а по зимнику, проложенному через бесчисленные озера. Этот путь был и короче, и намного накатистей.

Отрядом, расположенным в Вазе, начальствовал сводный двоюродный брат Давыдова, будущий прославленный генерал Николай Раевский. Сердечно, по-родственному приняв Дениса, он тут же предложил ему быть при его штабе, поскольку у него ощутимый урон в штаб-офицерах.

— Долго здесь не задержимся, — пообещал Раевский, — после подхода резерва двинемся в наступление. Впрочем, ты сам себе голова, — зная нетерпеливый нрав своего братца, добавил он. — Ежели сразу в горячее дело рвешься, то отправляйся к Кульневу, что командует моим авангардом. Ты, кстати, с ним вроде бы и в приятельстве состоишь. Вот уж там что ни день, то баталия.

— Лучшего для меня, любезный брат, и желать нечего, — с радостью ответил Давыдов.

— Коли так, то и быть посему, — согласился Раевский.

Отправившись вдогон за авангардом, который на месте не стоял, а был беспрестанно в движении, Давыдов с теплотою сердечной думал о встрече с добродушным и неустрашимым великаном Яковом Петровичем Кульневым, имя которого уже пользовалось в армии громкой и заслуженной известностью.

Познакомился он с Кульневым памятной для себя осенью 1804 года, когда за «возмутительные» свои сочинения был отчислен из гвардии и в превеликой тоске ехал в определенный ему для дальнейшей службы Белорусский полк, находящийся где-то в Киевской губернии. Проезжая через Сумы, Денис повстречал нескольких офицеров из расквартированного здесь Сумского гусарского полка. Узнав, что гость только что из Петербурга, они радушно пригласили его разделить с ними товарищеский ужин, а заодно и поведать о столичных новостях.

Среди собравшихся тогда Давыдов сразу обратил внимание на высоченного майора в доломане из солдатского сукна, с темно-русою тучей непокорных густых волос и пышными, наотлет бакенбардами. Несмотря на устрашающий облик, он обладал доброю, даже чуточку застенчивою улыбкою, а из-под хмурых нависших бровей смотрели внимательные, с

живой карей теплотою глаза.

— Майору Кульневу, — сказал кто-то из офицеров, представляя его Давыдову, — два последних чина жалованы самим Суворовым.

— Да и я от прославленного нашего полководца благословение получил, — улыбнулся Кульневу Денис, — правда, будучи еще совсем мальчиком...

Уже в тот вечер возникло меж ними взаимное душевное благорасположение.

Вновь они встретились, уже совершенно по-приятельски, в Восточной Пруссии, куда Кульнев в чине подполковника прибыл с Гродненским гусарским полком, назначенным в состав арьергарда Багратиона.

Привозя распоряжения князя в самые горячие места, Давыдов не упускал случая принять участие в том или ином деле. Чаще всего он был с гродненскими гусарами. Под командою Кульнева, который эскадроны в бой всегда водил самолично, гродненцы скоро стали истинной грозой для французов. Неистовым натиском они опрокидывали тяжелых наполеоновских кирасиров, яростно врубались в пехоту, лихо обходили и рушили вражеские батареи.

За время прусского похода их приятельство укрепилось и вскоре переросло в обоюдную сердечную приязнь. То, что Яков Петрович был старше Дениса на 21 год, ничуть не служило этому помехой. Кульнев держался с ним просто и душевно, как с равным себе. Их сближению, по всей вероятности, способствовало и то, что грозный гродненский гусар был наделен душой романтической и даже поэтической, сам пробовал слагать стихи, большею частью шутейные и озорные, которые читывал, впрочем, лишь ближайшим друзьям. И среди немногих — Давыдову...

Надо ли говорить, с каким нетерпением и радостным ожиданием поспешал Денис вслед за авангардом, ведомым неустрашимым и славным полковником Кульневым. С ним, он знал это наверняка, скучать не придется.

Догнать авангард Давыдову удалось лишь в городке Гамле-Карлебю, который за несколько часов перед этим Кульнев занял, как всегда, с налету, выбив оттуда шведский гарнизон.

Лучшие городские дома были по обыкновению отведены под раненых и отданы тем господам офицерам, которые наиболее привычны ко всяческим удобствам, а посему испытывают большую нужду от кочевой походной жизни.

Сам же Кульнев по неприхотливости своей вновь избрал для собственного пристанища какую-то хибару на окраине с той стороны,

откуда, вероятнее всего, предвиделось появление неприятеля.

В этой хибаре с черным, закопченным потолком его и разыскал Давыдов.

Кульнев в расстегнутом доломане и каком-то причудливом финском колпаке сидел у грубо сколоченного стола, подсунув длинные босые ноги к горящему камельку, и пил чай с ромом. Увидев и тотчас узнав гостя, он вскочил на радостях во весь свой огромный рост, чуть было не хватившись головою о притолоку. Стиснул в объятиях, загудел густой басовою медью:

— Это каким же ветром, Денис Васильич, друг ты мой любезный?! Вот не чаял повидать тебя в сей снежной пустыне. Здоров ли князь Багратион?

— Здоров князь, слава богу. Тебе кланяется. В Або по нынешнему времени тихо. Лишь балы гремят. Так я у него сюда и напросился, дабы под твоим началом пороху понюхать. Примешь ли, Яков Петрович?

— Как не принять-то, коли не на гулянку приехал. У меня балы тоже громкие, только другого свойства: как заведем со шведом карточную музыку, только поспевай кружиться!.. Ох уж как я рад тебе, Денис Васильич, истинно рад, — с широкою улыбкою повторял Кульнев. И тут же спохватывался: — Да, что это мы с тобою топчемся? Давай-ка к столу с дороги, как говорится, чем бог послал!.. Как раз ко времени ты приехал, дорогой Денис Васильич, — добродушно гудел он, завершая хлопоты по столу, которые любил и обычно не доверял никому. — Ныне я богат, аки Крез. Знатный шведский магазин²⁴ взяли: что только душа твоя пожелает... А до того, считай, 17 дней в беспрестанном продвижении да в боях. Обозы бог весть где, они за мною поспеть никак не могут. Потому и шли более на сухарях да битой конине. Лишь иногда у неприятеля кое-чем разживемся. У населения же не брали ничего. С этим у меня строго, сам знаешь... Однако марш был славный, 500 верст в эти дни одолели в лютую стужу, при полном отсутствии дорог!.. И генералу Адлеркрейцу, за коим гонялись, не единожды холку намяли. Теперь, однако же, вот-вот все должно перемениться. Шведы беспрестанно получают подкрепления. А у меня все те же четыре роты с одною пушкою...

В этот вечер они говорили о многом. У Кульнева, как скоро убедился Давыдов, за время начальствования над авангардом сложилось твердое представление, что кампания эта пока с русской стороны ведется крайне нерешительно и неумело. Буксгевден, по его мнению, постоянно совершает одну и ту же главную стратегическую ошибку: вместо того чтобы громить шведскую армию, он стремится захватить поболее территории, за что его, должно быть, хвалят в Петербурге. Но ведь территорию надобно еще и

удержать. А посему русские силы дробятся на мелкие отряды и гарнизоны, связи меж ними почти нет, снабжение же продовольствием и припасами из-за худых дорог и больших расстояний становится все более и более затруднительным. Ну а шведы, наоборот, стягивают свою армию в кулак. Кое-где, особенно в прибрежных районах, им удалось взволновать финнов, которые начали наносить ощутимый вред русским армейским коммуникациям — жгут мосты, устраивают каменные завалы и засеки на дорогах, перехватывают курьеров... Ежели главнокомандующий и далее не предпримет никаких решительных мер, то ничего доброго ждать нечего.

Кульнев в своих пасмурных предчувствиях не ошибся.

Обстоятельства для русских передовых отрядов становились все более неблагоприятными, и это неминуемо должно было привести к печальным последствиям.

Повеления же графа Буксгевдена выглядели весьма противоречивыми и маловразумительными, да и поступали они обычно с великим опозданием, поскольку от главной квартиры главнокомандующего в Гельсингфорсе до действующего авангарда было не менее 600 заснеженных верст.

Посему генерал Раевский и Кульнев вынуждены были полагаться на свой страх и риск, выполняя основное предписание Буксгевдена — теснить шведов возможно далее, к Улеаборгу. Что должно последовать за этим, никому покуда ясно не было.

Весь март кульневский отряд, усиленный Раевским двумя батальонами пехоты, пятью пушками и двумя казачьими сотнями, находился в беспрестанных стычках с неприятелем.

Чтобы облегчить авангарду, им ведомому, продвижение и маневр, Яков Петрович поставил своих пеших стрелков на лыжи, а орудия — на сани. Его ждали в одном месте, а он победоносно являлся в другом. А потом снова: марш — удар — виктория!..

Денис Давыдов неотлучно находился при Кульневе. Их задушевная дружба еще более крепла и закалялась.

После Давыдов с гордостью напишет об этом: «...Мы были неразлучны: жили всегда вместе, как случалось, то в одной горнице, то в одном балагане, то у одного куреня под крышею неба, ели из одного котла, пили из одной фляжки. Вот каковы были наши взаимные отношения».

В этом тяжелейшем походе перед Денисом все полнее раскрывались незаурядные качества его старшего друга и командира. Неустрашимый и неудержимый в бою, он всегда был милостив и отзывчив к поверженному противнику. Молва о его великодушии и благородстве разносилась по всей

Финляндии. Уважение со стороны противника к нему дойдет до того, что шведский король тридцатилетний Густав IV Адольф особым приказом строго-настрого запретит своим солдатам стрелять в Кульнева...

Поистине безграничною и в прямом смысле неусыпною была забота Якова Петровича о своих подчиненных. Никому, в том числе и Давыдову, было неведомо, когда он спит, и спит ли вообще во время похода. Кульнев всегда самолично расставлял и проверял посты, и опять же самолично надзирал за неприятелем. «Я не сплю и не отдыхаю, чтобы армия спала и отдыхала», — не раз говорил он Давыдову. Только поистине богатырское здоровье позволяло ему выдерживать такую нечеловеческую нагрузку. Правда, на облике его она сказывалась: худ Яков Петрович становился до невозможности, его и без того глубоко упрятанные в кустистые брови глаза западали совершенно, а пышную шевелюру все приметнее оплетали суровые нити ранней седины...

1апреля 1808 года Кульнев со своим отрядом после фланговых поисков снова круто повернул на север и двинулся в сторону Улеборга.

У деревни Калайоки он с ходу сшибся со шведским арьергардом. На этот раз неприятель не поспешил, как обычно, к ретираде, а выказал немалое упорство.

— Не иначе как чуют шведы у себя за спиною крупные силы, — сказал после боя Кульнев разгоряченному атакой Давыдову. — Вишь, до штыков дело дошло. Держались примерно. В сем виде оружия русскому напору из всех неприятелей, мною виденных, противостоят достойно могут разве лишь шведы.

Не давая противнику передышки, снова устремились вперед. Кульнев вел свой отряд с особою осторожностью.

Через три дня, обнаружив значительное скопление неприятельских войск у прибрежного селения Пихайоки, он решил, как и прежде, воспользоваться внезапностью и атаковать врага разом с двух сторон, потемну, за два часа до рассвета. Пехоту и артиллерию Кульнев двинул через лес большою дорогой, а два эскадрона гродненских гусар и две сотни казаков под командою лихого майора Силина пустил в обход по льду Ботнического залива.

Расчет целиком оправдал себя. Шведы, неожиданно пробужденные пальбою, гремющей с разных сторон, переполошились и сами выкатились под русскую картечь. Кульнев, на этот раз взяв начальство над стрелками и артиллерией, столь славно повел дело, что к рассвету занял неприятельский лагерь, захватив пушки, все огневые припасы и большое количество пленных. В беспорядке ушли из-под огня только ниландские драгуны,

устремившиеся к берегу. Но там, на льду залива, их встретили казаки и гусары майора Силина.

Кульнев, кликнув за собою Давыдова, погнал своего тяжелого коня туда, чтобы увидеть полное завершение дела.

Когда они вымахнули на пологий, густо усеянный припорошенными снегом валунами берег, то на льду горячая кавалерийская схватка уже была решена. В яростной атаке гусары и казаки опрокинули ниландских драгун. Лишь в одном месте неподалеку шведы еще отбивались, круто зажатые в сабельное кольцо.

Яков Петрович, не раздумывая, кинулся в гущу сражающихся и остановил сечу. Перед ним почтительно склонил голову довольно молодой еще генерал, раненный, должно быть, пикою в шею — кровь залила его воротник с кружевным жабо и богато шитый, видный из-под распахнутой шинели мундир. Рядом с ним были еще несколько высших офицеров.

Так пленен был генерал Левенгельм, личный королевский адъютант, только недавно прибывший из Стокгольма для исправления должности начальника главного штаба шведской армии. А при нем почти весь его штаб — адъютанты и колонновожатые...

Отправив столь знатный трофей с конвойными казаками к генералу Раевскому, уже выступившему на помощь своему авангарду из Вазы, Кульнев, стремясь воспользоваться как можно полнее своею победою и растерянностью пораженного неприятеля, не дав роздыха отряду, повел его на преследование спешно отходившего врага.

— Сие нужно для укрепления русского духа и для урона шведского. В глазах бегущего противника наши силы будут множиться с каждою верстою.

Преследование проходило спокойно. Лишь впереди идущие аванпостные казаки постреливали для острстки. А бережливые обозники, бодро переговариваясь, собирали брошенную на дороге добротную шведскую амуницию.

Кульнев был доволен удачно проведенным делом, острил, смеялся, то, прищипывая коня, куда-то скакал, то возвращался к Давыдову.

— Что это ты вроде, Денис Васильич, в хмурости какой-то. Об чем задумался?

— Сюрприз тебе готовлю, Яков Петрович, — хитровато прищурился Давыдов.

— Да ну? Это какой же?

— «Торжественную оду по случаю разгрому Левенгельма усатым героем Кульневым одна тысяча восемьсот восьмого года, месяца апреля, 3-

го дня...» — и тут же, изобразив на лице великую значимость и важность, стал читать:

...Румяный Левенгельм на бой приготавлился,
И, завязав жабо, прическу поправлял,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингспора пресмыкался.
О, храбрые враги! Куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.
Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся;
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте», — говорит, — «вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!»²⁵
Все вмиг воспрянуло, все двинулось вперед...
О Муза, расскажи торжественный поход!

Далее следовали веселые строки о пушечной пальбе в темноте, о панической ретирade шведов, о сдаче Левенгельма на милость усатому герою...

Кульнев смеялся этому сочинению так, что чуть не падал с лошади.

Увлеченный преследованием, через день Кульнев сбил слабое шведское прикрытие у Брагештедта, вышел к местечку Сикайоки и решил атаковать открывшиеся перед ним неприятельские позиции. Он и не думал, что здесь поджидала его вся главная шведская армия во главе с Клингспором.

Поведя наступление прежде всего на вражеские фланги и уже начав было их теснить, Кульнев совершенно неожиданно получил страшной силы удар в свой центр, который и оказался прорванным. Разрозненным частям отряда грозило окружение и истребление. Русские бились с неистовой храбростью, но многократный перевес в численности был на шведской стороне. Кульнев с превеликим трудом вырвал свою конницу и пехоту из столь губительного сражения. Урон с обеих сторон исчислялся до тысячи человек.

— Ведь и знал, что шведы армию свою вот-вот в кулак сожмут, а лез на них сломя голову, — сокрушенно говорил Кульнев Давыдову. —

Поделом мне, дураку. Впредь наука...

— Да у них потери не менее, а более наших, — пытался тот утешить командира.

— В том-то и беда, что для шведов они легко восполнимы, а у нас каждый человек на счету, пополнения ждать неоткуда.

Приободренные шведы начали решительное наступление.

Превосходными силами они наваливались на русские разрозненные отряды и спешили разбить их поодиночке.

Под Револаксом, как стало известно, им удалось окружить отряд полковника Булатова, который отчаянным штыковым ударом все же смог пробить себе дорогу, но потери понес огромные.

Почти одновременно под Куопио шведы перехватили отряд полковника Обухова, при котором следовали парки и обозы, снова зажали его со всех сторон и после четырехчасового жесточайшего боя уничтожили полностью.

Этими победами неприятель открывал себе путь в глубинные районы Финляндии и угрожал сообщениям всех русских войск.

Кульневский авангард превратился теперь в арьергард и сдерживал своими плечами грозно нависшую над ним армию под водительством Клингспора. Находясь почти беспрестанно в огне, совершая чудеса храбрости и нанося врагу чувствительный урон, отряд медленно отходил вдоль побережья. И Кульневу, и Давыдову, и всем егерям и гусарам, шедшим за ними, было ведомо, что ежели не последует значительного подкрепления, то придется им лечь до единого костью здесь, среди заледенелых валунов и просевших обтаявших финских сугробов.

Произошло, собственно, то, что неминуемо должно было произойти. Нераспорядительность и беспечная непредусмотрительность командования оборачивалась для русских войск неминуемой бедою.

Кто знает, чем бы все это завершилось, но тут, к счастью, неожиданно затеплело, начали вскрываться и разливаться реки, наступило полное бездорожье, и в связи с этим военные действия с обеих сторон полностью прервались. Русские войска, твердо встав на месте, получили передышку и надежду на подкрепление. Шведы же, судя по всему, уже несколько поистратили свой наступательный пыл и подустыпокоились.

Кульнев, убедившись, что неприятель более не рвется вперед, отходить далее не стал и разбил свой лагерь при селении Химанго в виду шведских аванпостов.

— Пусть ведают, что страха перед ними не имем и к ретирате не спешим, — сказал он.

Солдатам велено было отдыхать, отсыпаться и поправлять весьма поистрепанную в беспрестанных походах и боях форму и амуницию. К тому располагала и тихая теплая погода.

В один из этих дней Денис Давыдов вознамерился наконец-то записать шутиливую оду в честь Кульнева, придуманную прямо в седле после победы под Пихайоками, но, сколь ни бился, вспомнил лишь три начальных строфы. А далее — как ножом отрезало. В уме вертелись лишь отдельные строчки, которые связать воедино теперь не было никакой возможности...

Впервые он с грустью думал о несовершенстве человеческой памяти и порешил для себя с этой поры доверяться лишь бумаге и записывать не только стихи, но и все, что может в последующем пригодиться. Давыдов уже знал, что ему непременно надо будет сказать свое слово о сей кампании, о своих друзьях-товарищах, с которыми он сражается бок о бок, и о первом и достойнейшем среди них — Якове Петровиче Кульневе. Чутье будущего военного историка подсказывало: для достоверного описания событий недостаточно собственных впечатлений и вдохновения, надобна и суровая строгость подлинных документов. Взять хотя бы те же приказы и наставления Кульнева по отряду и даже его частные письма, из которых он никогда по дружбе и открытости своей перед Давыдовым не делает секрета.

Теперь Денис начал заносить в свою походную, крытую потертым зеленым бархатом тетрадь обширные выписки из штабных документов и личных командирских бумаг и очень скоро убедился, сколь красноречиво они изображают и боевую обстановку, и незаурядный характер славного Якова Петровича Кульнева, его острый, живой и по-суворовски доходчивый слог.

Даже пропуска через аванпостную цепь, ежедневно меняемые Кульневым, были не случайны и служили своеобразными командирскими наказами и офицерам, и нижним чинам. Каждое слово или фраза, служащие паролем либо отзывом и которые Денис Давыдов тоже стал заносить в свою тетрадь, дышали кульневской энергией и напором: «Слава!», «Честь!», «Ура!», «Победа!», «Бережливого Бог бережет», «Человеколюбие», «Штыки горят!», «Терпение», «Быстрота», «Атака!», «Храбрость»...

В июне, как только позволила погода, военные действия возобновились.

Затем общее командование войсками в северной Финляндии было поручено сыну фельдмаршала молодому графу Николаю Михайловичу Каменскому, известному своим незаурядным воинским талантом. В

девятнадцать лет он был уже полковником Сибирского гренадерского полка. Участвовал в знаменитом швейцарском походе Суворова. Особо отличился при штурме Чертова моста... Теперь, получая новое назначение, граф Каменский выговорил у Буксгевдена единственное условие: взявшись разгромить шведов, он просил свободы действовать по своему усмотрению. И главнокомандующий нехотя согласился не докучать ему своею опекою.

Сосредоточив разрозненные русские отряды, генерал Каменский сразу же предпринял решительное наступление.

Для авангарда Кульнева, при котором продолжал находиться Денис Давыдов, снова начались горячие дни. Почти без роздыху следовали стремительные рейды и обходные марши, а потом яростные удары по неприятельским позициям. И опять не поспевали обозы, питались чаще всего грибами да кореньями, даже хлеба не видели подолгу, но воевали неистово и весело. Кульнев подбадривал своих солдат шутками да прибаутками. И разумеется, что в этом деле Давыдов, как и во всем прочем, был ему первейшим помощником.

Авангард не знал удержу. При Кухаламби кульневцы дважды сбивали шведов с их заранее подготовленных редутов. Ведомые неустрашимым командиром, они показали чудеса храбрости в кровопролитной битве возле Куортанского озера, нанесли большой урон отходящему противнику при Сальми. А в решающем сражении при Оравайсе Кульнев, начавший бой первым, с одним своим авангардом более часу, пока не подошли русские главные силы, успешно противостоял всей шведской армии. Основную заслугу в достижении победы в этой битве граф Каменский справедливо приписал Кульневу, который тут же был награжден орденом Георгия прямо на шею, минуя низшую степень. Расщедрился и государь — явил личную милость, пожаловав 5 тысяч рублей. Денис Давыдов был свидетель тому, что всю эту сумму до копейки Яков Петрович тут же отослал в Витебскую губернию своей бедствующей матери.

Вскоре славные боевые заслуги Кульнева были отмечены и чином генерал-майора.

Несколько раз в это время за храбрость и мужество представлялся к наградам и Денис Давыдов — и самим Кульневым, и командиром лейб-гвардии конного полка генералом Янковичем, и корпусным начальником Раевским. Однако куда все наградные реляции на него, как и в прошлую кампанию, оставались без ответа...

После Оравайса шведская армия, по сути дела, так и не смогла оправиться, не помогли и брошенные ей на помощь десанты. Первый из них успешно поворотил вспять у Вазы Раевский, второй же, при котором

находился прибывший на прогулочной яхте король Густав IV, блистательным ударом, лично поведя войска, разгромил и опрокинул в море неподалеку от Або князь Багратион. Шведский венценосец поспешно ретировался к родным берегам.

Однако вместо того, чтобы решительно развить достигнутый успех и, перенеся военные действия на территорию Швеции, победоносно завершить кампанию, Буксгевден совершенно неожиданно заключил с противником перемирие. Должно быть, для того, чтобы дать шведам привести в устройство изрядно потрепанные войска и подтянуть резервы. Наша армия недоумевала. Выразил свое неудовольствие и Петербург. Незадачливый главнокомандующий был смещен, но заменен не менее бездарным генералом Кноррингом, который столь обстоятельно и неторопливо начал вникать в дело, что потерял попусту почти что два с половиной месяца, так ничего и не предприняв. Царь для побуждения его к действию вынужден был прислать из столицы своего верного охранника графа Аракчеева, повеления которого, как известно, с 14 декабря 1807 года считались именными государевыми указами...

— Вот уж не везет нам с главнокомандующими, — томясь от безделья, сетовал Давыдову в эти дни Кульнев. — Возможно ли армию российскую доверять немецким тугодумам? Иначе воевать, как по уставам да параграфам, они не могут. Да и слава отечества нашего для них пустой звук. Они не России служат, а единственно государю... Самое время поставить бы над войсками князя Петра Ивановича. Он бы в мгновение ока завершил кампанию под стенами Стокгольма.

Багратион, как было известно, неоднократно предлагал с началом холодов смелый рейд к шведской столице по кратчайшему пути через Аландские острова. Сомневавшийся в успехе этой операции Кнорринг всячески тянул и, лишь убоявшись нависшего над ним, как темная грозовая туча, Аракчеева, дал наконец свое соизволение на поход в начале марта, когда лед в Ботническом заливе уже зиял первыми весенними промоинами.

Начав осуществлять военную экспедицию на Аланды, которую современники по трудности и дерзости вполне оправданно сравнивали со знаменитым альпийским суворовским переходом, Багратион выразил неременное желание, чтобы его авангардом командовал Кульнев. И Давыдову, конечно, было снова разрешено идти с передовым отрядом.

Готовясь к походу на берегу, Денис неожиданно, к радости своей, встретил молодого поэта Константина Батюшкова, которого знал еще по Петербургу. Тогда его первыми стихотворными опытами восторгался Гнедич и водил его, застенчивого и розовощекого, по всем литературным

салонам, говоря:

— Это господин Батюшков, служит по ведомству народного просвещения... Новая надежда российской словесности, И какая!..

И тут же, томно прикрыв свой единственный глаз, начинал за него декламировать:

Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетой ризою прозрачной, как туманом...

Давыдову тогда понравилось, что, пожимая ему руку, начинающий поэт сказал о себе просто и откровенно: «Не чиновен, не знатен и не богат...»

Потом с Батюшковым они виделись несколько раз во время прусской кампании, в которой тот участвовал ополченцем и был ранен в ногу под Гейльсбергом. Стихи его уже широко печатались в «Северном вестнике», в «Журнале российской словесности», в «Драматическом вестнике», в сборнике «Талия»...

Теперь Батюшков был в форме армейского подпоручика и выглядел явно нездоровым: от прежнего румянца не осталось и следа, глаза запали и горели каким-то лихорадочным блеском. Он зябко поводил плечами, укрывал шею серым шерстяным шарфом.

— Экая незадача, — говорил он глухим, как бы надтреснутым голосом, — подхватил простуду в самый канун похода. Лекарь грозитя отправить в Або... Я же ему толкую, что пропустить такого славного дела никак не могу. И так в сражении при Индесальми протомился в резерве. Теперь же рейд на Швецию с самим Багратионом! На Аланды пойду, даже ежели помирать буду. На сей случай я для себя уже и эпитафию припас. Вот она:

Не нужны надписи для камня моего,
Скажите просто здесь: он был и нет его!

— Что ж, эпитафия неплоха, — живо отозвался Давыдов, — только не лучше ли ее, подпоручик, посвятить неприятелю?

— И то правда, — подумав, со слабою улыбкою согласился Батюшков, — в этом есть новый добрый смысл. Острый же у вас ум, Денис Васильич!..

На том они и расстались. Батюшков принял участие в ледовом походе и, как сказывали потом, выказал себя молодцом.

На следующий день Давыдов ушел вперед с авангардом Кульнева.

Как на грех, разыгрались хлесткие бураны. Неистовый ветер, перемешав небо с землею, со свистом крутил жесткий снег, наметал плотные горбатые сугробы. Ко всему прочему ботнический лед, и без того трудно проходимый из-за смерзшихся вздыбленных торосов, начал угрожающе трескаться и расходиться, образуя черные дымящиеся полыньи.

Несмотря на эти невероятные трудности, авангард успешно продвигался, сбивая шведские заслоны с мелких островов и прокладывая путь корпусу Багратиона к Большому Аланду.

За восемь дней стремительных маршей и горячих боев гродненские гусары и казаки, ведомые Кульневым, заняли чуть ли не весь архипелаг. Открывался путь и к неприятельским берегам.

Князь Багратион, закрепившись на Большом Аланде, снова высылал вперед Кульнева. В своем распоряжении, ему адресованном, он писал: «Надо испытать дорогу на шведский берег и разведать неприятельские силы. Господа шведы не единожды у нас гостили, давно пора визит отдать».

Денис Давыдов на всю жизнь запомнит этот отчаянный марш. Тяжелее перехода для него, пожалуй, не будет ни в одной кампании.

И все же дошли. Одолели. На рассвете, едва лишь чуточку развиднелось, были у шведского берега близ Гриссельгама. Атаковали с ходу. Однако неприятельская позиция со стороны моря была защищена заледенелыми валами, которые на конях не перемахнуть, сколь ни бейся. К тому же забухала неприятельская артиллерия, со свистом и шипением начала врезаться в лед шведская картечь.

Кульнев не мешкая спешил гусар и казаков и сам повел их на штурм укрепления. А посланный им Давыдов с двумя эскадронами гродненцев ударил с фланга. После короткого, но жестокого боя шведы были сметены с ледовых редутов, а потом выбиты и из города.

Кульнев отправил в обратный путь лихого казачьего урядника с краткой победной депешей князю Багратиону: «Благодарение Богу, честь и слава российскому воинству на берегах Швеции. Я с войсками в Гриссельгаме. На море мне дорога открыта, и остаюсь здесь до получения ваших повелений».

От Гриссельгама до шведской столицы оставалось менее ста верст, или два конных перехода.

Однако наступления на Стокгольм, которого так жаждали Кульнев и Давыдов, не последовало.

Известие о том, что русские закрепились на шведском берегу и вот-вот будут поддержаны с Аландских островов Багратионом, как сказывали, так сильно взволновало короля Густава IV, положение которого и без того из-за внутренних распрей было шатким, что он тут же начал переговоры о мире. Посему военные действия были прекращены и авангард Кульнева отозван на Большой Аланд. Кампания шла наконец к победному завершению.

За примерную храбрость и заслуги, проявленные в ледовом походе, князь Багратион специальным рапортом, направленным в Государственную коллегию, ходатайствовал о награждении Дениса Давыдова орденом Святого Георгия 3-го класса. Но и этот рапорт и все предыдущие представления на него генералов Раевского, Кульнева и Янковича были оставлены без последствий. После долгих проволочек Давыдов удостоился «за оказанную в сем году храбрость» лишь Высочайшего благоволения, то бишь обычной дежурной монаршей благодарности...

— Ну, Денис, погоди, — клокотал негодованием Багратион, — я в Петербурге сызнаю за тебя баталию поведи. К самому государю пойду, ты меня знаешь...

— Вот сего делать более и не надобно, ваше сиятельство, это моя к вам единственная и решительная просьба, — полуофициальным тоном отвечивал Давыдов.

— Как? — изумился князь.

— Да поймите, Петр Иванович, — разом смягчил голос Денис, — государь меня не жалует, это, как божий день, ясно. Он именно о том и помышляет, чтобы каждая награда моя была завоевана дважды — сперва на поле сражения, а потом в канцеляриях военного ведомства. На сие ни у меня, ни у вас сил и здоровья не хватит. Ежели характер сейчас не выдержать и снова на поклон удариться, то так все и пойдет далее, сколь бы я ни служил. Вон и Кульнев Яков Петрович толкует: «Лучше быть меньше награжденному по заслугам, чем много безо всяких заслуг...»

Багратион задумался, зашевелил низкими грозowymi бровями.

— Пожалуй, в словах твоих есть резон. По натуре своей и я бы так поступил... Впрочем, ежели переменишь решение, только скажи, я к ходатайству за тебя готов завсегда.

Вскоро стало известно, что Багратион получил назначение на пост главнокомандующего Дунайской армией. Он брал с собою на турецкий военный театр Кульнева и Давыдова.

Под зноем юга



*Напрасно покидал страну моих отцов,
Друзей души, блестящие искусства
И в шуме грозных битв, под тению шатров
Старался усыпить встревоженные чувства.*

К. Н. Батюшков

Дунайская кампания, в которой теперь предстояло принять участие Денису Давыдову, велась без сколько-нибудь заметного успеха уже третий год.

Оттоманская Порта, помышлявшая вновь твердою ногою встать на Черноморском побережье, давным-давно зарилась на Кавказ и Тавриду. Наполеон эти алчные устремления Турции всячески поддерживал и через генерала Себастиани, назначенного французским посланником в Константинополе, подталкивал султана Селима III и его приближенных на войну с Россией, обещая помощь и оружием и войсками, для чего даже двинул в Далмацию 25-тысячный корпус Мармона.

В декабре 1806 года турки открыли военные действия. Россия, основные силы которой были заняты на западе борьбою с Бонапартом, в этой новой войне была отнюдь не заинтересована и могла противопоставить Порте лишь 40-тысячную Дунайскую армию под командованием генерала И. И. Михельсона, главною ратною доблестью

которого считался захват Емельяна Пугачева, который, как известно, был повязан и выдан ему своими же ближайшими сотоварищами. Тем не менее поначалу кампания складывалась удачно. Русские войска перешли Днестр и в два с небольшим месяца овладели целым рядом важнейших турецких крепостей — Яссами, Бендерами, Аккерманом, Килией, Галацем, Бухарестом — и вышли к берегам Дуная. Однако для развития успеха были надобны дополнительные войска, а их не было, поскольку все резервы бросались русским императором на прусский военный театр.

После Тильзита боевые действия на Дунае на какое-то время прекратились: при посредничестве Франции между враждебными сторонами было заключено Слободзейское перемирие, которое интересам России никак не отвечало, поскольку предусматривало вывод русских войск из Молдавии и Валахии. Воспользовавшись какими-то формальными предложениями, Александр I этого перемирия не ратифицировал. На Дунае снова загремели пушки.

Высокомерно-бездарного Михельсона на посту главнокомандующего сменил семидесятисемилетний, дряхлый и глухой как пень фельдмаршал князь Прозоровский, по прозванию Сиречь за великую привязанность к этому слову. Никаких воинских подвигов за ним тоже не числилось. Поэтому батальные действия, которые Прозоровский вел на Дунае, большею частью, конечно, шли сами собой, без его пригляда и участия до тех пор, покуда однажды он не скончался своею смертью в лагере под Мачином — от дряхлости и обжорства.

Освободившуюся таким образом должность главнокомандующего Дунайской армией государь соизволил передать князю Петру Ивановичу Багратиону, столь блистательно проявившему себя во время знаменитого ледового аландского марша.

Приехав вслед за князем в Петербург, Денис Давыдов начал деятельно готовиться к новому походу. Однако обида жгла ему сердце. Он чувствовал себя несправедливо обойденным, тем более что у него самого были все основания считать собственные заслуги в шведской войне серьезнее и значительнее тех, за которые он получил боевые регалии в прусскую кампанию.

И все же, как ни тяжело было Давыдову, но своих обид и неудовольствия по сему поводу он твердо решил никому не выказывать. И когда Багратион при новой встрече спросил его о том, не следует ли все же возобновить хлопоты относительно наградных представлений, Денис снова решительно отказался.

Вскоре Давыдов отбыл с Багратионом к Дунайской армии.

В лагере под Мачином, куда прибыл новый главнокомандующий со своим адъютантом, царили тишь и благодать.

По кончине князя Прозоровского военные действия прекратились совершенно. Войско и ранее, при фельдмаршале Сиречь, предоставленное само себе, ощутив полное безначалие, занималось бог весть чем, но только не фрунтовыми эволюциями. Воспользовавшись тем, что с самой весны, с начала кампании Наполеона против Австрии, турки, должно быть выжидая исхода последней, особой активности не проявляли, наша сторона, в свою очередь, неприятеля тоже излишне не тревожила. Солдаты и офицеры попивали кислое валашское винцо, ловили рыбу в Дунае да охотились на уток, которых в прибрежных плавнях было видимо-невидимо. Некоторые из расторопных служилых сумели даже обзавестись женами либо заботливыми подругами и некоторым подобием домашнего хозяйства: по лагерю сушились на шнурах нижние женские юбки, а меж отбеленных неистовым солнцем палаток преспокойно разгуливали пыльные куры и важные голозадые индюки.

— Эдак-то воевать можно и до второго пришествия, — желчно усмехнулся Багратион, кивнув Давыдову на безмятежное расположение Дунайской армии.

Сразу же по приезде князь Петр Иванович провел смотр всех наличных частей и служб, включая ездовых и лекарей, и с печалью убедился, что его планы и намерения по решительному завершению сей кампании, с которыми он сюда направлялся, придется покуда оставить. Войска к каким-либо серьезным боевым действиям были совершенно не готовы. Полки, понесшие урон в осадах крепостей и прочих сражениях, пополнения, по всей видимости, ни разу не получали. В каждом из них было налицо не более трети росписного состава. Огневых припасов у пехоты хватило бы разве что на одну хорошую перестрелку, пустовали и артиллерийские парки. В кавалерии из-за частых падежей совсем худо обстояло дело с лошадьми.

Собрав военный совет, на котором как адъютант князя присутствовал и Давыдов, Багратион, гневно полыхая глазами, вопрошал:

— Кого ж прикажете винить, господа генералы, за столь вопиющее расстройство армии? Это можно только диву даваться, как при сем состоянии войск османы вас окончательно не разбили? Благодарите их аллаха да леньность турецкую!..

Господа генералы шумно вздыхали, обиженно поджимали губы, однако молчали. Для оправдания у них, видимо, никаких слов не было.

Князь Петр Иванович горячо и деятельно взялся за приведение армии в надлежащий порядок.

Ощувив твердую волю и решимость нового главнокомандующего, все вокруг тоже преисполнялось деятельности и бодрости. И лишь с Денисом Давыдовым творилось что-то непонятное.

Находясь все эти дни при князе, исполняя его бесчисленные поручения, записывая на лету его точные, напористые и немногословные распоряжения, посылая и принимая курьеров с депешами, неся напряженную, как обычно, свою адъютантскую службу, Давыдов все более чувствовал, что делает это чисто механически, с какою-то полнейшей внутренней отрешенностью. Ничто его не трогало и не радовало. Душа пребывала в каком-то глухом и сумрачном забытии. Она даже не болела, как принято говорить, а томила от переполнявшего ее холодного и тягостного безразличия.

Такого с Давыдовым еще никогда не было. Горячий, порывистый, улыбчивый, скорый на веселое, острое слово и дружеское участие, он совершенно переменялся: сделался вялым, молчаливым, начал сторониться общества своих новых приятелей и сослуживцев. Денис потерял вкус к еде, а ночами, кстати, довольно зябкими в этом знойном краю, почти не спал — либо бесцельно бродил в окрестностях лагеря, либо, накинув на плечи бурку, сидел где-нибудь в укромном месте, вглядываясь неподвижным невидящим взором в зыбкую темноту, и беспрестанно курил маленькую черешневую трубку, купленную у проворного и говорливого болгарского маркитанта. Переменялся он и внешне: обычный румянец его исчез, лицо потемнело и осунулось, а глубоко запавшие карие глаза потеряли присущую им живость и веселый блеск.

То, что с его адъютантом творится нечто неладное, первым заметил Багратион.

— Уж не хворость ли какая у тебя, брат Денис? — спросил он заботливо. — Вон и с лица спал, да и ходишь ровно в воду опущенный. Или, может, я тебя чем обидел, сам того не приметив? Ты уж скажи прямо, эдак-то всегда вернее.

— Да что вы, Петр Иванович, какая может быть обида? Вашим благорасположением я всегда доволен и дорожу им более всего на свете. Да и хворости вроде бы нету никакой. Вот душу что-то томит и изводит, а с чего — и сам не пойму. Жизни своей не рад, не токмо службе. Ей-богу, как на духу говорю, о том нынче даже помышляю, что, может, следует мне армию окончательно покинуть да уехать куда глаза глядят...

— Вон как... Ну тогда понятно, — мягко и успокоительно произнес

князь. — Это случается, особенно по молодости. По себе знаю. После очаковской осады, штурма да рукопашной резни в сей крепости со мною нечто схожее было. Виктория славная — все радуются, а мне на белый свет смотреть тошно. Как лег в палатке пластом, так и лежу, будто закаменелый. Ежели бы не заботы друзей-товарищей да Александра Васильевича Суворова, но знаю, что бы со мною и случилось. Тоже армию оставить помышлял... Такое, как мне лекарь объяснял, от горячности да впечатлительности проистекает. Телом вроде бы ты и крепок, а душа устает, как бы перегорает. И укрепить ее сызнова может покой да смена впечатлений. То же, пожалуй, и с тобою нынче происходит. Снежные марши с авангардом Кульнева, как я полагаю, тебе не даром достались. А ко всему прочему обида за то, что сии твои труды неуваженными остались со стороны государя. Видимо, после всего этого отдых тебе добрый был надобен, я же вместо того в новую кампанию тебя увлек... Сие, полагаю, исправить надобно, и немедля. Покуда дела серьезного на Дунае все равно нет, езжай-ка, брат Денис, без лишнего шума в отпуск. Будем считать, что отправлен в Россию с моим поручением.

Через день после этого разговора Давыдов вместе с курьером, везшим служебные бумаги Багратиона на высочайшее имя в Петербург, на казенной тройке отбыл из мачинского лагеря.

Позднее Денис признается, что тоска по всему родному и близкому, обуявшая его в эти дни, была столь велика, что, доскакав до границы России, он целовал землю. Навсегда сохранит он в своей душе и глубокую признательность Багратиону. Лишь внимание князя спасло в это неимоверно тягостное для Давыдова время его честь. В том состоянии, в котором находился, он действительно был готов бежать из армии.

Поначалу Давыдов имел намерение ехать вместе с курьером прямо в Петербург. Но Евдокима там сейчас не было, он с Кавалергардским полком должен этою порой находиться на гвардейских маневрах, как сообщал о том недавно в присланном письме. К веселому же кружку столичных приятелей, от которых Денис как-то поотвык за шведскую кампанию, его почему-то не тянуло. Держать же путь на Москву и явиться пред зоркие и тревожные матушкины очи в своей тоске-печали вряд ли было разумно. И он рассудил, что самое доброе будет заехать нежданно-негаданно к своим родственникам Давыдовым в Каменку.

В великолепную давыдовскую усадьбу, расположенную в Чигиринском уезде Киевской губернии, Денис попал как раз на рождество Иоанна Предтечи, где по сему случаю шло шумное празднество: в собственной

барской церкви без умолку затейливо, с переливами, вызванивали колокола и внушительно ухали по соседству медные трофейные мортиры, хоть и малые с виду, но весьма громогласные, привезенные когда-то в подарок своей любимой племяннице светлейшим князем Потемкиным.

Впрочем, как потом убедится Давыдов, подобные празднества устраивались в Каменке чуть ли не каждый день, и повод к торжеству всегда находился. И обширный барский дом с колоннадою и беломраморной парадною лестницею, и изящные просторные флигели, и уютный бильярдный домик были, как обычно, полны гостями, понаехавшими к радушным и хлебосольным хозяевам из близлежащих поместий, из Киева, из обеих столиц и даже из-за границы.

Вся эта праздная, отдыхающая публика сольется в памяти Дениса Давыдова в пестрый, но единый, беспрестанно движущийся и возбужденно гудящий хоровод, который сразу же после его приезда в Каменку легко и властно затмит собою юная, легкая, будто вся пронизанная насквозь знойно-медовым малороссийским солнцем, безрассудно-кокетливая, фривольная, изнеженная всеобщим вниманием, непостоянная, лукавая, ветреная, зазывно влекущая к себе почти нескрываемой неистовой страстью, несравненная Аглая Антоновна Давыдова, нареченная супруга еще более располневшего за последнее время, охваченного добродушной ленью, но по-прежнему склонного к философским рассуждениям и утонченно-скучным назиданиям братца Александра Львовича. Аглая Антоновна была истинною француженкою, дочерью оказавшегося в эмиграции убежденного роялиста и ярого врага Бонапарта герцога де Граммона, лишившегося по воле корсиканского узурпатора и большого чина при бурбонском дворе, и почти всего своего состояния. Впрочем, фамильные богатства Давыдовых были куда значительнее и, как говорится, с лихвою могли покрыть все утраты...

«Аглая-прелестница», как с первой же минуты по приезде назвал ее про себя Денис, среди многолюдного общества, собравшегося в это лето в Каменке, царила безраздельно.

Старая графиня Екатерина Николаевна (ей, кстати, в эту пору шел 55-й год) в своей невестке не чаяла души, поскольку брак сей, учитывая вялый характер и нерешительность сына Александра, за долгие годы самостоятельно так и не сумевшего подыскать для себя подходящую партию, устроен был в основном благодаря ее стараньям и заботам. Вполне естественно, что вся женская половина каменских гостей в угоду хозяйке не уставала восторгаться (конечно, далеко не всегда искренне) очарованием, изящностью и прочими достоинствами ее невестки —

француженки. Мужская же половина, тоже вполне естественно, без различия возрастов и званий цвела сладкими улыбками, устремляя вожделенные и пылкие взоры на восхитительную Аглаю Антоновну, кипела затаенной ревностью и соперничеством и, судя по всему, была от нее без ума в полном своем составе. К своему удивлению, и Денис Давыдов очень скоро почувствовал, что и он среди прочих обожателей отнюдь не исключение.

Тем более что повод к некоторой надежде ему тут же дала сама Аглая. При знакомстве, когда он представлялся ей при полном параде, во всех боевых орденах, она радостно воскликнула:

— Боже мой, я и не знала, что у меня есть такой славный и воинственный кузен! Мне сказали, что вы к тому же еще и поэт. Это тем более романтично! Кстати, вам так к лицу и задумчивость, и суровая бледность, под которой, как я догадываюсь, скрываются бурные страсти. Поверьте, в этом я разбираюсь...

Денис покорно склонил перед нею голову. И Аглая с порывистой нежностью, как ему показалось, поцеловала снежно-белую прядь, светящуюся надо лбом в его смоляных кудрях.

В последующие дни Аглая Антоновна не упускала случая, чтобы выказать новому кузену свое Особое расположение — то зазывной, обворожительной улыбкой, то мимолетным ласковым словом, то будто бы случайным легким и трепетным прикосновением. И Денис, приехавший сюда с полным опустошением сердечным, разом, будто пробудившись от тягостного забытья, ощутил в своей душе и прежний огонь, и упоительный восторг молодости, и тревожный и сладостный хмель увлечения красивой и отнюдь не строгой женщиной.

Празднества в Каменке продолжались.

В одну из ночей, когда утомившееся от веселья общество, наконец разбрелось по своим покоям и всею усадьбой овладела зыбкая сумрачная тишина, в дверь комнаты Дениса на втором этаже правого от барского дома флигеля кто-то осторожно постучал. Думая, что это кто-нибудь из неугомонившихся гостей, соседей-полуночников, он, кутивший у окна на сон грядущий последнюю трубку, полуобернулся и живо откликнулся:

— Милости прошу. Открыто! Я еще не сплю.

Дверь бесшумно растворилась. На пороге с ворохом смутно белеющих в полумраке цветов стояла Аглая. В восторженном порыве Денис шагнул ей навстречу. С мягким шуршаньем осыпались на пол цветы, и вокруг его шеи обвились быстрые и прохладные, пахнущие то ли рекою, то ли туманом руки. Горячая кровь хмельно ударила ему в голову...

...К счастью, столь рискованное посещение Аглаей комнаты Дениса никаких толков в доме не вызвало. Ее утреннего возвращения, видимо, никто не заметил, а может быть, кто и увидел, но не счел возможным о сем происшествии обмолвиться.

У Дениса, маявшегося тревогой и слабым запоздалым раскаянием, отлегло от сердца.

Аглая же была в этот день еще прекраснее и веселее. Она звонко смеялась, полыхала горящими устами, щебетала песенки Буадье, осыпала милостями своих подобострастных и млеющих от восторга поклонников и окончательно обезоруживала своим изяществом и утонченной светской непринужденностью местных ревнивых жен и строгих матерей. Причем среди прочих гостей она теперь явно отдавала предпочтение кряжистому и плотному драгунскому подполковнику, у которого по сему случаю от избытка удовольствия густо алели уши.

На Дениса она в этот день не взглянула ни разу. А он же, к удивлению своему, не впал в уныние и не вскипел глухою ревностью.

— О femme, femme! Creature faille et decevante²⁶, — вздохнул он с улыбкой и, уединившись в своей комнате, пол которой все еще был усыпан полуувядшими белыми лилиями, сел писать стихи, посвященные ей — милой прелестнице и искусительнице Аглае.

Если б боги милосердия
Были боги справедливости,
Если б ты лишилась прелестей,
Нарушая обещания...
Я бы, может быть, осмелился
Быть невольником преступницы!
Но, Аглая, как идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь — и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой!..

Эти стихи, туманно озаглавленные «Подражание Горацию», Денис Давыдов подарит Аглае. Она будет в восторге.

— Отныне, кузен, я у вас в неоплатном долгу, — скажет она со всею своею обворожительностью. — И долг сей вы вправе требовать, когда вам

заблагорассудится... Вы обессмертили мое лукавство и переменчивость. Мне теперь остается и далее следовать этим стихам и ни для кого не оставаться верною, кроме, разумеется, вас, мой милый Дени...

Пробыв в гостеприимной и праздничной Каменке девять дней, Денис Давыдов снова отбыл к Дунайской армии.

Князь Багратион, к которому он сразу же явился представиться по приезду, глянув на его цветущее прежним румянцем лицо и обретшие обычную веселость и живость глаза, сказал одобрительно:

— Про самочувствие твое и не спрашиваю. И так видно, что от злой кручины своей излечился полностью. Ну и ладно! Берись, дружок, за дела. А то я без тебя в бумагах зарылся, аки крот. От этих отчетов, путаных приказов да предписаний совсем измаялся, ума не приложу к истине.

Подготовив и укрепив должным образом войска, в августе Багратион начал решительные действия против турок. 18-го стремительным обходным маневром была зажата в клещи и яростным ударом с двух сторон взята давно мозолившая глаза князю Петру Ивановичу крепость Мачин. Через четыре дня столь же скорым захватом Гирсова была отпразднована новая виктория. Затем разыгралось кровопролитное сражение при Рассевате, где Багратион умело перехватил посланные к Дунаю для подкрепления отборные таборы турецкого низама²⁷ и разбил их в пух и прах. За отличие в этих победных баталиях Денису Давыдову, как он узнает позднее, снова будет жаловано все то же дежурное монаршее Благоволение...

Нанеся неприятелю три значительных поражения кряду, Дунайская армия открыла себе путь в глубину Оттоманской Порты, в сторону Константинополя. Одно продвижение туда, в Забалканские провинции, по мысли русского главнокомандующего, должно было побудить султана и его диван к сговорчивости.

Однако наступательный пыл князя Петра Ивановича был сразу же охлажден Петербургом. Пришло строгое предписание государя вести войну не иначе как оборонительную. Багратион еще думал да гадал, что бы это должно означать, когда последовал новый приказ об усилении кордонной системы, то бишь о новом растягивании гарнизонов чуть ли не на тысячу верст. Вслед за тем в противоречие предыдущим высочайшим указаниям Дунайской армии предлагалось сосредоточить все усилия на захвате сильнейшей турецкой крепости Силистрия, только недавно перестроенной и укрепленной французскими инженерами.

Багратион горел негодованием.

— Ужели с берегов Невы виднее, что мне здесь предпринимать

надобно? — говорил он с желчью и обидой Денису Давыдову. — Коли взялся я сию кампанию завершить, то, стало быть, собственный взгляд на нее имею. Ежели дозволено было бы мне развить достигнутый успех, то османы ту же Силистрию мне сами преподнесли как на блюдечке...

Перевес в силах, или, как по-военному говорили, авантаж, при Силистрии был явно на турецкой стороне. Однако строгое повеление Петербурга надобно было исполнять. С весьма слабою уверенностью в успехе Багратион с немногочисленным войском, бывшим у него в наличии, подступил к стенам крепости и предпринял один за другим два упорных и жестоких приступа, которые турки хотя и с трудом, но отразили.

Русскому главнокомандующему, убедившемуся, что лобовые импеты²⁸ ничего, кроме напрасного истребления своих солдат, не дадут, оставалось лишь предаться долговременной осаде вражеской твердыни. Войска начали возводить люнеты²⁹ и зарываться в жесткую и каменистую дунайскую землю.

Меж тем наступила осень. После ослепительного изнуряющего зноя как-то разом, резко захолодало, полились затяжные, беспросветные дожди. Худые валашские дороги на левом берегу, как сказывали, окончательно раскисли и превратились в извилистые канавы, заполненные водою и непролазной грязью. Из-за поднявшегося уровня Дуная порушились переправы. Войска, осаждавшие Силистрию, оказались в бедственном положении. Снабжение их, и без того не блестящее, почти полностью прекратилось.

Оставшись в легонькой летней парусиновой форме, солдаты давно страдали от сырости и холода. Теперь же к этому добавился и голод. Начались повальные болезни и падеж кавалерийских лошадей.

Защитники же Силистрии, как доносили лазутчики, которых принимал большею частью Денис Давыдов, получали полновесный тайн³⁰ и ни в чем нужды не испытывали, поскольку продовольственные запасы в крепости были сделаны никак не менее чем на два года. Хорошо осведомленные о бедствиях русских турки повеселели и приободрились. Из-за стен крепости почти беспрестанно слышались гортанные завывания мулл, воинственные клики и визгливая музыка. Неприятель все чаще осмеливался на вылазки и тревожил наши позиции. Кто теперь из двух сторон был в осаде, понять становилось все труднее.

Князь Петр Иванович, видя и сознавая, что подобное положение грозит полным расстройством и гибелью его армии, решил прервать ставшее бессмысленным сидение под стенами Силистрии и перевести

войска на другой берег Дуная на зимние кантонир-квартиры. Однако царь резко воспротивился сему единственно разумному в данной ситуации решению и обвинил Багратиона в нерешительности и чуть ли не в трусости. Доведенный и без того до крайности, князь взорвался и в начале 1810 года подал рапорт на высочайшее имя о снятии с него полномочий главнокомандующего. Рапорт этот был государем спешно удовлетворен, и Багратион в глубокой обиде и печали уехал с Дуная.

— Амне как же быть, ваше сиятельство? — с тоскою спросил его перед прощанием Денис.

— Оставайся покуда при армии, — глухо ответил Багратион. — Ежели сумею правду в столице сыскать и добиться соизволения вести кампанию по своему разумению, может статься, еще и возвернусь сюда. А коли определюсь к новому месту, то про тебя не забуду, немедля к себе вытребую.

Однако князь Петр Иванович на Дунай более не вернулся.

Скоро стало известно, что главнокомандование над Молдавскою армией государь препоручил молодому графу Николаю Михайловичу Каменскому, отменно проявившему себя в шведскую кампанию. Тогда он пользовался у офицеров и солдат доброю репутацией, несмотря на его порою излишнюю заносчивость и строгость. Теперь же, сказывали, после того как сей генерал недавно схоронил своего отца старого фельдмаршала Каменского, прибитого в поместье своими же крестьянами, доведенными до этого его изощренными истязаниями и самодурством, он ожесточился и озлобился противу всего белого свету и вымещает свой крутой нрав на подчиненных. Дениса Давыдова вспышливый гнев молодого графа не особо страшил, поскольку оставаться далее при главной квартире он не собирался.

Благо для этого представился счастливый и радостный случай. В апреле 1810 года на военный театр наконец прибыл Яков Петрович Кульнев, которому тут же было поручено начальствовать над авангардом Молдавской армии. Сердечного своего приятеля Дениса Давыдова он немедля испросил к себе.

— Ну вот и сызнава вместе, — добродушно басил он, — как и в снегах полунощных. И опять в авангарде. Дело нам с тобою привычное. Начнем, как говорится, помолясь, османов крестить. Прохлаждаться-то, как ты, любезный мой Денис Васильич, знаешь, я не люблю...

В первых числах мая войска, ведомые Кульневым, переправились через Дунай и начали активные действия против неприятеля. Основная

задача перед ними, поставленная новым главнокомандующим графом Каменским, оставалась прежней — та же Силистрия, осаду которой после отъезда Багратиона русскому командованию из-за недостатка военных средств пришлось все-таки прекратить.

Посоветовавшись с Давыдовым, исполнявшим в эту пору должность бригад-майора авангарда, и разузнав от него как следует все соображения Багратиона относительно захвата сей крепости, Яков Петрович задумал, как и предполагал в свое время князь Петр Иванович, непременно выманить турок из твердыни и разбить их в поле. Поэтому поначалу к самой Силистрии он не стал и подступать, а повел свои войска влево от нее и начал сбивать мелкие турецкие гарнизоны вдоль побережья. Неприятелю, убедившемуся, что русский отряд не особо многочислен, захотелось пресечь и наказать его дерзость. Значительными силами с конницей, артиллерией и обозами турки вышли из крепости, намереваясь ударить в тыл кульневскому авангарду, прижать его к Дунаю и полностью уничтожить.

А Якову Петровичу только того было и надобно. Оставив перед наступающими османами для приманки лишь легкие на ногу казачьи разъезды, он скрытными стремительными маршами и маневрами по оврагам да каменистым балкам сам вышел в неприятельский тыл и твердо заступил туркам обратный путь к крепости. Несмотря на то, что враг чуть ли не вчетверо превосходил его в силах, Кульнев с отчаянной смелостью начал жаркое дело и выиграл его неожиданностью, быстротою и натиском. Пока его гренадерские каре теснили неприятельскую пехоту, он сам вместе с Денисом Давыдовым повел кавалерийские полки. Турецкая конница, составленная в большинстве своем из крикливых и злых, но весьма чувствительных к сабельному напору арнаутов³¹, была вскорости смята и рассеяна. Почти вся османская артиллерия и обозы попали в наши руки. Ни один турок обратно к крепости пропущен не был.

Кульнев на радостях писал в письме своему брату: «Одержали на левом фланге нашем славную победу (...) и как думаю, то и Силистрия недолго продержится».

Участь крепости действительно во многом была решена. Когда к ней подошли главные русские силы во главе с графом Каменским, Кульнев уже вел с турецким пашою, комендантом Силистрии, переговоры о сдаче. Крепость, лишенная основных войск, ее защищавших, готова была отдаться на милость победителей. И вероятно, через несколько дней можно было отпраздновать победу, обойдясь совершенно без кровопролития. Однако русский главнокомандующий ждать не пожелал, тем более что

реляция для Петербурга о взятии Силистрии с боя выглядела куда как внушительнее...

Каменский отдал приказ к штурму.

После непродолжительного напора и весьма слабого турецкого сопротивления крепость пала.

После относительно легкого для себя взятия Силистрии новый главнокомандующий граф Николай Михайлович Каменский посчитал, что и другие турецкие хваленые твердыни Шумлу и Руцук он сумеет покорить своей воле также без особого усилия и труда. Первый успех, которым он был обязан во многом генералу Кульневу, вскружил ему голову. Вместо того чтобы подавлять турок мощью и силой собранной воедино армии, граф разделил войска на отряды, полагая, что они будут управляться с неприятельскими крепостями одновременно. Ничьих мнений и советов на этот счет Каменский 2-й слушать не желал. Боевой генерал Николай Николаевич Раевский, имевший, как известно, опыт войны против турок на Кавказе, попытался было в шутливой форме предостеречь главнокомандующего от необдуманного шага, но тот взбеленился, впал в неописуемый гнев и тотчас же удалил Раевского с Дуная, послав его в Валахию командовать резервами. Известие о сем происшествии отозвалось болью в душе Дениса Давыдова.

Последующие события подтвердили недалёковидность главнокомандующего и скоропалительность его решений.

Отряд генерал-майора Кульнева, при котором продолжал находиться Давыдов, был направлен к Шумле. Возглавить его теперь возжелал сам Каменский. Не позаботившись даже о предварительной рекогносцировке крепости и не узнав толком о наличии неприятельских сил в ней, главнокомандующий вознамерился взять Шумлу приступом с ходу. «Кровопролитный, плохосоображенный, предпринятый по инициативе Каменского штурм не удался», — свидетельствовал впоследствии историк.

Понесший ощутимый урон кульневский отряд вынужден был отойти от крепости, в которой, как оказалось, в эту пору находился сам великий визирь Куманец-ага с отборнейшим войском. Видя отход русских, он решил довершить их разгром. 11 июня под его водительством турки покинули крепость и в превосходных силах устремились на кульневский отряд. Генерал Каменский после неудачного штурма находился не в себе и действиями войск практически не руководил. Зато снова на высоте оказался Яков Петрович Кульнев. Поворотив отряд, он встретил турок ошеломляющим и страшным штыковым ударом. Неприятельские передовые таборы были опрокинуты и смяты.

12 июня османы, должно быть раздосадованные неудачною вылазкою, навалились на кульневский отряд еще более значительными силами. Сражение этого яростно-горячего дня останется памятным для Давыдова надолго.

Подстегнутые жесткой волей своего главнокомандующего и воодушевленные гортанными истерическими криками мулл и святых дервишей, турки бились не в пример упорней, чем накануне. Поначалу им удалось потеснить передовые порядки русских, а когда они сбили с позиции казачий полк Барабанщикова и захватили болгарскую деревню, прилепившуюся к склону близлежащей горы, положение для нашей стороны сделалось угрожающим. Это мгновенно понял Кульнев, самолично возглавивший пехотный отпор неприятелю с фронта, и срывающимся рокочущим голосом крикнул бывшему поблизости от него Давыдову:

— Денис Васильич, друг любезный, выручай. Ежели турки успеют взгромоздить на гору артиллерию, они все тылы наши возьмут под прицел. Коли диверсию им в сем намерении не учинить, худо будет. Потому бери под команду 2-й Уральский и сизнова завладей деревнею. Поспешай за-ради господ. Я на тебя, аки на самого себя надеюсь!..

Когда Давыдов с казаками-уральцами, обогнув с правой стороны гору, примчался к деревне, турки уже волочили на возвышение позади нее свои пушки. Однако изготовить их к стрельбе не успели. Спешив полк, Денис Давыдов повел казаков в атаку. Ловко карабкаясь по кручам, уральцы дружным огнем выбили турок из деревни. Их добычею стало несколько османских пушек, которые тут же были установлены и повернуты в сторону неприятеля. И орудия эти очень сгодились, когда, придя в себя, аскеры ислама замыслили снова отвоевать столь важную в ходе боя деревню. По склону горы, густо заалевшему багряными фесками, со свистом резанула по своим османская картечь. Плотно ударили и казачьи ружья. Понесся жестокий урон, турки опять откатились от деревни.

В это время, почувствовав твердую подпору со стороны Давыдова, усилил напор встреч неприятелю и Кульнев. Турки не выдержали и показали тыл.

После сражения Кульнев перед всем отрядом сердечно обнял и расцеловал своего друга и помощника:

— Сия виктория по праву тебе принадлежит, Денис Васильевич. Кабы не завладел ты деревнею да не грянул с казаками вовремя, неизвестно, как бы дело наше нынешнее обернулось. И за храбрость и за присутствие духа тебе — слава!

Бой этот проистекал на глазах главнокомандующего, и граф Каменский, надо отдать ему должное, по достоинству оценил заслуги и Кульнева и Давыдова. Для бедствующего в материальном отношении Якова Петровича он испросил денежной награды, и государь «всемилоостивейше соизволил производить (выплату ему) в течение двенадцати лет по тысяче рублей ассигнациями ежегодно из государственного банка, о чем и последовал на имя министра финансов высочайший указ».

Давыдов же за подвиг свой, свершенный 12 июня, по представлению графа Каменского был удостоен ордена Святой Анны 2-го класса, алмазами украшенного, при высочайшем рескрипте с собственноручной подписью государя. Царь, давно и упорно обходивший поэта-острослова заслуженными наградами, на этот раз был вынужден уважить его мужество и храбрость и явить ему свою милость. И это для Дениса Давыдова, выдержавшего характер, явилось двойною победою.

В разгар дунайской кампании до него с великим опозданием дошло горестное известие из Москвы о том, что от нервической горячки скончался батюшка Василий Денисович...

...Вскоре русские войска провели еще несколько упорных сражений — и здесь же, под Шумлою, и в других местах. Во всех этих делах, исполняя все ту же должность бригад-майора авангарда, принимал участие и Денис Давыдов.

В придунайском краю в эту пору зной стоял невозможный.

И без того заносчивый и крайне неуравновешенный граф Каменский 2-й то ли по причине жары, то ли по причине наследственного умственного расстройства в последнее время сделался совершенно нетерпимым. По малейшему поводу, а то и без оногo он приходил в злобу и бешенство, от коих страдали и нижние чины, и офицеры, и генералы. Многие способные командиры были своевольно удалены Каменским из Дунайской армии или, не выдержав его крутости и жестокосердия, сами вынуждены были взять абшид³².

Даже такой на удивление покладистый и добродушный человек, как Кульнев, не смог в конце концов вытерпеть необузданного нрава и несправедливых нападков главнокомандующего. Под Рущуком в припадке гнева Каменский, когда Яков Петрович попытался его урезонить, сорвался на истощный крик:

— Прочь!.. Убра-ать!.. Обезоружить!.. Арестова-ать!..

Кульнев трясущимися руками отстегнул с пояса свою саблю с надписью «За храбрость» и кинул ее под ноги главнокомандующему.

— Вы можете отнять ее у меня, граф, — сказал он глухо, — но

помните, от вас своего оружия более не приму.

На другой день уязвленный Кульнев уехал из армии.

— Служить под началом этого Атрея³³ выше всех сил моих. Иначе за себя не поручусь, — сказал он на прощание Давыдову.

Смертельно оскорбленный за своего старшего боевого друга и товарища, Денис тоже чувствовал, что ему невмоготу более оставаться на Дунае. И тут, к его великой радости, пришло письмо, в котором князь Багратион извещал, что получил главное начальство над 2-ю Западной армией, расквартированной в районе Житомира и Луцка, и будет рад видеть подле себя Давыдова, ежели он, конечно, уже вволю навоевался. На сей случай к письму была приложена дружеская записка к графу Каменскому с просьбою не чинить адъютанту Багратиона преград к отъезду для продолжения службы его при особе князя, на что имеется и высочайшее соизволение.

Воспользовавшись этим предлогом, Давыдов не мешкая отбыл к главной квартире 2-й Западной армии.

И неистовое басурманское солнце, и столь же неистового главнокомандующего, который, кстати, умрет через несколько месяцев в пыльном Бухаресте от нервного расстройства и лихорадки, он покидал без особого сожаления. Место графа Каменского 2-го займет ненадолго хитрый и изворотливый француз-эмигрант генерал-лейтенант Ланжерон, который не подвинет турецкую войну ни на толику. И лишь назначенный главнокомандующим Дунайской армией Михаил Илларионович Кутузов сумеет славно и победоносно завершить столь долгую кампанию и заключит с Османской Портой крайне необходимый для России мир перед самым вторжением Наполеона.

О последующем отрезке своей жизни вплоть до начала Отечественной войны Денис Давыдов так напишет в своей веселой мистифицированной автобиографии: «Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над 2-ю Западной армией, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом, иначе Дионисием)».

В этих полушутливо-залихватских строчках, конечно, полною мерой отдана дань бытовавшей тогда моде. Изображать себя эдаким праздным гулякой, беззаботным малым с неизменным пуншевым стаканом в руке почиталось хорошим тоном. Особенно заботился об этом Денис Давыдов, уже снискавший себе лавры певца вина, любви и славы. В реальной жизни

все выглядело, конечно, куда скромнее. Близкий его друг и сотоварищ по приятельским застольям князь Петр Андреевич Вяземский напишет впоследствии: «Впрочем, нелишне заметить, что певец вина и веселых попоек в этом отношении несколько поэтизирован. Радужный и приятный собутыльник, он на деле был довольно скромен и трезв. Он не оправдывал собой нашей пословицы: пьян да умен, два угодья в нем. Умен он был, а пьяным не бывал».

Да и бумаги главной квартиры Багратиона этой поры, в которых часто встречается имя лейб-гусарского ротмистра Дениса Давыдова, свидетельствуют, что адъютанту князя Петра Ивановича чаще всего было отнюдь не до бесед с Вакхом в дружеском офицерском кругу. Из первых трех месяцев по возвращении с Дуная он, например, два с половиною проводит в дороге — то в седле, то в жестких курьерских дрожках. Как один из первых помощников и доверенных лиц Багратиона, Давыдов исполняет множество поручений главнокомандующего.

Денис Давыдов в эту пору принял и самое деятельное участие в подготовке и написании особой записки, поданной Багратионом на имя государя, в которой был в деталях разработан план новой кампании против французов. Князь Петр Иванович, глубоко убежденный, что война с Наполеоном неизбежна, дабы уберечь Россию от неотвратимости вражеского нашествия с запада, как приверженец суворовской наступательной тактики, предлагал упредить неприятеля и нанести ему удар через герцогство Варшавское. Выгоду от этого он предполагал немалую. В успешном действии против французских корпусов в Европе, покуда немногочисленных, разрозненных и занятых переформированием, князь не сомневался. Кроме того, первые же победы над неприятелем решат участь Польши и оторвут ее от Наполеона. Совершенно очевидно, что тогда не решатся выступить на стороне Бонапарта Австрия и Пруссия. Иначе и поспешно создающиеся польские легионы, и войска цезаря римского и оглушенного поражением Фридриха-Вильгельма III прибранные к рукам французами, будут вовлечены в поход против России...

Кто знает, как бы повернулись дальнейшие события истории, если бы боязливый и всегда сомневающийся Александр I вдруг принял этот смелый, решительный и дальновидный план Багратиона.

Вместо этого, как известно, царь, располагавший обширными и весьма точными данными о твердом намерении Наполеона сокрушить Россию, целиком положится на немецких военных советников и в первую очередь на бездарного генерала Фуля. По плану, сочиненному этим педантичным

кабинетным «стратегом», русские войска будут растянуты на огромном пространстве по оборонительным кордонам, и, чтобы собрать армию воедино после начала вражеского нашествия, потребуется преодолеть невероятные трудности и пролить реки солдатской крови. Огромные силы и средства в соответствии все с тем же «фулевым прожектором» затратит Россия для сооружения печально знаменитого Дрисского оборонительного лагеря, который и современники и историки единодушно назовут не чем иным, как ловушкой для нашей армии.

Находящийся при князе Багратионе и занятый будничными, не особо примечательными, по собственному его мнению, делами, Денис Давыдов внутренне уже готовил себя, как и многие передовые, думающие офицеры, к большим и серьезным испытаниям во имя любезного отечества. В армии креп патриотический дух. Пожалуй, никогда прежде в полках с таким усердием и рвением не изучались военные науки и уставные наставления.

Ходила по всей армии и хлестко-озорная эпиграмма Дениса Давыдова «К портрету Бонапарте», высмеивавшая людоедско-захватнические амбиции Наполеона и его страсть сажать на большие и малые европейские престолы своих братьев и прочих родственников:

Сей корсиканец целый век
Гремит кровавыми делами.
Ест по сту тысяч человек
И..... королями.

Эта эпиграмма явилась, пожалуй, одним из первых в нашей литературе опытов резкой и броской, а главное, общедоступной политической стихотворной карикатуры. И она, без сомнения, делала свое дело: в канун иноземного нашествия внушала презрение и ненависть к алчному и кровожадному врагу.

Кстати, в эту пору Давыдов снова исполнен вдохновения. Однако былые восторги и упоения владеют им все менее. Им на смену приходит острое предчувствие приближающейся военной грозы:

Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремят войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!

Перуны самой большой и жестокой со времен изобретения пороха войны все ближе накатывались с запада к российским пределам.

«Отступая... Наступать!»



Я никакой позиции здесь не имею, кроме болот, лесов, гребли и пески. Надо мне выдраться, но Могилев в опасности и еще надо бежать. Куда? в Смоленск, дабы прикрыть Россию несчастную... Я имею войска до 45 тысяч. Правда, пойду смело и на 50 тысяч и более, но тогда, когда бы я был свободен, а как теперь, и на 10 тысяч не могу. Что день опоздаю, то я окружен.

П. И. Багратион — А. П. Ермолову

Князь Багратион пребывал в мучительном раздумье.

Ежели исполнять в точности строгое предписание государя, полученное им по прибытии в Зельву 18 июня, то следовало бы, переправив 2-ю армию через реку Щару, спешно двигаться через Белицу или Новогрудок к Вилейке, на соединение с армией Барклая. Но Вильна, как следовало из того же послания Александра I, уже занята Наполеоном.

Это означало, что Багратиону предлагался опаснейший фланговый марш, который возможно исполнить лишь при полном бездействии неприятеля. А коли Бонапарт не мешкая заступит путь своими главными силами? Растянув войска по худым дорогам, Багратион тогда и оборониться как следует не успеет. Французы легко смогут разрубить его армию на части, и тогда быть превеликой беде. Ужели государь такой простой и

очевидной истины уразуметь не может?..

Его жгла обида и на Барклая. Почему военный министр, видя столь явную непредусмотрительность в распоряжении императора, счел удобным для себя сего не заметить? Сами собой в горячей голове Багратиона ворочались тяжелые мысли об измене...

Действовать надо было, однако, незамедлительно. Перечитав еще раз категоричное требование государя и еще раз поразмыслив, князь Петр Иванович решил выбрать меньшее из зол: круто повернуть на Новогрудок. Все же восточнее и подалее от главных сил Наполеона. Единственное, что могло спасти в этом случае его армию, это — быстрота. Теперь надо было уповать лишь на господа бога да на выносливость русского солдата.

Форсированными переходами войска Багратиона за пять дней марша одолели более 150 верст по раскисшим дорогам под почти непрерывным дождем.

21 июня, сосредоточив все свои силы у местечка Николаева, Багратион понял, что время у французов он, судя по всему, выиграл. И разом приободрился.

Теперь предстояло сделать бросок через верхний Неман, а там, почитай, недалеко и до Вилейки, обозначенного пункта встречи с 1-й армией.

Расторопные пионеры, дробно стуча топорами, привычно наводили несколько переправ для пехоты и артиллерии. Коннице велено было преодолеть реку вплавь.

Разгуливалась и погода. Утро 22 июня вставало тихое, в обильной росе, предвещающей вёдро.

Князь Петр Иванович на своем крепконогом караковом коне, в наброшенном на плечи зипуне и белой фуражке с большим квадратным козырьком выехал на берег, чтобы самолично отдать последние приказания по переправе.

Войска поднимались с биваков. Солдаты чистили подсохшие за ночь у костров мундиры, подтягивали ремни, поудобнее ладили обувь.

Багратион подъезжал к строящимся частям, бросал быстрые веселые фразы:

— Ну как, соколы? Подсушили крылья? Хотел неприятель нас накрыть — ан не вышло. Теперь мы на него падем. И уж пощиплем орла французского!..

Солдаты, просияв лицами, одобрительно гудели.

Вскоре по наведенным трем узким и шатким мостам скорым, распашным шагом двинулась пехота, с тяжелым стуком покатали пушки и

зарядные фуры.

По обе стороны от мостов пошла вплавь и конница. Справа драгуны и уланы графа Сиверса, слева — кирасирские полки Кнорринга.

Казаки атамана Платова, получив предписание освещать местность в сторону Вилейки, приторочив, по обыкновению, одежду и снаряжение к пикам, в чем мать родила привычно перемахнули реку еще затемно.

Теперь здесь, на переправе, Багратион ждал от них известий.

Тем временем к берегу подтягивались бывшие до сей поры в арьергарде ахтырские гусары. С ними во главе первого батальона, составленного по военному времени из четырех эскадронов, ехал Денис Давыдов. Заприметив издалика высокую статную фигуру главнокомандующего, подскакал к нему, светясь искренней радостью.

— Здравия желаю, ваше сиятельство!..

— А, Денис, — приветливо улыбнулся Багратион своему недавнему адъютанту, — здравствуй, дружок. Как служба твоя новая? Небось куда ладнее, чем при моей беспокойной особе? А должность твою ныне поручик Муханов справляет. Да еще молодого князя Меншикова я в адъютанты взял. Офицеры добрые, исполнительные и храбрости примерной. Однако ж все не ты. С тобою я за столько лет и душою сроднился. Эх, да что теперь толковать, сам виноват, что отпустил тебя в полк.

Еще ранней весной, когда стало совершенно очевидно, что военная гроза неизбежна, Денис Давыдов, горя желанием непременно встать в ряды действующих войск, стал просить у Багратиона перевода в Ахтырский гусарский полк.

— Не держите сердца, князь Петр Иванович, но при вас я более бумагами распоряжаюсь, а мне себя в горячем деле испытать надобно. Я гусар. И в час для отечества столь опасный хотел бы быть на передовой линии...

Князь Багратион понял благородный порыв своего адъютанта. 8 апреля 1812 года накануне вторжения Наполеона в Россию Денис Давыдов «с переименованием в подполковники» вступил в Ахтырский гусарский полк, располагавшийся тогда близ Луцка. (В формулярном списке событие это отмечено 17 апреля...)

— Петр Иванович, а когда же дело нам выпадет? Все в марше да в марше. И конца ему не видно. Лошади истомились. Да и гусары ропщут. Эдак, мол, бог весть куда уйдем и француза не увидим...

— Будет вам работа, Денис, и очень скоро, — вскинув крылатые брови, твердо ответил князь. — И ахтырцам скажи: ежели Багратион отходит, то это отнюдь не ретирада, а лишь изготовка к удару. А тебе, по

доверенности давнишней моей, и более того могу открыть, — главнокомандующий снизил голос, — впереди на нашем пути Даву. Он сломя голову рвется к Минску. Вчера от еврея-лазутчика стало мне ведомо, что его вольтижеры уже будто бы занимают местечко Трабы. Жду сему подтверждения. Даву, отрезая меня от 1-й армии и стремясь продвинуться более к востоку, не преминет подставить мне свой тыл. И поплатится за это жестоко. Ужо я отведу душу!..

— Вот и славно, Петр Иванович, — Давыдов весело сверкнул глазами. — А уж мы, будьте покойны, не подведем!..

Тем временем невесть откуда к главнокомандующему, как вихрь, подскакал молодой казачий урядник. И сам он, и рыжий горбоносый конь его были мокры, должно быть, только что из реки. Мягко, по-кошачьи, спрыгнув с седла, казак запаленно выдохнул:

— Позвольте, ваше высокопревосходительство... От атамана... В собственные руки...

И, скинув с головы единственно сухую форменную с малиновым верхом шапку, извлек из нее бережно упрятанную депешу.

Багратион нетерпеливо разорвал пакет, быстро пробежал бумагу, писанную атаманом Платовым.

— Вот и подтверждение, — сказал он, полуобернувшись к Давыдову.

И тут же перевел взор на казака:

— Какого полка, маладец?

— Иловайского пятого, ваше сиятельство, урядник Ситников-четвертый, — тряхнув пшеничным чубом, бодро ответил посланец.

— Во как у нас — четвертый!.. Это сколько же вас, Ситниковых, тогда?

— Так в полку восьмеро зараз. Отец, стало быть, дядьев трое, да нас, братанов, четверо, — широко улыбнулся урядник. — Все как есть на службе отечеству.

— Передай атаману, что поручение его исполнил ты с честью, и я премного доволен службой твоей. А приказ генералу Платову будет особый, пусть ждет моего известия. Так и передай. Ну, с богом!

Казак легким, стремительным махом влетел в седло и, круто повернув коня, пустил его внамет вдоль берега.

— Вот на таких Ситниковых, брат Денис, вся Россия и держится, — раздумчиво сказал Багратион, провожая всадника взглядом. — Для них отечество не пустой звук, а земля родимая, коей они никакому врагу не отдавали и не отдадут. И посему вовек в вере своей и силе неистребимы. Сего Бонапарту понять не дано, да и нашим иноземцам, лишь о корысти и

выгоде своей помышляющим, — тоже...

Лоб князя над переносом прорезала глубокая складка, а ноздри тронуло нервной дрожью.

— Ну да ладно, подполковник, — вздохнув о чем-то своем, как всегда, разом переменял разговор Багратион, — переправляй свои эскадроны. Рад душевно, что так вот накоротке свидеться с тобой довелось. Готовься к жаркому делу. Но об одном прошу — попусту голову свою в пекло не суй. Такое за тобой водилось... Вот так... Дай-ка обниму тебя напоследок. Все под богом ходим...

Переправа 2-й армии завершалась.

Войска в большинстве своем, в том числе и ахтырские гусары, были уже на противоположном берегу.

Князь Багратион сосредоточивал силы к решительному удару. Атаман Платов, бывший с казачьим корпусом верстах в пятнадцати от Николаева, по донесению его, миновав Лиду, дважды сшибался с французами, взял пленных. Они показали, что принадлежат к корпусу Даву, составленному из шести дивизий. Это 60 тысяч штыков и сабель. И, считай, на 15 тысяч превосходства надо всею 2-ю армией Багратиона.

Однако князь Петр Иванович склонен был атаковать самого грозного из маршалов Бонапарта и ничуть не сомневался в успехе.

Но вдруг обстоятельства круто переменялись.

Переправа уже подходила к концу, когда пришло совершенно неожиданное для Багратиона известие о том, что французы большими силами во главе с братом Наполеона, королем Вестфальским Иеронимом, которого русский служилый люд будет вскорости называть «королем Еремой», появились у него в тылу со стороны Гродны. Они заняли Слоним и только недавно оставленную им Зельву, а неприятельская кавалерия уже замечена верстах в двадцати к северо-западу от Николаева.

Князь Петр Иванович с тоской понял, что его армию враг зажимает в стальные клещи. Атаковать корпус Даву теперь не имело смысла, ибо тут же он мог получить удар в спину. Пока не поздно, надобно было вырываться.

В случае смертельной опасности Багратион, как всегда, умел подчинить свой пылкий, вулканический темперамент трезвому и холодному рассудку опытного полководца. Мгновенно оценив обстановку, он отдал приказ войскам спешно переправляться обратно, чтобы стремительно идти на Кореличи и Новый Свержень. Князь еще не терял надежды обогнать Даву и ранее его достичь Минска.

Земля гудела от конских копыт и солдатских сапог...

Багратион предписал Платову соединиться с блуждавшим где-то поблизости, отрезанным с самого начала кампании от 1-й армии 4-тысячным отрядом генерала Дорохова и беспрестанно тревожить правый фланг Даву, дабы во что бы то ни стало замедлить его движение.

23 июня поутру 2-я армия достигла Кореличей.

Князь Петр Иванович, всю ночь проведенный в седле, так и не дал себе раздыха. Он сидел в чистой просторной горнице зажиточного купеческого дома и, морща лоб, своим быстрым, как бы летящим по наклону ввысь малоразборчивым почерком набрасывал текст приказа по войскам. В правом углу над столом, за которым писал князь, тускло поблескивал иконостас и испуганно вздрагивали огоньки разноцветных лампад.

Здесь же, в горнице, тихо шуршал картами его начальник штаба аккуратный и педантичный граф Эммануил Францевич Сен-При, французоялист, непримиримый враг Бонапарта.

Предвидя первое серьезное столкновение с неприятелем, Багратион считал своим долгом приободрить ведомые им войска, изрядно уставшие в беспрерывных маршах:

«Г.г. начальникам войск вселить в солдат, что все войски неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, мы же русские и единовверные. Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пуля мимо. Подойди к нему — он побежит. Пехота коли, кавалерия руби и топчи!»

Зная, что теперь дело вполне может обернуться и окружением его армии, Багратион решил напомнить своим солдатам прошлые баталии, когда войска под его началом доблестно пробивались сквозь все неприятельские заслоны:

«Тридцать лет моей службы и тридцать лет, как я врагов побеждаю через вашу храбрость! Я всегда с вами и вы со мной...»

Дописав последнюю фразу, Багратион поставил твердую решительную точку. Будто гвоздь вбил. Круто обернулся к Сен-При:

— Приказ сей, граф, немедля объявить во всех частях и отрядах. Пусть воля моя, намерения и вера в победу ведомы будут всем от генерала до ездowego в обозе. И отступая, я буду наступать!..

Еще три дня прошло в изнурительнейших маршах по ослепительно яростной жаре, с постоянною переменою направлений следования. Аванпосты Багратиона уже всюду сшибались с наседавшим неприятелем. То сыпучими песками, то болотами, то узкими путаными проселками 2-я армия упрямо выдиралась из стальных Бонапартовых клещей.

26 июня Багратион, присоединив к себе по пути отряд Дорохова, вышел к Несвижу. И здесь понял, что ежели не даст хотя бы на сутки остановку своим войскам, то рискует погубить армию, так и не вступившую пока в решительное сражение. Она на глазах приходила в расстройство. Полковые и артиллерийские лошади стали. Буквально валилась с ног и пехота. В полках недосчитывались отсталых. Санитарные фуры были полны больными и изнуренными.

К тому же и губернатор Минска доносил, что авангардные части Даву вплотную приблизились к городу и вот-вот вступят в него. Спешить туда было уже бессмысленно...

И Багратион отдал распоряжение: отдыхать!

Со стороны наступавшего Вестфальского короля он выставил у местечка Мир кавалерийское прикрытие — атамана Платова с его казаками. В случае нужды ему должна была всячески способствовать конница 7-го пехотного корпуса — Ахтырский гусарский полк с конно-артиллерийскою ротою.

В этот же день главнокомандующий 2-й армией получил спешное донесение атамана: со стороны Кореличей появилась сильная кавалерия. «Несть числа», — торопливо писал Платов.

К нему тотчас же поскакал адъютант князя лейб-гусарский поручик Муханов со строжайшим приказом Багратиона — удерживать Мир любой ценой столько, сколько будет возможно.

Здесь, при Мире, а чуть позднее при Романове и разгорятся крупнейшие кавалерийские бои, в которых конница правого крыла французской армии понесет такое сокрушительное поражение, после которого она так и не сможет оправиться...

Наказному атаману Войска Донского, генералу от кавалерии Матвею Ивановичу Платову, которого французы прозывали «гетманом», шел в эту пору шестьдесят второй год.

Почти всю жизнь свою он провел в высоком казачьем седле, начав службу 13 лет от роду. В 18 лет был крещен марсовым огнем. Воевал славно на Перекопе, под Кинбурном и Очаковым. При знаменитом суворовском взятии Измаила командовал штурмовою колонною. Участвовал в Персидском походе, в войне против французов в Восточной Пруссии и против турок на Дунае.

С конницею Бонапарта познался еще в 1807 году, когда принял команду над всеми казачьими полками. И тогда же понял, что бить ее можно с успехом, что и проделывал не раз во многих сражениях и аванпостных сшибках.

Несмотря на немалый для кавалерийского генерала возраст, был атаман еще тверд рукою и крепок телом, лицо его, будто кованное из красной меди, гляделось на диво гладким, без морщин. Да и обширная залысина и длинные висячие усы, тронутые пороховым дымом седины, говорили скорее не о почтенных летах, а о жизни стремительной и бурной.

Нрава Матвей Иванович был крутого, но отходчивого. Отсиживаться по штабам не любил и в жаркие баталии полки водил всегда самолично. Хладнокровием и храбростью под огнем с ним могли равняться немногие. Да и в шумном застолье тягаться с атаманом стойкостью пока охотников не находилось — любого перепьет.

Прочитав предписание Багратиона, присланное с адъютантом Мухановым, атаман задумчиво покрутил правый ус, к которому он всегда благоволил более левого, и, вздохнув, сказал:

— Ну коли вышел приказ держать Мир, стало быть, будем держать. Сколь духу хватит. Но даст ли подмогу князь? Сил у меня сейчас — кот наплакал. При мне пять с половиной полков пятисотенного состава да рота Донской артиллерии. А неприятелю и вправду несть числа. Одних польских полков мои лазутчики-летуны насчитали двенадцать — и уланы, и егеря, и легкоконные... Да саксонских два тяжелых. Сих кирасиров я еще по седьмому году знаю. Качеств боевых отменных и выучки. Публика, прямо скажу, сурьезная. Вестфальцы эти, правда, пожиже будут. Но их четыре полка орлы мои заприметили. И все при пушках к тому же.

— Даст, даст подмогу князь Петр Иванович, — поспешил заверить его Муханов, — при мне отряд генерал-адъютанта Васильчикова Иллариона Васильевича к вам отряжали. Это гусары ахтырские с ротою артиллерии, Киевский драгунский и Литовский уланский. Да еще егеря 5-го полка. Кроме того, главнокомандующий велел вернуть три ваших полка, что при армии были. Они уже наверняка на пути к Миру.

— Ну, порадовал ты меня, поручик, — разом расцвел Платов. — По всем статьям заслужил ты за эдакую весть добрую рюмку анисовой. Да, видит бог, перед ретивою дракою я и сам не пью и других не жалую. Но это у нас с тобой еще успеется, — хитровато прищурился атаман. — Впрочем, князь пишет, чтобы я использовал тебя по усмотрению. Может быть, ты возвратишься в Несвиж, пока у меня дело не началось, желаешь?

— Здесь прошу быть непременно, ваше превосходительство.

— Ну и ладно, — одобрительно сказал атаман. — Иного от адъютанта Багратиона и не ждал. Когда должность сию Давыдов Денис исполнял, он, как, бывало, слышит, что у меня горячо, разом подышит в ухо князю Петру, и глядишь уж — тут как тут. Я его три кампании знаю. И казаки мои

к нему с полнейшим уважением. Потому как молодец, по всем статьям молодец. Кстати, ежели ахтырцы сюда идут, то, стало быть, и Денис с ними. Потому как снова у меня горячо зачинается, ох, как горячо!.. Ну, поручик, пошли со мною, а то того гляди польские уланы к нам припожалуют. Встретить их надобно как и положено. Я для них тут подарочек припасаю, вентерек плету, вентерек... Чтобы сюда им было повадно, а обратно — туго. Будем их брать, как рыбу на Дону.

В сузившихся глазах Платова вспыхнули заговорщически-лукавые огоньки.

На атамана, занявшего позиции у Мира, неотвратимо, как темная грозовая туча, надвигалась вся кавалерия правого крыла французской армии.

Несколько дней назад составляющие ее дивизии и бригады были подчинены 44-летнему блестящему кавалерийскому генералу Виктору-Никола Латур-Мобуру, которого в Великой армии называли Баяром — рыцарем без страха и упрека. Он отличался изысканным благородством, холодным спокойствием под огнем и пылкостью в атаке. Его гордым римским профилем, статной фигурой и безупречной выправкой на смотрах и парадах всегда любовался Наполеон.

Однако в предстоящих жарких событиях никаких особых достоинств красавец Латур-Мобур выказать так и не сумеет. Точному расчету, военной хитрости и сокрушительному напору атамана Платова он не противопоставит ни ума, ни скорого понимания боевой обстановки, ни должной распорядительности.

Впрочем, после поражения ему придется поступиться и столь знаменитым благородством. Страшась гнева императора, он будет высокопарно лгать, изворачиваться, всячески преуменьшать свои столь значительные потери, в чем ему в тех же целях будет усердно помогать и командующий войсками правого крыла Вестфальский король Иероним, которого Наполеон не раз в сердцах называл самым бездарным и лицемерным из всех своих беспутных братьев...

А пока что Латур-Мобур, далеко оторвавшись от тяжело идущей следом пехоты, с воодушевлением исполнял приказ Бонапарта — неотступно преследовать и наконец-то настичь столь удачно и искусно избегающую окружения армию Багратиона, чтобы с размаху припереть ее к штыкам и огнедышащим жерлам пушек свирепого маршала Даву.

Латур-Мобур настойчиво торопил свои дивизии.

Впрочем, польские полки, идущие в его авангарде, подгонять не было нужды. Они сами горели нетерпением побыстрее ринуться в бой.

Их вела против России призрачная мечта о великой и неделимой Речи Посполитой, мечта, которую Наполеон щедро вселил им в сердца, но отнюдь не собиравшись исполнять...

Захватив на пути своем несколько брошенных фур и с десятков отсталых, польские уланы легко убедили себя, что русские бегут в панике. А посему двигались вперед беспечно, в полном пренебрежении к противнику.

Именно на это и рассчитывал многоопытный атаман Платов, готовя заносчивым непрошеным гостям свой донской «вентерь»...

Пока не подошли подкрепления, он решил всех малых сил своих неприятелю разом не выказывать, а действовать более внезапностью да хитростью.

27 июня еще до рассвета, пользуясь голубою предутреннею прохладой, передовые полки уланской бригады Турно, входящей в дивизию Рожнецкого, двинулись в сторону Мира, чтобы с ходу занять его и следовать далее, на Несвиж.

Колонна смотрелась красиво. Над строгими синими мундирами и конфедератками вознесенные на остриях пик в нежно розовеющее небо плавно колыхались бело-малиновые флюгера.

Когда на ближних подступах к Миру, где-то у деревни Пясечно, польские уланы заметили впереди казачью заставу, они немедленно бросились в атаку. Казаки, изобразив великий испуг, кинулись от них прочь вдоль по дороге. Передовой неприятельский полк, увлеченный и разгоряченный погоней, с размаху проскочил Мир. И тут на дальней окраине перед ним как из-под земли выросли хоронившиеся до поры лихие сотни Сысоева. Резво развернув коней, обратилась лицом к неприятелю и только что стремительно отступавшая заставка.

Все решила внезапность.

Казаки, действуя почти без выстрелов, ударили в дротики, а потом в сабли. Уланы были разом опрокинуты и смяты. Сеча была короткой и жестокой.

Оставшиеся в живых в ужасе покатались обратно и со всего гона врезались в свои идущие следом полки, вызвав в них великую сумятицу.

В это самое время Платов двинул к Миру свои основные силы, а оставленные в засадах отборные сотни ударили с флангов и тыла, накрепко затянув хитроумный атаманский «вентерь».

Атакованный с разных сторон неприятель был прижат к протекающей впереди Мира болотистой речке Уше. Польские кони вязли в зыбной трясине. Навалившиеся скопом казаки довершали славно начатое дело:

разили и брали в плен заляпанных коричневой торфяной грязью и тиной улан.

Из тысячи трехсот недавно бравых всадников бригады Турно по узкой дороге через плотину удалось вырваться из «вентеря» лишь немногим. В том числе и их незадачливому командиру, у которого в сече был срублен эполет...

Отряд генерал-адъютанта Васильчикова, в который входили ахтырские гусары, подошел к Миру уже за полдень, когда лихой кавалерийский бой был давно завершен, и казаки, похоронив убитых и отстояв краткий молебен у походного алтаря, поминали своих упокоенных товарищей. Потери атамана по сравнению с неприятельскими были невелики: 23 рядовых казака и сотник.

Генерал Васильчиков со старшими офицерами только что прибывших полков, в числе которых был и Денис Давыдов, тотчас отправились к атаману, чтобы поздравить его со столь блистательной победой и скоординировать дальнейшие действия. Платова они нашли на выложенной серым гремливym булыжником центральной площади Мира возле костела, куда один за другим подтягивались казачьи полки и где толпились немногочисленные, собранные атамановым приказом местные жители.

Матвей Иванович собирался держать речь и потому в этот момент был особенно возбужден. Говорить речи перед войсками и населением было его давней слабостью.

Принимая приветствия и поздравления от приехавших, атаман довольно потирал руки и с хитроватою ухмылкой говорил:

— Да ведь могут мои казачки кое-чего... Не токмо по ведетам³⁴ маячить да при армии прохлаждаться. Могут, сукины сыны!..

Увидев в кругу прибывших офицеров Дениса Давыдова, кивнул ему как старинному приятелю:

— Здравствуй, здравствуй, Давыдов! А мы тебя намеренным добрым словом поминали с Мухановым, адъютантом князя. — И тут же опечаленно вздохнул: — Экая с ним незадача вышла. Мне бы, старому дураку, при себе его держать. А он к полку Сысоева сильно просился. Я и отпустил. Вот и налетел, буйная головушка, на уланскую пику. Бок ему поранили сильно, не знаю, выживет ли... Да и как перед Петром Ивановичем теперь ответ держать? Не уберег я адъютанта...

— Жаль поручика, — искренне посочувствовал Денис. — И все же дело-то лихое было, Матвей Иванович. Тем более в самую годовщину полтавской виктории.

— Да ну? — удивился Платов. — А я, брат, совсем сие досточтимое

событие за горячкою-то и запамятовал. Так это ж знамение нам, не иначе. Молодец, что надоумил! Об этом и в речи моей говорить надобно...

Слово атамана было встречено дружными криками «Ура!» и «Слава!».

— Однако ж, поликовали, и будет. Теперь самое время помыслить, как далее жить станем, — озабоченным голосом сказал Матвей Иванович, хотя лицо его сияло довольством и радостью, когда он возвратился в круг генералов и офицеров. Доподлинно зная от пленных, кто и в каких силах против него наступает, он задумался на миг и продолжил: — Как я полагаю, неприятель нам своего поражения не простит ни в коем разе. Особливо генерал Рожнецкий, который за бригаду Турно, ему подчиненную, в первую очередь расквитаться с нами пожелает. Его нам прежде всех остальных и ждать надобно.

— Уж коли Турно турнули, то пан Рожнецкий не возьмет нас на рожон! — неожиданно бойко скаламбурил Давыдов.

Лица вокруг разом озарились улыбками.

— Ну и язык у тебя, Денис, — бритва! — восхищенно сказал Платов. — Эх ты слово-то как завить умеешь. Любо-дорого!..

И обернулся к своему адъютанту:

— Ситников, присказку сию про то, как Турно турнули и как Рожнецкий сам на рожон прет, надо бы в полки передать. Казакам это к сердцу придется. Веселое слово на войне и душу крепит, и саблю вострит.

...Как и предвидел атаман, на следующий день завяжется дело куда более жаркое, чем предыдущее.

Уязвленный Рожнецкий с побелевшим от нервного нетерпения лицом сам поведет вперед дивизию на крупных рысах, чтобы расквитаться с казаками за вчерашнюю дерзость.

Поляки будут спокойно пропущены за Мир, к деревне Симаково. И здесь с левого фланга на них устремятся в атаку конные полки Платова.

Ахтырские же гусары будут выведены генерал-адъютантом Васильчиковым на фронтальный удар.

Денис Давыдов хорошо запомнит травянистую лесную дорогу и выстроенные в боевую колонну застывшие в последнем напряженном ожидании эскадроны. Запомнит и тот миг, когда за ближайшими деревьями, наискось пронзенными солнечными лучами, наконец мелькнут синие мундиры польских улан и он, привстав на стременах соблаженными клинком в руке, разом выбросит из себя каким-то чужим и незнакомо звенящим голосом:

— Гуса-а-ры!.. Вперед!

И хлестнет по глазам влажная пахучая зелень, вскинется навстречу

белый лошадиный оскал и чье-то опрокинувшееся куда-то вниз лицо с черным провалом орущего рта, и хлестнет почти в упор жаркий огонек пистолетного выстрела, и тяжело хрустнет отбитая и наотмашь перерубленная пика...

И все это смешается и сольется с поднятой до небес желтою и душною полевой пылью и закрутится в яростной, сумасшедшей карусели жестокого многочасового боя.

Денис будет скакать, рубить, стрелять, падать, подыматься и снова скакать, почти не помня и не ощущая себя.

И лишь вечером, среди неожиданно навалившейся глухой тишины вдруг почувствует тяжкую, чуть ли не обморочную усталость и с удивлением увидит и поймет, что сидит на чужой, незнакомой лошади, что кивер его наискось разрублен уланским палахом, а насквозь пропыленный, начисто потерявший первоначальный цвет ментик прострелен в четырех местах. На нем же самом не будет и царапины.

Страшный этот, забрызганный кровью, иссеченный неистовыми клинками и истоптанный конскими копытами день потом впишется в его судьбу сухими и лаконичными строками наградной реляции: «...Давыдов, по первому известию о приближении неприятеля, приняв в команду два эскадрона Ахтырского гусарского полка, ударил первый в эскадроны неприятельские и, пробившись по дороге сквозь лес, где неприятель упорно и сильно защищался, совершенно оные опрокинул...»

Возвращаясь к месту сбора полка, у подножия рыжего песчаного откоса неподалеку от Мира Давыдов увидел Платова. Должно быть, вконец умаявшийся, но счастливый, полулежа на раскинутом трофейном уланском вальтрапе, отирая со лба испарину и чему-то про себя ухмыляясь, он дописывал донесение о только что завершенном деле. Приметив острым глазом подполковника ахтырцев, призывно махнул рукою:

— Ты-то мне и надобен, Денис Васильевич. Очень кстати. Рад тебя видеть в добром здравии после сей жаркой заварухи. Я тут князя Петра Ивановича спешу порадовать новою кавалерийскою викторией. Глянул бы ты своим знающим оком, что я тут насочинял. В бумагах-тоя, сам знаешь, не того... А мои грамотеи все по эдакой брани поразлетелись. Вишь, покуда один твой племянничек со мною, да и тот, сердешный, совсем уморился...

Только тут Давыдов увидел прикорнувшего по соседству с Платовым на песке мальчика лет десяти-одиннадцати в густо покрытом желтоватою пылью гусарском мундирчике. Подложив под щеку ладонь, он крепко спал, не сняв даже кивера.

— Да неужто Николенька Раевский? — удивился Давыдов. — Откуда?

— Николай-то Николаевич, братец твой двоюродный, обоих сыновей своих на войну взял, — ответствовал Матвей Иванович. — Старший, Александр, при нем. А этот, меньшенький, ко мне отпросился, поскольку лишь в кавалерии биться желает. Генерал и отпустил его под мой пригляд. Я из него такого казака сделаю, что залюбо-дорого... О жарких баталиях ныне не особо слышно. Только что вот у меня, — не без гордости добавил Платов, — да еще доносили мне, будто бы твой сердечный приятель генерал Кульнев знатно потрепал французов под Вилькомиром.

— Да ну? — обрадовался Давыдов. — Я об сем деле ничего не ведаю.

— Так вот Яков Петрович твой, как мне сказывали, лишь с двумя пехотными полками и гродненскими гусарами при нескольких пушках заступил путь 28-тысячному корпусу Удино. Восемь часов длилось упорнейшее дело. Удино этот самый все наличные силы свои в бой кинул. И без толку.

— Кульнев есть Кульнев, — улыбнулся Денис. — Он еще французам себя покажет. А про вас, Матвей Иванович, я уж и не говорю. Судя по всему, у нас здесь и далее жарко будет.

— Да уж, знамо дело, казачков своих без работы не оставлю, — бодро подтвердил Платов. — Да и вам, гусарам, вкуче с ними, полагаю, потрудиться придется. Поспевайте только сабли вострить.

Огненные версты



*Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны.
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь, где узы плена,
Иль смерть, где росские знамена?
В героях быть или в рабах?..*

*Ф. Глинка. Военная песнь, написанная во время
приближения неприятеля к Смоленской
губернии*

Весь день 29 июня атаман Платов со своими казачьими полками и ахтырскими гусарами простоял возле Мира.

Потерпевший два серьезных поражения кряду Латур-Мобур, более не рвался вперед сломя голову. Атаковать еще раз Платова, занимавшего место боя, он так и не решился. Лишь 30 июня, получив строгое предписание

вестфальского короля прорвать казачью завесу, скрывавшую расположение войск Багратиона, он медленно и опасливо приблизился к Миру. Но оказалось, что конницы донского «гетмана» здесь уже нет. Еще накануне под покровом ночи Платов отошел вслед за 2-й армией в сторону Несвижа.

Столь же сторожко Латур-Мобур двинулся далее. Так кавалерия, им ведомая, дошла до Несвижа. Впереди, вздымая тягучую желтую пыль, маячили лишь немногочисленные казачьи разъезды, которые при приближении неприятельских сомкнутых эскадронов тут же в страхе, как казалось французскому генералу, спешили ретироваться. Это, должно быть, приободрило любимца Наполеона и подогрело его воинственный пыл.

После ночного привала рано поутру 1 июля Латур-Мобур со своим пышным конвоем и передовым эскадронам польских улан смело выехал на рекогносцировку от Несвижа по бобруйской дороге. Следом по его приказу должна была двинуться дивизия Рожнецкого. Но она, видимо, призамешкалась при построении и отправилась с некоторой задержкою.

Денис Давыдов, бывший в этот день с тремя вестовыми гусарами при арьергарде, которым командовал казачий генерал Карпов, разглядев как следует в зрительную трубу вырвавшийся вперед неприятельский конный отряд, сказал начальнику донцов:

— Аким Акимович, а не иначе какая-то важная птица за нами следом летит. Вон гляньте, сколь шитья мундирного да перьев на шляпах, — и передал Карпову трубу.

Тот приткнул к седой косматой брови окуляр.

— А и вправду гость знатный жалуется. Кого только нет в конвое-то, — проговорил он раздумчиво и со знанием дела начал перечислять: — В зеленых мундирах — это, стало быть, вестфальцы, в синих без ментика — прусские гусары, в красном одеянье — при красных же вальтрапах — саксонские легкоконные принца Альбрехта, а в желтых-то доломанах и не признаю кто, должно быть, французские гусары из бригады Жакино. Только эти откуда здесь взялись, они вроде бы при Мюрате были...

— Так что станем делать, Аким Акимович? — спросил Давыдов.

— Да уж вижу, вижу по глазам твоим блескучим, подполковник, что тебе ох как хочется пощипать сию важную птицу, благо к тому добрый случай представляется. Ну что ж, бери три сотни моих залетных, да и вдарь по этой нарядной кавалькаде.

Наши разъездные, маячившие впереди, отвлекли внимание неприятеля, который, судя по всему, совершенно не ожидал засады. Когда по знаку Давыдова спешенные казаки, скрытно изготовившиеся по обе стороны дороги, дружно и плотно ударили из карабинов, а потом, вскочив

на коней, с гиканьем и свистом устремились на врага из-за кустистых орешниковых зарослей, отряд оказался в положении куда как незавидном. Более-менее стойкое, хотя и беспорядочное сопротивление оказал только эскадрон польских улан, положенный тут же на месте круто разозлившимися казаками. Пышно разодетая свита, помятая и потрепанная ярым напором, вела себя более покладисто. Лишь несколько офицеров обреченно отмахивались саблями и палили из пистолетов, их скоро утихомирили. Остальные же дружно закричали: «Пардон!» — и начали бросать оружие.

В горячке боя перед глазами Дениса Давыдова мелькнуло на мгновение узкое и тонкое лицо французского генерала, затянутого, как он успел заметить, в строгий и великолепный конно-егерский мундир. Что-то красиво-властное было в этом бледном и невозмутимом лице с жестко закушенными прямыми губами, без шляпы, с растрепанным и прилипшим к потному лбу белокурым локоном.

После завершения дела Давыдов более так и не увидит этого запомнившегося ему лица ни среди поверженных, ни среди пленных.

В числе немногих, кому удастся вырваться из лихой казачьей засады и спастись буквально чудом, будет и кавалерийский генерал Латур-Мобур. За беглецом кинется погоня, но чистокровный «араб» любимца Наполеона, стоивший целое состояние, в роковой для своего хозяина час оправдает себя и унесет его от преследования. Заслышав пальбу и почуяв неладное, помчится на рысях на выручку своего командующего дивизия Рожнецкого. Ее по взметнувшемуся до неба огромному облаку пыли заметят казаки погони и, махнув рукою на резво ретирующегося генерала, вернутся к месту боя, дабы предупредить своих о движении крупных конных сил неприятеля...

Забрав пленных и наиболее ценные воинские трофеи, Давыдов с казаками опять примкнул к Карпову. Изрядно попылив, дивизия Рожнецкого так и не смогла настичь отходящий арьергард.

К ночи Денис был возле местечка Романово, подле которого встал на позиции со своими главными силами Платов.

Пленные, взятые смелым набегом Дениса Давыдова, оказались весьма разговорчивыми. Особенно саксонцы и пруссаки. Они с готовностью показали все, что ведали. А ведали они немало. От них стало известно, что король Иероним, получивший суровую выволочку от Наполеона за задержку, ныне спешит исправиться и во что бы то ни стало навалиться на Багратиона всеми немалыми силами. Свои действия он четко согласовывает с передвижениями корпуса Даву. Железное кольцо вокруг 2-

й русской армии должно вот-вот сомкнуться... Участь Багратиона и его войск, по мнению французов, уже решена...

Сведения эти, спешно отправленные Платовым князю Петру Ивановичу в Слуцк, окажутся, как потом станет известно Денису Давыдову, столь обширными и важными, что Багратион, приняв их во внимание, сумеет принять незамедлительные и решительные меры к противодействию неприятельским планам. Мгновенно, как всегда, оценив обстановку, он даст приказ облегчить армию. Обозы, кроме самых необходимых, транспорты с ранеными и пленными отошлет к югу на Петриково с тем, чтобы там они могли переправиться через Припять и безопасно следовать к Мозырю. Сам же с армией Багратион стремительно двинется к Бобруйску в надежде опередить Даву, рвущегося из Минска, как теперь достоверно было известно, к Могилеву. А чтобы обезопасить свой тыл от ретивости вестфальского короля и выиграть хотя бы несколько переходов, снова поручит атаману Платову любую ценою держать Романово хотя бы до вечера 3 июля.

И снова Матвей Иванович блестяще выполнит поручение главнокомандующего. При Романове разгорится крупное дело. Неприятельский 1-й конно-егерский полк численностью до тысячи всадников, начавший сражение, дабы помешать казакам нарушить переправу через болотистую реку Морочь, будет опрокинут и уничтожен практически полностью.

Раздосадованный и без того Латур-Мобур кинет сюда всю кавалерию корпуса с конными батареями. Но перед самым носом неприятеля казаки успеют запалить мост. Любимец Наполеона, согнавший в одно место огромные массы войск, будет метаться по берегу, не зная, что предпринять.

Платов же, поставив на выгодные высоты у Романова пушки, начнет расстреливать через Морочь теснящуюся в сомкнутых порядках вражескую кавалерию, нанося ей убийственный урон. Дружный ружейный огонь обрушат на противника и выдвинутые к самой воде наши егеря из 5-го полка. Крупные казачьи лавы, готовые перемахнуть Морочь и ударить по неприятельским флангам, атаман выстроит справа и слева от Романова. Конный отряд генерала Васильчикова с ахтырскими гусарами в соответствии с диспозицией атамана разместится в резерве сразу же за местечком, в небольшой дубовой рощице.

В течение нескольких часов Денис Давыдов вместе с другими своими однополчанами будет томиться в ожидании боя, не ослабляя лошадиных подпруг, и прислушиваться к непрекращающейся ружейной и артиллерийской пальбе. Потом неожиданно настанет еще более тягостная,

показавшаяся ему оглушительной тишина, в которой с какой-то пронзительной ясностью будет слышно, как всхрапывают и тонко позванивают упряжью застоявшиеся кони и как заливисто и беспечно звенят в подвядшей траве охмелевшие от зыбкого солнечного зноя кузнечики.

Потом от прискакавшего веселого и расторопного гонца атамана станет известно, что Латур-Мобур, простояв в бездействии под русским огнем на берегу Морочи какое-то время и понеся урон, который становился все ощутимее, форсировать реку так и не решился, а с позором ретировался со всеми своими несметными силами в сторону Тимковичей...

В Романове, в главной квартире атамана, куда Давыдов был послан Васильчиковым для согласования дальнейших действий, царило радостное возбуждение, которое легко передавалось всем вокруг, должно быть, от самого Матвея Ивановича.

— А ведь бьем французов-то, мать их так, — задорно подмигнул Платов Денису, будто они расстались с ним минуту назад. — А далее еще крепче бить станем. Куда они денутся?

И тут же повлек его с собой непременно глянуть на место действия.

И длинная узкая песчаная насыпь через болотистую низину, ведущая к переправе, и весь противоположный берег Морочи были густо усеяны телами неприятельских кавалеристов и лошадей.

— Вон ведь как Мобур-то поспешил убраться с сего гибельного места, ажник убиенных своих да израненных кинул, — покачал головою Платов. — Негоже эдак-то...

Он тут же отдал распоряжение собрать неприятельских раненых и оказать им необходимую помощь.

Французские бюллетени и сообщения по армии впоследствии из особой ненависти к казакам не раз изобразят их командира атамана Платова жестоким варваром и кровожадным головорезом. Это будет, конечно, чистейшей ложью.

Денис Давыдов, имевший самые короткие отношения с прославленным казачьим генералом, знал доподлинно, что у Матвея Ивановича поверженному противнику никогда никакого притеснения и ущерба не чинилось.

Позднее, когда Давыдов примется собирать материалы для своей полемики с записками Наполеона, ему среди прочих неприятельских свидетельств попадется и признание одного из польских офицеров, участника дела при Романове, 2 июля. С удивлением и признательностью он рисовал ту картину, которая предстала его глазам после того, как

арьергард Платова, выстояв на месте боя положенный срок, отошел в боевом порядке вслед за армией Багратиона: «Мы нашли тяжело раненых в часовне и кругом нее, недалеко от Романова, хорошо перевязанными. Атаман Платов, герой дня, отнесся к ним с человеколюбием, приказал их перевязать и снабдить всем необходимым».

В это самое время, когда гремели жаркие кавалерийские бои при Мире и Романове, 1-я Западная армия под командою военного министра Барклая-де-Толли, успешно избежав генерального сражения, так желаемого Наполеоном, сосредоточилась в печально знаменитом «лагере при Дризе», как называли его в официальных сообщениях «Санкт-Петербургские ведомости».

Здесь и государю, и всему русскому высшему командованию стало наконец ясно, что нашей армии запереться в сей укрепленной твердыне в соответствии с бредовым планом генерала Фуля совершенно бессмысленно и пагубно. Дрисский военный лагерь находился в стороне от главных стратегических направлений. Он не прикрывал ни Москвы, ни Петербурга. Наполеон при желании, выставив против него заслон, мог беспрепятственно действовать в сторону обеих столиц. Да и тактическое расположение лагеря оказалось крайне неудобным. Устроенный в изгибе Двины между городом Дриссой и деревней Шатрово, он имел в своем тылу многоводную реку, что неминуемо бы привело войска к катастрофе в случае отступления. Перед фронтом же его произрастал обширный лес, в котором наступающий неприятель мог скрытно от русских и безопасно для себя сосредоточиться. Воистину другую, более опасную ловушку для нашей армии трудно было придумать. Генерал Ермолов, которого в эти дни Александр I соблаговолил назначить начальником штаба 1-й Западной армии, с горькою иронией писал по этому поводу: «Знаменитый лагерь, так заблаговременно предначертанный, толикого напряжения ума г. Фуля стоивший, согласию стольких отличнейших из наших генералов бытием своим обязанный, французами был назван памятником невежества, и против истины сей возразить никто не дерзает».

Именно Ермолов открыто и громогласно высказался 1 июля в Дрисском лагере в присутствии государя о тех пагубах, которые грозят 1-й армии в случае, если она останется в этом опасном месте. Его поддержали Барклай-де-Толли и прочие генералы. С этим выводом наконец согласился и государь. Даже Фуль, присутствовавший здесь же, но своему обыкновению нечесанный, распаренный и красный, ничего вразумительного не мог возразить, а лишь, брызгая слюной, бормотал что-

то о незабвенных традициях Фридриха Великого...

Буквально же на другой день 1-я Западная армия, покинув «ловушку Фуля», начала переправу через Двину и двумя маршевыми колоннами двинулась по направлению к Витебску, где предполагался новый пункт соединения со 2-й армией Багратиона.

Где-то на полпути к этому пункту стало известно, что государь тихо и крадучись, по глухому ночному часу покинул в Полоцке действующие войска и в сопровождении графа Аракчеева, адмирала Шишкова, министра полиции генерала Балашова и еще нескольких особо доверенных лиц, не сделав никаких распоряжений по армии, отбыл в Москву, а оттуда будто бы намеревается отправиться в Петербург. Спешный отъезд этот, очень похожий на бегство, произвел на армию весьма тягостное впечатление.

Армия Барклая продолжала движение к Витебску. Туда же, намереваясь во что бы то ни стало навязать ему генеральное сражение до подхода Багратиона, а потом навалиться всеми силами и на последнего, устремился Наполеон.

О том, как развиваются события на севере, князь Багратион, продолжающий находиться между двух огней, тяжело и яростно отбивающийся от постоянно наседавшего на него с трех сторон противника и продолжавший продвигаться к востоку, не знал почти ничего. Связь его с 1-й армией в эту пору осуществлялась крайне затруднительно, а чаще совсем отсутствовала. Душу Петра Ивановича обуревали самые мрачные предположения и предчувствия. Поспешного отступления армии Барклая он, как ни старался, не мог постичь. Угрожающее положение, сложившееся на военном театре, не чем иным, как изменою, Багратион объяснить не мог.

Позднее Денис Давыдов прочитает его письма, посланные в эти дни генералу Ермолову, который сохранит их с почтением и бережностью. В этих отрывистых, писанных прямо на марше письмах клокотала болью, обидой и гневом неукротимая и так легко ранимая душа князя Багратиона:

«...России жалко! Войско их шапками бы закидало. Писал я, слезно просил: наступайте, я помогу. Нет! Куда вы бежите? За что вы срамите Россию и армию? Наступайте, ради бога! Ей-богу неприятель места не найдет, куда ретироваться.

Они боятся нас, войско ропщет, и все недовольны. У вас зад был чист и фланги. Зачем побежали? надобно наступать; у вас 100 тысяч. А я бы тогда помог. А то вы побежали; где я вас найду?.. Мы проданы, я вижу, нас ведут на гибель; я не могу равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения».

В другом письме:

«...Министр более не мог меня уже огорчить, как огорчил, и полно! Прощайте. Вам всем Бог поможет, и дай вам Бог все; а мне пора в чужой хижине оплакивать отечество по мудрым распоряжениям иноверцев».

Прочитав эти тревожные и неистово-горькие послания, Денис Давыдов вспомнит, сколь созвучны были в период отступления его собственные мысли и чувства умонастроениям и тягостным предположениям князя Багратиона. И сам он тогда тоже все чаще с непримиримой глухой яростью думал об измене. И не раз на уста его в этой связи невольно явилось имя Барклая-де-Толли...

Впоследствии, конечно, тщательно анализируя и сопоставляя события и факты начала кампании, Давыдов поймет и со стыдом и раскаянием убедится в поспешной неправоте своих суждений о действиях главнокомандующего 1-й Западной армии. Он по достоинству сумеет оценить и феноменальную твердость духа, и не только полководческий, но и высочайший нравственный подвиг шотландца Барклая, сумевшего последовательно и до конца исполнить свой долг перед Россией среди почти всеобщей хулы и оскорбительного недоверия к нему со стороны своих же соратников...

С облегченной армией, освободившись от излишних обозов, транспортов с ранеными и пленными, Багратион ускоренными маршами вышел к Бобруйску. Он снова почувствовал, что вражеские клещи несколько ослабели. Благодаря успешным кавалерийским делам Платова конница Латур-Мобура и войска вестфальского короля уже не проявляли в его тылу прежней прыти.

В Бобруйске князь Петр Иванович наконец получил и конкретное предписание пробиваться на соединение с 1-й армией через Могилев и Оршу. Не мешкая он направил в эту сторону 7-й пехотный корпус под командованием Раевского, а вслед за ним пустил 8-й корпус Бороздина и драгунские полки графа Сиверса.

Однако скоро выяснилось, что Могилев уже захвачен и крепко заперт войсками маршала Даву, стянувшего сюда все наличные силы и вознамерившегося любыми средствами воспрепятствовать прорыву 2-й русской армии, о котором он, судя по всему, был хорошо осведомлен.

Не доходя шести верст до города, у деревни Салтановка, Николай Николаевич Раевский наткнулся на спешно укрепленные позиции французов и с ходу начал бой, который все более ожесточался. Русские неистово наступали, французы стойко и яростно оборонялись.

Ахтырские гусары, среди которых находился Денис Давыдов, на этот

раз наконец оказались при своем корпусе. Однако вводить в дело кавалерию Раевский покуда совершенно не мог из-за крайнего неудобства местности: ближние подступы к Салтановке прикрывало густое и цепкое мелколесье с топкими болотистыми низинами, к самой же деревне вела узкая, хорошо простреливаемая неприятелем плотина.

Оставив ахтырских гусар в лесу в резерве на случай перемены обстановки, Раевский продолжал действовать пехотой при поддержке пушек. Его лучшие полки в дружном натиске устремились вперед.

Ахтырский полк, выстроенный в боевые порядки уступами, поначалу находился в седлах. Потом через какое-то время эскадронам вышло дозволение спешиться и ослабить подпруги. Денис Давыдов, присев на замшелом, будто обметанном зеленым бархатом, пне, раскурил трубку, продолжая в тревожном ожидании прислушиваться к гремевшему неподалеку бою. Дело было, видимо, куда как жаркое. От глухой артиллерийской канонады, тяжело рушившейся с обеих сторон, стонала и дрожала под ногами земля и пугливо вскидывались чуткою листвою близстоящие осины. С резким сухим треском, будто где-то ломали сучья, рассыпалась по округе густая ружейная пальба. Затем она вдруг неожиданно примолкала, затихали и пушки. Сместа сражения доносился лишь раскатистый всплеск голосов и зловеющий гул и скрежет сшибающегося железа. Противоборствующие стороны, должно быть, сходились в штыки.

И опять в который раз Денис Давыдов убеждался, что, пожалуй, самое изнурительное и тягостное на войне — это томиться ожиданием и тревогой в резерве, по соседству с горячим боем, чувствуя себя то ли забытым, то ли ненужным в тот напряженный до предела момент, когда решается судьба сражения и где-то совсем неподалеку от тебя из последних сил яростно бьются и умирают твои соотечественники.

Самого боя под Салтановкой Давыдов так и не увидит. Однако от приятелей своих пехотных офицеров дивизии И. Ф. Паскевича, бывших непосредственно в деле, он узнает, сколь кровопролитною и жестокою оказалась этот день схватка с французами. Узнает и о похожем на легенду славном подвиге командира 7-го корпуса своего сводного двоюродного брата Николая Николаевича Раевского. В тяжелейший момент атаки вдоль плотины, ведущей к Салтановке, когда наши гренадеры дрогнули и попятились от яростного ответного напора неприятеля, генерал, поставив рядом с собою своих сыновей — старшего 16-летнего Александра и младшего Николеньку, — сам пошел впереди наступающих порядков при знамени Смоленского полка. Самоотверженный порыв командира

воодушевил солдат, и враг был опрокинут и сметен могучим штыковым ударом...

О подвиге генерала Раевского заговорит вся армия, а записавшийся в ополчение в чине поручика Жуковский воспоет его в своем патриотическом гимне «Певец во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

Впрочем, в этот день Давыдов все же побывает в так желаемой им сшибке с неприятелем. Это случится уже под вечер, когда Ахтырский полк, отосланный Раевским из резерва, выйдет глухой лесной дорогой к деревне Дашковке и здесь совершенно неожиданно столкнется с французскими драгунами из кавалерийского корпуса Груши, вздумавшими, должно быть, совершить какой-то обходной маневр.

Сразу же завяжется упорная сеча.

Драгуны, теснимые 2-м батальоном, устремятся в сторону от Дашковки к рыжему песчаному взгорку. К нему же с другой стороны деревни мимо пустых осиротелых изб, выпустив во весь мах своего темно-золотого английского жеребца, долетит наперехват врагу во главе 1-го батальона Давыдов. И закружатся у него перед глазами темные потные крупы, белые лошадиные оскалы, синие мундиры драгун и их тускло сверкающие хвостатые каски.

Зажатые с двух сторон ахтырцами, французы будут отбиваться стойко и долго. И лишь когда зависшая как-то разом над полем боя и не примеченная никем клубящаяся черная туча, сгустив сумерки, вдруг обрушится на землю сначала неистовым пыльным вихрем, а потом буйным, как потоп, тяжким грозовым ливнем, это остудит наконец пыл сражающихся и разведет их в стороны.

Промокший до нитки Давыдов почти в полном мраке под зябким проливным дождем с большим трудом соберет свои расстроенные эскадроны и поведет их под ослепительными молниевыми вспышками по раскисшей на удивление скоро дороге к означенному в приказе месту.

Этой же ненастной ночью в деревне Дашковке, которую покинут ахтырские гусары, в одной из пустых изб у затеплившегося огонька, тоже донельзя вымокшие, соберутся на краткий военный совет князь Багратион,

генерал Раевский и атаман Платов. После немногословного обмена мнениями о сложившейся обстановке здесь будет принято единодушное, довольно смелое и, как потом подтвердят последующие события, единственно правильное решение. После жаркой баталии у Салтановки, когда Даву окончательно уверился в том, что здесь намерена прорываться на Могилев вся 2-я армия, ни в коем случае не следует его разубеждать в этом. Посветлу надобно возобновить атаки, сделав их, однако, более демонстрационными, чтобы свирепый французский маршал привлёк сюда и свои резервы. Основным же силам армии, воспользовавшись прикрытием 7-го пехотного корпуса, тем временем переправиться через Днепр у Нового Быхова и устремиться к Смоленску. Следом, поставив перед глазами французов густую казачью завесу, отойдет и аррьергард Раевского.

Этот план блистательно осуществится. Даву, имевший строжайшее предписание Наполеона удержать от прорыва войска Багратиона, как упрямый бык упрется лбом в Салтановку и простоит здесь в ожидании несколько дней. Когда же он поймет свою промашку, будет поздно: Багратион форсированными маршами по вновь установившейся изнурительной жаре почти беспрепятственно дойдет до Смоленска, где, наконец, после столь понесенных трудов и лишений успешно соединятся обе западные русские армии.

Главный стратегический план Наполеона — разбить Барклая и Багратиона порознь — рухнет.

Как отмечали очевидцы, в Смоленске встретились будто две разные армии.

Войска, ведомые Барклаем, были явно утомлены отступлением. Они двигались в глухом молчании с усталыми серыми лицами, с упавшим духом, утратив доверие к начальству, особенно к высшему.

Армия же Багратиона подступала к древнему русскому городу с развернутыми знаменами, бодро и весело. Впереди полков, подбоченясь, ехали командиры, гремела музыка и заливались песельники. Глядя на молодцеватую выправку нижних чинов и офицеров, можно было предположить, что войска вовсе и не отступали, а прошли свой изнурительный и дальний путь, торжествуя.

Наконец произошла встреча и предводителей прибывших армий. Оба они держались крайне независимо. Взаимных обид и неудовольствия друг другом командующие, конечно, так и не смогли преодолеть.

Князь Петр Иванович с подчеркнутым смирением высказал готовность исполнять распоряжения военного министра. Барклай высказал твердые

заверения, что без учета мнения столь славного и опытного генерала, как Багратион, он не мыслит принятия ни одного решения. Однако это была лишь видимость согласия, поскольку взгляды на текущую кампанию у каждого из полководцев были прямо противоположными.

Как поведут себя далее оба главнокомандующих и на какие совместные действия договорятся, покуда никто не знал. А вопрос этот, конечно, занимал всех чрезвычайно, в том числе и Давыдова.

Едва представился удобный случай, Денис тут же из лагеря 2-й армии, отстоящего от города верстах в семи по правому берегу Днепра, отправился в Смоленск в надежде узнать что-либо о предстоящих событиях. Первым делом решил побывать в главной квартире 1-й армии у своего двоюродного брата генерала Ермолова, который и по нынешней должности своей, и по обширным связям в высших воинских кругах должен быть куда как осведомлен во всех планах и приготовлениях командования.

Алексея Петровича он нашел в доме барона Аша, в штабной зале за столом, густо заваленном бумагами. Тут же рядом шуршали картами, тихо переговариваясь, офицеры квартирмейстерской части, что-то лихо строчили проворные писаря, маячили на изготовке вестовые и посыльные. Увидев Давыдова, Ермолов поднялся навстречу, весь из себя внушительный и нарядный, в генеральском сюртуке с черным артиллерийским воротником, при шарфе, сверкая новыми пышными эполетами и многими орденами. Крепко обнял, троекратно по-русски расцеловал.

— Не с парада ли случаем? — спросил Денис, кивнув на его убранство и блестящие регалии.

— Бери выше, с военного совета!

— И какое же вышло решение? Будем ли, наконец, наступать? — не удержался Давыдов.

— Ты не иначе, как твой князь Петр Иванович, толкуешь. Тот буквально с сего же вопроса начал слово свое на совете, — улыбнулся Ермолов. — Впрочем, в этот раз единодушие, можно сказать, было полным. За нанесение удара по неприятелю, покуда он не сконцентрировал своих сил на одном направлении, твердо высказался и я, и генерал-квартирмейстер полковник Толь, и прочие.

— А военный министр?

— Михайло Богданович, как мне доподлинно ведомо, склонен был к оборонительным действиям, однако супротив общего стремления не пошел.

— Стало быть, наступление? — радостно воскликнул Давыдов.

— Погоди заранее ликовать, не сглазить бы, — умерил его пыл

Ермолов. — Я особого успеха от сего продвижения не жду. Тем более что в распоряжении военного министра твердо оговорено: обеим армиям не отдаляться от Смоленска более чем на три перехода. На деле это означает, что не мы снова будем искать неприятеля, а он нас...

— А не в пособничество ли Наполеону сделано подобное распоряжение? — вздохнул Давыдов. — Может, не зря в полках про Барклая разное говорят?..

— Ну это ты брось, — нахмурил чело Ермолов. — С Михайлой Богдановичем я, слава богу, и ранее тесное общение имел, а с 1 июля при нем неотлучно. Одно могу сказать: порядочность и честность его неоспоримы, а служение России — самоотверженно и безраздельно. О храбрости его необычайной и толковать нечего: он из тех редких людей, что опасности не понимает и страху недоступен. Мое отношение к иноземцам, промышляющим в армии нашей, тебе хорошо ведомо. Так вот Барклая-де-Толли, — Алексей Петрович с почтением назвал его полную фамилию, — я к немцам не причисляю. Для меня он такой же русский, как грузинский князь Багратион. Другое дело, что военный министр, по моему разумению, порою излишне осторожен и не всегда тверд в намерениях, к тому же не имеет дара объясниться, а холодностью в обращении не снискал приязни равных и не привлек к себе подчиненных... Но это уже особый разговор. Кто из нас самих состоит единственно из достоинств? У каждого свои пороки и слабости. Так что, брат Денис, досужим вымыслом о Михайле Богдановиче не верь и пресекай, коли таковые услышишь.

Убедительные доводы Ермолова заставили о многом задуматься Давыдова и, в конце концов, во многом переменить свое мнение относительно главнокомандующего 1-й армии.

— А есть ли какие новости с военного театра? — спросил он Алексея Петровича, прежде чем с ним распрощаться.

— Три новости разом получены, — ответил Ермолов и, чуть помедлив, добавил: — Две из них добрые, а одна худая... Впрочем, вот сам погляди, — он уверенно взял из вороха бумаг на столе несколько густо исписанных листов и подал Денису.

Это были две победные реляции.

— А что за худая весть?

— Генерал Кульнев пал в битве, — глухо молвил Ермолов. — Всею душою скорблю по нем. Потеря для отечества нашего невосполнимая...

Известие это поразило Давыдова в самое сердце...

...20 июля на рассвете в дождь и туман доблестный Яков Петрович

вихрем налетел на два французских полка и начал их теснить, нанося неприятелю большой урон. Однако в горячке боя не заметил, что под покровом того же тумана на него двинулись все силы маршала Удино. Обстановка переменилась и стала грозить Кульневу окружением. Основные силы корпуса в поддержку к нему не поспешили. Из резерва подошел лишь один полк при шести орудиях. Но и с этими войсками Яков Петрович, приободрившись, снова предпринял атаку. Однако явный перевес неприятеля на этот раз преодолеть не удалось. Французы обошли небольшой кульневский отряд с флангов и вынудили его отступить за Дриссу. Яков Петрович с гродненскими гусарами обеспечивал переправу и несколько раз под своим личным водительством бросал эскадроны в контратаки и опрокидывал нападающего неприятеля. Потом с последними гусарами тоже преодолел реку и под вражеским огнем не спеша стал отводить отряд от берега. Он слез с коня и шел самым последним, замыкая колонну. Французское ядро, с шипеньем и свистом перелетевшее Дриссу, вздыбило землю прямо под ним и оторвало напрочь обе ноги выше колен. Умер он на руках у своих гусар.

Тело Якова Петровича было отнесено в лагерь. Солдаты и офицеры плакали навзрыд. Генерал Кульнев пять дней не дожил до своего сорокадевятилетия. Погибнуть ему довелось вблизи своего скромного именища Люцина, где он родился. Здесь вблизи от обветшавшего отчего дома, при впадении речки Нищи в Дриссу, его и похоронили со всеми воинскими почестями, положив у могилы неприятельское ядро, поразившее героя.

Кульнев представлялся Давыдову натурой глубоко самобытной, истинно русской, целиком нашедшей себя и выразившейся сполна со всею своей мощью и силой в столь нелегком ратном труде. Яков Петрович и существом и статью, в его мнении, восходил прямо к былинным «чудобогатырям», каких после смерти героя, казалось, уже более нет и не будет на Руси. Поминая в эти горестные дни своего старшего друга и сотоварища, Давыдов запишет: «Смело можно сказать, что Кульнев был последним чисто русского свойства воином, как Брут — последним римлянином».

Весть о трагической гибели столь любимого и почитаемого в народе генерала буквально потрясла и армию, и всю Россию.

Занимаясь впоследствии бумагами Наполеона, Давыдов узнает, что весть о выведении из строя Кульнева незамедлительно на взмыленных курьерских улетит и в Париж. Бонапарт, еще веривший в те знойные июльские дни в свое торжество, не преминет сообщить о происшествии под Клястицами своей новой супруге, Марии-Луизе, дочери австрийского

монарха, вынужденного согласиться на этот брак под большим давлением со стороны столь назойливо-грозного претендента. Наполеон напишет о смерти Кульнева в бою как о крупной своей военной удаче. «Генерал Кульнев один из лучших офицеров русской кавалерии — убит». И, конечно, умолчит об огромном сокрушительном уроне, понесенном его собственными войсками под водительством маршала Удино при тех же Клястицах.

А потом прогремело кровопролитнейшее Смоленское сражение, в котором снова, как и в бою при Салтановке, полки Николая Николаевича Раевского сумели покрыть себя неувядаемой славой. Целый день в яростном огне и дыму они мужественно противостояли всей 180-тысячной армии Бонапарта. И не пропустили в город во много раз превосходящего в силах, отчаянно напиравшего врага. «Со стороны неприятеля была возможная предприимчивость, со стороны войск наших — неимоверная храбрость», — писал об этом упорном и страшном противоборстве генерал Ермолов.

Ахтырский гусарский полк следовал в арьергарде армии князя Багратиона, отходившей по Московской дороге.

Войска Барклая-де-Толли, двинувшиеся от Смоленска к северу, в это время сделав резкий поворот, совершали фланговый марш, чтобы полевыми проселками тоже выйти на Московский тракт и соединиться со 2-й армией. А французы, конечно, пытались помешать им в этом маневре.

Денис Давыдов по привычке, заимствованной еще от Якова Петровича Кульнева, при ретирade, как обычно, замыкал свои эскадроны. Вскоре он услышал за спиною все разгорающийся гул артиллерийской канонады. Там, должно быть, завязывалось жаркое дело.

Арьергард был остановлен, развернут и построен в боевой порядок. Все тотчас заговорили о том, что за рекой Строганью, при Валутиной горе отряд генерала Павла Тучкова крепко осадил французов, дело обещает перерасти в крупную баталию, поскольку туда уже прибыли все начальники 1-й армии — генерал Ермолов, Коновницын, генерал-квартирмейстер Толь и сам Барклай-де-Толли.

В томительном ожидании, чутко прислушиваясь к гулу пальбы, войска арьергарда простояли весь день, но приказа выступить к месту сражения так и не последовало. Вечером, когда канонада примолкла, вышло распоряжение двигаться далее по Московскому тракту к Соловьевой переправе и готовить части к переходу через Днепр.

— Вот тебе и повоевали, — разочарованно вздыхали гусары.

— Ну теперь, видать, и вправду поведем француза прямехонько в Первопрестольную.

Слушать эти слова нижних чинов Денису Давыдову было горько и больно. Однако для возражения им покуда ничего убедительного не находилось.

Весь неимоверно длинный и тягостный путь от пылающих пригородов Смоленска до Царева-Займища запомнится Давыдову несусветной жарой (дождей не выпадало уже более месяца), густою и плотной, неподвижно висящей до самого неба над проходящими войсками, душной и въедливой пылью, спасаясь от которой и пехоте и кавалерии приходилось заматывать лица до самых глаз платками и тряпицами, и горьким дымом горящих обочь дороги деревень, жители которых сами поджигали свои крытые вспышливой соломой избы и либо присоединялись с небогатым скарбом и худыми коровенками к отступающим войскам, либо, вооружившись топорами да вилами, отправлялись в окружные леса, намереваясь выместить свою печаль и обиду на неприятеле.

17 августа лагеря обеих армий расположились при Царево-Займище. Здесь разнеслась радостная весть, что к войскам прибыл назначенный особым рескриптом государя главнокомандующим всех российских вооруженных сил генерал от инфантерии Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, незадолго перед этим получивший титул светлейшего князя за успешное заключение мира с Оттоманской Портой. Военные подвиги его, верного сподвижника и ученика Суворова, были всем ведомы и вызвали надежду, что теперь кампания под водительством столь славного и знаменитого полководца наверняка пойдет иначе.

Узнав про все это, Денис Давыдов возгорелся желанием непременно увидеть нового главнокомандующего и тотчас же с бивака при селе Данцово, где стояли ахтырские гусары вместе с другими войсками 2-й армии, поскакал в Царево-Займище, докуда было напрямик через поле не более как версты полторы. Еще на подъезде услышал глухо перекатывающиеся многоголосые клики «ура!» и «слава!».

Как оказалось, светлейший производил смотр частям, выстроенным для этой цели по низинным заливным лугам по обе стороны от Царева-Займища. Давыдов подоспел как раз вовремя: Кутузов, осмотрев одно крыло войска, направлялся к другому. Тут Денис его и увидел. Главнокомандующий проехал мимо него шагом на широкогрудом, длиннохвостом белом коне. С того времени, как Давыдов встречал Михаила Илларионовича в Петербурге в бытность его военным губернатором, тот заметно потучнел, а волосы из сивых сделались снежно-

белыми. Однако генерал выглядел бодрым, в седле держался сноровисто и твердо. Экипировка на нем была самой простою: будничный армейский сюртук без эполет и регалий, на голове белая с красною выпушкою кавалерийская фуражка без козырька, шарф и нагайка накинута на плечо. Широкое медно-красное лицо лоснилось от пота.

В сопровождении Давыдов увидел и статную фигуру князя Багратиона, и долговязого Барклая с узким и длинным морщинистым лицом, облитым какою-то нездоровою желтизною, и пышущего богатырским здоровьем братца Алексея Петровича Ермолова, и нескладно-негнувшегося, будто насаженного на кол, Беннингсена, и самоуверенно-надутого Толя, и задумчиво-скромного Коновницына, и строгого лицом, а по виду совсем мальчика, начальника артиллерии 1-й армии графа Кутайсова, и прочих.

Дождавшись конца церемонии, Давыдов улучил момент переговорить с Ермоловым.

— Я к тебе, как всегда, за новостями, любезный Алексей Петрович, — сказал он, поздоровавшись.

— Ну, наиглавнейшую новость ты уже видел — приехал Кутузов...

— ...Бить французов! — лихо срифмовал Давыдов.

— Да по всему видно, так! — довольно засмеялся Ермолов. — Скажу твою шутку светлейшему, она ему к сердцу придется.

— Стало быть, здесь Михаил Илларионович и даст сражение? Не зря же он войска обозрел!..

— К тому многие склонны — и Багратион, и Барклай, и Толь... В один голос говорят, что позиция эта вполне пригодная. Однако Кутузов сегодня молвил, что склонен непременно дожидаться резерва, который ведет Милорадович. А дабы ускорить встречу, сам готов с армией последовать к нему.

На следующее утро войска возобновят отход по московской дороге. Но что-то переменится в душах солдат и офицеров и даже в их облике: они подтянутся, шире расправят плечи, поладнее подгонят амуницию, посветлеют лицами, а в колоннах впервые за долгий изнурительный марш от Смоленска зальются с переливами и подсвистом лихие песельники.

19 августа при местечке Сельце произойдет встреча армии с резервом генерала Милорадовича.

Ахтырский гусарский полк, потерявший за время отступления в боях и аванпостных сшибках около четверти своего состава, тут же получит давно ожидаемое пополнение: 15 унтер-офицеров, 4 музыкантов, 213 рядовых и 3 нестроевых.

В этот же день станет известен приказ Кутузова о составлении общего арьергарда из войск 1-й и 2-й армий под командованием генерал-лейтенанта Коновницына. Ахтырские гусары вместе с Литовским уланским полком, 1-й конной артиллерийской ротой и казачьими полками 2-й армии в соответствии с этим приказом немедленно выступят в арьергард, чтобы удерживать большую дорогу от все усиливающегося напора французов и тем самым дать главным русским силам крепко встать и изготавиться на избранных позициях для генерального сражения.

С этого момента Денис Давыдов с ахтырскими гусарами будет почти беспрестанно находиться в огне. Яростно сшибаясь с аванпостной кавалерией Мюрата, в неумолчном громе пушечной и ружейной пальбы с арьергардом мужественного Коновницына он дойдет до стен Колоцкого монастыря. И здесь, в полутемном овине, в котором наскоро разместится в эту пору главная квартира Багратиона, он встретится наконец с князем Петром Ивановичем и изложит ему свой смелый план партизанского продвижения в тыл неприятеля и способа организации народной войны. Кутузов лично распорядится дать под его начало пятьдесят гусаров и сто пятьдесят казаков и незамедлительно начать партизанский поиск ввиду чрезвычайной важности его прямо с Бородинского поля.

Малая война



Мы все время должны были держаться настороже... Неприятель все время тревожил наши коммуникации за Гжатском и часто прерывал их между Можайском и Москвой... В этих прелюдиях все видели предвестие новой системы, цель которой — изолировать нас. Нельзя было придумать систему, которая была бы более неприятной для императора и поистине опасной для его интересов.

Арман де Коленкур

По лесной травянистой дороге кони шли спорой распашной рысью почти бесшумно.

Быстро смеркалось.

Денис Давыдов во главе отряда ахтырских гусар и донских казаков держал путь в тыл неприятеля. Душа его наполнилась тревогой и опасением. Сам вызвавшись на столь рискованное предприятие, он вел теперь куда-то, в пугающую неизвестность две сотни вооруженных людей, целиком и безраздельно доверившихся ему.

Денис оглянулся. Лица едущих следом за ним офицеров и нижних чинов, отчетливо белеющие на фоне зыбкой густеющей мглы, показались

ему спокойными и даже веселыми. Он почти ощутимо уловил, как несуетное спокойствие казаков и гусар начало передаваться и ему, и томительное сомнение, тяготившее душу, с каждым скоком коня отступало и развеивалось.

Сзади временами еще тяжело ухало и гремело, но, судя по всему, уже утихомиривалось большое сражение.

Позднее Денис Давыдов в незавершенном стихотворном отрывке «Партизан» попытается воспроизвести начало своего набега в неприятельский тыл. И хотя строфы написаны будут в несколько романтически-возвышенной манере, широко распространенной в ту пору, и некоторые события окажутся чуть смещенными во времени и пространстве, однако в этих стихах найдут свое воплощение и многие достоверные черты столь памятного для него вечера:

...И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы...
Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!..

Все той же достоверности ради, надо отметить, что и бурка на плечах Давыдова, и кабардинская косматая шапка на голове, в которых художники-самоучки станут неизменно изображать его на цветных лакированных лубках, в изобилии развешиваемых и на постоянных дворах, и в убогих крестьянских избах по всей России, появятся несколько позднее. А пока же Денис восседал в седле в своем привычном, чуточку сбитом набекрень армейском кивере с жесткими золочеными кутасами и выдавшем виды гусарском ментике.

Уводя отряд все дальше от Бородина, в глубь территории, занятой врагом, Давыдов вспомнил свой последний разговор с Багратионом в Семеновском. Князь искренне радовался тому, что светлейший дал

соизволение на партизанский рейд, и сокрушался лишь о малом количестве выделенных Кутузовым для сей цели людей, посему и наказывал Денису быть предельно осторожным и беречь гусар и казаков.

Он тут же присел к столу и, придвинув свечу, своим быстролеющим почерком набросал инструкцию, которая могла бы служить Давыдову оправдательным официальным документом и предписанием к действию. В ней значилось:

«Ахтырского гусарского полка господину подполковнику Давыдову.

По получении сего извольте взять сто пятьдесят казаков от генерал-майора Карпова и пятьдесят гусар Ахтырского гусарского полка. Предписываю вам взять все меры, дабы беспокоить неприятеля со стороны нашего левого фланга, и стараться забирать их фуражиров не с фланга его, а в середине и в тылу, разстраивать обозы и парки, ломать переправы и отнимать все способы. Словом сказать, я уверен, что, сделав вам такую важную доверенность, вы потщитесь доказать вашу расторопность и усердие и тем оправдаете мой выбор...

Генерал от инфантерии князь Багратион.

22 августа,

1812 года.

На позиции».

Эта бумага окажется чуть ли не последнею, написанною рукой Багратиона.

Передавая инструкцию Давыдову, князь Петр Иванович тут же спросил:

— А есть ли, кстати, у тебя карта Смоленской губернии, куда ты следовать собираешься?

— Покуда нет, — признался Денис, — помышляю раздобыть ее где-нибудь...

— Ну пока суть да дело, возьми-ка мою собственную. Опять же и память для тебя будет. Ну с богом! — благословил Давыдова Багратион. — Я на тебя надеюсь! — И сердечно обнял его на дорогу.

Эти воспоминания согрели и просветлили Денису Давыдову душу.

Припомнилась ему и краткая встреча с братом Евдокимом. Тот торопился с каким-то поручением от командира к графу Милорадовичу. Только и успел ему сказать Денис, что уходит в неприятельский тыл на

маневр испанского гверильяса и очень тревожится за матушку и сестру Сашеньку, оставшихся в Москве, вдруг и старая столица окажется в опасности... Евдоким позавидовал его лихому предприятию и заверил, что о матушке и сестре они с братом Львом позаботятся. На сем и расстались, крепко расцеловавшись. Левушку же, бывшего где-то при Шевардинских редутах с 26-м егерским полком, повидать Денису так и не пришлось.

Всю ночь поисковая партия Давыдова провела в седле. Лишь перед самым рассветом командир отдал распоряжение спешиться, покормить лошадей и передохнуть, костров из предосторожности не разводить. Привал сделали на березовой опушке. Впереди саженьях в трехстах угадывалось какое-то повитое туманом селение.

Давыдов решил дождаться свету и, прежде чем следовать туда, убедиться, нет ли в нем случаев неприятеля.

Вскоре развиднелось. Белесый зыбкий туман нехотя отполз в низины, и Давыдов, захватив с собою лишь одного казака, поехал, сторожко прислушиваясь, к темнеющим на взгорье избам. Никаких звуков, вызвавших присутствие французов, не доносилось. В довольно большой деревне, составленной из двух порядков, залиvisto и беспечно орали петухи, мычали коровы, и где-то неподалеку монотонно поскрипывал колодезный журавль. От жилья тянуло духовитым дымком и теплым запахом парного молока.

— Ну точно, ваше высокобродь, хранца здесь и в помине нету, — рассудительно сказал казак, — он бы и скотину и птицу, все бы, как есть, прибрал. Это уж у него дело заведенное!..

Однако въезд в деревню, к их удивлению, оказался прикрытым чем-то наподобие баррикады: здесь громоздилось несколько перевернутых вверх колесами телег и еще какая-то старая рухлядь, придавленная для упора и прочности свежим смолистым кряжьем.

Давыдов с казаком приостановились, озадаченные. За баррикадою явно кто-то таился.

— Эй, православные! — крикнул Денис. — Покажитесь! Худо вы своих-то встречаете!..

За тележно-бревенчатым завалом послышался приглушенный шорох, и вдруг совершенно неожиданно грянул ружейный выстрел. С пронзительным визгом некатаная, явно самодельная картечь как бритвою срезала кусты придорожного чернобыла почти у ног всадников.

— Эва, того нам только и не хватает, — оживился казак, — как от русских же поселян жизни лишиться. Осадите-ка, ваше высокобродь, чуток назад, чтобы сдуру-то ишо не ахнули, а я с ними по-своему потолкую.

Казак смело махнул к самой баррикаде.

— Ослепли, что ли, со страху-то, мать вашу растак, — и добавил еще эдакое, что у хоронящихся по ту сторону завала сомнение, видимо, разом развеялось — свой!

Из-за преграды дружно высунулось несколько дремучих бород и шапок.

— А ну, привет отдать господину подполковнику, как и подобает, — скомандовал казак.

Поселяне дружно скинули перед подъехавшим Давыдовым шапки.

Вперед выступил седой старик в чистом полукафтаны и смазных сапогах, с умным хитроватым прищуром в глазах, по виду бурмистр либо староста. Привычно и легко для его немалых годов поклонился в пояс.

— Отчего вы полагали нас французами? — спросил Давыдов.

— Да, вишь, родимый, своим-то здесь вроде бы неоткуда взяться, армия-то, сказывают, вся как есть, к Москве-матушке ушла. Да и это, — показав на его гусарский ментик, ответил старик, — бают, и с их одежою схожесть имеет...

— Так ведь я вам, кажется, русским языком говорил. Слыхали же небось?

— Слыхать-то оно, конечно, слышали. Да и у них, сказывают, люди разного сбора, — раздумчиво проговорил старик, до конца, видимо, так и не поверив приехавшим. — Поляки, те как будто бы и по-нашему толковать горазды...

Доводы бурмистра либо старосты были весьма резонны.

Давыдов подумал и широко сотворил крестное знамение.

— Православные мы и истинно русские!

— Ну теперь-то и без того вижу, — улыбнулся в седую бороду крестьянский предводитель. — Коли вера наша, стало быть, русские. Тогда уж и в деревню милости просим, чем богаты...

Мужики, толпящиеся за ним, со старинными кремневками в руках, топорами да вилами тоже заулыбались и одобрительно загудели. В один момент в завале, перегораживающем улицу, был разобран проезд. По распоряжению Давыдова казак сделал условный знак пикою своим, ожидающим на опушке. На рысях примчался отряд и въехал в деревню, которая разом преобразилась. Замелькали цветные сарафаны и поневы баб и девок, высыпали ребятишки. Тут же явились и пироги, и пиво, и крынки с розовым топленым молоком, и прочая домашняя снедь. Казаков и гусар потчевали радушно, вперебой.

Седой старик, которого селяне уважительно величали Селиваном

Карпычем, пригласил Давыдова и других офицеров в свою крепкую пятистенную избу откусать чем бог послал.

В просторной горнице с богатым киотом в углу свежо пахло еще сырыми, должно быть, только что вымытыми полами.

Потчужа гостей разносолами да вареньями, пенистым выдержанным медком и хмельной брагою, Селиван Карпыч, поглаживая окладистую седую бороду, вопрошал:

— Стало быть, войско-то наше не все в первопрестольную ушло, коли вы сюды возвернулись? В помощь поселянам али как? Еще-то объявятся наши воины, окромя вас? И людям-то сказывать про отряд ваш, ежели пытаться станут, или молчание таить?

— Всего тебе, дед, про войска наши открыть не могу, — наставлял его Давыдов. — Сам понимаешь, дело военное. Однако всем говори, что русской силы воинской в уезде много, и французу мы великое беспокойство чинить будем. Поселян в обиду не дадим. Однако же и вы против врага обороняйтесь, сколь духу хватит. Только тут надобно не на рожон лезть, а более хитростью да приманкой действовать, чтобы французы вас самих с бабами да ребятишками не побили, а изб деревенских не порушили бы да не пожгли.

— Это как же нам и быть тогда, ты уж вразуми, родимый, — наострил уши старик.

— Коли неприятели к вам явятся, примите их дружелюбно. Не так, как нас давеча встретили... Французы и при пушках могут оказаться. Открыли бы они в сем случае пальбу и раскатали всю вашу оборону по бревнышку. Посему и надо выйти к ним мирно, поднести с поклоном все, что у вас есть съестного, а особенно питейного. До хмельного они куда как охочливы, потому и поите их всласть. Потом уложите спать пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, бросьтесь все на оружие их, обыкновенно кучею в углу избы или на улице поставленное, и совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой церкви и вашей родины... Истребив их, закопайте тела в хлеву, в лесу или в каком-нибудь непроходимом месте. Во всяком случае, берегитесь, чтобы место, где тела зарыты, не было приметно. Эта осторожность оттого нужна, что другая шайка басурманов, отрывши тела своих товарищей, вас всех побьет и село сожжет... Все, что я вам сказал, перескажите соседям вашим.

Подобные наущения крестьянам в откровенном разговоре Давыдов будет делать во многих селениях. Доверять бумаге свои слова, обращенные к мужикам, он опасался. «Я не смел дать этого наставления письменно, — вспоминал он, — боясь, чтобы оно не попало в руки неприятеля и не

уведомило бы его о способах, данных мною жителям для истребления мародеров».

Советы и приказания Давыдова поселяне блюли строго. Как он не раз убеждался, после его бесед они тут же брались за дело и расправлялись потиху даже с крупными неприятельскими шайками.

Поначалу намеревавшийся обходить деревни и села, Денис очень скоро убедился, сколь важно широко распространить слух о том, что войска возвращаются, и этим укрепить дух крестьян и их стремление защищаться от хищного и алчного врага. Но, встречаемый в каждом селении либо ружейной пальбой, либо пущенными с размаху топорами, Давыдов сразу же понял и другое: в партизанской войне надобно приноравливаться к народу не только в обычаях и одежде, но и в речи своей. «Я надел мужицкий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена Св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным», — записал Денис в своем дневнике.

После этого его всюду принимали как своего.

Обосновав лагерь в густом березняке близ села Скугорева, Давыдов начал набег на врага.

2 сентября рано утром он как снег на голову пал на шайку мародеров, орудовавшую в ближнем селе Токарево. Стремительным ударом было захвачено девяносто неприятельских солдат и офицеров, прикрывавших обоз с награбленными у жителей припасами. Едва завершили это дело и раздали поселянам изъятое у них силою добро, как скрытые заранее пикеты донесли, что к Токареву движется еще один вражеский отряд, причем по обыкновению своему следует совершенно беспечно, не выставив даже конных охранений.

— Ну, коли неприятель снова в гости пожалует, встретим! — сказал Давыдов.

По его знаку гусары и казаки вскочили в седла и затаились за крайними избами. Дав французам подойти чуть ли не вплотную, снова ударили разом. Ошарашенные мародеры, не успев оказать сопротивления, дружно побросали оружие. Добычею стали еще семьдесят пленных.

Тут же встал вопрос: а что с ними делать? Не таскать же за собою всю эту голодную, прожорливую ораву?

По имевшимся у Давыдова сведениям, в уездном Юхнове французов не было. Город держало в своих руках местное ополчение. Посему, поразмыслив, Денис решил направить транспорт с пленными туда, дабы сдать их юхновскому начальству под расписку.

После отправки пленных Денис раздал поселянам неприятельское

вооружение: ружья, патроны, сабли, пики, тесаки. Заодно и наказал им смелее оказывать отпор мародерам, которых они уже называли по-своему — «миродерами»...

Хотя проведенное дело можно было вполне считать успешным, Давыдов понимал, что поражение вооруженных французских грабителей отнюдь не главная цель, ради которой он послан с отрядом в неприятельский тыл. Намного важнее было наносить удары по транспортам жизненного и военного обеспечения наполеоновской армии. Поэтому он и решил продолжать поиск вдоль Смоленской столбовой дороги в направлении к памятному ему Цареву-Займищу.

Из Токарева выступили на закате. Вечер был зябкий. Выпавшим накануне дождем прибило пыль на проселке, и кони шли легко и размашисто.

Верстах в шести от Царева-Займища неожиданно обнаружился едущий большаком малый неприятельский разъезд. Его можно было бы и не трогать, дабы не отвлекаться. Но Давыдову позарез требовались сведения о наличии в селе вражеских транспортов и сил прикрытия. Посему он послал урядника Крючкова с десятью казаками скрытно обойти разъезд по лощине, а других десять — ударить французов во фронт. Дело завершилось скоро и без боя. Увидев себя окруженным, разъезд из десяти рядовых при одном унтер-офицере, запросил пощады.

Пленные показали, что в Цареве-Займище расположился на отдыхе крупный военный обоз с прикрытием из двухсот пятидесяти человек конницы — польских улан и вестфальских гусар.

Чтобы в ночной суматохе ненароком не повредить своих, Давыдов решил атаковать неприятельский транспорт посветлу. На рассвете отряд его полями и лесными опушками вышел к луговой низинной пойме перед Царевом-Займищем, где так недавно на глазах Дениса Давыдова прибывший к армии Кутузов проводил смотр русским войскам.

Едва партизаны из-за реденькой, насквозь просвечиваемой березовой опушки вывернули на луг, как тут же, совершенно неожиданно для себя, столкнулись с конными неприятельскими фуражирами числом около сорока всадников, которые, поняв опасность, тотчас же повернули лошадей и помчались во всю прыть к селению. Раздумывать было некогда. Отряд Давыдова мог лишиться своего главного преимущества — внезапности. Оставалось одно: на плечах врага ворваться в Царево-Займище, а там, как говорится, авось и господь поможет...

Оставив при пленных тридцать гусаров, которые в случае нужды могли послужить резервом, Давыдов с остальными двадцатью ахтырцами и

семидесятью казаками с пальбою и криками устремились за фуражирами. В селе, куда они влетели с разгону, началась неистовая паника. Неприятельские уланы и гусары, еще продолжавшие поживать, выскакивали из изб, клетей и сараев без оружия, в одном исподнем. Почти все лошади их так и остались у коновязей. Лишь возле церкви, настезь распахнутой и разоренной, толпа человек в тридцать вздумала защищаться. Все они тут же были опрокинуты и положены на месте. В свой походный журнал Давыдов записал: «Сей наезд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух офицеров, десять провиантских фур и одну фуру с патронами. Остаток прикрытия спасся бегством».

Памятуя о том, что главное качество партизан суть быстрота, Денис распорядился отослать пленных в Юхнов, а добычу окружить и с нею поспешно двинуться через Климово и Кожино к месту стоянки отряда, которое он с разбойной удалью именовал «притоном».

Казаки и гусары буквально валились с ног от усталости. Замылились и запалились кони. Однако все в отряде, и офицеры и низшие чины, были веселы и возбуждены. Все понимали, что значительный урон, нанесенный неприятелю, сторицей окупает их лишения и труды. Радовало и то, что столь успешно проведенный поиск обошелся для партизан без потерь: среди гусар и казаков не было даже раненых.

В последующие дни Денис Давыдов едва успевал записывать в свой походный журнал:

«Пятого числа мы вышли на село Андреевское... На пути взяли мародеров, числом тридцать человек...»

«Шестого обратились к Федоровскому (что на столбовой Смоленской дороге)... На пути встретили бежавшего из транспорта с нашими пленными Московского пехотного полка рядового. Он объявил, что транспорт в двести рядовых солдат остановился ночевать в Федоровском и что прикрытие оно состоит из пятидесяти человек. Мы удвоили шаг и едва показались близ села, как уже без помощи нашей все в транспорте сем приняло иной вид: пленные поступали в прикрытие, а прикрытие — в пленных...»

Радость попавших в неволю русских людей и тех, кто их из этого позорного состояния вызволил, была неопишуемой.

Впоследствии, неоднократно видя подобные трогательные и возвышавшие душу сцены, к которым привыкнуть совершенно невозможно, Денис Давыдов запишет: «Кто не выручал своих пленных из-под ига неприятеля, тот не видал и не чувствовал истинной радости!»

На освобожденных было больно смотреть. Французы, сами пробивавшиеся на подножном корме, который добывали грабежом и насилием, их совершенно не кормили. А о какой-то медицинской помощи раненым и страждущим и говорить нечего. Их попросту пристреливали дорогою либо прикалывали штыками.

Все отбитые пленные пылали ненавистью к врагу и выражали готовность вновь сражаться. Однако среди них было много хворых и вконец изможденных. Давыдов отобрал из всей команды шестьдесят наиболее справных солдат. Русских мундиров не было, потому экипировал их во французские и вооружил трофейными же ружьями. Только на головы, дабы избежать путаницы, надел им русские фуражки. Так в отряде появилась своя пехота.

Об остальных, раненых и обессилевших, тоже надобно было позаботиться. Да и военных трофеев набралось уже в избытке. И их следовало передать в верные руки. Поэтому Давыдов принял решение, избрав наиболее безопасный путь через Судейки, Луково и Павловское, следовать на Юхнов, куда отряд, отягощенный внушительным обозом, и прибыл 8 сентября.

Город встретил партизан с великим хлебосольством и радушием. Дворянский предводитель Семен Яковлевич Храповицкий, благообразный старец, в статском мундире, опоясанном саблею, при анненской звезде, сказал на площади перед жителями и вновь прибывшими воинами торжественную речь о единении всех сословий на общей ниве служения отечеству перед лицом нашествия на Русь новейшего Атиллы — Бонапартия. Последние слова его были покрыты колокольным звоном и возбужденными кликами горожан. Энтузиазм казался искренним и всеобщим.

Временно обосновавшись в городе, Денис Давыдов очень скоро убедился, что юхновское ополчение, про которое он столь наслышан, числится покуда большей частью лишь на бумаге. Назначенный командовать этим ополчением отставной капитан Бельский стыдливо признался, что вся его военная сила состоит из двадцати двух местных уездных помещиков, надевших охотничьи куртки и заткнувших за пояса пистолеты и глубоко убежденных, что тем самым они уже оказывают великую услугу отечеству. Неприятеля никто из них, разумеется, до сей поры и в глаза не видел. Вооружать же своих крестьян сии воители не спешили, поскольку опасались собственных мужиков, должно быть, никак не менее французов...

— Ужели баре наши помышляют по домам да усадьбам отсидеться,

когда враг у них уже на пороге?! — зло сверкнув глазами, воскликнул Давыдов.

Своею волею он не мешкая открыл запись в ополчение простого люда: дворовых, ремесленников, торговцев, мещан. Народ повалил валом. От желающих послужить отечеству не было отбою. Для вооружения ратников Денис распорядился выдать 120 французских ружей, отбитых его отрядом у неприятеля, и большую фуру с патронами.

— Не знаю, как и благодарить вас, господин подполковник, — радовался отставной капитан.

Сразу же по прибытии в Юхнов узнал Давыдов еще одну весть, которая его крайне заинтересовала. Оказалось, что где-то в уезде томятся в бездействии два казачьих полка, находящихся под началом предводителя калужского ополчения, отставного генерал-лейтенанта Шепелева, командовавшего, как тут же вспомнил Денис, в прусскую кампанию одно время Гродненским гусарским полком, где служил незабвенный Яков Петрович Кульнев.

Два полка, подчиненных Шепелеву, как сказывали, имели далеко не полный списочный состав, но все же были полками. И Давыдов, узнав про них, тут же вознамерился их заполучить и присоединить к своему отряду. Тогда можно было бы отваживаться и на более крупные схватки с французами. Только как сие исполнить? Зная характер генерала, Давыдов понял, что вырвать полки у него удастся разве что хитростью. И тут же для пользы дела на нее решился.

Он написал на имя Василия Федоровича Шепелева витиеватый рапорт, в котором сообщил, что, «избрав для своих партизанских поисков часть территории, смежную с губерниею, находящуюся под ведением его превосходительства относительно военных действий, он за честь почитает служить под его командою и за долг — доносить о всем происходящем».

Посылая с этим рапортом поручика Ахтырского полка, розовощекого и златокудрого, обладавшего к тому же веселым нравом и тонким остроумием Дмитрия Бекетова, Денис Давыдов, посвятивший его в свой замысел, наказывал:

— Изю всех сил, Митя, старайся, умасливай старика. Одно ему тверди, что мы-де французов бить окромя как под его доблестным начальством себе и не мыслим.

Почти следом за первым курьером был снаряжен к Шепелеву второй, который вез описание отрядных успехов и перечень отличившихся нижних чинов и офицеров сиспрошением ходатайства о наградах.

Вернувшийся Митенька Бекетов порадовал:

— Его превосходительство в восторге! Он тут же возмечтал, что мы действуем по его плану и он тем самым поражает неприятеля! Отряд наш, то бишь свой, генерал благодарит за службу.

Тут же был послан третий курьер с донесением, ради которого все и затевалось. Подполковник Давыдов сообщал, что спешно выступает навстречудвигающемуся в больших силах противнику, а посему покорнейше просит усиления казачьими полками, находящимися, подобно его отряду, под командою его превосходительства.

С неимоверной быстротой последовало строгое предписание генерала немедленно усилиться двумя казачьими полками. Давыдову только того было и надобно. Полки 1-й Бугский, состоявший из шестидесяти человек, и Тептярский, в котором насчитывалось сто десять казаков, поступили под его начало.

Три дня, проведенные в Юхнове, сказались богатыми новостями, в том числе и печальными.

9 сентября в город приехал сын местного дворянского предводителя, майор Волынского уланского полка Степан Храповицкий, с которым Денис Давыдов познакомился еще в прусскую кампанию 1807 года в бытность того младшим офицером Павлоградского гусарского полка. Потому и встретились они как старые боевые товарищи. Степан Храповицкий и рассказал об оставлении Москвы и о предании ее огню...

11 сентября после торжественно отслуженного молебна при стечении всех жителей партизанская партия покинула Юхнов. Отправиться вместе с Давыдовым в поход напросились майор Степан Храповицкий и его брат отставной мичман — Николай.

После пополнения казаками генерала Шепелева отряд представлял собою уже внушительную боевую силу, не без гордости Денис записывал в свой дневник: «Сердце радовалось при обзоре вытягивавшихся полков моих. С ста тридцатью всадниками я взял триста семьдесят человек и двух офицеров, отбил своих двести и получил в добычу одну фуру с патронами и десять провиантских фур... Тут же я командовал тремястами всадников; какая разница! Какая надежда!»

Рано поутру 12 сентября, предприняв поиск в сторону Вязьмы, Денис Давыдов с лихою своей конницей вихрем налетел на внушительный неприятельский артиллерийский обоз. Дело было решено стремительностью и натиском. До ста человек прикрытия, попытавшегося дать отпор партизанам, в несколько минут оказались порубленными либо взятыми на пики, остальные двести семьдесят рядовых при шести

офицерах положили оружие. Кроме пленных, взято было двадцать подвод с провиантом и двенадцать тяжелых артиллерийских палубов с ядрами и прочими огнестрельными припасами.

Тут же пришло известие и от отставного капитана Бельского, который со своими ратниками в одном из сел успешно напал на французских фуражиров.

— Отрядить капитану две фуры с патронами да триста сорок ружей, — распорядился Давыдов, — пусть воюет и мужиков вооружает. Это нам в подмогу.

Поиск, проведенный в последующие дни в сторону сел Никольского и Покровского, завершился захватом еще девятисот восьми рядовых, пятнадцати офицеров, тридцати шести артиллерийских палубов и сорока провиантских фур, ста сорока четырех волов и более двухсот лошадей. Кроме того, освобождено было и примкнуло к отряду четыреста наших пленных. Однако первый урон понесли и партизаны. Некоторые схватки с неприятелем оказались жестокими. Так, при занятии Никольского отрядная пехота под водительством отставного мичмана Николая Храповицкого не побоялась вступить в единоборство с тремя батальонами польских жолнеров, героически пробила себе дорогу штыками, но потеряла в крутой атаке убитыми тридцать пять человек. Получили раны несколько казаков и гусаров.

Конечно, эти, хотя и болезненные, утраты ни в какое сравнение не шли с общими потерями французов, понесенными уже от армейского партизанского отряда Дениса Давыдова.

Это должным образом оценивала и главная квартира. Рапорты Давыдова немедленно передавались Кутузову, который повелел объявлять об успехах его партизанской партии по всей армии, не скупился главнокомандующий и на награды. Назначенный дежурным генералом главного штаба Кутузова генерал-лейтенант Петр Петрович Коновницын извещал Дениса:

«Поиски ваши и поверхность в разных случаях над неприятелем по Смоленской дороге обратили к вам совершенную признательность его светлости; при сем случае уведомляю вас, что вы представлены в полковники, а прочие отличившиеся и вами в рапорте упоминаемые будут награждены немедленно.

Вслед за сим посылаются на подкрепление ваше два из новоприбывших донских полков Попова 13-го и Кутейникова³⁵».

Дерзкое и успешное действие отряда Дениса Давыдова в тылу Великой армии крайне озадачило, если не ошеломило неприятельское

командование. О значительных потерях, понесенных от «казаков», как с этой поры стали называть французы партизан, штабным и свитским генералам пришлось волей-неволей докладывать Наполеону. Это известие привело Бонапарта в неистовство.

— Вы понимаете, — кричал он своим приближенным, — что эта акция русских имеет не только военное, но и политическое значение? Пруссия и Австрия только и ждут моих неудач, чтобы тут же меня предать. Весть о том, что я более не имею спокойного тыла, будет им как нельзя кстати!.. Я не боялся и не боюсь сражений, но меня страшит этот варварский способ ведения войны, который грозит оставить армию без припасов и в конце концов удушить ее.

Коленкур, в числе прочих генералов получивший нагоняй от Наполеона, в эти дни уныло констатировал умонастроение своего повелителя: «... Император был очень озабочен и начинал, без сомнения, сознавать затруднительность положения, тогда как до сих пор он старался скрывать это даже от себя. Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии и ничто вообще не беспокоило его в такой мере, как это появление казаков в нашем тылу».

Наполеон тут же отдал строгий приказ польскому генералу Сокольниковскому, руководившему разведывательным бюро при его главном штабе, спешно собрать и представить подробные данные о показавшемся ему столь опасным казачьем отряде и его предводителе. Через секретных агентов и полевую жандармерию эти данные вскорости будут получены и лягут в пылающей Москве на стол Бонапарта. И Наполеон не только прочитает и в сердцах запомнит имя гусарского полковника Дениса Давыдова, но и познакомится с довольно точным описанием его примет, на листе с которыми размахисто начертает свой заочный неукоснительный приговор: «При задержании — расстрелять на месте».

Описания Давыдова с тем же грозным императорским повелением будут размножены и посланы в полевые штабы всех частей, действующих от Москвы до Смоленска. Позднее при взятии Вязьмы сотоварищ брата Евдокима по Кавалергардскому полку поручик Павел Киселев среди беспорядочно разбросанных на полу бумаг в одном из штабных неприятельских помещений случайно найдет подобный циркуляр, заверенный подписью губернатора Смоленской губернии французского генерала Бараге-Дильера, и подарит сей весьма примечательный документ Денису Давыдову. Тот, конечно, прочитает его и улыбнется про себя: лучшей оценки его поисков во вражеском тылу вряд ли можно было и придумать...

Сразу же оценив и прикинув на примере успешных набегов отряда Дениса Давыдова, какую страшную взрывчатую силу для врага таит в себе действие на французские тылы и коммуникации, Кутузов смело начал отряжать в путь новые партизанские партии. На большую дорогу меж Гжатском и Можайском был пущен с крепким кавалерийским отрядом генерал Дорохов. К югу от Можайска в гости к неприятелю направился полковник Вадбольский с Мариупольским гусарским полком и пятьюстами казаков. У Боровска оседлал дороги капитан гвардейской артиллерии Сеславин. Его сотоварищ по оружию отставной артиллерийский капитан Фигнер, вооруженный и снаряженный генералом Раевским, действовал от Можайска до самых пригородов Москвы.

Однако непререкаемый приоритет оставался за Денисом Давыдовым. Все вновь посылаемые отряды, как говорится, шли по его следу и по открытому им пути. Генерал Ермолов свидетельствовал: «Давыдов, офицер смелый, известный острою ума своего и хорошими весьма стихотворениями, первый в сию войну употреблен был партизаном, что впоследствии было примером для многих других...»

О том же самом внушительно и убежденно скажет позднее Лев Толстой, строго, во всех деталях изучивший по многим документам и воспоминаниям очевидцев историю этой многотрудной для России войны: «Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны».

В эти самые дни Денис Давыдов узнал, что его особой честью намерены почтить и французы. От проворных лазутчиков, которых он заимел во множестве, ему стало ведомо, что смоленский французский военный губернатор из кавалерийских резервных частей, следующих через сей город, составил сильный отряд числом более двух тысяч всадников при восьми офицерах и одном штаб-офицере, предписав ему очистить от набегов Давыдова пространство между Вязмою и Гжатью, непременно разбить его поисковую партию, а самого казачьего предводителя «живого или мертвого привезти в Вязму». Французы, как сказывали, уже выступили в поход и горят желанием расквитаться с партизанами за все свои причиненные ими беды.

Встречаться с такою внушительной неприятельской силой лицом к лицу Давыдову, конечно, несколько не улыбалось.

Конные крестьяне загодя доносили Давыдову о всех перемещениях посланного против него французского отряда. Посему уходить от

неприятеля, одновременно изматывая его, было легко. Лихо меняя маршруты, партизаны по-прежнему перехватывали вражеские транспорты и громили шайки мародеров.

23 сентября прибывший по утренней поре курьер из главной квартиры привез страшную весть о кончине от жестокой раны, полученной при Бородине, князя Петра Ивановича Багратиона.

В неутешной своей горести, которую со слезами на глазах сполна разделили с ним все казаки и гусары, Давыдов тут же решил справить по усопшему славному полководцу кровавую тризну. В этот момент как раз кстати от одного из выставленных при дороге пикетов пришло известие, что неподалеку направлением к Городищу движутся две крупные неприятельские колонны. Посадив кавалерию на коней, Денис двинул ее в обход. Сам же на этот раз, вскочив в седло, повел за собою пехоту, с которой намеревался закрыть врагу вход в деревню, дабы конники его успели изготавиться и ударить французам в тыл.

Все удалось как нельзя лучше. Стрелки во главе с Давыдовым встретили подходящего неприятеля дружной пальбою со стороны Городища. Французы не выдержали напора и покатались к ближайшей роще, примыкающей к реке Угре. Партизанская пехота с криками «ура!» погналась следом за ними. Тут подоспел и лихой майор Храповицкий с кавалерией. Облетев рощу с другой стороны, он наглухо закрыл неприятелю путь к отступлению. Разгоряченные боем и яростным стремлением отомстить за смерть Багратиона, партизаны принялись было сечь и колоть всех без разбору, но Давыдов, вспомнив неоднократно повторяемые слова князя Петра Ивановича о том, что и возмездие неприятелю должно быть великодушным, тут же остановил побоище.

Потом в Городище, в маленькой шатровой церкви, каким-то чудом не разграбленной мародерами, отпели панихиду по Багратиону, после которой Денис с чувством исполненного долга и скорбного умиротворения записал в походном дневнике: «Судьба, осчастливив меня особой его благосклонностью, определила мне и то счастье, чтобы отдать первую почесть его праху поражением врагов в минуту сего горестного известия».

Меж тем неприятельский карательный отряд, как доносили конные мужики, побродив попусту меж Вязмою и Гжатью, объявился в селе Монине и будто бы движется в сторону Семлева. Чтобы заставить своих преследователей перемещаться еще резвее, Давыдов обратился к Вязме и устроил на подступах к городу сильную перестрелку. Французы, естественно, на рысях помчались сюда. А партизаны тем временем преспокойно вышли к только что оставленному неприятельской конницей

Монину и отхватили здесь весь обоз вражеского отряда, составленный из десяти артиллерийских палубов и сорока двух провиантских фур с прикрытием из ста двадцати шести конных егерей при одном офицере. Тяжелые французские эскадроны, узнав об этой великой дерзости, поспешили от Вязьмы обратно, но Давыдова уже и след простыл. Захватив богатую добычу и пленных, он со своими неутомимыми партизанами ушел в сторону Андреян.

Здесь 31 сентября произошла встреча с пополнением — с 13-м казачьим полком Попова, о котором извещал Коновницын. Полк этот из пяти сотен лихих казаков прибыл прямо с Дона и оказался, несмотря на дальний переход, в добром устройстве и выправке.

Это было, конечно, великой радостью для Давыдова. Он приободрился и сразу перестал опасаться нападения гонявшегося за ним отряда. Наоборот, с такою внушительной силою можно было с полной надеждою на успех и самому атаковать своих издерганных и умаявшихся преследователей.

3 октября он повел своих партизан в поиск. Долго стоявшее в эту осень тепло переменялось зябким северным ветром и обложным тягучим дождем. Однако настрой и гусар, и казаков, и пехоты был самый боевой.

Лазутчики донесли о разделении неприятельского отряда надвое. Одна половина его замечена была возле селения Крутого, другая же находилась в Лосмине, возле Вязьмы. Представлялась возможность разбить отряд по частям.

К месту расположения неприятеля добрались только к ночи. Дождь продолжал все так же лить. Партизаны изрядно застыли и промокли.

И все же Давыдов решил провести ночной бой. Посланные вперед охотники-пластуны без единого вскрика сняли неприятельские пикеты, упрятавшиеся от дождя и холода под шалаши.

Французы выскакивали в панике из теплых мест своего ночлега в большинстве своем в одном исподнем и потому хорошо были приметны и в темноте. Их либо разили на месте, либо брали в плен. Какая-то часть карателей успела вскочить на коней. Их потом гнали, сшибая пальбою и дротиками, версты четыре...

Взятых в плен наскоро пересчитали. Их оказалось триста семьдесят шесть рядовых и два офицера. Сколько потерял неприятель убитыми, в темноте было определять недосуг. Да к тому же Давыдов торопился, к утру он намеревался нанести столь же яростный удар и по другой части карателей, расположившихся в Лосмине.

Когда партизаны приблизились к этому селу, уже начало рассветать.

Дождь все не переставал. Дороги заметно раскисли и осклизли.

Полной внезапности нападения на этот раз не получилось. На подъезде к Лосмину идущие впереди аванпостные казаки неожиданно наткнулись на неприятельских фуражиров. Бросив свою поклажу, те кинулись в сторону села, и нескольким из них удалось уйти и предупредить своих. Когда Давыдов с основными силами приблизился, французы успели выстроиться к обороне в три линии. Дело могло решиться теперь лишь напором. Быстро поставив всю свою конницу в боевой порядок, Денис со всего маху ударил с казаками и гусарами встреч неприятелю.

После завершения боя, еще дрожа от нервного возбуждения и не ощущая смертельной усталости, Давыдов записал в дневнике об этом бое: «Первая линия при первом ударе была опрокинута на вторую, а вторая — на третью. Все обратилось в бегство. Надо было быть свидетелем этого происшествия, чтобы поверить замешательству, которое произошло в рядах французов. Сверх того, половина отряда стала вверх ногами: лошади, не быв подкованы, валились, как будто подбитые картечами; люди бежали пешком в разные стороны без обороны. Эскадрона два построились и подвинулись было вперед, чтобы удержать наше стремление, но при виде гусар моих, составлявших голову резерва, немедленно обратились назад без возврата. Погоня продолжалась до полудня: кололи, рубили, стреляли и тащили в плен офицеров, солдат и лошадей; словом, победа была совершенная. Я кипел радостью!»

Дело, продолжавшееся без перерыва более суток под дождем и холодом, завершилось при минимальнейших потерях полным разгромом карателей. Их отряд численностью свыше двух тысяч человек регулярной кавалерии перестал существовать.

8 октября, предварительно дав своему доблестному войску заслуженный отдых, Давыдов с отрядом двинулся в новый поиск, держась в правую сторону от Вязьмы.

Дела были, как говорится, обычные: перехватили несколько французских военных курьеров с корреспонденцией из Парижа и в Париж, заполучили в свои руки большой транспорт из семидесяти груженных разными припасами фур вместе с конвоем из двухсот двадцати пяти рядовых при шести офицерах; в прибавок к сему отбили своих пленных: 66 нижних чинов разных полков и двух кирасирских офицеров — Шатилова и Соковнина.

12 октября к вечеру партизанская партия прибыла в Дубраву. Едва расположилась на ночлег, как объявился обратный курьер, посланный

несколько дней назад Давыдовым в главную квартиру. Он привез командиру целую кучу пакетов, среди которых оказалась и бумага, скрепленная личной печатью Кутузова. Тут же были и другие официальные послания и письма от добрых приятелей, знакомых и друзей.

Как не порадоваться было тому, что все испрашиваемые наградные представления Давыдова на своих партизан, а заодно и на юхновского уездного предводителя дворянства Семена Яковлевича Храповицкого, оказывающего всемерную помощь отряду, уважены светлейшим, о чем он счел возможным уведомить своеручно. Рескрипт Кутузова на имя Давыдова от 10 октября гласил:

«Милостивый государь мой Денис Васильевич, Дежурный генерал доводит до сведения моего рапорт ваш о последних одержанных вами успехах над неприятельскими отрядами между Вязмою и Семлевым, а также письмо ваше к нему, в коем, между прочим, с удовольствием видел я, какое усердие оказывает Юхновский предводитель дворянства господин Храповицкий к пользе общей. Желая изъявить перед всеми мою к нему признательность, препровождаю у сего к вам назначенный для него орден св. Анны 2-го класса, который и прошу вас доставить к нему, при особом моем отношении на его имя. Буде же он прежними заслугами приобрел уже таковой знак сего ордена, то возвратите мне оный для украшения его другою наградой, в воздаяние похвальных деяний, им чинимых, о коих не оставляю я сделать и всеподданнейшее донесение мое Государю Императору. Волынского Уланского полка майора Храповицкого поздравляю подполковником. О удостоении военным орденом командующего 1-м Бугским полком ротмистра Чеченского сообщил я учрежденному из кавалеров онаго ордена Совету, прочие рекомендуемые вами господа офицеры не останутся без наград, соразмерно их заслугам. Отличившимся нижним чинам, по представленным от вас спискам, назначаю орденские серебряные знаки, а засим остаюсь в полном уверении, что вы, продолжая действовать к вящему вреду неприятеля, истребляя его конвой, сделайте себе прочную репутацию отменного партизана и достойно заслужите милость и внимание Августейшего государя нашего. Между тем примите совершенную мою признательность».

С удовлетворением прочитал Давыдов и послание милейшего Петра Петровича Коновницына, содержащее, как всегда, кроме слов доброго расположения, военные сведения и командирские наставления.

Невольную улыбку Дениса Давыдова вызвала и доставленная с общемою почтою краткая записка от Матвея Ивановича Платова, начало которой было писано витиеватым круглящимся, должно быть, писарским почерком,

а конец нацарапан крупными ломающимися на ходу каракулями самого атамана.

Писарская часть отличалась и по слогу:

«Приятельское уведомление ваше, через урядника Тузова, я получил. Радуюсь очень успехам вашим над неприятелем, они славны, и я не могу довольно выхвалить их...»

Собственноручная же часть, если выпустить из нее несколько крепких и соленых атамановых выражений, выглядела так:

«Бей... и воюй, достойный Денис Васильевич, и умножай славу оружия Российского и свою собственную!»

Чрезвычайно растрогало Давыдова и присланное с этою же оказией письмо старинного его приятеля и поэта, обаятельнейшего и скромного Сергея Никифоровича Марина, которого Денис когда-то весело задел в своей сатире «Сон». Отношения их все эти годы, несмотря на то, что виделись редко, оставались самыми сердечными. Здоровье Марина, получившего тяжелое ранение при Аустерлице и серьезную контузию под Фридландом, к началу нашествия французов было весьма подорванным, тем не менее он пожелал непременно быть в действующих войсках. Багратион, знавший и ценивший его, поручил исполнять Сергею Никифоровичу должность дежурного генерала при своем штабе. Приезжая к князю Петру Ивановичу, Давыдов несколько раз встречал в его главной квартире и Марина, с которым успевал обменяться дружескими объятиями и краткими, но душевными словами.

Письмо Марина показалось Давыдову столь же светлым и грустным, как и его улыбка:

«Любезный Денис,

Как я рад, что имею случай к тебе писать. Поздравляю тебя с твоими деяниями, они тебя, буйна голова, достойны; как бы покойный князь радовался, он так тебя любил. Ты бессовестно со мной поступаешь, ни слова не скажешь о себе, или я между любящими тебя как обсевок в поле? Одолжи, напиши, а я на досуге напишу тебе Оду. Я болен как собака, никуда не выезжаю; лихорадка мучит меня непрерывно...»

С любезным Сергеем Никифоровичем Мариным Денису Давыдову так и не суждено будет более повидаться. Вскоре после этого письма болезнь его, усугубленная беспокойной должностью дежурного генерала, усилятся. Он слегнет окончательно и уже не поднимется. О его безвременной кончине Давыдов с печалью узнает лишь по возвращении из заграничного похода...

Когда Денис Давыдов, расположившись со своим отрядом в Дубраве, возбужденно посверкивая глазами, читал и перечитывал только что

полученную обширную, столь приятную его сердцу корреспонденцию, он покуда даже не подозревал, что события уже приняли иной оборот. «Малая война», как называл Кутузов в своих донесениях государю активное действие на неприятеля партизанскими отрядами, наносящее Великой армии каждодневный все более ощутимый урон и почти начисто лишавшее ее средств жизненного и боевого обеспечения, вынудило Наполеона, тщетно ждавшего в сожженной пустынной Москве заключения мира, оставить старую столицу и со своею полуголодной ордою обратиться вспять. Он еще способен был тяжело и яростно огрызаться, но впереди отныне у него был лишь один путь, обычный для всех, возомнивших себя властителями мира, — к погибельному бесславию и позору.

Преследование



— Уж и кто тебя, дорожку,
Кто дорожку разорил?
— Разорил мя, путь-дорожку,
Неприятель — вор француз.
Разоривши путь-дорожку,
В свою землю жить пошел,
Да на мне, на разоренной,
Устрашение нашел...

Солдатская песня

В последнем бюллетене, выпущенном в Москве, Наполеон провозгласил:

«Великая армия, разбив русских, идет на Вильну!»

Это было, конечно, самой беззастенчивой ложью, рассчитанной разве лишь на легионерную Европу. Сами же французы к высокопарным сообщениям своего императора давно относились либо с полнейшим равнодушием, либо с улыбкой. О каком-нибудь заведомом обманщике и фантазере обычно говорили: «Врет, как бюллетень!»

Наполеон возвел официальную ложь в ранг державной политики — и

внутренней и внешней. Торжественно твердя о мире, о самозащите, о сохранении европейского спокойствия и безопасности, он вел нескончаемые разбойничьи войны. Подавляя силой оружия голодные бунты в когда-то богатых и сытых французских провинциях, витийствовал о новой эпохе всеобщего благоденствия и процветания. Чем хуже шли дела в изнуренной нескончаемыми рекрутскими наборами империи, тем жизнерадостнее и громче были официальные сообщения. Нация тупела от безудержного пустопорожного оптимизма. Объявив себя народным монархом, Бонапарт всегда помнил, что лучший метод борьбы с демократией — демагогия.

Вдохновенно обманывая собственный народ, он не прочь был высокозвучную ложь перенести и на народ русский. Сидя на досуге в догорающей Москве, Наполеон приказал составить прокламацию об освобождении российских крестьян от крепостной зависимости. Жест этот тоже, конечно, был чистейшей воды лицемерием. Стать избавителем мужиков, дружно поднявшихся с вилами и топорами в захваченных губерниях против его войск, он и не собирался...

Убедившись в сокрушении своих главных честолюбивых надежд и воочию видя, что армия его с каждым днем пребывания в русской покинутой столице, увлекшись грабежами, все более превращается в разбойничью орду, Наполеон сделал несколько попыток к заключению мира, которые остались безуспешными. После этого ему ничего не оставалось, как покинуть Москву и двинуться с изрядно поредевшими корпусами восвояси, что он и предпринял 7 октября. Осуществление крайнего масонского предначертания — окончательного уничтожения Москвы, и без того жестоко пострадавшей от пожаров, — он поручил маршалу Мортье, обладавшему высокими градусами посвящения в иерархии «вольных каменщиков». Оставленный в старой русской столице с десятитысячным отрядом, этот варвар с маршальским жезлом и титулом герцога Тревизского должен был взорвать Кремль с его древними башнями, палатами и храмами, церковь Василия Блаженного, злобно называемую Бонапартом «многоглавой мечетью», и другие московские святыни. Впрочем, исполнить приказ он был обязан после того, как император с армией отойдет на почтительное расстояние...

Выйдя из Москвы через Калужскую заставу, все еще внушительная, более чем стотысячная армада Наполеона устремилась вперед, нацеливаясь проложить свой путь через богатые, покуда не затронутые войной южные русские провинции. Двигалась она неторопливо и тяжело, до предела отягощенная награвленным добром, которое везли в нескончаемых обозах

и терпеливо влачили на себе.

Весть об оставлении Бонапартом Москвы Денис Давыдов узнал лишь 16 октября, поутру, от пленных, захваченных возле сел Козельска и Крутого. С какой целью двинулась французская армия во главе с императором и какое держит направление, разузнать от них толком не удалось.

Вслед за этим появившиеся со стороны Вязьмы крупные неприятельские силы начали уверенно и нагло теснить партизанские пикеты. Давыдов с отрядом вынужден был отступить с намерением держаться вблизи юхновской дороги, по которой осуществлялась его связь с главной квартирой.

Утром 20 октября обстановка наконец более-менее прояснилась.

Давыдов с удовлетворением читал только что полученное уведомление дежурного генерала:

«Неприятель при Малоярославце 12 числа был разбит, потерпел великий урон в людях и потерял 16 орудий. Граф Тышкевич взят в плен.

Армия неприятельская от вчерашнего дня отступает, по дошедшим известиям, через Боровск, Гжать и Смоленск; наша кавалерия его преследует. Действия вашего отряда теперь могут быть значительны, для чего его светлость приказал немедленно отправить два полка от генерала Шепелева к вам³⁶ в полном уверении, что вы употребите все средства на уничтожение неприятельских обозов и нанесете ему всевозможный вред. Генерал-адъютант граф Орлов-Денисов идет с шестью полками казаков в Гжать...

Генерал-адъютант Коновницын.

№ 250

Октября, 16 дня, 1812 г.».

Глаза Дениса разгорелись от добрых вестей. Он отлично понимал, сколь важна и знаменательна для армии и для всей России победа, одержанная при Малоярославце. Эта виктория наглухо закрыла Бонапарту путь в южные богатые области и поворотила его на старую, до конца разоренную им самим же Смоленскую дорогу, где ему, судя по всему, придется ох как худо!..

На радостях Денис сразу же предпринял ночной поиск к Смоленской дороге. Выступив около полуночи, партизаны за два часа перед рассветом

были уже у места. Все пространство большака оказалось запруженным неприятельскими фурами, телегами, каретами, артиллерийскими палубами, среди которых в полном хаосе двигались конные и пешие, обремененные тяжелой поклажей и готовые скорее расстаться с жизнью, чем с наворованным добром.

С криками «ура!» и пальбою казаки и гусары ударили в эти хищные вражеские толпы. Началась сопровождаемая великой паникой неистовая сеча. В ход пошли сабли, пики, пистолеты. То тут, то там с яркими красноватыми вспышками и громовым грохотом рвались подожженные ящики с пушечными припасами, что еще более усиливало смятение французов.

Разгром продолжался до той поры, пока на дороге не появились густые, уходящие в туманную даль ряды неприятельской кавалерии. За ними размеренно и твердо, высоко вскинув над собою красные, как цветущие маки, султаны и вороненные штыки, шла старая гвардия Наполеона, посреди которой, как обычно во время похода, двигался и сам французский император.

Прервав побоище, партизаны отхлынули от большака под хмурую сень сырого ольшаника. Отсюда, из-за переплетения темных наволглых ветвей, Давыдов отчетливо видел и заляпанный грязью тяжелый дормез Бонапарта, запряженный шестернею лоснящихся от дородства лошадей, с восседающими на козлах мамелюками в коротких красных поддевках и белых чалмах. Видел и мелькнувшее в окне, показавшееся ему серовато-бледным и отечным лицо Наполеона в низко посаженной на лоб столь знакомой маленькой темно-серой шляпе.

К удивлению Дениса, преследовать его отряд французы не кинулись. Несколько кавалерийских эскадронов, выехав в сторону, начали было строиться в боевой порядок, но потом почему-то вдруг оставили свою затею и влились в колонны отступающих войск. Давыдов после этого осмелел и, в свою очередь, решил не отставать от французов и лихими наскоками тревожить неприятеля перед взором самого Наполеона.

Ночью на привале при зыбком свете костров, которые раскладывали теперь впервые без опасения перед врагом, он сделает в своем походном дневнике отрывистую, короткую, но весьма примечательную и памятную для себя запись:

«...Во время сего перехода я успел, задирая и отражая неприятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто восемьдесят человек и двух офицеров и до самого вечера конвоевал императора французов и протектора Рейнского союза с приличной почестью».

На следующее утро, отвернув от большой дороги снамерением сократить себе путь и выйти в другом, неожиданном для неприятеля месте, Давыдов с отрядом переправился через речку Осму и двинул на Славково. И здесь вдруг встретился опять со старой гвардией. Не мешкая, завязал драку. Французы открыли ружейный огонь и даже начали пальбу по партизанам из пушек. Зашевелилась и неприятельская кавалерия. Перепалка длилась целый день, то нарастая, то несколько примолкая. Видимого успеха вроде бы не было. И Денис посчитал даже, что день этот пропал для него чуть ли не впустую. Однако вскоре ему удастся случайно перехватить одного из курьеров, посланных начальником штаба Бертье к корпусным командирам. Из французского циркуляра за его подписью Денис узнает, что Наполеон с главными силами своей армии готовился в этот день внезапно ударить по русским войскам. Появление давыдовского отряда спутало Бонапарту все карты. Он отменил контрнаступление, которое могло обернуться для главных наступающих сил немалыми потерями.

Вечером 26 октября Давыдов с отрядом двигался по направлению к Дубовищам.

Нудные холодные дожди наконец прекратились. И разом потеплело. С избытком напитавшаяся влагой земля запарила почти по-весеннему и оделась туманом. В этом тумане всадники плыли словно в парном молоке.

Впереди глухо стукнули выстрелы. Должно быть, аванпостные казаки, следующие впереди отряда, с кем-то схватились.

Давыдов с кавалерией на рысях устремился вперед. У маленькой деревушки, сиротливо приткнувшейся к дороге, в зыбкой туманной пелене увидел своих аванпостных казаков, окруживших французов. Пленные оказались лейб-жандармами и в один голос стали кричать, чтобы их отпустили, поскольку их дело не воевать, а присматривать за войсками. Привыкнув, должно быть, к всеобщему повиновению, они держались самоуверенно и нагло.

— Вы вооружены, вы французы, и вы в России; следовательно, молчите и повинуйтесь! — круто урезонил их Давыдов.

Лейб-жандармы сразу жезаметно пообмякли и с готовностью начали рассказывать о расположении своих войск. От них Давыдов и узнал, что совсем неподалеку находится корпус Бараге-Дильера, весьма сильный и боеспособный. Значительная часть его, составленная из двух тысяч человек пехоты и нескольких полков кавалерии под общим командованием генерала Ожеро, занимает соседнее село Ляхово, остальные войска сосредоточились

в Язвине.

— Ну, что ж, утро вечера мудренее, — рассудил Давыдов и приказал партизанам располагаться на ночлег.

Едва запалили костры, слабо мерцавшие в тумане расплывчато-округлыми желто-красными пятнами, как с дороги, по которой партизаны только что проследовали, послышались голоса, перезвон упряжи, а затем и радостные клики. Оказалось, что это подошли, незадолго перед тем соединившись вместе, поисковые партии Фигнера и Сеславина. Через несколько минут Давыдов на правах хозяина радушно принимал дорогих и желанных, так кстати объявившихся гостей и сердечно обнимал обоих уже прославившихся своими многими громкими подвигами лихих партизанских командиров, которых знал еще по турецкой кампании и по обоюдной дружбе их со своим двоюродным братом Алексеем Петровичем Ермоловым, к коему и тот и другой были привязаны всею душою.

Фигнер и Сеславин служили по артиллерии в одних и тех же капитанских чинах, храбро воевали, а после занятия Москвы французами, получив под свое начало войсковые отряды, по примеру Дениса Давыдова направились в неприятельский тыл партизанить. И оба совершали чудеса храбрости.

Об Александре Самойловиче Фигнере, потомке древней немецкой фамилии, поселившейся в России еще при Петре I, было известно, что он, в совершенстве владея французским, польским, немецким и итальянским языками, по обыкновению своему переодевался в неприятельскую форму и без страха направлялся в места, занятые французами, объявлялся на бивуаках или во вражеских маршевых колоннах и, добыв нужные сведения, возвращался как ни в чем не бывало к своему отряду. Сказывали, что, в крестьянской одежде он несколько раз пробирался в захваченную неприятелем Москву и искал способа встретить и убить Наполеона, для чего носил под армяком тщательно припрятанный кинжал.

На счету Александра Никитича Сеславина было множество отчаянно-смелых налетов на неприятельские колонны и транспорты. Но главною его заслугой являлось то, что он первый из всех партизан, сторожко притаившись в придорожных кустах, своими глазами высмотрел движение французской армии во главе с Наполеоном к Малоярославцу и успел донести об этом чрезвычайной важности открытии своем непосредственно Кутузову, который сразу же сумел двинуть туда войска и накрепко запереть французам путь в южные губернии. Известие, привезенное Сеславиным к светлейшему, без сомнения повлияло на последующий ход всей кампании.

Давыдов, расположившийся с офицерами своими в одной из изб

покинутой жителями деревеньки, душевно радуясь встрече, тут же пригласил обоих партизанских командиров, как он выразился, «к своему шалашу». В мгновение ока появилось трофейное шампанское и попавшие тем же путем на убогий крестьянский стол разнообразнейшие съестные припасы. А в растопленную по сему случаю русскую печь был торжественно вдвинут сияющий полированной бронзой внушительный котел для приготовления пунша.

Здесь, в дружеском застолье, у огонька, Денис наконец-то смог как следует разглядеть своих давнишних друзей.

Фигнер под стать ему был обряжен в штатское платье. На нем красовался длиннополый добротный армяк в сборку, какие носят обычно деревенские бурмистры либо средней руки торговцы, на ногах смазные сапоги. Лицо его, обрамленное желтоватыми реденькими бакенбардами и прямыми, спадающими на лоб волосами, розовое, гладкое, с чуть расплывшимися мягкими, даже несколько женственными чертами, казалось, дышало неподдельным добродушием и покладистостью, и лишь в малоподвижных, водянисто-бесцветных глазах отражалась временами какая-то пугающая, холодно-расчетливая решимость. Как и прежде, Александр Самойлович был весьма речист и говорил почти без умолку.

В противоположность Фигнеру тезка его Александр Никитич Сеславин, несмотря на неистовую храбрость и напор, которыми он обладал в атаке, в общении с друзьями отличался, как всегда, чрезвычайной скромностью и даже застенчивостью. Говорил он по обыкновению немного, а о себе тем более предпочитал помалкивать. Опять же в отличие от мало переменившегося Фигнера Сеславин выглядел заметно возмужавшим. Его некогда легкие вьющиеся темно-русые волосы стали короче и как будто бы жестче, то же можно было сказать и об усах, загнутых на концах с гвардейской лихостью. Черты лица обострились и обозначились резче. К тому же его покрывала заметная болезненная бледность. Все это, видимо, было следами недавнего весьма серьезного ранения при Бородине. Большую подтянутость и строгость по сравнению с командирами двух других партизанских партий ему придавала и военная форма. На нем был аккуратный и совершенно новый капитанский мундир гвардейской конной артиллерии с блестящим шитьем на груди и по черному стоячему вороту. В колеблющемся свете свечей посверкивали и его ордена — Георгия 4-й степени, Владимира 3-й и еще какой-то незнакомый Давыдову крест.

— А это что за орденский знак? — тут же спросил Денис.

— Мальтийский крест, — застенчиво улыбнулся Сеславин. — Еще

покойным императором Павлом Петровичем жалован в 1800 году «во изъявление особого благоволения». — И сразу примолк, должно быть, полагая, что и так непозволительно расхвастался.

Далее он в большинстве своем только слушал да изредка улыбался.

Разговором же как-то незаметно овладел Фигнер. Он подробно и обстоятельно рассказывал о своих похождениях по захваченной французами Москве, о тех злодеяниях и варварствах, которые чинили там уверенные в своей безнаказанности завоеватели.

Слушать обо всем этом было больно и горько.

После затянувшегося за полночь застолья Сеславин, еще маявшийся раною и, должно быть, смертельно уставший, залег спать, а Давыдов с Фигнером вышли из избы, чтобы малость подышать туманом да развеяться.

Приметив у соседнего сарая маячивших часовых, Фигнер спросил:

— А это что за богатство такое твои казачки стерегут?

— Пленных, — не задумываясь, ответил Давыдов. И вскоре пожалел о признании.

Фигнер сразу же оживился и стал просить отдать ему захваченных французов на растерзание.

— Понимаешь, у меня казаки есть свежие, ненатравленные, им бы это для обозления в самый раз!..

Давыдов внутренне содрогнулся. Он и раньше слышал о полнейшей безжалостности Фигнера к пленным, да как-то не особо тому верил, потому что это как-то не вязалось с его необыкновенными воинскими качествами. А теперь убеждался, что так оно и есть на самом деле. Потому и сказал ему прямо, с нескрываемым сожалением:

— Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. Оставь меня думать, что основа дарований твоих есть великодушие; без него они — вред, а не польза, а как русскому, мне бы хотелось, чтобы у нас полезных людей поболее было...

— Что ж, а ты разве не расстреливаешь? — удивился Фигнер.

— Отчего же, расстрелял двух изменников отечеству, из коих один был грабитель храма божьего.

— А пленных?

— Никогда!

Разговаривать с Фигнером охота у него отпала окончательно. И тот, видимо, поняв это, тоже замолчал. На том и расстались.

К утру возвратились посланные Денисом к Ляхову лазутчики. Они полностью подтвердили показания пленных лейб-жандармов о численности расположенных там войск генерала Ожеро, известив, что ко

всему прочему у французов есть и внушительная артиллерия.

Давыдов, Сеславин и Фигнер прикинули свои силы. Все три поисковые партии составляли около тысячи двухсот человек «разного сбора конницы», восьмидесяти егерей 20-го егерского полка и четырех пушек. Атаковать более чем вдвое превосходящего по численности врага, занимающего весьма выгодные для него позиции, было, конечно, крайне рискованно. Поэтому Давыдов и предложил привлечь для совместного участия в деле и действующий неподалеку отряд графа Орлова-Денисова.

28 октября поутру по свежему легкому снежку, выпавшему после краткого потепления, поисковые партии Давыдова, Сеславина и Фигнера изготовились для удара в редком низинном березняке у Ляхова. Сюда же примчался на огненно-рыжем лихом коне и граф Орлов-Денисов в окружении вестовых гвардейских казаков, приведя с собою несколько довольно свежих донских полков и нежинских драгун.

На общем совете командиров Давыдову поручили возглавить передовые войска.

Бой этот пришлось вести по всем правилам значительных полевых сражений. Сразу же оказалось, что лихим партизанским наскоком ничего не добьешься. Едва Давыдов с авангардными казаками понесся, разгоняя коней, к Ляхову, как оттуда двинулись навстречу густые цепи французских стрелков. Сквозь завесу плотного ружейного огня пробиться было невозможно.

Тут же прискакал с четырьмя орудиями Сеславин и, поддерживая Давыдова, открыл пальбу по неприятельской пехоте, продолжавшей выходить из Ляхова в сомкнутых колоннах. Фигнер с войсками выстроился позади, прикрывая стрелков и пушки. Граф Орлов-Денисов со своим отрядом занял правый фланг, выслав разъезды по дороге в Долгомостье, откуда к французам могла последовать подмога.

Неприятельская пехота все усиливала напор. Ее передовые цепи уже сходились в штыки со стрелками Давыдова и егерями Сеславина. В этом же направлении враг бросил в дело и свою конницу. Выручили ахтырские гусары во главе с ротмистром Горскиным. Они ударили с лета по французским драгунам и конным карабинерам и, опрокинув их, вогнали в лес. Ахтырцев славно поддерживали литовские уланы под командою поручика Лизогуба. Дело как будто начало обращаться в нашу пользу.

Но тут на взмыленной лошади прискакал вестовой казак от Орлова-Денисова с известием, что от Долгомостья к Ляхову в тыл наступающим партизанским отрядам спешно движется огромная колонна тяжелой кирасирской конницы.

Всю наличную кавалерию, бывшую в резерве, пришлось послать к Орлову-Денисову на защиту тыла. Момент был критический. Граф провел свое дело блестяще: уже неподалеку от места боя он встретил кирасир и стремительно атакой рассеял их и обратил в бегство.

Меж тем уже начало вечереть. На фоне ясного темнеющего неба было отчетливо видно, как в Ляхове пылали в нескольких местах избы, подожженные брандскугелями Сеславина. А стрельба продолжалась.

Давыдов опасался, что с наступлением ночи противник выстроит свои войска в единую неприступную колонну и двинется на прорыв к Долгомостью. И задержать его в таком продвижении у партизан, конечно, не хватит сил...

Однако все обернулось совсем иначе. Впереди стрелковой французской линии вдруг послышался размеренный барабанный бой, и наступающие увидели направляющегося к ним парламентаря с наскоро привязанной к штыку белой тряпицей.

Вскоре ответным парламентарем вместе с неприятельским посланцем в Ляхово отправился Фигнер. Переговоры, длившиеся около часа, увенчались полнейшим успехом. Генерал Ожеро более чем с двумя тысячами нижних чинов при 60 офицерах, со всеми обозами и артиллерией сдался на милость победителей. Теперь партизаны могли с полным правом полагать, что с учетом разгромленной кирасирской конницы корпус Бараге-Дильера практически перестал существовать...

Давыдов, Сеславин и граф Орлов-Денисов, утомленные многочасовым боем, затеяли, конечно, ночное празднество по случаю столь знаменательной победы. А более расторопный и оборотистый Фигнер вызвался доставить в главную квартиру захваченных пленных и все военные трофеи. Там он в разговоре с обрадованным Кутузовым, должно быть, представил достигнутую общими силами викторию своею личной заслугой. Во всяком случае, сам он оказался усыпанным наградами и милостями, а все сподвижники его по сражению при Ляхове остались в тени...

По этому поводу Денис Давыдов с вполне понятной и справедливой обидой за себя и своих боевых товарищей писал впоследствии в «Дневнике партизанских действий»: «...Мы все повалились спать и, проснувшись в четыре часа утра, вздумали писать реляцию, которая как будто в наказание за нашу лень послужила в пользу не нам, а Фигнеру, взявшему на себя доставление пленных в главную квартиру и уверившему светлейшего, что он единственный виновник сего подвига. В награждение за оный он получил позволение везти известие о сей победе к государю императору, к

коему он немедленно отправился».

Потом, как узнает Давыдов, в Петербурге по случаю пленения генерала Ожеро с войсками при Ляхове по высочайшему повелению служили торжественные молебны в церквях и соборах, имя геройского капитана Фигнера звучало на всю столицу, а его же собственное, равно как и имена Сеславина и графа Орлова-Денисова, даже не упоминались...

В последующие дни впервые более-менее серьезно заявила о себе приближающаяся зима: морозы при ясной погоде достигали по ночам 17 градусов.

В войсках громогласно читали только что изданный и широко распространенный приказ Кутузова, звучащий наподобие гимна во славу избавляемого от вражеского нашествия Отечества: «После таких чрезвычайных успехов, одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприятелем, остается только быстро его преследовать, и тогда, может быть, земля русская, которую мечтал он поработить, усеется костями его. Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюги и морозы. Вам ли бояться их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушится...»

1 ноября Давыдов, как он сам выражался, «коснулся» наконец своей армии. Ведя отряд походным порядком, он догнал следующую распашным шагом вслед за французами войсковую колонну генерала Дохтурова. Добрейший Дмитрий Сергеевич, наслышанный, как и прочие, о залетных подвигах Дениса во вражеском тылу, встретил его по-отечески и тут же пригласил на свой походный завтрак.

Давыдов приказал партизанам своим во главе с подполковником Храповицким обождать его в соседней деревне, а сам остался в обществе славного боевого генерала и его офицеров.

Однако не прошло и четверти часа, как от Храповицкого прискакал казак с известием, что Давыдова немедленно требует к себе светлейший...

Михаила Илларионовича он нашел в простой крестьянской избе, сидящим на лавке в переднем красном углу в накинутом на плечи просторном генерал-фельдмаршальском мундире. Перед ним стояли Храповицкий и зять главнокомандующего князь Кудашев.

Светлейший, едва заметил Давыдова, с видимым усилием приподнялся с места и раскрыл объятия:

— Поди-ка сюда, голубчик, хочу поблагодарить тебя за молодецкую службу твою. — И, обнимая, прибавил: — Удачные опыты твои доказали

мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю.

Сердечная ласка командующего растрогала Дениса. Теплый комок восторга сдавил ему горло, и он, с трудом произнося слова, попросил прощения у светлейшего за то, что в связи с поспешностью приказа вынужден был предстать перед ним в мужицком наряде.

— Бог с тобою, голубчик, — махнул рукою Кутузов, — В народной войне сие необходимо, действуй, как и действуешь: головою и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром. Лучше ты меня извини, что более стоять перед тобою не могу, — добавил он со вздохом, опускаясь снова на скамью и касаясь рукой спины, — поясницу себе совсем застудил да натрудил, за Бонапартом-то гоняючись, будь он неладен.

Затем Кутузов еще с полчаса говорил с Давыдовым. Он подробно расспрашивал о том, как Денис формировал сельские ополчения, о действиях мужиков против французов, о тех трудностях, которые выпадают на долю партизан, и о прочем до той поры, пока в избу с какими-то срочными бумагами не вошел торопливый и озабоченный полковник Толь.

— Ну ступайте, друзья мои, — милостиво отпустил Кутузов бывших у него партизан. — Воюйте так же славно, как и воевали до сего дня во избавление Отечества!..

Давыдов полагал, что встреча с фельдмаршалом окончательно завершилась, и спокойно направился на обед к пригласившему его известному сладкоеду и обжоре, давнишнему знакомому своему флигель-адъютанту графу Потоцкому. Но едва уселись за богатую трапезу, как явился лакей Кутузова и передал, что светлейший ожидает господина Давыдова к себе.

За обедом, на котором, кроме Кутузова, присутствовали еще генерал Коновницын, князь Кудашев и полковник Толь, светлейший снова окружил Давыдова и добром и вниманием. Он много говорил об удачных набегах первого партизана, хвалил его стихи (многие из них, как оказалось, он помнил наизусть), живо рассуждал о литературе, сказал о письме, которое он писал в этот день к госпоже Сталь³⁷ в Петербург; потом с добродушной улыбкой вспомнил отца Давыдова, привел даже некоторые его остроумные высказывания; помянул и деда Дениса по материнской линии генерал-аншефа Щербинина...

После обеда Денис решился напомнить светлейшему о награждении своих подчиненных.

— Бог меня забудет, ежели я вас позабуду, — ответил Кутузов. —

Подавай записку на своих молодцов.

— Так она, ваша светлость, завсегда при мне, — хитровато улыбнулся Давыдов и извлек из недр своего армяка заготовленную заранее бумагу, которую намеревался при случае переправить в главную квартиру. — Вот извольте глянуть...

— Ну и лихо! — улыбнулся Кутузов. — Истинно по-партизански!..

Пробежав бумагу своим единственным, зорким глазом, он попросил подать перо и тут же, скрепил ее своей размашистой и витиеватой подписью. В соответствии с этим представлением каждый из офицеров поисковой партии Давыдова должен был получить одновременно две награды, по достоинству отмечались и наиболее отличившиеся нижние чины.

С добрым известием о наградах и о высокой оценке действий отряда светлейшим Денис вернулся к партизанскому бивуаку на окраине деревни. Здесь его ждала новая радость: из дружеского офицерского застолья с широкой улыбкой поднялся и шагнул навстречу, чуть припадая на левую ногу, брат Евдоким, с которым он не виделся с самого того дня, когда отправился во французский тыл:

— Что с ногою? — спросил Денис, обнимая брата.

— Память о Бородине, офицерскою шпагой чуть ниже колена, — ответил тот, — однако уже ничего, воевать можно, особенно на коне. Вот твои сотоварищи меня в партизаны сватают. Примешь ли?

— Отчего же не принять столь боевого офицера, коего даже сам Наполеон отмечал после Аустерлица.

— Я бы с радостью, — вздохнул Евдоким. — Однако кавалергарды в резерве главной квартиры. И заикаться ныне об этом без пользы, начальство непустит... А вот младший наш, Левушка, этот спит и видит, чтоб в твоём отряде оказаться.

— Он по-прежнему в егерском?

— Да, приписан к 26-му полку, все в том же чине подпоручика. Однако при Бородине был адъютантом при генерале Бахметеве. А когда начальник его лишился ноги в сем сражении, он пристал к генералу Раевскому. Теперь же ни о чем прочем, окромя партизанства, и не помышляет...

— А матушка с Сашею во здравии ли?

— Слава богу, обе в орловской деревне, в Денисовке. Будут там дожидаться окончания кампании. Все у них ладно. Не тревожься!..

На том братья, крепко расцеловавшись, и расстались.

После столь радостных встреч Давыдов во главе своей поисковой партии держал путь по направлению к Красному, куда двигалась

французская армия. Он снова намеревался беспрестанно тревожить и не давать покою отходящему неприятелю ни днем, ни ночью, а тем самым неукоснительно исполнять самый главный наказ, данный ему Кутузовым.

3 ноября на рассвете среди снежного поля совместно с отрядами Сеславина и графа Орлова-Денисова Давыдов предпринял налет на расстроенную вражескую колонну. В итоге партизанам удалось захватить двух генералов Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов и значительный обоз.

В этот же день после полудня Давыдову вновь довелось встретиться на большой дороге с Наполеоном и сопровождавшей его старой гвардией. Если бы под началом Дениса оказалось на этот раз несколько рот конной артиллерии!.. Тогда бы он поспорил на бранном поле и с гвардейскими сомкнутыми колоннами. И чем бог не шутит, может быть, дотянулся бы наконец вооруженной рукою и до самого французского императора...

Конные же наскоки на ошетилившиеся штыками незыблемые громады Бонапартых гвардейцев почти ничего не давали. «Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки бросались к самому фронту, — но все было тщетно!.. Гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбацкими лодками», — с горьковатым чувством собственного бессилия записал Денис Давыдов в своем походном дневнике.

Неотступно следуя за неприятелем, Давыдов с партизанами напал при Копысе на крупное, вшестеро превосходящее по численности его отряд, вражеское кавалерийское депо и в момент его переправы через Днепр разгромил полностью.

У местечка Бельнички на подступах к Березине Давыдовский отряд, усиленный двумя орудиями конной артиллерии под командой молоденького поручика Павлова, завязал многочасовой жестокий бой с французами, в котором среди прочих партизан особо отличился младший брат Дениса, горячий и порывистый Левушка, действительно отыскавший партию и приставший к ней во время очередного марша. С сотнею отборных казаков, отданных под его начало командиром, он, по сути дела, решил победный исход всей этой яростной баталии. В критический момент, когда успех уже клонился в сторону французов, он ударил из-за леса на неприятельских стрелков, начавших теснить партизан, и обратил их в бегство, отхватив в плен подполковника, двух капитанов и девяносто шесть рядовых. Однако в сокрушительной атаке Левушка не уберется и сам: получил тяжелое ранение в грудь французской пулей.

«Справедливость велит мне сказать, что брат мой Лев был героем сего

дела», — доносил после успешно завершеного боя Давыдов в главную квартиру.

Несчастье, происшедшее с Левушкой, Денис переживал всем сердцем. Все, что мог он сделать для него, — это немедленно отыскать лучшего хирурга из числа пленных французов и под своим присмотром произвести брату операцию тут же в полевых условиях. После того как врач, извлекий злополучную пулю, заверил, что жизнь Левушки вне опасности, Денис 15 ноября поутру отправил брата вместе с другими ранеными в Шклов, дав в сопровождение вооруженный казачий конвой. Однако душа Дениса оставалась беспокойной. Он писал по этому печальному поводу: «Грустно мне было расставаться с страждующим братом моим и отпускать его в край, разоренный и обитаемый поляками, чуждыми сожаления ко всякому, кто носит имя русское! К тому же, если б урядник Крючков не ссудил меня заимообразно двадцатью пятью червонными, я принужден был бы отказать брату и в денежном пособии, ибо казна моя и Храповицкого никогда не превышала двух червонных во все время наших разбоев: вся добыча делилась между нижними чинами...»

На следующий день, 16 ноября, Давыдов, по его собственным словам, узнал о событиях, разыгравшихся на Березине. По милости любимца Александра I, самовлюбленного англомана адмирала Чичагова, Наполеону буквально чудом удалось вырваться с остатками своих войск из жесткого сплошного кольца, уготованного французам Кутузовым, которое неутомимо и угрожающе сжималось. И тут Бонапарт незадачливого сухопутного флотоводца обвел вокруг пальца, как мальчика. Проведя ложную демонстрацию, он внушил Чичагову мысль, что собирается переправляться через Березину ниже Борисова, а сам днем и ночью возводил два моста у Студенки. Адмирал, клюнувший на обман Наполеона, отвел свои войска южнее и открыл тем самым выход французскому императору из кольца, чем тот и не замедлил воспользоваться.

После Березины отступление Наполеона превратилось в подлинное бегство. Окончательно бросив на произвол судьбы обломки своей «Великой армии», в дормезе, поставленном на санные полозья, под чужим именем³⁸ французский император в сопровождении лишь нескольких приближенных и малого конвоя, налегке, спалив предварительно бумаги собственной государственной канцелярии и уничтожив даже личное столовое серебро («Я лучше буду до конца кампании есть руками, чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой!» — злобно воскликнул он, по свидетельству очевидцев), безостановочно помчался к Вильне, чтобы через нее вырваться наконец за пределы России.

В эти дни поисковая партия Давыдова почти без отдыха следовала за бегущей неприятельской армией, таявшей под напором наших войск на глазах.

30 ноября в Новых Троках Денис узнал добрую весть, что за три дня перед этим отряд его боевого товарища Александра Никитича Сеславина, получившего к этой поре полковничий чин, первым достиг Вильны и с бою овладел городом.

Здесь же, в Новый Троках, к Давыдову из главной квартиры примчался нарочный с приглашением от светлейшего срочно прибыть к нему в Вильну, куда он только что соизволил въехать.

Проделав немалый путь по заледелой дороге в легких раскатистых санках, Денис 1 декабря примчался в Вильну и тотчас же направился к светлейшему. «Какая перемена в главной квартире! — писал он об этом памятном посещении. — Вместо, как прежде, разоренной деревушки и курной избы, окруженной одними караульными... я увидел улицу и двор, затопленные великолепными каретами, колясками и санями. Толпы польских вельмож в губернских русских мундирах, с пресмыкательными телодвижениями».

На этот раз Давыдов для встречи с Кутузовым приоделся. Свой крестьянский армяк ему пришлось оставить. В залу главной квартиры он явился теперь в черном кавказском чекмене, в красных шароварах и с черкесскою шашкою на бедре, при той же своей округлой смоляной курчавящейся бороде. Среди облитых золотом генералов и красиво убранных и гладко выбритых офицеров вид у него, без сомнения, был весьма примечательный. Ждал он не более двух минут. Едва Кутузову донесли о его приезде, как светлейший принял его без промедления, несмотря на тьму всевозможных просителей в приемной.

Фельдмаршал был бодр и свеж, при всех регалиях, с Георгиевской лентой через плечо. Завидя Давыдова, тут же вышел навстречу.

— Здравствуй, здравствуй, голубчик, рад тебя видеть вновь во здравии. Я тебе тут дельце одно припас, весьма важное и к тому же деликатное. Как раз для твоей удалой головы и хитрости твоей, которой тебя господь тоже не обидел...

Далее, подведя Давыдова к распластанной на одном из боковых столов карте, Кутузов поведал, что австрийцы из корпуса Шварценберга занимают значительными силами Гродно. Поскольку кампания идет к победному завершению, их надобно выдворить во что бы то ни стало за пределы Отечества. Однако желательно произвести это без излишнего кровопролития, поскольку осложнять отношения с Венским двором ныне

совсем ни к чему, австрийцы вот-вот могут оказаться и союзниками русской армии.

Граф Ожаровский, по словам светлейшего, двигается в ту же сторону, на Лиду. Однако доверить ему сношение с неприятелем в данной ситуации фельдмаршал опасается, граф при своей прямолинейности наверняка наломает дров... Посему Кутузов и посылает Давыдова через Меречь и Олиту напрямик к Гродне, чтобы он «постарался занять сей город и очистить окрестности оного более через дружелюбные переговоры, нежели посредством оружия».

— В этом деле мне не просто военный потребен, — заключил Михаил Илларионович, — а натура вдохновенная и истинно поэтическая, вроде твоей. Коли выпадет непременно́я нужда бить австрийцев, то бей их весело, без излишней злобливости.

Окрыленный новым доверием светлейшего, Давыдов примчался к своему отряду и, не мешкая, выступил в поход. «Сборы мои, — как сам он говаривал, — никогда не были продолжительными: взнуздай, садись, пошел!..»

Наскочив с налету на Меречь, взяли здесь продовольственный неприятельский магазин с несметными припасами, так и не доставшимися голодным войскам Наполеона. Впрочем, припасы эти оказались весьма кстати и партизанам, все последнее время пробавлялись на том, что, как говорится, бог пошлет. Теперь же, набив переметные сумы трофейными яствами и вином, гусары и казаки приободрились и повеселели. Зычные с хрипотцой их голоса в прохваченном морозцем воздухе раскатисто выводили слова лихой солдатской песни:

Русский наш народ таков,
Он на все идти готов,
Лишь бы было нам дано
Хлеб, и мясо, и вино...

От Меречи берегом уже застывшего, окованного тонким прозрачным льдом Немана двинули на Гродну. Вперед отряда Давыдов выслал летучий авангард под водительством лихого Александра Чеченского, который, следуя наказу командира, сбив на пути неприятельский пикет и захватив в плен двух венгерских гусар, сразу же возвратил их генералу Фрейлиху, командующему гродненским гарнизоном. Австрийский начальник оценил сей великодушный поступок. Это и дало повод начать с неприятелем

переговоры, к ним как раз и подоспел Давыдов, приведший основные силы отряда.

Австрийцам, судя по всему, после столь явного поражения Наполеона бросаться в бой сломя голову отнюдь не хотелось. Однако Фрейлих пекся, так сказать, и о чести собственного мундира. После нескольких встреч и довольно мирных разговоров он согласился вывести свои войска из Гродны, но намеревался непременно предать огню провиантские и комиссариатские магазины, в которых военных припасов было собрано более чем на миллион рублей.

Давыдов с Чеченским, конечно, возражали, упирая на то, что подобный акт недоброжелательства к русским может помешать установлению добрых отношений между двумя армиями и народами, давно заинтересованными в сокрушении их общего угнетателя.

Партизанскими офицерами к тому же было пущено в ход все радушие и веселое обаяние, и сухой службист Фрейлих наконец дрогнул и решил оставить город со всеми его обширными военными запасами в полной неприкосновенности. Давыдов с Чеченским гарантировали ему, со своей стороны, совершенно спокойный и беспрепятственный отход до самой границы. Аккуратный австрийский генерал, перед тем как убраться восвояси, попросил лишь об одном: подписать от имени русского командования целый ворох накладных и прочих бумаг, которые, видимо, намеревался представить в свое оправдание. Денис, конечно, поставил свою подпись на всей этой канцелярии с великим удовольствием.

8 декабря Гродна без единого выстрела перешла в руки отряда Дениса Давыдова. Граф же Ожаровский, обладавший силами более значительными, к городу, пока в нем были австрийцы, так и не приблизился...

Генерал Ермолов, бывший в это время при главной квартире в Вильне, с добродушным юмором писал по поводу занятия Гродны: «К фельдмаршалу поступили в одно время рапорты от генерал-адъютанта графа Ожаровского и от полковника Давыдова: первый доносил, что неприятель в силах и не сдает Гродны, второй — что город взят».

Через несколько дней в Гродну вступили и регулярные русские войска: вначале кавалерийские полки барона Корфа, а сутки спустя — пехотные части графа Милорадовича, как всегда, розового, нарядного, поражавшего окружающих своей расточительной щедростью и неодолимой страстью изъясняться на малознакомом ему французском языке.

У генерала Милорадовича Денис Давыдов и прочел с величайшим восторгом и радостью только что разосланный в войска знаменитый приказ Кутузова, который заканчивался простой, но исполненной такого великого

и долгожданного смысла фразой:

«Война окончилась за полным истреблением неприятеля».

На полях Европы



Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее... Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынею... Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России.

*Из приказа генерал-фельдмаршала Кутузова
от 21 декабря 1812 г.*

Свой отряд Давыдов нагнал уже за границей.

В соответствии с приказом из главной квартиры его казаки и гусары под водительством Степана Храповицкого ушли на ту сторону Немана, а сам он, неожиданно занедужив, позволил себе отлежаться пять дней в Гродно по настоянию личного лекаря генерала Милорадовича. Едва почувяв себя лучше, Денис вскочил в санки и помчался по морозцу следом за отрядом, который и догнал 18 декабря в Тикочине.

Здесь, видя на груди у своих офицеров по несколько боевых наград, он наконец всерьез задумался и о собственных неуваженных заслугах. Как-то так получилось, что за все время действия своей поисковой партии Давыдов сносился непосредственно с Коновницыным и Кутузовым без посредников. Он хлопотал о подчиненных, а его представить к награждению было некому. Теперь же Отечественная война завершилась, начиналась новая кампания. Ничего не оставалось, как обратиться со своею заботой непосредственно к главнокомандующему.

Из Тикочина он без всяких околичностей написал Кутузову:

«Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином чем, как об истреблении врагов Отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу светлость прислать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса».

Через четыре дня нарочный из главной квартиры привез пакет с обоими крестами и послание от Коновницына.

Давыдов был доволен. Особенно радовало то, что наградные бумаги его подписал только что прибывший к войскам из Петербурга государь, и на этот раз без всяческих проволочек.

Однако позднее от добрейшего Петра Петровича Коновницына он узнает, что царь, относящийся к поисковым отрядам с явным, нескрываемым предубеждением, не захотел поощрять партизанских подвигов Давыдова.

— А в действительных сражениях полковник Давыдов участвовал? — спросил он Коновницына.

— Неоднократно, ваше величество! Лишь из последних могу назвать славное его дело под Бельничами, где проявлены были сим командиром чрезвычайная храбрость и упорство; а как он Гродну занял, выдворив оттуда австрийцев в превосходящих силах!..

— Так надобно и отметить в наградных реляциях, — строго указал император. — Орденские знаки требуют порядка и всегда должны иметь подтверждение — за что даны...

Кстати, позднее от того же Петра Петровича Коновницына Денис узнает, что сам светлейший намеревался наградить первого армейского партизана куда достойнее: представить к генеральскому чину и ордену Святого Георгия 3-го класса, но реляции, уже подписанные Александром I, лишили его такой возможности. Видимо, несколько форсировав события, Денис совершил ошибку, о которой задним числом ему можно было лишь сожалеть.

О том, какой оборот примут дальнейшие события на военном театре

по переходе границы, покуда было не совсем ясно.

Доходили слухи о больших переменах в главной квартире. Всею квартирмейстерской частью ныне командует будто бы личный друг государя генерал-адъютант князь Петр Михайлович Волконский. Толь произведен в генерал-майоры, но из главной квартиры удален. Новое назначение получил и Ермолов. А простецкий Коновницын, как сказывали, за ненадобностью спроважен в отпуск.

Судя по всему, Александр I прибирал к рукам руководство войсками. Всенародная слава Кутузова его, видимо, уже начала тяготить. Отметив заслуги старого полководца по избавлению страны от вражеского нашествия поднесенным на серебряном блюде орденом Георгия Победоносца 1-го класса, царь, верный своему лукавому двуличию, искал только способы для того, чтобы со временем заменить и главнокомандующего. А пока удалял под различными предлогами из главного штаба Кутузова его преданных и исполнительных помощников.

Степан Храповицкий, ездивший в Вильну в самый канун Рождества, по возвращении рассказывал Давыдову:

— Ну теперь немцы опять в фаворе. Вся главная квартира ими полна. Граф Витгенштейн сияет надменством в полной уверенности, что, защитив Петербург, единственно он и спас Россию. А Винценгероде, видно, уж запямятовал о том, что в плен угодить умудрился и во Францию уже был везен, да отбит по дороге казаками полковника Чернышева, тоже ныне важности великой преисполнен по случаю получения под свою команду авангарда главной армии. Что и говорить, Денис Васильич, не зря, видать, братец твой двоюродный Алексей Петрович Ермолов в свое время на вопрос государя, о какой награде он помышляет, с горькой веселостью отвечивал: «Произведите меня, ваше величество, в немцы!» По теперешнему времени эту шутку его многие офицеры повторяют.

— А где сам-то Алексей Петрович теперь? — поинтересовался Давыдов.

— Говорят, что из главной квартиры отбыл и опять к артиллерии приставлен... Да, самое-то главное позабыл, — спохватился Храповицкий и с улыбкою извлек из своей патронной сумки несколько тщательно сложенных листов.

— А что это такое? — спросил Денис, принимая еще не раскрытые листы.

— Читай да радуйся! Патриотическая песнь Жуковского «Певец во стане русских воинов». Там среди прочих героев Отечества и про тебя сказано!..

Строфу за строфою он читал возвышенную и гордую оду, написанную во славу русского оружия. От души радовался громкозвучно воспетым именам своих старших соратников, своих знакомых и близких — Ермолова, Коновницына, Платова...

Особенно тронули душу Дениса стихи, прославляющие подвиги партизан. И конечно, как было не воссиять радостью, увидев причисленным к доблестным героям Отечества, воспетых поэтом, и себя:

Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы.

Денис намеревался тут же откликнуться на голос Жуковского своею признательною лирой, но в его боевом кочевье это оказалось исполнить совсем непросто. За ответное дружеское стихотворное послание Василию Андреевичу он сумеет сесть лишь в покоренном Париже:

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
И спрысканы вином!
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою,
До стоп ли было мне?..

До стихотворных стоп на протяжении всей большой войны, безостановочно перенесенной из родимых пределов на поля Европы, у Дениса Давыдова воистину не доходили руки. Они были постоянно заняты то пистолетом, то саблею.

Выдворенный из России, Наполеон еще отнюдь не был окончательно сокрушен. Отозвав войска из Италии и из других мест Европы, он спешно перебрасывал их в Пруссию. А взамен безвозвратно потерянной «Великой армии» торопливо создавал новую. Стремительно проведенный очередной набор дал Бонапарту 240 тысяч человек. К ним вдобавок были призваны досрочно 150 тысяч подростков, которых во Франции почему-то прозвали «мариями-луизами». Этих мальчиков император хотел закалить годичным

обучением в военных лагерях. Однако времени на подобную закалку, как потом выяснится, не хватит, и Наполеон в критический момент бросит в дело и несмышленных «марий-луиз»...

С большим трудом, но формировалась и новая кавалерия. Для нее привлекли даже конных почтальонов.

Из подвалов Тюильри на нужды армии извлекались на свет божий награбленные по всей Европе миллионы. Бонапарт готовился к реваншу, готовился к новым жестоким кровопролитиям.

Русские войска меж тем продолжали наступление после перехода границы. Они двигались как бы двумя разветвленными потоками. Первый, под командованием графа Витгенштейна, через северную Пруссию устремился к Берлину. Второй, названный главной армией, под командованием Кутузова и при бдительном присмотре Александра I держал путь через Варшавское герцогство и Силезию к Дрездену. Авангардом главной армии начальствовал генерал Винценгероде, под его же попечением находились и два отдельных кавалерийских отряда — подполковника Пренделя и полковника Давыдова.

С первых же дней, как только поисковая партия Дениса Давыдова вошла в подчинение Винценгероде, трудно произносимую фамилию которого его казаки быстро и лихо переиначили на свой манер — «Винцо в огороде», — тот сразу же дал понять, что никакой партизанской вольности под своим началом не потерпит. Он строжайше воспретил совершать какие бы то ни было перемещения отряда без его ведома и даже сшибки с неприятелем.

— Дожили, — сказал в сердцах Денис Давыдов Храповицкому, — завидел француза в поле, так прежде, чем саблею его рубануть, надобно скакать к Винценгероде и непременно спрашивать, можно ли сие действие исполнить. Воистину, смех и слезы!..

Если царь и его приближенные в эту пору намеревались окончательно свернуть партизанство, видимо, опасаясь, как бы этот «варварский» способ ведения войны не произвел неблагоприятного впечатления на Европу, Кутузов, твердо уверившись в его великой пользе, в своих планах по скорейшему разгрому неприятеля по-прежнему отводил значительную роль летучим поисковым отрядам.

В начале февраля он писал Витгенштейну:

«Дабы не оставить неприятеля в покое в течение сего времени, нужно устроить более легких партий для партизанов, которые бы, перейдя Одер, нанесли страх неприятелю не только в окрестностях Берлина, но и до самой Эльбы».

Мало того, фельдмаршал сам непосредственно заботился о создании новых отрядов. Денис Давыдов, оказавшись в штабе Милорадовича и встретившись там с только что прибывшим добрым приятелем своим Михаилом Орловым, своими глазами видел у него приказ, подписанный светлейшим: «...Полагаю я необходимым умножить число партизанов и для того, командировав... флигель-адъютанта гвардии ротмистра Орлова, коего достоинства и предприимчивость мне известны, прошу благоволить дать ему отряд из легких войск... для действия на Одере».

— По твоим стопам иду, — улыбнулся Орлов, — буду по соседству с тобою партизанить.

При этой же встрече с Орловым Денис спросил у него:

— Я краем уха слышал, будто бы ты по заданию светлейшего написал возражения по 29-му «Бюллетеню» Бонапарта, где хлестко высмеял императора французов и уличил его во лжи и похвальбе? Так ли?

— Ну уж коли про то ведомо, — ответил с улыбкою Орлов, — то могу вручить тебе на память сей опыт робкого пера моего, дерзнувшего оспорить высокомерие Наполеона. — Он извлек и отдал Давыдову свой памфлет, озаглавленный «Размышления русского военного о 29-м «Бюллетене», писанный на французском языке и отпечатанный в походной типографии главной квартиры в виде объемистой листовки. — Правда, авторство мое здесь не указано, да оно и не потребно, поскольку предназначение этого труда — тоже истинно партизанское, он распространяется в неприятельской армии и в городах Европы для просвещения обманутых Бонапартом обывателей, — сказал он на прощание. — Почитай на досуге. Мнение твое мне чрезвычайно лестно!..

Как известно, 29-й «Бюллетень» Наполеона имел самое широкое хождение во Франции и в Европе и написан был для того, чтобы скрыть и всячески исказить правду о гибели «Великой армии» в России. Неудачи похода объяснялись в нем обстоятельствами сверхъестественными, совершенно не зависящими от французского императора. Единственной причиной бедствия выставлялись внезапно наступившие страшные холода, погубившие будто бы всю конницу и заставившие войска непревзойденного полководца повернуть вспять.

Пресловутый «Бюллетень», возмущавший своею наглою и грубой ложью, попадался на глаза Денису Давыдову чуть ли не в каждом немецком городе. Надо ли говорить, с каким интересом он, возвратившись в отряд, принялся за чтение листовки, составленной своим добрым приятелем Михаилом Орловым, уже известным в армии и ратною доблестью, и остротою ума.

Размышления Орлова дышали волнующим патриотическим чувством, живою полемической страстью и тонкой, но хлесткой иронией.

От всей души порадовался Давыдов и тому, что приятель его достойно вступился за честь партизанской казачьей конницы, которую Наполеон, натерпевшись от нее вволю, шельмовал в своем «Бюллетене» с особой злобой и презрительным пренебрежением. Перефразировав изречения французского императора по этому поводу, Орлов откровенно смеялся над его бессильной ненавистью и прославлял действия партизан:

«Казачи, эти жалкие арабы, которые могут нападать только на обозы и не способны справиться даже с одной ротой вольтижеров, одни, без посторонней помощи, истребили почти треть неприятельской армии. Да здравствует эта ничтожная конница!»

После прочтения листовки Давыдов послал к Орлову специального нарочного казака с краткою восторженною запиской:

«Прочел! Так ему! Благодарю Русского от имени Русского!
Твой друг и брат
партизан Давыдов».

Как ни странно, вздорный миф, придуманный Наполеоном для собственного оправдания и обмана левоверных, проживет долго. Его еще не раз будут оживлять и насаждать в незрелые умы всевозможные явные и скрытые недоброжелатели и ненавистники России, ее могущества и священной воинской славы. Через много лет после победоносного завершения Отечественной войны и европейской кампании Денису Давыдову придется яростно сшибаться с ними на страницах своих военно-исторических трудов, где он, вооружившись неопровержимыми фактами и непреложными доводами, тоже будет развенчивать и громить кичливую ложь Наполеона и его многочисленной адвокатуры во имя торжества справедливости и истины. И вдохновением ему в этой ответственной работе наверняка послужит добрая память о наступательном полемическом порыве Михаила Орлова, который с благословения Кутузова первым уличил Бонапарта в искажении суровой воинской правды.

Отряды Михаила Орлова и Дениса Давыдова действовали рядом.

7 марта 1813 года они встретились в небольшой аккуратной деревеньке Бернсдорф. Орлов рассказал Давыдову, что намеревается со своими казаками перемахнуть Эльбу у Гросенгейма, что наверняка должно поставить под угрозу французские войска, занимающие Дрезден.

— Ну что же, — сказал на это Денис, — а я тогда тебе в помощь пощупаю столицу саксонскую с фронту. Думаю, что это окончательно озадачит неприятеля.

На том и порешили. Орлов с отрядом своим двинулся искать способа к переправе, а Давыдов послал своего боевого ротмистра Александра Чеченского с бывшим под его началом 1-м Бугским казачьим полком к Дрездену.

Денис уже был в ведении, что маршал Даву, перед тем занимавший город с двенадцатитысячным корпусом, уже покинул его и выступил в сторону Мейсена. В Дрездене, по достоверным сведениям, теперь находился лишь трехтысячный французский отряд генерала Дюрюта да немногочисленные саксонские части Лекока. Кроме того, у противника имелось еще несколько тяжелых артиллерийских батарей.

Местные жители с готовностью показали и то, что французы, судя по всему, собираются всерьез оборонять лишь старую часть Дрездена, расположенную за Эльбой: почти все их силы и пушки сосредоточены там. Для этой же цели они начинили порохом каменный мост, соединяющий обе городские части. В Новом же городе, на правом берегу, войск, как сказывали, немного, лишь саксонские стрелки.

«Чем черт не шутит, — прикинул про себя Давыдов, — а вдруг и удастся, навалившись всем отрядом, отхватить столь слабо обороняемую половину Дрездена. Вот было бы лихо!»

Однако без ведома начальства пойти на такое отчаянное предприятие, особенно по нынешнему времени, было куда как рискованно. Слава богу, Винценгероде с основными силами авангардного корпуса находился далеко, в Гёрлице, в девяноста верстах, или в трех переходах, следовательно, покуда никак не мог помешать дерзкому набегу. С командующим же кавалерией авангарда, лихим красавцем генералом Сергеем Ланским, которому Давыдов подчинялся в данный момент непосредственно, он вознамерился договориться и послал ему курьера со следующей запиской:

«Я не так далеко от Дрездена. Позвольте попытаться. Может быть, успех увенчает попытку. Я у вас под командой: моя слава — ваша слава».

Вскоре курьер привез ответ:

«Я давно уже просил позволения послать вас попартизанить, но отказ был ответом на мою просьбу, полагая, что вы нужны будете здесь в 24 часа, а я, полагая эти меры слишком робкими, разрешаю вам попытку на Дрезден. Ступайте с богом».

К этой поре прибыло дополнительное донесение от Чеченского,

который извещал, что к нему совершенно неожиданно обратился бургомистр Дрездена с просьбою о пощаде города. Имея уже некоторый навык по дипломатическому общению с австрийцами в Гродне, лихой ротмистр и здесь затеял переговоры с надеждою выиграть время.

Денис Давыдов немедленно поднял отряд в седло и на рысях поспешил к Дрездену. С ним в эту пору был и напросившийся в его поисковую партию офицер-доброволец Александр Алябьев, в последующем известный музыкант и композитор, с которым у Дениса установятся самые добрые и дружеские отношения на долгие годы.

Отлично понимая, что сил у него для серьезного убеждения неприятеля о сдаче города явно недостаточно, Давыдов решил пуститься на старую, испытанную хитрость, которая помогала ему неоднократно. По пути, верстах в четырех от Дрездена, он оставил сотню казаков и строго наказал им всю ночь палить на близлежащих холмах как можно больше бивуачных костров, дабы их могли заметить и горожане, и вражеский гарнизон. С остальными же четырьмя казачьими сотнями и пятьюдесятью ахтырскими гусарами примчался к тому месту, где расположился у дрезденских палисадов Александр Чеченский с 1-м Бугским полком.

Ночь прошла в ожидании.

Во тьме хорошо были видны от города распаленные на дальних холмах костры. Молодцы, казачки, постарались: по огням можно было наверняка предположить, что там на бивуаках остановился, по крайней мере, трехтысячный отряд...

Едва ободняло, Давыдов послал к военному неприятельскому коменданту парламентаря и приказал ему объявить французам о прибытии крупных сил конницы и пехоты, которые в случае срыва переговоров уже изготовлены к штурму. Генерал Дюрют, командующий гарнизоном, разом поскучнел.

К тому же французов, видимо, всерьез озаботила и начатая Орловым переправа на левый берег. Опасаясь обхода, генерал Дюрют сразу проявил большую сговорчивость. Камнем преткновения в переговорах поначалу являлось неперемное условие Давыдова о том, чтобы неприятельские войска, покидавшие Новый город, «отдали бы честь русским, стоя, во всем параде, во фронте и сделав на караул при барабанном бое». Теперь же французский комендант согласился и на это.

На следующий день у ворот укрепления выстроился вражеский гарнизон. В соответствии с обговоренными заранее условиями неприятельские стрелки отдали честь русским воинам и вскинули ружья «на караул» при барабанном бое, после чего с весьма постными лицами

двинулись в сторону Старого города.

Стечение народа было невероятным. Главная улица, по которой следом за уходящим гарнизоном ехал русский конный отряд, с обеих сторон кипела ликующими людскими толпами. Из всех окон двух-и трехэтажных домов торчали головы любопытных. Не умолкая, гремели крики: «Ура, Александр!», «Ура, Россия!».

Гордо поднятое лицо Давыдова пылало румянцем счастья.

Впрочем, счастье это продолжалось отнюдь не долго. Когда Денис, воспользовавшись переходом на левый берег Михаила Орлова, намеревался уже ринуться вперед и захватить заодно и Старый город, на него темнее грозовой тучи пал Винценгероде собственной персоной. Узнав из донесения Ланского, что Давыдов победоносно вступил в Дрезден, он оставил свои войска где-то на марше и примчался сюда на взмыленных почтовых. Командующий авангардом был взбешен до пены на узких жестких губах. Столицу Саксонии он, конечно, помышлял занять лично, своей особой и уже готовился про себя к сочинению пышной реляции на имя государя и принятию после этого великих и богатых монарших милостей.

Барон Фердинанд Федорович Винценгероде был типичным космополитом и менял подданства, как перчатки. Про него было известно, что поначалу он служил в Гессен-Кассельском войске майором. В 1797 году принят тем же чином в российскую службу с назначением в адъютанты к великому князю Константину. Менее чем через год неизвестно за какие заслуги произведен сразу в полковники. Затем после какой-то темной истории уехал за границу и объявился в австрийской службе. В 1801 году возвратился в Петербург и снова принят в русскую армию, уже в чине генерал-майора с назначением в генерал-адъютанты. После Аустерлица оставил Россию и возник при австрийском генеральном штабе. В начале 1812 года снова облачился в русский мундир, уже при генерал-лейтенантских эполетах. Наполеон по его рождению считал оборотистого барона своим подданным, император Франц I, разумеется, своим, а Александр I, соответственно, — своим... А истинной же покровительницей Фердинанда Федоровича была совсем иная государыня, которой он всегда оставался преданным до самозабвения, — Ее Величество Выгода.

«Если, думал я, если точно Винценгероде метит сам на Дрезден, то какова должна быть злоба его на меня!..» — вспоминал впоследствии Денис Давыдов в своих записках.

Гроза грянула страшная. И по начальственному грому, и по своим последствиям.

С белым и перекошенным от неопишуемой ненависти лицом Винценгероде обвинил Давыдова сразу в трех смертных грехах: как он осмелился без позволения подойти к Дрездену, как он осмелился входить в переговоры с неприятелем и как он осмелился заключить перемирие с неприятелем на 48 часов, за время которого французы оставили город без разрушения.

Давыдов сколь можно спокойнее попытался привести веские доводы в свое оправдание. Он ответил, что предпринял занятие Дрездена по разрешению своего непосредственного начальника генерала Ланского. Относительно же строжайшего запрета вступать в переговорные сношения с неприятелем Денис, конечно, сказал, что о таком никогда не слышал, наоборот, за подобное же взятие Гродны, тоже по договоренности с неприятелем и с оформлением перемирия, он благоволением светлейшего князя Кутузова-Смоленского был жалован кавалером ордена Святого Владимира 3-й степени.

Винценгероде и слушать ничего не хотел.

— Вы забыли, что не один воюете с Наполеоном! Вы свершили тягчайшее военное и государственное преступление, пойдя на сговор с неприятелем. Как сие можно! Развели в армии партизанщину, будь она проклята!..

Он тут же строжайше потребовал, чтобы Давыдов сдал свой отряд подполковнику Пренделю и отправился немедленно в главную квартиру.

— Ищите, если сможете, там к себе снисхождения. Я же вас более под своим началом не потерплю!.. Да, и не смейте никого из бывших своих подчиненных, — генерал сделал особый упор на слове «бывших», — брать с собою в сопровождение. Я воспрещаю! Прощайте!

«Кто когда-нибудь отрываем был от подчиненных своих, — писал с не остывшим даже через годы чувством горечи и обиды Денис Давыдов, — с которыми так долго разделял он и голод, и холод, и радость, и горе, и труды, и опасности, — тот поймет волнения души моей при передаче моей партии во власть другого. От Бородинского сражения до вступления в Дрезден я сочетал свою судьбу с ее судьбою, мою жизнь с ее жизнью... Пятьсот человек рыдало, провожая меня».

С готовностью сопровождать Давыдова вызвался Александр Алябьев, несмотря на строгий запрет Винценгероде.

В главной квартире, которая размещалась в эту пору в Калише, Давыдов явился прямо к начальнику штаба обеих союзных армий³⁹ князю Петру Михайловичу Волконскому и подробно изложил ему все свои приключения с занятием Дрездена. Показал, конечно, копии с рапортов и

служебных предписаний и прочие оправдательные бумаги. Тот немедленно пошел со всеми обстоятельствами дела к Кутузову. А больной светлейший, в свою очередь, не отлагая ни минуты, обратился к государю. Александр I, кстати, уже получивший настоятельное ходатайство Винценгероде о предании полковника Давыдова военному суду за своеволие и неисполнение приказа командира, надо отдать ему должное, рассудил всю эту историю безо всякой строгости:

— Как бы то ни было, однако победителей не судят, — изрек он глубокомысленно.

На сем дело само собою и прекратилось.

В Калише отслужили благодарственный молебен с пушечной пальбой — в честь взятия Дрездена.

Об этом событии официально было обнародовано так:

«Генерал Винценгероде доносит из Бауцена, что Нейштадт, или часть Дрездена, по правую сторону Эльбы, занят его войсками».

О Давыдове, конечно, не говорилось ни слова.

«Однако на другой день светлейший прислал за мною, — вспоминал Денис, — излился передо мною в извинениях, осыпал меня ласками и отправил обратно к Винценгероду с предписанием ему возвратить мне ту самую партию, которая была у меня в команде. Я ему был благодарен. Он не мог сделать более: власть его уже была ограничена».

Это была его последняя встреча с Кутузовым. Как раз через месяц в маленьком прусском городке Бунцлау Михаил Илларионович, вконец изможденный болезнью и неимоверно тягостной для него явной немилостью царя, умрет, и горестная весть о столь великой для русской армии и всего Отечества утрате отзовется в душе Дениса Давыдова глубокой печалью и искренним сожалением.

Настоятельного предписания Кутузова Винценгероде так и не исполнил.

На возвратившегося к корпусу Давыдова он продолжал смотреть волком. Сначала, скривясь от неудовольствия, правда, пообещал, что вернет ему отряд, но тут же оговорился, что исполнить это быстро нельзя, поскольку, дескать, бывшая его поисковая партия рассеяна сейчас по разным местам.

Давыдов, оказавшийся не у дел, терпеливо ждал.

Винценгероде тянул время под разными предлогами, а потом, видимо, после смерти светлейшего посчитал, что его распоряжение теперь и вовсе потеряло силу.

Денис после очередной стычки с Винценгероде в сердцах отпросился в отпуск, который тот и дал незамедлительно, с видимым удовольствием. Предоставленной же ему возможности отдохнуть от ратных трудов он так и не использовал. Да и куда поедешь в эдаком-то состоянии?

Давыдов навестил лишь близких своих друзей и родственников — Ермолова, Раевского. Хотя он тяжело переживал потерю отряда, но никому, конечно, не показывал и виду, стараясь оставаться все тем же весельчаком и острословом, каким его знали и любили в дружеском офицерском кругу...

Вынужденное бездействие вскоре стало для Дениса Давыдова поистине нестерпимым. Тем более что события на военном театре становились угрожающими. Бонапарт, спешно сформировав новую армию, горел желанием не уступить русским своих европейских завоеваний.

«Наполеон подвигался; союзные армии шли к нему навстречу; надлежало ожидать сильного сшиба, — писал Давыдов. — Я хотел в нем участвовать с саблею в руке, а не в свите кого бы то ни было».

К тому же ему надо было во что бы то ни стало освободиться от недоброжелательной опеки барона Винценгероде. Выход был один: отпроситься снова в свой родной Ахтырский гусарский полк, который в это время входил в корпус генерала Милорадовича. Эту просьбу начальство уважило.

К ахтырцам Давыдов вернулся в самое горячее время. Упорные сражения гремели почти непрерывно. Наполеон, предпринявший наступление, напирал всеми силами, русские и прусские войска самоотверженно отбивались и, в свою очередь, пытались контратаковать неприятеля.

Накал жарких боев красноречиво подтверждается формулярным списком Давыдова. Судя по нему, он участвовал в яростных сшибках — под Пределем 21 апреля, под Гартою — 22-го, под Этсдорфом — 23-го, под Носсеном — 24-го, под Юбигау — 25-го, под Дрезденом — 27-го...

В первых числах мая граф Милорадович, хорошо зная и ценя опыт Давыдова по командованию партизанской партией, поручил ему хотя и небольшой, но все же собственный отряд, составленный из четырех сводных эскадронов и части Татарского уланского полка.

Наконец Денис снова был в своей вольной партизанской стихии. Своодушевлением и страстью принявшись за дело, он водил отряд в поисковые рейды, отхватывал пленных, громил неприятельские тылы и средства сообщения, доставлял в штаб Милорадовича ценные сведения о перемещениях и замыслах французов. Кроме того, он оказал войскам графа большую помощь в кровопролитном двухдневном сражении под Бауценом

8 и 9 мая, совершив обходной фланговый марш неприятельских позиций и ударив всем отрядом в точно избранный момент. Успешно атаковал Давыдов французскую кавалерию и 10 мая под Рейхенбахом.

За эти бои Милорадович представил его к очередному генеральскому чину, реляционная бумага по сему поводу отправилась в главную императорскую квартиру, однако последствий не имела.

В этот период Наполеону удалось-таки потеснить союзные войска. Сначала он сумел вновь возвратить себе Дрезден, не так давно столь блистательно захваченный у неприятеля отрядом Дениса Давыдова, а потом продвинуться далее и занять своими войсками Бреславль.

Все это, конечно, не на шутку перепугало заносчивого Александра I и тугодумного Фридриха-Вильгельма III. Посовещавшись меж собою, они обратились к Бонапарту с предложением о перемирии, на что тот с готовностью согласился. Передышка явно была нужна обеим воюющим сторонам. 23 мая в Плесвице было заключено перемирие, прервавшее военные действия на два месяца.

За два истекших месяца обстановка в Европе во многом изменилась. Окончательно оформилась коалиция против Наполеона. К ведущим борьбу России и Пруссии присоединились Англия, Австрия и Швеция. Англия, по обыкновению своему, собиралась воевать деньгами. Австрия выставляла 110-тысячную армию, в основном ту самую, которая недавно сражалась на стороне Бонапарта. Кое-какие войска решил привести с собою и бывший наполеоновский маршал Бернадот, признанный в свое время под давлением французского императора наследным шведским кронпринцем и получивший с той поры скандинавское имя Карла-Юхана. У этого, конечно, были свои расчеты; он не прочь был возмечтать и о короне Франции, если общими силами союзников удастся свалить Наполеона...

К концу перемирия из войск коалиции были составлены три армии: Богемская (Главная) под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга, Силезская, над которой главноначальствовал прусский генерал Блюхер, и Северная, руководство над которой поручили шведскому кронпринцу Карлу-Юхану, то бишь Бернадоту. Кроме этих сил, выдвинутых в первую линию, как сказывали, была где-то в тылу, между Вислой и Неманом, предводительствуемая Беннингсеном так называемая Польская армия, почитаемая, должно быть, резервной. Основу новых формирований, притом твердую и прочную, везде составляли русские войска.

Общее главнокомандование над всеми армиями Александр I, видимо, в угоду Венскому двору, двойственная политика которого ему была хорошо

известна, передал 42-летнему фельдмаршалу Карлу Филиппу Шварценбергу, числившемуся до недавней поры корпусным начальником у Наполеона.

Поначалу после перемирия Денис Давыдов оказался в составе Богемской (Главной) армии. Всеми силами он снова добивался поисковой партии. Наконец получил в командование два казачьих полка, однако ему было предписано соединиться с австрийским кавалерийским отрядом и поступить под начало австрийского полковника графа Менсдорфа. Скрепя сердце пришлось подчиниться. К счастью, командир отряда оказался человеком не робким, знающим и весьма доброжелательным. К своему русскому коллеге он сразу же начал относиться с должным уважением. Давыдов, естественно, платил ему тем же.

В составе союзного отряда Менсдорфа Денис принял участие в нескольких разведывательных поисках, великолепно проявил себя в боях под Рютою, под Люценом, при Цейце, дважды в упорных схватках под Альтенбургом, под Пенигом и Хемницем и, наконец, в жестоком и кровопролитнейшем сражении под Лейпцигом, длившемся с 4 по 6 октября и сразу же получившем название «Битвы народов», где войскам Наполеона хотя и дорогой ценою, но нанесен был сокрушительнейший и поистине невосполнимый урон. Потеряв почти две трети своей армии, Бонапарт после этого поражения уже не смог оправиться и покатился к французским пределам...

За отличия, проявленные в осенних боях, Давыдов еще дважды представлялся к генеральскому чину: сначала своим командиром графом Менсдорфом, а затем и самим главнокомандующим фельдмаршалом Шварценбергом. И вновь был удостоен лишь очередного дежурного монаршего Благоволения.

Денис, конечно, считал себя несправедливо обойденным. Старый добрый приятель его, будущий декабрист, полковник князь Сергей Волконский, которого он знал и по Кавалергардскому полку, и по Прусской кампании 1807 года, и по войне с турками на Дунае, встретившись с ним в эти дни и хорошо зная и о злоключениях Давыдова по занятии Дрездена (он, кстати, деятельно пытался защитить поэта-партизана от неистового гнева Винценгероде), и о неуваженных императором его представлениях к генеральскому чину, говорил ему в успокоение:

— Что же ты хочешь, Денис Васильевич, коли ты не иностранец? Для них наш царь наград никогда не жалеет. А нас же, русских, баловать ох как не любит!..

В конце 1813 года Денис Давыдов снова оказался без команды. Прослышав про это, его тотчас же пригласил к себе начальствовать казачьим авангардом добрейший Матвей Иванович Платов. Но неизвестно почему принятию этой должности вдруг неожиданно воспротивился Барклай-де-Толли. Давыдову опять ничего не оставалось, как отправиться в свой Ахтырский гусарский полк, находившийся тогда в Силезской армии прусского фельдмаршала Блюхера, в корпусе русского немца Фабиана Вильгельмовича фон-дер Остен-Сакена, недавно произведенного в генералы от инфантерии.

В это время военные действия уже были перенесены на территорию Франции. Наполеон, армия которого после Лейпцига и других проигранных сражений, не превышала 40 тысяч человек, теснимый союзными войсками, но все еще яростно огрызаясь и отбиваясь, отходил в сторону Парижа, грозясь, по примеру русских, превратить войну в национальную. Однако, по его же собственным словам, он вскорости убедится, что в этой стране, где революция уничтожила дворян и духовенство, а сам он уничтожил революцию, нацию поднять нельзя.

Из главной квартиры во Фрейбурге, где хлопоты Матвея Ивановича Платова о переводе к нему Давыдова командующим авангардом не увенчались успехом, Денис отправился догонять свой Ахтырский полк. Путь его лежал на юг, вдоль Рейна, через который, по его воспоминанию, он переправился «при ужасном шествии льда» и встретил новый, 1814 год прямо в дороге, в заваленных мокрым снегом Вожских горах.

Главную квартиру Блюхера удалось нагнать лишь в Нанси. Здесь к нему отнеслись более-менее благосклонно и направили в отряд молодого князя Щербатова, которого Денис знал еще в бытность свою адъютантом Багратиона. Отряд этот был составлен из 4 полков, весьма потрепанных в боях и обветшалых в суровых переходах по снежной каше и оттепельной сыри. Под командой Давыдова оказались два казачьих полка — 4-й Уральский и Оренбургский, с которыми он и последовал далее по французской земле. Одинокий тенорок песельника жалостливо заливался песнею старого поэта Юрия Нелединского-Мелецкого, широко распространившейся в народе:

Ох! тошно мне
На чужой стороне,
Все уныло,
Все постыло...

После краткого, относительно спокойного наступления снова начались жаркие схватки с неприятелем. Наполеон, должно быть, в отчаянии бросил на защиту своих провинций все, что было у него под рукою, с яростным приказом: лечь на месте, но не пропустить далее союзные войска.

14 и 15 января тяжелейшее сражение разыгралось под Шато-Бриеном, в котором под Денисом Давыдовым было убито пять лошадей.

Не менее жестоким 17 января оказался длительный, с темна до темна, бой при Ла-Ротьере, где казачьи полки Давыдова, опрокинув на фланге желто-красных гусар из бригады Жакино, в решительный час ворвались на артиллерийскую батарею, изрубили и покололи пиками прислугу и тем самым дали двинуться нашей пехоте и одержать нелегкую победу.

Именно за этот бой полковнику Давыдову, проявившему в нем незаурядное мужество и личную храбрость, был наконец по новому ходатайству союзного командования жалован так давно им ожидаемый чин генерал-майора.

Конец января и весь февраль Денис практически не выходил из огня.

11 февраля, стянув силы в единый кулак, Наполеон перешел в наступление в районе Монмираля. Удар его пал целиком на Силезскую армию, которую ему поначалу удалось расколоть надвое. Бои завязались жесточайшие. Обе стороны несли тяжелый урон. В сражении под Кроаном были выбиты все генералы 2-й гусарской дивизии, командование ею Давыдов взял на себя прямо в сабельной атаке. В последующих баталиях он начальствовал над бригадой этой дивизии, составленной из близких его сердцу Белорусского и Ахтырского гусарских полков.

Кстати, в эти горячие дни ему удалось повидаться с младшим своим двоюродным братом Василием Давыдовым, оказавшимся в этой же дивизии, в Александрийском гусарском полку и только недавно получившим чин штаб-ротмистра. Он рассказал, что в сражении при Лейпциге был дважды ранен пикою в ноги, сбит с седла, захвачен в плен, но, к счастью, вскоре отбит платовскими казаками. К александрийским гусарам попал же прямо из полевого лазарета.

Из последних сражений, выпавших на его долю в этой войне, Давыдову более прочих запомнится яростная и кровопролитная битва у Фер-Шампенуаза, на самых подступах к Парижу, исход которой, хотя и недешевой ценой, был решен кавалерией. Ему запомнятся обширная долина и чернеющие посреди нее несколько неприятельских колонн, построенных в каре. Под натиском союзной пехоты и артиллерии они медленно продвигались к лесу, в сторону Парижа. Но здесь им преграждала путь кавалерия, среди которой стоял и он со своею гусарской бригадой.

Французам оставалось либо отразить наши силы, либо повергнуть оружие. Чтобы избежать кровопролития, к ним были посланы парламентареры. В ответ ударил залп из пушек и ружей. И тогда прямо на неприятельский огонь пошли в атаку кавалерийские полки. И дальше — только дым от земли до неба, густые вспышки выстрелов, вой картечи и неистовый лязг сшибающегося металла...

Дело довершила пошедшая следом за конницею пехота. Победа была полная. Она открыла путь на французскую столицу.

А потом был Париж.

Отправленный парламентарером в стан к неприятелю, капитуляцию города собственноручно составил и подписал от имени русского командования душевный приятель Дениса Давыдова полковник Михаил Орлов, сразу же произведенный за это в генерал-майоры.

Денис Давыдов въехал в Париж вместе с армейскою кавалерией, впереди остававшейся под его началом гусарской бригады из Ахтырского и Белорусского полков. Веселый хмель победы кружил ему голову, как и прочим русским офицерам и генералам.

Однако к хмельной победной радости вскоре начала подмешиваться и горечь. В дружеских застольях с обидою заговорили о том, что царь, восторгаясь иностранцами и рассыпая им неслыханно щедрою рукою милости, с подчеркнутым пренебрежением высказывается о русских, что назначенному им коменданту Парижа французу Рошешуару он предписал следить за поведением русских офицеров... Это было, конечно, прямым оскорблением победителей.

Офицеров и солдат все неодолимее тянуло домой. На Елисейских полях, где расположилась на бивуаках гвардия, усатые гренадеры с просветленной тоской пели неведомо кем сочиненную песню:

Уж ты Париж, ты Париж,
Париж славный городок!
Есть получше Парижочка,
Есть прекрасная Москва:
Москва мостом мощена,
Белым камнем выслана!..

Затосковал и Давыдов. Чтобы отвлечь себя хоть немного от невеселых раздумий, он купил в одной из парижских канцелярских лавок переплетенную в пергамент тетрадь листового формата и занялся

приведением в порядок своих отрывочных партизанских записей, подмоченных дождями и обкуренных дымом походных костров. О начале этой работы он сделал пометку на заглавном листе тетради: «1814 года 16 Апреля, г. Париж».

Наконец, уже порядком истомившись от ожидания, он получил 22 мая полугодичный отпуск и на следующий же день, в самый канун Святой Троицы, выехал из Парижа на Мо, Шато-Тьери, Реймс и далее — на Москву.

Суетную и подбострастную французскую столицу он покидал без сожаления.

Генерал... по ошибке



*Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздымаются плеча других,
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож!..*

Кн. П. А. Вяземский — Денису Давыдову

В Москве Дениса ожидала горестная весть о кончине матушки Елены Евдокимовны.

Едва он, исполненный радостного предвкушения встречи с близкими, переступил порог отчего дома на Пречистенке, как увидел свою сестру Сашеньку в черном платье и траурной вуальке, подколотой к волосам. Вскинув руки, она кинулась к нему навстречу, припала к груди и залилась слезами. Он разом все понял.

— Когда? — глухо спросил Денис.

— Тому более как полугода, — с трудом выдохнула Сашенька, — рядом с батюшкою схоронили.

— Как же так, ни я, ни братья про то не ведали. Почему не известила?

— А как известишь по такой-то войне? Ни о тебе, ни о братьях даже

слухи не доходили. Как отыскать?..

Все заботы и по дому, и по небогатым имениям, как оказалось, легли на плечи Сашеньки. Будучи обликом своим в давыдовскую породу — маленькой, кругленькой, темноволосой, с густыми, будто нарисованными сажей, густыми бровями, она, должно быть, от матушки Елены Евдокимовны унаследовала и серьезность, и обстоятельность, и строгую распорядительность в домашних и хозяйственных делах. По смерти матушки она тут же приструнила почувствовавшую было некую вольготность дворню, дотошно разобралась в расходных книгах, отчетах старост и бурмистров, наследственных бумагах и прочей домашней канцелярии. И дела у нее пошли споро и ладно, как при Елене Евдокимовне.

Глядя с любовью на сестру, Денис невольно подмечал в ней некоторые черты становящейся все приметнее схожести с матушкой: и слова Сашенька в разговоре чуть растягивала, как Елена Евдокимовна, и губы, хотя и не такие тонкие, поджимала на ее же манер...

Первым делом по возвращении Денис объехал Москву, о бедствиях которой при французах он был наслышан немало. Хотелось поглядеть на все своими глазами.

Следы ужасных губительных разрушений и опустошений еще повсюду виднелись, но в то же время древняя столица преображалась и прихорашивалась на глазах. Почти вся она была в строительных лесах.

Поначалу Давыдов побывал на Тверской заставе, где только что была сооружена внушительная деревянная Триумфальная арка для встречи победоносных русских войск, возвращавшихся из Западной Европы. Торжества по сему случаю вскорости ожидались.

Посетил, конечно, Денис и Московский Кремль. Ему вспомнилось, с какой горечью и содроганием душевным читал он попавшийся ему в руки от кого-то из пленных французов очередной Бонапартов «Бюллетень», в котором с циничной хвастливостью провозглашалось об учиненном в Москве варварстве: «Кремль, Арсенал, магазины — все уничтожено; эта древняя цитадель, ровесница началу монархии, этот древний дворец царей, подобно всей Москве, превращены в груды щебня, в грязную отвратительную клоаку, не имеющую ни политического, ни военного значения».

Однако Кремль вопреки Наполеоновым замыслам стоял на месте. Стоял грозный и черный, закопченный отбушевавшим вокруг неистовым пожаром. Здесь тоже вовсю велись восстановительные работы.

Первому из друзей, кому нанес Давыдов визит по прибытии, был

молодой князь Петр Андреевич Вяземский, встретивший его с распростертыми объятиями. Еще снежною зимою 1810/11 года во время приезда Дениса в отпуск они сошлись с ним как-то особенно близко и сердечно, несмотря на разницу в возрасте в восемь лет. Для Вяземского, только еще пробующего силы в стихотворчестве, Денис Давыдов с громкою славой его политических сатир и звонких зачашных гусарских песен, конечно, был признанным авторитетом. Сближению их во многом способствовала обоюдная приязнь к Борису Четвертинскому. После того как Петр Андреевич, ставший по смерти своего отца наследником обширнейшего богатства, женился на розоволицой, маленькой и пухленькой княжне Вере Федоровне Гагариной, а Борис, оставивший военную службу и переехавший в Москву, взял в жены ее сестру Надежду Федоровну, они оказались связанными свойственными узами. Знакомство с новым родственником князя Четвертинского, подкрепленное общими литературными интересами и взаимными симпатиями, легко и естественно переросло в добрую дружбу.

Денису Давыдову хорошо помнилось, как тою же довоенною зимою в московском доме Вяземского собирался их сам собою сложившийся литературный кружок, который они гордо именовали «дружескою артелью». В веселых, блестящих остроумием застольях взлетали к потолку пробки Клико и Ай, звучали стихи, шутки, лихие русские и французские каламбуры.

Кроме Вяземского и Давыдова, постоянными участниками этих застолий были Василий Жуковский, редактировавший в эту пору «Вестник Европы» и живший по соседству с Денисом на Пречистенке у своего приятеля Соковнина; только что получивший долгожданную отставку от воинской службы Константин Батюшков, сразу же поспешивший в Москву и остановившийся у своей родственницы Екатерины Федоровны Муравьевой⁴⁰ на Большой Никитской; известный поэт и остролов Василий Львович Пушкин и не менее по-своему известный в Первопрестольной граф Федор Толстой по прозвищу Американец, отчаянный гуляка, картежник, дуэлянт, а заодно и сочинитель острых и не всегда пристойных стихотворных пародий и эпиграмм.

— Ну как наша «дружеская агтель»? — первым делом после объятий и обоюдных радостных восклицаний спросил Денис. — Готова ли к новому сбору?

— С твоим приездом, дорогой Денис Васильевич, глядишь, и сызнова оживится, — улыбнулся, посверкивая своими маленькими в золоченой оправе очками, отвечивший Вяземский. — Правда, по летней поре члены

ее покуда в разброде. Жуковский сидит в Муратове, где сладко вздыхает по предмету своих вождлений Маше Протасовой да пишет скучные стихотворные послания друзьям. Американец обирает карточные салоны Петербурга и дерет охтинских купцов за бороды в тамошних трактирах, вскорости обещался быть. Батюшков не знаю и где, давно его не видывал. Один Василий Львович Пушкин здесь, в Москве, поскольку деревни не любит, да и ближних поездок — тоже, ему бы уж коли ехать, то всенепременно либо в Лондон, либо в Париж...

Давыдов рассмеялся, вспомнив веселую сатиру, сочиненную старым московским поэтом Иваном Ивановичем Дмитриевым, в которой с игривой легкостью и живою шуткой высмеивался младенческий восторг Василия Львовича по поводу его поездки за границу, где он будто бы даже был представлен Наполеону.

— Ну ладно, о приятелях наших потом потолкуем, — сказал Давыдов, перестроившись на более серьезный лад, но все еще не в силах погасить на лице своем добродушной улыбки. — Прежде расскажи-ка, Петр Андреевич, как ты сам жил-поживал в сие беспокойное время. Я слышал, что ты тоже к пламени войны самолично прикоснулся. Так ли?

— По примеру Жуковского и Карамзина я также записался в московское ополчение. Но моя карьера военная на Бородинском сражении и окончилась...

— Ну что же, Петр Андреевич, пороку ты, стало быть, понюхал, — улыбнулся Давыдов. — Это, я полагаю, любому человеку ко благу, а пишущему — и тем паче.

— Тогда от тебя, Денис Васильевич, прошедшего столько кампаний, мы вправе ожидать многих творений во славу оружия русского, — живо откликнулся Вяземский. — Уж тебе тут, как говорится, все карты в руки. Я о твоих подвигах во время Отечественной войны и не спрашиваю, о них, слава богу, наслышана вся Россия.

— Кто его знает, — раздумчиво произнес Денис, — может быть, сейчас и возьмусь за перо. А на войне-то руки все иным были заняты... Однако же теперь мир, а в мире, как Жуковский говорит, я — «счастливый певец вина, любви и славы». Мне и впрямь от баталий отдохновения хочется, а ежели петь, то опять же, по веселой натуре моей, в первую очередь — любовь и вино!..

— Ничего тебя переменить не может! — засмеялся Вяземский. — Вот уж воистину ты — российский Анакреон⁴¹ под гусарским дуломаном!..

Через день князь Петр Андреевич завез Денису Давыдову на Пречистенку в подарок только что написанные свои стихи «К партизану-

поэту», которые так и начинались:

Анакреон под дуломаном,
Поэт, рубака, весельчак!
Ты с лирой, саблей иль стаканом
Равно не попадешь впросак.

Носи любви и Марсу дани!
Со славой крепок твой союз,
В день брани — ты любитель брани!
В день мира — ты любитель муз!..

Не говоря в ответ ни слова, он обнял и расцеловал зардевшегося и тоже довольного, в свою очередь, автора дружеского послания. При этом долгоязого и юношески тонкого Вяземского ему пришлось основательно пригнуть к себе.

В московском доме на Пречистенке Денис отсыпался за всю кампанию.

Пробуждаясь где-то после полудня, он давал себе еще некоторую поблажку не подниматься и не вскакивать разом, а еще немного полежать и понежиться в чистоте и покое, не размыкая век, ловя такие близкие, присущие лишь родному дому и звуки и запахи.

В это утро, однако, Давыдову пришлось проснуться рано оттого, что кто-то топтался у его двери, покашливал и чего-то невразумительное бубнил под нос. «Должно быть, Андрюшка, чтоб ему неладно было», — подумал Денис и, приподнявшись, крикнул:

— Ну входи! Все равно разбудил. Что там у тебя?

Андрюшка, щеголявший в подаренном барином кавказском чекмене, просунулся в дверь:

— Деша, Денис Васильич, казенная! Преважная из себя, должно быть, сургучами вон как проштемпелевана. Не иначе как приказ какой! — рассудительно изрек он.

— А ну давай, живо! — вскинулся Давыдов.

Казенная бумага, судя по пакету с датой отправления и многочисленными пометками и адресами, среди которых значился и Париж, бродила за Давыдовым по военному театру и прочим его маршрутам более года. Она оказалась уведомлением управляющего

военным министерством князя Горчакова от 31 мая 1813 года за № 3.386, в котором сообщалось, что дело о числившемся на покойном отце его, Давыдове Василии Денисовиче, с 1798 года, со времени его командования Полтавским легкоконным полком, взыскании окончено и что от общей суммы взыскания в размере 22 247 рублей и 19 копеек, по всеподданнейшему ходатайству у Его Императорского Величества, Давыдов Денис Васильевич, как наследник имущества своего отца, освобожден, причем снято запрещение и с его имени. Свое ходатайство перед государем князь Горчаков мотивировал усердною службой Давыдова, его мужеством и храбростью, которыми он отмечался в делах с неприятелем в продолжение всей кампании.

Наскоро одевшись, Денис прошел к Сашеньке и показал ей уведомление военного ведомства. Та, прочитав казенную бумагу с орлами и печатями, только и молвила:

— Ну, слава богу! Радость-то какая! — И расплакалась. — У меня этот долг как камень на душе лежал. Теперь же эти деньги тебе, Денис, ох как кстати будут! Они ведь с лихвою и мужеством и храбростью твоей, как в бумаге сей сказано, окуплены...

Денис обнял сестру и поцеловал ее в мокрые от слез глаза.

— Полно, полно, — сказал он, — тебе для хозяйства да будущего приданого эти деньги куда нужнее. А мне и жалованья царского предостаточно.

— Да не все же тебе с вострой саблею миловаться да с ветром обниматься, — чуточку нараспев, как когда-то матушка, произнесла Саша. — Вон уже тридцатый год тебе доходит. Чай, уж не молоденький. И о женитьбе подумать надо. Теперь самое время. И невесты по Москве ныне в большом выборе. Ужели еще никакая не глянулась?

— Нет покуда! — Денис покрутил свой лихой чернокудрявый ус и постучал себя ладонью по груди. — В этом деле я кремень, бастион неприступный!

— Ой, не зарекайся.

Денис, конечно, даже не предполагал, насколько быстро усмешливые слова сестры окажутся пророческими.

Буквально дня через два после этого разговора на него грозовою тучей налетел черный, взлохмаченный и шумный граф Федор Толстой по прозвищу Американец.

Граф Федор Толстой был фигуροю по-своему уникальной и широко известной в обеих столицах. Каких страстей про него только не рассказывали!.. Толковали, что он в юности служил в Преображенском

полку, потом участвовал с Крузенштерном в кругосветном плавании и за серьезные провинности против нравственности высажен был с корабля на Алеутских островах, откуда попал в заокеанские русские колонии, за что и получил прозвание Американца. А сколько разного рода буянств, скандальных попоек, кровавых дуэлей и карточных махинаций было на его счету — и не перечесать!.. При всем этом про него говорили, что он обладает чрезмерной начитанностью и образованностью, философским складом ума, склонностью к стихотворству и великой нежностью к друзьям, ради которых всегда готов снять с себя последнюю рубаху.

Американец подхватил, закружил и увлек с собою Дениса Давыдова, как вихрь. Противостоять его грозно-ликующему, шумному напору было просто невозможно.

После двух или трех развеселых и громких ночных бдений с шампанским, с цыганами, с лихими тройками, стрельбою, шутейным перевешиванием вывесок на Тверской и прочими утехами, в которых Федор Толстой не знал удержу, Давыдов робко запросился к отдохновению.

— Все, баста! — неожиданно легко согласился Американец. — Погуляли для начала, и хватит! Теперь из эдакого бедлама я тебя напрямик к искусству повезу, тонкому и воздушному, дабы душа твоя воспарила от грехопадения до куц райских. Едем-ка в Кунцево к Майкову, у него там такие российские Терпсихоры — пальчики оближешь...

Так они оказались на знаменитой загородной даче директора Императорских театров Аполлона Александровича Майкова, знатока и ценителя изящных искусств и любителя повеселиться в кругу друзей и многочисленных знакомых. При даче во внушительной бревенчатой зале был оборудован домашний театр со сценой, занавесом и рядами кресел. Здесь для званных гостей и приятелей радушный Аполлон Александрович устраивал водевильные и балетные представления, в которых наряду с известными уже артистами неперенное участие принимали и воспитанницы Московского театрального училища.

В одну из них, тоненькую танцовщицу с дымчатыми волосами, убранными белыми речными лилиями, Давыдов влюбился, как говорится, с лету, едва завидел ее на сцене. Глаза его возгорелись пламенем, и он спросил шепотом у вальяжно сидящего рядом Американца:

— Кто такая?

— Танечка Иванова, восходящая звезда балета, — прогудел ему на ухо Толстой, — предмет моей нежности и поклонения, — и, почувствовав, как Денис твердо сжал его руку, тут же успокоительно добавил: — Не тревожься, чувства мои истинно платонического свойства, люблюсь ею, как

видением ангельским.

— А представить ей меня можешь?

— Само собою, они меня, пташечки, все любят за доброту и щедрость. Вблизи Танечка Иванова оказалась еще грациозней и прелестней.

— Познакомься, душа моя, — ласково пророкотал ей Американец, приведший Дениса после спектакля за кулисы, — представляю тебе душевно: Давыдов, генерал, гусар, поэт и партизан. А пуще прочего — мой друг!

— Тот самый? — воскликнула юная танцовщица.

— Тот, тот, о подвигах которого молва идет всесущая, — с улыбкою подтвердил граф Федор.

Из-под густых темных ресниц с живостью и интересом глянули на Дениса такие ясные, чистые и глубокие глаза какого-то невиданного им до сей поры зеленого озерного оттенка с золотыми искорками внутри, что голова его закружилась от нахлынувших на него разом счастья, радости, сладостного предчувствия и томительной тревоги.

Так в жизнь Давыдова вошла еще одна безудержная и пылкая любовь.

Вместе с этою любовью теплою властною волной подхлынуло к его сердцу и вдохновение. Давно писавший стихи лишь урывками, он вновь почувствовал к ним неведомую тягу. Ту страсть, которую Денис испытывал к почти недоступной Танечке Ивановой, видимо, можно было выразить лишь в возвышенных и элегических строках, полных восторга и упоения ее юной красою и в то же время чуточку грустного осознания своей едва ли не полной незащитности перед строгой и покоряющей властью ее обаяния:

Возьмите мечь — я недостоин брани!
Сорвите лавр с чела — он страстью помрачен!
О боги Пафоса, окуйте мощны длани
И робким пленником в постыдный риньте плен!
Я — ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговор,
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!..

Славный боевой генерал был влюблен, как мальчик. Ни о чем другом он не мог даже и помышлять. Граф Федор Толстой в сердцах махнул на него рукою:

— Ты для приятельства, как я полагаю, теперь человек пропащий! Дня

без своей воздыхательницы прожить не можешь. Черт меня дернул в Кунцево тебя свезти. Вот и погубил доброго человека!.. Мир праху!..

Давыдов же теперь действительно был готов и дневать и ночевать возле угрюмого серого дома, похожего на казарму, где жили воспитанницы театрального училища. Содержали их там в великой строгости. Смотрителем и хранителем юных дарований значился старый, уволенный от сцены актер Украсов, целый век игравший на сцене злодеев и потому, должно быть, всею сутью давно вжившийся в свое амплуа и озлобившийся противу всего белого свету. Это был суций цербер и обликом, и характером, сговориться с которым не удавалось ни добром, ни строгостью. Денис и увещевал его, и вожделенно хрустел перед его сизым носом крупною ассигнацией, все было понапрасну...

Теперь ничего не оставалось, как встречать Танюшу среди прочих воспитанниц у глухого подъезда, куда с грохотом подкатывал тяжелый фургон, крашенный в зеленый «государев» цвет, возивший юных танцовщиц на репетиции и обратно. Здесь надо было уловить момент, чтобы успеть сказать своей разлюбезной несколько ласковых слов, передать в подарок какую-нибудь драгоценную безделушку либо исполненное любви и нежности письмо.

Одержимый своею страстью, Денис даже не заметил, как завершилось скорое московское лето, а следом и осень, и запуржила ранняя в этом году зима. На ветру и морозе Денис все так же стыл по ночам в щеголеватом и легоньком кавалерийском плаще под тусклым масляным фонарем на полосатом заиндевавшем столбе, вглядывался в слабо мерцающие окна и с неистовым громокипящим гневом клял окаянную мрачно-неприступную казарму, где томила в заточении его красавица. Это и выражалось потом в жгучих, яростных, ниспровергающих все препоны стихах:

...Увижу ли тебя, услышу ль голос твой?
И долго ль в мрачности ночной
Мне с думой горестной, с душой осиротелой
Бродить вокруг обители твоей,
Угадывать окно, где ты томишься в ней,
Меж тем как снежный вихрь крутит среди полей
И свищет резкий ветер в власах оледенелых!

Этими стихами Денис Давыдов еще раз доказывал, что и под гусарским доломаном с генеральскими эполетами он, по словам князя

Вяземского, оставался российским Анакреоном — певцом любви и пиров. Впрочем, в эту пору отступили в сторону даже пиры. Все заслонила любовь.

Однако нежданно-негаданно вдруг напомнил о себе и гусарский доломан, то бишь армейская служба.

В конце 1814 года за несколько дней до рождества из военного ведомства Давыдову был прислан приказ, которым объявлялось, что чин генерал-майора он «получил по ошибке», вследствие чего он снова переименовывается в полковники.

Это был тяжелый и тупой удар, будто обухом по голове.

Денис, сколь ни силился, ничего не мог понять. О какой ошибке может идти речь? К генеральскому чину его представили за жесточайшее сражение при Ла-Ротьере, которое разыгрывалось на глазах командующего Силезской армией. Заслуги Давыдова в этом деле были хорошо ведомы начальству. И представление подписывал самолично прусский генерал Блюхер, перед которым Александр I всегда благоволил и ходатайства его всегда удовлетворял с охотой, без проволочек.

Глухая, мертвящая тоска подавляла и волю и разум. Давыдов невольно глянул на боевые свои пистолеты, висящие на ковре у изголовья. А может быть, и вправду взвести курок и разом поставить точку этой нестерпимомучительной обиде, этой новой вопиющей несправедливости, пережить которую казалось невозможным?

И тут же явилась здравая мысль: а что он этим докажет? И кому? Ему представились скривившиеся в презрительной улыбке губы государя и желчная усмешка барона Винценгероде...

Нет, пистолетный выстрел не выход. Однако как же далее жить? Как показаться на глаза друзьям и знакомым? Что, наконец, сказать по сему случаю Танюше Ивановой?..

— Что будет, то будет; а то будет, что бог даст, — повторил он вслух для себя свое любимое присловие гетмана Хмельницкого, которое не раз выручало его в трудные минуты.

День или два, он даже не помнил точно, поскольку время для него будто бы вдруг потеряло свое течение, он не показывался из дому.

Из томительного полубытья Дениса вывели неожиданно ввалившиеся к нему с топотом и шумом князь Вяземский с графом Толстым, должно быть, прямиком с улицы, не скинув даже завьюженных шуб и меховых шапок.

— Вот он сидит сиротою казанскою, — загремел Американец, —

ажник весь прокоптел от дыму! А про то, что у него друзья есть, уже и не вспоминает.

О несчастье, постигшем Давыдова, они уже знали от кого-то из знакомых офицеров. Приказ о производстве его в генералы... по ошибке уже, оказалось, объявлен по армии.

— Так какая же ошибка могла приключиться, Денис Васильевич? — снимая запотевшие с холоду очки, мягко спросил Вяземский.

— Ума не приложу! — чистосердечно воскликнул Денис. — Чин генеральский я не на паркетe получил, а в сражении, из коего, скажу честно, и живым выйти не чаял. Ужели что-нибудь штабные в бумагах напутали?

— Пренебреженно! — гневно подхватил, в свою очередь, Толстой. — Свины! Подлецы! Канцелярские души! Знать бы достоверно, кто в сей ошибке повинен, я бы его тотчас за шиворот приволок к барьеру! Да влепил бы пулю в лоб его чугунный. Дабы другим бумагомаракам неповадно было! А ты же, — обратился он к Денису, — особливо-то и не убивайся из-за свистунов да дураков. Да и печалиться-то что? Эка невидаль — чин с него сняли. Меня дважды в рядовые разжаловали, а я звания свои сызнова возвращал! И ничего! А ты генеральские эполеты на полковничьи меняешь. Ну что из того? Разберутся небось в бумажной карусели да все сызнова на место поставят. У нас эдакое в обычаях... Человек у нас в Отечестве, прости господи, ничего не стоит!

— Верно, верно Федор Иванович толкует, — согласно кивнул Вяземский. — Ныне более ценится не сердце, отваги исполненное, не голова, разумом просветленная, а шея, которая сгибается пониже перед властью имущими... Ты же, всем известно, на барскую половину с поклоном хаживать не любишь. А что касается чина твоего, то врагов земли русской ты бил не по чину, не по нему же и друзьям своим мил!..

А потом был уютный и сердечный вечер у Вяземских. Кроме хозяев, в их розовой гостиной собрались за круглым обеденным столом чета милых Четвертинских, граф Федор Толстой и, как всегда напoмаженный, румяный и добрый Василий Львович Пушкин, беспрестанно сыплющий французскими остротами и каламбурами. Чуть позже прочих подъехал отставной министр и поэт Иван Иванович Дмитриев, только недавно оставивший государственную службу и поселившийся в Москве, почтенный, беловолосый, в мундирном фраке при двух звездах, с узким вольтеровским ртом и маленькими живыми глазками, от которых лучами расходились улыбчивые морщины.

После обеда князь Вяземский поднялся из-за стола и вынес из своего

кабинета несколько исписанных листов.

— Вот, Денис Васильевич, тебе сюрприз, — сказал он с оттенком торжественности в голосе, — думаю, что чувства, выраженные в сем дружеском послании, не только мои, но и всех сидящих за этим столом, а также тех, близких тебе людей, кого нынче здесь по воле различных обстоятельств не оказалось...

Петр Андреевич чуть приоткинул голову и начал читать, почти не заглядывая в текст, который он держал перед собою:

Давыдов, баловень счастливый
Не той волшебницы слепой,
И благосклонной, и спесивой,
Вертящей мир своей клюкой,
Пред коею народ трусливый
Поник просительной главой, —
Но музы острой и шутливой
И Марса, ярого в боях...

Тут Вяземский сделал малую паузу. Тишина в обеденной зале была полная, лишь слышно было, как осыпается по оконным стеклам сухой, смороженный снежок да потрескивают дрова в беломраморном камине. Поэт блеснул золочеными очками и простер руку к Давыдову, сидящему рядом в непривычном для него и окружавших статском платье.

Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздываются плеча других;
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож!
Иной, бесстрашный в ратном поле,
Застенчив при дверях вельмож;
Другой, застенчивый средь боя,
С неколебимостью героя
Вельможей осаждают дверь!
Но не тужи о том теперь!

Когда стихи были дочитаны, растроганный Давыдов с повлажневшими глазами поднялся и сказал чуть дрогнувшим голосом:

— Покойный князь Багратион не раз мне говаривал, что в мире есть нечто, пребывающее превыше и званий и наград, разумея под этим человеческое достоинство. К сим справедливым словам незабвенного Петра Ивановича могу добавить то, в чем в тягостные часы мои я убедился самолично: превыше всех чинов и регалий навсегда пребудет к тому же и истинное дружество. И в том вы меня уверили, друзья мои!..

Поначалу Денис намеревался незамедлительно отправиться в армию и там начать хлопоты по справедливому решению явно кем-то преднамеренно запутанного и затемненного дела с его производством в генералы. Однако те же его добрые друзья посоветовали повременить.

Продлив отпуск, Денис оставался в Москве, Истинною поддержкой и опорой ему в это нелегкое время по-прежнему были друзья. Особенно шумный и неугомонный граф Федор Толстой. Князь Петр Андреевич, несмотря на то, что тянулся к Давыдову всею душою, оставался связанным домашними, семейными узами. Холостой же Американец был свободен, как ветер, и потому буквально дневал и ночевал вместе с Денисом. Ради него он, казалось, даже позабыл на время и карты, и свои дуэльные истории. Его внимание и забота были воистину трогательными. То он заявится в давыдовский дом на Пречистенке с огромным, только что присланным ему каким-то приятелем из Германии страсбургский пирогом, то завлечет Дениса к себе и неожиданно явит взору одетую в платье мифической хариты премилую актрису-певунью, то повезет его в Немецкую слободу на таинственную проповедь какого-то заезжего мистика-спиритиста...

С глубокой признательностью к нему Давыдов и написал стихотворное послание, адресованное Федору Толстому и озаглавленное «Другу-повесе».

С Танюшей Ивановой отношения у Давыдова в эту пору проистекали весьма сложно. С нею он почти не виделся. Играть перед юною танцовщицей роль развенчанного героя ему представлялось мучительным, а искать слова в свое оправдание и в осуждение какого-то неведомого недоброжелателя — тем более... Она же, в свою очередь, предполагала внезапное охлаждение с его стороны и объясняла это каким-либо новым увлечением лихого гусара. Видимо, в пику ему, как сказывали, Танюша начала выказывать явную благосклонность хлыщеватому балетмейстеру-поляку Адаму Глушковскому, давно за ней увивавшемуся. В результате страдали оба — и Денис, и Татьяна, и выхода из этого двойственного

состояния покуда не виделось.

Меж тем наступила весна, которая принесла неожиданное известие, разом всполошившее обе русские столицы.

Из немецких газет «Гамбургский курьер» и «Устья Эльбы», опережавших по европейским сообщениям отечественную прессу, стало вдруг ведомо о событии чрезвычайном: Наполеон покинул остров Эльба, куда его было упрятали главы союзной коалиции, с отрядом в 900 человек высадился на берегу Франции в бухте Жуан, двинулся к Греноблю и, присоединив к себе высланные против него правительственные войска, победоносным маршем вошел в Париж. Народ повсюду приветствовал его как избавителя от ненавистных Бурбонов. Незадачливый Людовик XVIII со всей своей королевскою семьею бежал в Бельгию. Переворот будто бы произошел без вооруженной борьбы.

Едва Давыдов узнал эту новость от расторопного и осведомленного более всех прочих друзей и знакомых Американца, как тут же понял, что она означает новую войну.

Наскоро собравшись и облачившись в свой старый полковничий мундир, Давыдов, распрощавшись с друзьями и близкими и оставив Танюше Ивановой пылкое, но сумбурное послание, помчался на почтовых в сторону западной границы. Он для начала стремился поскорее прибыть в свой родной Ахтырский гусарский полк, находящийся в составе оккупационных войск в Пруссии, а там, как говорится, время покажет.

В дороге у Дениса, однако, случилось непредвиденное осложнение. Приехав в Варшаву, где находилась штаб-квартира великого князя Константина Павловича, он, зная, что миновать ее никак невозможно, направился туда, чтобы сделать обычную отметку в своих проездных документах и следовать затем далее. Здесь же бумаги его лощеные свитские молодцы неожиданно изъяли под предлогом того, будто цесаревичу вышло повеление государя непременно задерживать следующих из отпусков офицеров и решать их судьбу самолично.

Давыдову оставалось лишь ждать. Но дни шли за днями, а дело его никак не решалось. Он, разумеется, осаждал канцелярию великого князя, просил, увещевал, требовал ордера на скорейший отъезд к полку, но ему неизменно отвечали, что его высочеству покуда недосуг заняться бумагами полковника Давыдова. И без того уязвленный Денис не сдержался и в горячах рассорился с дежурным офицером, разговаривавшим с ним с непомерным высокомерием и наглостью, осыпал его дерзостями, а заодно помянул недобрым словом и всю их штаб-квартиру. О происшествии доложили, должно быть, великому князю, сгустив к тому же краски.

Во всяком случае, когда Денис наконец пробился к Константину Павловичу, тот в полной мере явил ему свой взбалмошный и неудержимо-гневный нрав. Никаких просьб о возвращении его в полк он даже не стал слушать. Выкатив глаза и брызгая слюною, его высочество визгливо кричал о том, что некоторые штаб-офицеры за минувшую кампанию совсем распустились, ударившись в партизанство, и совсем забыли, что в армии существует порядок и высшее начальство. Дабы сызнова приучить их к дисциплине и чинопочитанию, теперь надобно сих господ командиров самих нещадно гонять на плацу, как желторотых кадетов, до той поры, куда они не позабудут свои вольные и дерзкие замашки.

Великий князь продолжал еще что-то подобное выкрикивать. А Давыдов смотрел в его покрасневшее от натуги и злости курносое личико и невольно ловил себя на мысли, что глаза Константина Павловича, остекленевшие, неподвижные, будто залитые тускло-серым свинцом, до удивления напоминают ему пустой и угрожающий взгляд отставного актера Украсова, целившего в него однажды из старого мушкета сквозь железные прутья при входе в мрачную казарму для театральных воспитанниц.

Дело обернулось куда как скверно. Великий князь оставил Давыдова в Варшаве на неопределенное время. Правда, до обучения шагистике и воинским артикулам боевого заслуженного офицера он не опустил, но строго предписал ему присутствовать на всех вахтпарадах, смотрах и прочих экзерцициях, проводимых им на Марсовом поле польской столицы либо на ее Саксонской площади.

Давыдову скрепя сердце пришлось подчиниться. Здесь, в Варшаве, ему выпало вдосталь наглядеться на все кичливое высокомерие и необузданное самоуправство императорского брата, оравшего на полковых командиров при выстроенных войсках:

— Vous n'etes que des cochons et des miserables, c'est une vraie calamite que de vous avoir sous mon commandement!⁴²

Нагляделся он и на прусские порядки, насаждаемые цесаревичем в подчиненных ему частях, и на под стать своему повелителю его ревностных подручных, среди которых особо выделялся хитрый и корыстный гнилозубый грек генерал-адъютант Курута, на плацу не сводящий восторженного взора с великого князя, а по вечерам взимавший с полковых офицеров взятки в виде крупных карточных проигрышей.

Обо всем этом и о многом другом, чему он окажется невольным, а вернее, подневольным свидетелем, Денис Давыдов расскажет потом с желчью, гневом и разящей иронией в своем очерке «Воспоминание о цесаревиче Константине Павловиче», который в России и в то время и

позже, конечно, опубликовать было немыслимо. Впервые этот очерк, как и некоторые другие крамольные сочинения поэта-партизана под заглавием «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России ценсурой не пропущенные» издаст в Лондоне и Брюсселе в 1863 году известный политический эмигрант князь Петр Долгоруков...

Газеты приносили в Варшаву тревожные вести о грозных приготовлениях Наполеона. Передовые корпуса русской армии были уже в походе. Из Петербурга снова, как сказывали, в направлении Вильны выступила гвардия. Через польскую столицу продолжали ехать к своим полкам отпускные офицеры. А Давыдов должен был по-прежнему торчать на смотрах и вахтпарадах упрямого цесаревича.

Денис буквально был в отчаянии. Тяжкое положение его усугублялось еще и тем, что, считаясь в отпуску, он никакого жалованья не получал. Немногие деньги, взятые с собою из Москвы, были уже на исходе, а прояснения с его отъездом никакого не было.

За Давыдова было попытался вступить оказавшийся в Варшаве проездом его давний товарищ, бывший кавалергард, а ныне полковник и флигель-адъютант Павел Киселев, отправленный с каким-то поручением из Петербурга к Барклаю-де-Толли, не столь давно получившему чин фельдмаршала. Но и он не смог поспособствовать, цесаревич в отношении Давыдова продолжал упрямяться. Тогда тот же Киселев подсказал Денису мысль обратиться за содействием к их общему приятелю Арсению Андреевичу Закревскому, которого будто бы уже назначили дежурным генералом главного штаба.

Отношения с Закревским у Давыдова были самые добрые. После знакомства на финской почтовой станции Сибо они неоднократно встречались и во время шведской кампании, и в пору ведения военных действий на Дунае, где Арсений Андреевич продолжал исполнять должность адъютанта при молодом графе Каменском. После же смерти командующего он оказался на какое-то время не у дел, и Денис сам его рекомендовал Ермолову, который и сделал Закревского правителем военной канцелярии Барклая-де-Толли. Теперь же Давыдову приходилось уповать на помощь старого друга.

Закревский откликнулся коротким дружеским посланием, в котором обещал похлопотать за Дениса.

Зная казенную волокиту, Давыдов умолял друга ускорить дело. Через неделю он пишет ему новое письмо, в котором выражает уверенность, что Закревский вызволит его наконец «из этого, проклятого омута». Тут же он сетует и на вопиющую несправедливость, учиненную с его производством

в генералы: «...Сверх особых притеснений, не знаю, что я: полковник ли или генерал? Пора решить меня или уже вовсе вытолкнуть со службы...»

В этот же пакет, посланный Закревскому, Давыдов вложил и свое письмо, написанное по-французски, адресованное Александру I, в надежде, что Арсений Андреевич найдет способ вручить его находящемуся при армии государю.

Обращение к монарху было сдержанным и исполненным достоинства. Теперь надобно было снова набираться терпения и ждать.

Сидя в наскучившей ему Варшаве, Денис Давыдов понемногу втягивался и в литературную работу: он продолжал приводить в порядок свои партизанские записи и пробовал вновь писать удалые стихи, все еще надеясь снова схватиться в горячем бою с прежним неприятелем.

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!..

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!..

А меж тем прогремело Ватерлоо. Бесславно для Наполеона окончились сто дней его нового правления. Союзные войска вновь заняли Париж. А вторично низвергнутого французского императора на английском военном корвете отправили в его последнее заточение на далекий островок Святой Елены, затерянный где-то в знойном мареве Атлантики.

А Давыдов еще оставался в варшавской вотчине великого князя Константина и ожидал решения своей участи.

Вспоминал он, конечно, с теплом сердечным Москву, друзей, вспоминал и Танюшу Иванову, к которой испытывал самые нежные чувства и которую до сей поры не мог ни с кем и сравнить. «Что делает божество мое? Все ли она так хороша? — спрашивал он Вяземского. — Богом тебе клянусь, что по сию пору влюблен в нее, как дурак. Сколько здесь красивых женщин; ей-ей, ни одна сравниться не может».

На что аккуратный князь Петр Андреевич отвечал, что пленительница его пребывает в добром здравии, все так же блистает

грацией и красотой, но в слишком уж опасной близости от нее настойчиво кружится балетмейстер Адам Глушковский, и будто бы уже поговаривают, что и воздушная российская Терпсихора не прочь поменять свою слишком уж простую отечественную фамилию на более благозвучную польскую...

На это Давыдов грозился, что, приехав в первопрестольную, «опутает усами ноги Глушковского и уничтожит все его покушения». Однако шутки шутками, а на душе у Дениса было отнюдь не весело.

Впрочем, наконец-то пришло благоприятное известие от Закревского. Он сообщил, что врученное им государю Денисово письмо возымело действие: дело о производстве в генералы разобрали, и оказалось, что при подготовке и рассмотрении наградных реляций будто бы Дениса спутали с его двоюродным братом Александром Львовичем, повышения которого в следующий чин Александр I почему-то не желал. Путаница такая, отмечал Закревский, вполне могла произойти по чьему-то небрежению либо умыслу, тем более что в армии в эту пору находится шесть Давыдовых, командующих различными частями. Во всяком случае, писал он, царь свою ошибку соизволил исправить, и Денису Давыдову вновь возвращаются генеральские эполеты...

Через какое-то время в Варшаву прибыло и официальное уведомление военного ведомства, подтвердившее, что за отличие в сражении при Ларотьере полковник Давыдов только что жалован рескриптом Его Императорского Величества в генерал-майоры. О прежнем его производстве и разжаловании даже не упоминалось. Одновременно прибыло и новое назначение: состоять при начальнике 1-й драгунской дивизии, располагавшейся покуда в Бресте, куда и следовало ему теперь отбыть.

Денис читал полученные бумаги, конечно, и с великой радостью, и с глубокой болью. Несправедливость, случившаяся по пустому поводу, лишь по прихоти царя, была, слава богу, восстановлена. Но сколько нервов, крови и здоровья стоила Денису Давыдову эта высочайшая ошибка!..

Потаенный огонь



Я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою, приступом — много стоит, смотри Францию. Но рано или поздно поведем осаду и возьмем с осадю... войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева...

Д. Давыдов — П. Киселеву

Как прирожденный гусар, Денис Давыдов всегда относился к драгунам несколько свысока, почитая их не истинною конницей, а пехотой, посаженной на лошадей.

Поэтому, получив новое назначение, которое нужно ему было более для того, чтобы выбраться из-под великокняжеской тягостной опеки, он, прибыв к 1-й драгунской дивизии, тут же начал хлопоты о своем переводе. Командовать тяжеловесными, неповоротливыми драгунами, умеющими лишь кое-как обходиться с конями и привыкшими более действовать в спешенном строю, было для Давыдова сущим наказанием.

На первом же полевом учении, когда Денис потребовал от своих подчиненных исполнения не ахти уж какого сложного кавалерийского аллюра, два эскадрона по нерасторопности и замешательству помяли друг друга, а третий и того хуже: не сообразуясь с местностью, врезался в

заснеженный овраг, побив и покалечив несколько лошадей...

— Ну что ж, ребята, — сказал в сердцах после этого Давыдов, — вы, знать, только что и можете, как шагом езживать. Давайте уж так и будем!..

Любезный Арсений Андреевич обещался поискать для Дениса иную, более подходящую должность. Однако свободных вакансий покуда не находилось.

В драгунской дивизии Давыдову было скучно, и он, конечно, искал любого повода из нее удалиться, хотя бы на время. В самом начале января 1816 года выпала возможность поехать для закупки лошадей в Киев на контракты, как издавна называлась проводимая там ежегодно большая зимняя ярмарка, на которую съезжалось по обыкновению чуть ли не пол-России.

Кроме изобильной торговли, киевские контракты громко славились своими увеселеньями, всевозможными зрелищами, потехами и балаганами, театральными представлениями, на которые с охотой езживали и столичные сценические знаменитости, и, конечно, крупною карточного игрою, где проигрывались целые состояния.

Отправляясь в Киев, Давыдов знал, что там он наверняка повидается со многими друзьями и знакомыми. А уж про родственников и говорить нечего: и Раевские и Давыдовы по зимней поре непременно должны быть в городе, слава богу, у обоих семейств там свои собственные дома. Нигде, как в Киеве, должна находиться и любвеобильная Аглая Антоновна, при воспоминании о которой у Дениса сладко заныло сердце...

Однако в давыдовском киевском доме оказалось на удивление тихо. Здесь из большого семейства был покуда один двоюродный брат Василий, почти все свое время проводящий в кабинете, сплошь заваленном книгами.

— Чего ты в одиночестве да скуке пребываешь? В Киеве контракты, веселье, многолюдство, в ресторациях дым коромыслом, а он дома сидит. Виданное ли дело!.. А прочие домашние где?

Василий рассказал, что Аглая Антоновна с братом Александром и двумя дочерьми с осени в Петербурге, матушка Екатерина Николаевна в Москве, у своих друзей и приятелей, обещала прибыть к открытию контрактов, стало быть, вот-вот должна приехать и не иначе как с многочисленными гостями; сестра Софья Львовна тоже собиралась побывать с детьми на киевских увеселениях, значит, и ее ждать надобно. Так что тишина в доме временная.

— Михайла Орлов здесь? — спросил Денис.

— Здесь, у Раевских, да и ко мне частенько наведывается.

— Так чего же мы, милый Базиль, время ведем? Облачайся-ка в свой

мундир — и туда!..

С Михаилом Орловым Давыдову хотелось повидаться особенно. От князя Вяземского он уже был наслышан о том, что в прошлом году блестящий генерал, обласканный государем за подписание капитуляции Парижа, совершил проступок, крайне обескураживший и озадачивший высшее столичное общество: он составил петицию об уничтожении крепостного права, собрал под нею подписи и самолично вручил царю. Александр I своему недавнему любимцу, принимавшему капитуляцию Парижа, откровенного неудовольствия не выказал, однако Орлов, которому все прочили завидную карьеру и восхождение к правительственным сферам, вскорости был из Петербурга удален с назначением начальником штаба в корпус Раевского.

Первым, кого увидел Денис, войдя с братцем Базилем в дом Раевских на Александровской улице, как раз и оказался Михаил Орлов, стоявший и беседовавший с каким-то незнакомым долговязым седоватым генералом при входе в залу, где гремела музыка и, должно быть, веселилась молодежь. Был он все такой же прямой, строгий, подтянутый, в парадном мундире с флигель-адъютантскими знаками, все то же красивое, молодцеватое лицо, со скобочкою коротких русых усов и легкими бакенбардами, оттеняющими щеки. Лишь, пожалуй, заметнее обозначилась ранняя залысина надо лбом, прикрытым с боков летучими, будто взметенными ветром волосами.

— Денис Васильевич, друг сердечный! — воскликнул он, завидев Давыдова, и с улыбкою, еще более красившей его мужественные черты, шагнул к нему навстречу. — Рад душевно видеть тебя в здравии и вновь в генеральских эполетах, из-за коих, как я слышал, ты немало незаслуженных обид натерпелся... — И тут же представил стоящего рядом генерала: — Дивизионный командир нашего корпуса Антон Казимирович Злотницкий. Кстати, с генералом здесь на празднике премилая дочь его Лизонька, украшение всего здешнего общества, она в этой зале порхает в котильоне, я тебя непременно познакомлю. А вы, Антон Казимирович, — обратился с усмешкою Орлов к своему прежнему собеседнику, — теперь с нее глаза своего отеческого не спускайте, видите, какой хват гусар к нам прибыл да к тому же — поэт!

Раскланявшись с ним, друзья поспешили уединиться в курительную комнату, чтобы подымить трубками и спокойно поговорить.

— Как же ты не убоился, Михаил Федорович, петицию свою столь смелую государю вручить? — спросил Денис, едва они уселись рядышком в креслах.

— Мысль о том, что рабство есть позор всесветный отечества нашего

и главный тормоз на пути государства к благоденствию и процветанию, многими умами овладела после сей великой войны, и надобно было это показать российскому монарху. Кто-то же должен был сие исполнить. И я посчитал долгом своим вступить за поселянина русского, который не щадил живота своего в борьбе с врагами родины, а ныне продолжает пребывать в прежнем своем унижительнейшем состоянии... Впрочем, царю нашему до народа русского дела нет, он более озабочен европейскою внешностью. И тому примеры многие явлены и являются. В каком виде ныне пребывает Бородино твоё? Был ли ты там после сражения? — неожиданно спросил Орлов.

— В прошлом году из Москвы туда весною ранней наезжал. Картина меня удручила до крайности. Все вокруг ещё порушено, покорежено да пожжено. Поселяне в землянках ютятся, в коих гнилая вода стоит. А на полях мужики лишь пули да ядра покуда выпаживают. Помог им, чем мог, только горести их едва ли поубавилось. Я сам в средствах весьма стесненных, ты же знаешь...

— А от казны твои мужики вспомоществование получали?

— Какое вспомоществование? Бог с тобою, о чем ты говоришь...

— Ну так вот, — хмуро продолжал Орлов, — про Бородино, место бессмертной славы оружия нашего, царь забыл. А жителям Ватерлоо, пострадавшим от последней баталии с Наполеоном, приказал выдать два миллиона русских денег! Вот тебе и весь сказ про его заботность...

— Стало быть, уверенность в том, что государь, вняв гласу просвещенных своих подданных, склонится к освобождению крестьян, невелика? — раздумчиво спросил Давыдов. — А что, ежели и вообще не склонится?

— Тогда долг наш — перейти к более решительным мерам, — отвечал Орлов с твердостью в голосе. — С этой целью я намереваюсь вместе с близкими мне друзьями по духу и помыслам создать «Орден русских рыцарей», готовых и жизнь свою, и имущество, и славу положить на алтарь бескорыстного служения отечеству. Многого по сему поводу говорить не буду. Ежели интерес имеешь, могу тебе дать прочесть наш орденский устав, писанный небезызвестным тебе Дмитриевым-Мамоновым. — Орлов вынул из-за обшлага мундира несколько тщательно сложенных и, видимо, упрятанных там от посторонних глаз листов. — Здесь отражены и мои чаяния. Погляди на досуге, а потом снова потолкуем.

В танцевальной зале, куда они вошли, только что отзвучал вальс. Бравые молодые кавалеры, среди которых были в основном корпусные офицеры, проводили своих юных раскрасневшихся партнерш к креслам.

Здесь рядом с высокой, темноволосой строгой и гордой своею двоюродной племянницей Екатериной Раевской Денис и увидел впервые порывистое, улыбчивое и румяное создание с премилою ямочкой на подбородке. Возбужденная головокружительным танцем, с пылающими щеками, в розовом шелковом платье с переливами, со светло-золотыми волосами, лежащими у точеной шеи крупными завитками и пронизанными под высоким и чистым лбом тоненькою розоватою ниточкой жемчуга, — была она чудо как хороша!

— Вот привел вам, милые дамы, только что прибывшего нашего славного героя, поэта и партизана Дениса Васильевича Давыдова! — более, конечно, не для Екатерины Николаевны, а для ее подруги с торжественностью в голосе объявил Орлов. — Любите и жалуйте! В мазурке он столь же лих, как и на поле брани.

— Лиза Злотницкая, — мягко сказала Денису соседка племянницы, подавая ему с легким поклоном свою прелестную руку для поцелуя. Давыдов с горячим почтением припал к ее запястью, щекоча его пышными черно-кудрявыми усами. Он покуда не мог даже предположить, что это знакомство сыграет весьма роковую роль в его беспокойной судьбе.

Давно отшумели киевские контракты.

Давно разъехалась гостевавшая здесь многочисленная столичная и провинциальная публика, отправился восвояси, подсчитывая немалые барыши, и торговый люд.

На ярмарочной опустевшей площади на Подоле разгуливал волглый поземистый ветер с Днепра, шелестел соломой, осыпанными бумажными цветами и конфетными обертками да погромыхивал заледелеными размалеванными фанерными щитами, давшими кое-где уже изрядные мутноватые потеки.

А Денис Давыдов все еще оставался в Киеве, не на шутку увлеченный Лизой Злотницкой. В дивизию ему пришлось отправить ходатайство об отпуске, которое начальство хотя и без особого энтузиазма, но все же уважило. О своей московской Терпсихоре он теперь почти не вспоминал, тем более что брат Левушка известил его из первопрестольной о только что состоявшемся замужестве Танюши Ивановой, которая ныне, как и следовало ожидать, носила фамилию Глушковской...

Намеревавшийся из Киева по завершении контрактов махнуть в Москву, о чем Давыдов даже писал Вяземскому, он туда так и не собрался.

Здесь же все полнее и чувствами и мыслями его завладевала золотоволосая и улыбчивая Лиза. Видясь с нею поначалу у Раевских,

Давыдов вскоре стал бывать и в их доме.

— А что, — с добродушною улыбкою сказал ему как-то старший двоюродной брат Николай Николаевич Раевский, — партия для тебя, Денис, я думаю, подходящая. Семья почтенная, генерал Злотницкий своим благородством весьма известен. Большого приданого за Лизою он, конечно, дать не в силах, но на сей случай можно будет исхлопотать у государя казенную аренду.

Давыдов и вправду начал всерьез задумываться о женитьбе.

С большим вниманием и интересом прочел он, конечно, и орденский устав, данный ему Михаилом Орловым.

Программа сообщества «русских рыцарей» предусматривала, по сути дела, новое государственное устройство России. Во многом оно покуда мыслилось на английский манер. Самодержавная власть государя ограничивалась сенатом, составленным из наследственных «пэров, магнатов или вельмож государства», представителей дворянства и представителей народа. Без согласия сената царь лишался права издавать новые и отменять старые законы, объявлять войну и заключать мир, по своей прихоти вводить налоги, награждать подданных орденами и званиями. Особым требованием уничтожались все привилегии иностранцев, живущих в России, и резко ограничивалась их возможность хитростью и интригами влиять на русские державные дела.

Были в уставе положения о полном упразднении в империи рабства, об установлении вольного книгопечатания. Наряду с политическими переменами проявлялась забота о развитии экономики, финансов, торговли, транспорта. Для этого предлагались конкретные меры для препятствия английскому торговому влиянию в Средиземноморье, расширению русских коммерческих связей с Китаем и Японией. Отдельным пунктом предусматривалось соединение Волги и Дона судоходным каналом.

— Ну как тебе показались предначертания «русского рыцарства»? — спросил Дениса при следующей встрече Михаил Орлов.

— Они, без сомнения, прекрасны, — ответил Давыдов, возвращая ему мелко исписанные уставные листы, — я готов разделить их всею душою. Другой разговор, насколько они исполнимы? Не суть ли это романтические сказки в духе нашего милого Жуковского? Слишком фантастическими видятся мне покуда многие ваши благие прожекты. Не лучше ли ставить пред собою задачи пусть меньшие, но посильные к свершению?

— Нет, — резко не согласился Орлов, — чем грандиознее замысел, тем вдохновительнее он для души. Нужно только уверовать в него со всею убежденностью и гражданскою страстью. Тогда и силы умножатся. Ты же

еще глубокою верою не проникся, да тебе, как я вижу, и не до того, — ухмыльнулся Михаил Федорович, — ты более любовью к Лизоньке одержим, а для нашего дела требуется холодный рассудок и отрешимость аскета. Впрочем, бог с тобою, вправе ли я винить тебя за это?

— Ладно, ладно, — примирительно сказал Давыдов, — любовь, полагаю, любому доброму делу не помеха. Пусть я в вожди движения вашего не гожусь, но в качестве простого гусара вы на меня всегда можете рассчитывать.

— Спасибо тебе и на том, друг мой сердечный, — внезапно дрогнувшим голосом ответил Орлов.

Эти разговоры с Михаилом Федоровичем, без сомнения, заставляли Давыдова о многом задуматься, на многое вокруг себя взглянуть иными глазами.

Раннею весною Денису переслали в Киев из дивизии поступившее туда уведомление военного ведомства, которым ему определялось новое место службы. В соответствии с прибывшим назначением он теперь должен был состоять при начальнике 2-й конно-егерской дивизии, располагавшейся в Орловской губернии, недалеко от его родового имения Денисовки, что находилось в Ливенском уезде со всеми своими 124 ревизскими душами.

По всему было видно, что новое назначение явилось следствием все тех же хлопот душевного друга Арсения Андреевича Закревского. Однако, прочитав ведомственную казенную бумагу, Денис несколько на этот раз не возрадовался. Принять конно-егерскую бригаду означало для него непременно сбрить лихие усы, разрешенные в эту пору, как известно, лишь в легкой летучей кавалерии. Расставаться со своей привычной «красой природы, чернобурой, в завитках», которую он гордо пронес сквозь огонь великой войны, было и обидно и жалко. Да к тому же и Лиза неоднократно хвалила его усы. Так что расстаться с ними он положительно никак не мог.

Так, безо всяких околичностей и написал милейшему Закревскому, мотивируя свой отказ от командования конно-егерской бригадой. Тот, в свою очередь, должно быть, улучил момент доброго расположения государя и полусхотливо поведал ему о необычайной преданности генерала Давыдова своим гусарским усам. Царю этот анекдот, видимо, понравился, и он распорядился «оставить гусара гусаром». В мае этого же года вышел приказ о назначении Дениса Давыдова состоять при начальнике хорошо ему знакомой 2-й гусарской дивизии, которой он в свое время даже командовал в жарких кавалерийских делах на подступах к Парижу.

За этой радостью вскоре последовала и другая: из Москвы с оказией

ему был переслан сестрою Сашенькой объемистый пакет из Общества любителей российской словесности, учрежденного при Московском университете, на звание действительного члена. В пакете он нашел диплом с тиснением и золотым обрезом на свое имя и брошюру с уставом общества.

Авторское самолюбие Дениса Давыдова было тем самым, конечно, польщено. Он не утерпел, показал свой тисненый диплом Лизе и удостоен был и восторженного восклицания, и нежного взгляда, и ласкового поцелуя.

— Ах, милый Денис Васильевич, — вздохнула тут же она, — а когда вы меня почтите своими стихами? Покуда в журнале «Амфион»⁴³ я читаю элегические строки о предмете прежнего вашего пылкого увлечения... Или нежные чувства ко мне, о коих вы твердите, не вдохновляют вашей музыки? — и обидчиво надула губки. — Впрочем, ежели в мою честь вы все же задумаете подняться на Парнас, то идите не прежнюю амурной дорогой, а проторите для меня новую тропинку...

Неожиданно явилось вдохновение и тот горячий творческий азарт, с которым он писал до сей поры лучшие свои стихи. Одна за другою в его тетради появляются элегии, где голос его обретает и новую звучность, и новую силу:

О, мой милый друг! С тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать...

Эти элегии с благодарственным письмом он отправит в Москву в Общество любителей российской словесности для издаваемого им литературного альманаха, в котором они и будут вскорости напечатаны.

Здесь же, в Киеве, Давыдов получил новое большое стихотворное послание Вяземского, в котором тот сетовал, что Денис, мол, совсем отбился от своих друзей и сколько уж времени не кажет своих очей и усов в московском приятельском кругу.

...Иль дружба, может быть, в отставке,
Отбитая сестрой своей,
Сидит печально на прилавке
У непризнательных дверей.
И для отсутственных друзей
Помина нет в походной ставке
Непостоянных усачей?..

Побывать в Москве, повидаться с друзьями и близкими Давыдову, конечно, несказанно хотелось, однако дорога туда покуда не выпадала. На днях он сделал Лизе предложение, которое она приняла с благосклонностью. Теперь нужно было устраивать и служебные, и будущие семейные дела.

Следуя совету Николая Николаевича Раевского, Давыдов написал прошение на имя государя о предоставлении ему в связи с предстоящею женитьбою казенной аренды. Хоть и не хотелось с подобною просьбой обращаться к монарху, но делать было нечего, пришлось пересилить себя.

Письмо царю он отослал князю Петру Михайловичу Волконскому, моля его посодействовать со своей стороны в этом деле. К хлопотам по аренде попросил к тому же подключиться добрых приятелей своих (Арсения Закревское) и Павла Киселева, а заодно и братца своего двоюродного Алексея Петровича Ермолова, недавно получившего, как сказывали, начальство над Отдельным грузинским корпусом и одновременно полномочия чрезвычайного посла в Персии и собиравшегося отбыть на юг, к новому месту службы.

Кстати, в обществе и в офицерских кругах это назначение расценивали не иначе как удаление из Петербурга популярного в войсках генерала, открыто и смело критиковавшего правительственные порядки, а нередко задевавшего своим острым словом и самого царя. Такую крупную фигуру, как Ермолов, которого многие называли «сфинксом новейших времен», Александру I, видимо, было выгодно держать от себя подальше. Облаченный высокими государственными полномочиями, он отсылался на Кавказ, который почитался в эту пору «теплой Сибирью...».

Препоручив хлопоты об аренде своим друзьям, Давыдов, распрощавшись с Лизой, отправился ко 2-й гусарской дивизии, располагавшейся в это время в районе Вильны. Начинались летние маневры, и дальнейшее его отсутствие могло вызвать нарекания командования.

Служебные дела закрутили Дениса в своей каждодневной карусели. После кавалерийских маневров, выявивших многие недостатки в полках бригады, пришлось взяться за их устранение. Обнаружилась и великая путаница в канцелярских отчетах, в которой тоже надобно было разобраться, дабы не повесить себе на шею, как когда-то батюшка Василий Денисович, чужие финансовые грехи. Потом стало известно, что дивизию будто бы намеревается самолично смотреть граф Аракчеев, которого в армии теперь называли не иначе как «графом Огорчеевым». К его приезду готовились, пожалуй, ревнительнее, чем к высочайшему смотру, однако всесильный временщик почему-то так и не изволил пожаловать...

В этих заботах Давыдов даже не заметил, как промелькнуло пыльное знойное лето и наступила осень.

Где-то в первых числах октября пришло наконец известие о его прошении об аренде. В письме из главного штаба значилось:

«Милостивый государь мой, Денис Васильевич!

Извещаю ваше превосходительство, что я докладывал государю императору о пожаловании вам аренды и его величество соизволил отозваться, что она вам назначена будет по событию ваших предположений, об окончании коих прошу меня уведомить.

Генерал-адъютант князь Волконский».

Прочитав это витиеватое послание, Денис сразу понял, что принявшее благоприятный оборот дело об аренде вряд ли двинулось вперед лишь заботами мягкотелого и нерешительного князя Петра Михайловича, которого за исключительную робость перед царем Ермолов частенько называл «бабою» и «генералом женского рода», тут уж наверняка поспособствовали и настоятельные хлопоты друзей.

Теперь надо было ехать в Петербург, оформлять арендные бумаги и, по всей вероятности, лично благодарить государя в соответствии с принятым обычаем за оказанную милость.

Впрочем, служебные заботы задержали Давыдова при штабе дивизии еще на какое-то время, и в северную столицу он смог отправиться лишь по зимнему санному пути в начале декабря.

Остановился Денис на этот раз в гостинице Демута на набережной Мойки, почти у самого Невского. Построенная голландским негодциантом Филиппом Якобом Демуттом еще в 1770 году, она была одною из самых известных в Петербурге, и величали ее обычно попросту — «Демутов

трактир».

Прежде всего, конечно, навестил Павла Киселева, Арсения Закревского, засвидетельствовал свое глубокое почтение Петру Михайловичу Волконскому.

Из литературных друзей прежде других он побывал у Жуковского. Василий Андреевич еще в прошлом году под влиянием успеха «Певца во стане русских воинов» был приглашен ко двору в качестве чтеца императрицы Марии Федоровны. Теперь он жил при дворце в казенной шикарной квартире с сияющими наборными паркетами, с дорогими мебелью, отделанными золоченою бронзой, с уставленными в углах беломраморными изваяниями античных героев и бюстами французских просветителей.

Жуковский, искренне обрадовавшись встрече, тут же повлек его на собрание литературного общества «Арзамас», коего он был вдохновителем, создателем и активнейшим деятелем. Веселое дружеское сообщество это, объединившее сторонников карамзинского направления в литературе, было организовано еще осенью 1815 года в пику напыщенной и чопорной «Беседе любителей русского слова», возглавляемой бывшим государственным секретарем и вице-адмиралом Александром Семеновичем Шишковым, признанным автором многих государевых манифестов.

«Беседа», — говорили арзамасцы, — сотворена на то, чтобы твердить и писать глупости, «Арзамас» на то, чтобы над нею смеяться».

Если облаченные высокими званиями российских академиков члены «Беседы» являлись на свои торжественные заседания в парадных мундирах, лентах и орденах, то собрания «Арзамаса» скорее напоминали шумные и занимательные дружеские застолья с остроумными шутками, переодеваниями, иносказательными рифмованными протоколами и прочими милыми чудачествами, «Это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями, — писал об этом сообществе Вяземский. — Далее, это была школа взаимного литературного обучения, литературного товарищества».

— Ты у нас истинный «гусь»⁴⁴, — с улыбкою сказал Давыдову Жуковский. — Мы тебя заочно давно в свое арзамасское дружество приняли. И даже прозвище за тобою утвердили — «Армянин» — взятое, как и все прочие, из моих баллад. И Вяземский у нас в членах с прозвищем «Асмодей», а Пушкин Василий Львович даже старостою объявлен с наречением весьма грозным именем «Вот я вас!..». Москва у нас, как видишь, на первых ролях... Кстати, еще про одного юного московского жителя, а ныне затворника Царского Села, племянника Василия Львовича

Сашу Пушкина небось слышал?

— А как же! — подтвердил Денис. — И дядюшка им восторгается, и князь Петр Андреевич хвалит, и Батюшков в восхищении. Все толкуют про способности его к стихотворству необычайные.

— Я был у него в Лицее. Скажу тебе более — из него чудотворец глагола русского грядет. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Кстати, спрашивал я его, кто ему среди нынешних стихотворцев к сердцу ближе, так он в числе первых твое имя назвал, Денис Васильевич. Впрочем, даст бог, еще сам с ним познакомишься, на рождество он непременно должен быть в Петербурге, ежели на праздник к отцу его отпустят, то и у меня объявится...

Заседание «Арзамаса» от души потешило и повеселило Дениса. Члены сообщества приняли его в свое лоно с распростертыми объятиями. На него, как на вновь прибывшего, был тут же напялен красный фригийский колпак. От Давыдова потребовали стихотворного взноса. Он прочел эпиграмму на состоявшего на русской службе генерала Бетанкура, известного тем, что национальность его никто не мог с точностью определить:

А кто он? — Француз, германец,
Франт, философ, скряга, мот,
То блудлив, как ярый кот,
То труслив, как робкий заяц;
То является токим
Чувством жалостно-унылым,
То бароном легкокрылым,
То маркизом пудовым.

Потом, как водится, с притворно-серьезными лицами отпевали литературных «покойников» «Беседы», читали собственные стихи и переводы, остряли, буффонили, писали шуточные коллективные послания славным «арзамасцам» Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину в Москву...

Было, конечно, и дружеское веселое пиршество с непременно жареным гусем и искристым шампанским.

Покидая шумное и остроумное арзамасское сборище, Давыдов с невольным сожалением думал о том, как ему не хватает подобных

дружеских общений!..

Так заботившие Дениса арендные дела ему (конечно, не без помощи Жуковского!) удалось уладить на удивление скоро. Все требуемые бумаги были подготовлены без особых проволочек, и государь наконец подписал рескрипт о предоставлении генералу Давыдову казенной аренды в 6 тысяч рублей годовых.

Вслед за тем, так же без особых осложнений (должно быть, и здесь сказалось замолвленное за него слово все того же чуткого Василия Андреевича), Денису удалось попасть на прием к царю. Давыдов почтительно поблагодарил монарха за оказанную милость.

26 декабря, в первый день рождественского поста, Давыдов зашел к Жуковскому, чтобы попрощаться с ним перед отъездом в Москву, и застал у него тонкого смугловатого и курчавого мальчика с необычайно живым и выразительным лицом и ясными голубыми глазами.

— Знакомься, любезный Денис Васильевич, сын Сергея Львовича Пушкина — Александр, о коем мы с тобою толковали, — с доброй улыбкой сказал Жуковский. — Нашему дружеству гусиному служит своею юною лирой прилежно, хотя до сей поры из-за учебы лицейской в него не принят. Однако творения свои подписывает не иначе как «арзамасец». Прошу любить и жаловать!

— Да я его уже и без того и по твоим рассказам, и по стихам, читанным Василием Львовичем, люблю! — воскликнул Денис, с искренней радостью шагнув навстречу юноше.

— А я вас и того ранее, — с жаром ответил Пушкин, с порывистою непосредственностью сжимая обеими ладонями его руку. — Подвиги ваши партизанские у меня в сердце, равно как и неподражаемые басни, и песни гусарские.

— Верно, верно, — подтвердил Жуковский, — ты у него, Денис Васильевич, в героях значишься. Мне даже сдается, что в своей недавней философической оде он не иначе как твои знаменитые усы воспеть изволил... Прочти-ка нам эти строки, Александр, сделай милость.

Щеки Пушкина вспыхнули румянцем смущения. Однако он чуть откинул свою кудрявую голову и начал читать. Голос его, вначале глуховатый от волнения, набирал звонкую вдохновенную силу:

...За уши ус твой закрученный,
Вином и ромом окропленный,
Гордится юной красотой,
Не знает бритвы; выписною

Он вечно лоснится сурьюмою,
Расправлен гребнем и рукой...

На долгих ужинах веселых,
В кругу гусаров поседелых
И черноусых удалцов,
Веселый гость, любовник пылкий,
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавиц и усов.

Сраженья страшный час настанет,
В ряды ядро со треском грянет;
А ты, над ухарским седлом,
Рассудка, памяти не тратишь:
Сперва кудрявый ус ухватишь,
А саблю верную потом...

— Я же и говорю, не иначе твой живой портрет, Денис Васильевич, не так ли? — широко улыбнулся Жуковский, когда Пушкин дочитал свою оду.

Растроганный Давыдов молча прижал к своей щеке кудрявую голову юного поэта...

Упаковав купленные заранее свадебные подарки, Денис на следующий день по вновь установившемуся после оттепели морозу помчался в Москву, а оттуда, не мешкая, спешно выехал в Киев, куда и прибыл 3 января 1817 года.

И здесь судьба совершенно неожиданно вновь обрушила на него свою тяжелую размашистую длань. Все его хлопоты, волнения и радостные ожидания, связанные с предстоящей женитьбой, вдруг в одночасье смешались, спутались и рухнули куда-то в разверзшуюся и пугающую холодную пустоту бездну души.

За несколько месяцев, в течение которых он не видел невесту, все, как оказалось, решительно переменилось. Лиза Злотницкая встретила на одном из домашних вечеров объявившегося в Киеве известного столичного бонвивана, картежника и кутилу князя Петра Голицына, удаленного из гвардии за какие-то скандальные неблагоприятные дела, увлеклась холеным и пустым красавцем и окончательно потеряла голову. О своем женихе генерале Давыдове она и слушать более не хотела. От слова, данного ему, Лиза через отца своего отказалась наотрез, и брачный контракт тем самым

был расстроен полностью.

Давыдов поначалу, как говорится, рвал и метал, порывался даже вызвать своего обидчика на дуэль, а потом поостыл и одумался. При чем здесь был этот хлыщ и мот князь Голицын, ежели сама Лиза оказала ему предпочтение? А она в конце концов вольна решать свою судьбу. И ничего тут не поделаешь.

Давыдов тяжело переживал случившееся. Для него оно усугублялось еще и проклятой казенной арендой, о которой он так настоятельно хлопотал. Теперь волей-неволей выходило, что он ввел в заблуждение своей мнимой женитьбой и искренне помогавших ему друзей, и самого царя.

Как ни горько было, но пришлось писать извинительные письма и прошения об отказе от аренды в связи с расстроившейся свадьбой. Впрочем, надо отдать должное государю, на этот раз он проявил не очень свойственное ему великодушие: явив милость известному поэту и боевому генералу, он не стал его оной лишать — аренда была Давыдову оставлена...

Распростившись с Киевом и со своими неосуществившимися мечтами о женитьбе, Денис отправился к своей дивизии.

Служба ему покуда явно не в радость. Расквартированные по разоренным недавнею войною литовским деревням гусарские полки и эскадроны томятся в скуке и бездействии. В этом же состоянии пребывает и сам Денис. Из старых друзей никого рядом нет, новое приятельство никак не завязывается. Особых достоинств у окружающих его офицеров он, сколь ни оглядывается, обнаружить никак не может.

Лишь в литературной работе находит Давыдов некоторое утешение в это нелегкое для себя время. Его более занимает военно-историческая проза.

В деревенской глухомани Денис Давыдов продолжал приводить в порядок свои партизанские записи, написал военно-теоретическую работу «Взгляд на отдельные действия генерал-адъютанта Чернышова во время кампании 1812, 1813, 1814 годов», начал исторический очерк «Кампания за Рейном»...

Затем его более-менее успокоившееся перо обращается и к стихам. Давыдову хочется продолжать так близкий ему сердцу и снискавший ему широкую славу цикл зачашных гусарских песен. Однако нынешнее молодое гусарство кажется Давыдову куда легковеснее прежнего, обкуренного дымом удачных пиров и жестоких сражений. Не одобряет он пустой болтливости в их среде, повального увлечения юных офицеров

широко распространившимися в армии брошюрками Анри Жомини, бывшего, как известно, до 1813 года наполеоновским генералом, начальником штаба в корпусе Нея, а потом переметнувшегося к русским, сделавшегося военным советником Александра I, и ныне глубокомысленно обучающего своих недавних победителей, как надобно им сражаться в соответствии с новейшей военной наукою...

Все это нашло живое воплощение в «Песне старого гусара», где за внешней разухабистостью и обычной зачашною бравадой скрывалась горьковатая ирония и разочарование:

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?..

А теперь что вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят: умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!⁴⁵

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Еще до того, как «Песня старого гусара» появилась в № 4 «Соревнователя просвещения и благотворения» за 1819 год и тут же была перепечатана в № 8 журнала «Благонамеренный», она широко разошлась в рукописных копиях и списках. И современники восприняли ее отнюдь не как бравый призыв к лихому разгулу и пьянству, они уловили и второй, более тонкий смысл, в ней заключенный, уловили и горькую иронию Дениса Давыдова по поводу того, что за внешним лоском многих армейских офицеров кроется пустота, бездумность и пренебрежение к

традициям...

1817 год не принес особых перемен в судьбе Дениса Давыдова.

Осенью он был в Москве на юбилейных торжествах, посвященных 5-й годовщине победы над Наполеоном в Отечественной войне. Присутствовал на чествовании героев сей славной кампании и праздничном параде в только что отстроенном и поражавшем всех своими размерами и смелостью инженерного решения манеже, или, как его тогда называли, «экзерциргаузе», где свободно маршировал и разворачивался сводный гвардейский полк ветеранов числом почти в 2 тысячи солдат, на груди которых на голубых лентах ордена Андрея Первозванного посверкивали медали с гордою надписью «1812 год».

В числе прочих почетных гостей присутствовал Давыдов и на Воробьевых горах, где при стечении чуть ли не всего населения первопрестольной была произведена торжественная закладка первых камней в основу величественного храма-памятника в честь избавления отечества от вражеского нашествия, строительство которого должно было осуществиться по победившему на конкурсе отечественных и иностранных архитекторов проекту недавнего выпускника петербургской Академии художеств Александра Витберга.

Внимание жителей и гостей столицы привлекало, конечно, и строительство памятника Минину и Пожарскому, которое полным ходом велось на Красной площади. После первого обозрения замечательного монумента работы ваятеля Мартоса Денис Давыдов с мыслью о необходимости столь же достойно увековечить и бессмертную славу Кутузова написал:

Так правосудная Россия награждает!
О зависть, содрогнись, сколь бренен твой оплот!
Пожарский оживает —
Смоленский оживет!

В Москве узнал Давыдов и домашнюю новость. Сестра Сашенька объявила ему, как старшему в семье, о своем намерении выйти вскорости замуж за полковника Иркутского гусарского полка Дмитрия Бегичева, ежели, конечно, Денис не будет на сей счет возражать.

— Ну, бог с тобою, сестра, — отвечивал он, — устраивай свое счастье по своему желанию и выбору. Я тебе помехою не стану. Семейство Бегичевых в Москве известное, почтенное. Я же, в свою очередь, лишь рад

буду, коли в близких родственниках у меня еще один гусар объявится...

Саша настояла, чтобы Денис побывал в доме у ее будущего суженого. Дмитрий Бегичев произвел на Давыдова самое доброе впечатление. Он оказался под стать ему самому, невысоким и пухлощеким, с умными и добрыми глазами, покладистым и веселым. Столь же приятным был в общении и его старший брат Степан, которого Денис несколько знал по Московскому гусарскому полку и по взаимодействию в последнюю кампанию.

В доме жениха этой осенью Саша познакомила брата и со своею новой приятельницею, дочерью покойного генерала Чиркова Софьей. Семейство ее состояло с Бегичевыми то ли в свойстве, то ли в давнем дружестве, во всяком случае, она почиталась у них, как говорится, своею. Знакомству этому Денис особого значения не придал. Девушка как девушка, должно быть, в зрелых уже летах, лицо чистое, миловидное, русые длинные волосы зачесаны гладко, на русский манер, скромна, рассудительна.

— Вот бы какую жену тебе, братец, надобно, — вздохнула Сашенька.

— Да уж больно строга, — улыбнулся Денис, — эдакая под каблук прижмет да и не выпустит...

— Что ты! — воскликнула сестра. — Ты Сонечку совсем не знаешь. Доброты она необычайной. И начитанна, и хозяйство знает. А что до строгих правил, в которых воспитана, так это тебе же и на пользу при твоём-то характере. И то сказать, девушка обстоятельная, не ветреница какая-нибудь киевская...

19 февраля 1818 года Денис Давыдов получил новое назначение — на должность начальника штаба 7-го пехотного корпуса, стоявшего тогда не так далеко от Киева.

Это была хоть какая-то перемена в его скучной и однообразной службе. По соседству с 7-м корпусом располагался 4-й корпус Николая Николаевича Раевского, у которого место начальника штаба продолжал занимать Михаил Орлов. Стало быть, снова можно будет почаще видаться с добрыми его сердцу людьми.

Накануне нового назначения Денис вместе с заехавшим за ним графом Федором Толстым снова побывал на киевских контрактах. Американец приезжал на ярмарку покартежничать да пображничать, Давыдов же большую часть времени проводил у Михаила Орлова в откровенных беседах и спорах, по которым, должно быть, истосковался всею душою.

— Куда ни глянь, — возбужденно говорил, сверкая горячими, чуть навыкате глазами, Михаил Орлов, — всюду разор, бесчестие и

посрамление имени русского. Все общество наше с низов и до верху в брожении и ропоте. Лишь лихоимцам да стяжателям простор и вольность. Прибыльные места бесстыдно продаются по таксе и обложены оброком. Не зря говорят, что в казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, везде, где замешался интерес, кто может, тот грабит, кто не смеет — крадет!.. И могут ли сердца честных людей не пылать возмущением противу сих порядков, охраняемых свыше?

— Да, земля наша раскалена гневом народным, — подтвердил, сведя в раздумье брови, Давыдов, — я уж своими глазами нагляделся и в деревнях литовских, и в своей подмосковной... Это огонь потаенный, навроде болотного пожара, что мне видывать за Нарою довелось. Поначалу он тлеет искрою, зароненной где-то в глубине, силу свою копит. А потом уже непременно и вымахнет. И тогда нет ему удержу, в одном месте примешься гасить, он в другом явится.

— А ежели помочь этому потаенному огню на свет божий пробиться, да разом во многих местах? — испытующе спросил Орлов. — Глядишь, и сгорит в нем вся гниль и нечисть.

— Ладно, Михаила Федорович, огонь, про который мы с тобою толкуем, образ более поэтический, он покуда не что иное, как некая химера. А ты укажи мне живое дело, к общественной пользе устремленное. Я в него скорее поверю. А коли поверю, то и руки к нему приложу.

— Ежели так, то едем, не откладывая, покажу тебе дело, а то ты небось полагаешь, что я лишь на слова и способен...

Орлов повез своего друга в Киевский военно-сиротский дом, и то, что там увидел Денис, его в буквальном смысле поразило и несказанно обрадовало.

В чистых просторных учебных комнатах занимались дети солдат и военных поселян-кантонистов. Все они были одеты в одинаковые курточки военного кроя с блестящими пуговицами. Перед ними лежали раскрытые книги, бумага для письма, а на стенах классных помещений, именуемых ротами, висели аккуратно исполненные таблицы с крылатыми суворовскими изречениями и непривычными для постороннего взора словами: «свобода», «равенство», «конституция», «человеколюбие»... Никаких учителей при воспитанниках не было, старшие старательно втолковывали усвоенные ими самими истины и книжные премудрости младшим. За учебною приглядывали лишь два-три офицера, исполняющие, видимо, роль воспитателей и советчиков.

Орлов тут же при Давыдове проэкзаменовал нескольких воспитанников разных возрастов. Как оказалось, кроме сведений по

военным дисциплинам, они обладали и другими весьма разносторонними познаниями, отвечали четко, сообразительно, с живыми, пытливыми искорками в глазах.

— Вот так-то, — не без гордости сказал Михаил Федорович, когда они с Давыдовым покинули учебные роты, — был приют, богадельня сиротская, а ныне кузница будущих суворовских солдат! Чем не дело?!

— Это дело истинное! — восторженно согласился с ним Денис. — Я уже прикидываю: а что, ежели такие отделения учебные учредить при всех корпусах и дивизиях? Сколько же можно тогда в недалеком будущем иметь просвещенных воинов, готовых к служению отечеству!

— О том и мы с Николаем Николаевичем Раевским помышляем. И метода взаимного обучения, придуманная английским квакером Иосифом Ланкастером и называемая потому ланкастерскою, открывает для сего замысла немалые возможности. К тому же она весьма дешева. А результаты ее ты сам видел. Коли дело тебе кажется стоящим, берись и ты за него.

Давыдов с присущей ему увлеченностью и страстью принялся за изучение практического опыта Киевского военно-сиротского отделения, взятого под свое покровительство штабом 4-го корпуса. Он дотошно вник и в саму систему взаимного обучения, и в деятельность офицеров-воспитателей, внимательно ознакомился с учебными пособиями и наглядными таблицами, обстоятельно разобрался и в денежных средствах, потребных для устройства подобной школы.

Однако на новом месте службы в Умани применить на практике ланкастерскую систему обучения Давыдов не успел. Штаб 7-го корпуса простоял здесь совсем недолго. Едва Денис принял дела, как пришел приказ о перемещении корпусной квартиры в Липовец. А вслед за этим, 19 февраля 1819 года, последовало новое назначение: генерал-майор Давыдов переводился на должность начальника штаба 3-го пехотного корпуса, стоящего близ Херсона. Это отрывало его и от Михаила Орлова, и от любезного Николая Николаевича Раевского, и, конечно, от Каменки...

«Тебя тревожат воспоминания! Но если ты посреди какой бы то ни было столицы вздыхаешь о предметах твоей дружбы, то каково мне будет в Херсоне, где степь да небо?» — сетовал Давыдов в эти дни в письме Вяземскому в Варшаву.

К радости Дениса, в Херсоне оказалось военно-сиротское отделение, подобное киевскому, и он тут же деятельно взялся за его переустройство. Он сам подобрал толковых и разумных офицеров-воспитателей, составил учебные программы, заказал наглядные таблицы. Дело, как говорится, двинулось.

Стараниями и заботами Давыдова Херсонское военно-сиротское отделение стало одним из лучших учебных заведений подобного рода в России. Связь с ним Денис Васильевич не терял и после своего отъезда из города к новому месту службы.

Остается лишь добавить, что организация ланкастерского обучения для простого народа по явным революционным программам будет в недалеком будущем вменена декабристам в непростительно тяжкую вину, и следственная комиссия усмотрит в сих дерзостных начинаниях не меньшую опасность для державных устоев, чем в злоумыслиях против членов императорской фамилии. И к тому у ревностных судей, видимо, будут все основания...

В этот же период произошло в жизни Дениса Давыдова очень важное событие: он женился на Софье Николаевне Чирковой, с которой его познакомила сестра Сашенька в доме у Бегичевых.

Все свершилось как-то само собою. Бывая в Москве короткими наездами и неизменно встречая ее в компании Саши, он, должно быть, присмотрелся к подруге сестры повнимательнее и разглядел в ней привлекательные черты, которых поначалу не приметил. Она начала нравиться ему все больше. Денису казалось, что от Сони исходил теплый дух домовитости и покоя. Приустав от кочевой жизни, он вдруг решил, что ему лучшего и желать нечего. Почувствовав и ее благорасположение, Давыдов открылся в своей привязанности и в ответ услышал хоть и сдержанные, но нежные и искренние слова.

Однако тут возникло непредвиденное препятствие в лице матушки Сони — Елизаветы Петровны Чирковой, урожденной Татищевой. Истинная московская барыня, женщина суровая и властная, державшаяся старинных строгих правил и в этой же строгости воспитавшая обеих дочерей своих, старшая из которых была уже замужем, она поначалу приняла Дениса в собственном доме на Арбате весьма приветливо. Однако вслед за этим ее отношение к нему вдруг резко переменилось. Как оказалось, какие-то «доброжелатели» наплели старой генеральше, как говорится, три короба о беспутстве, пьянстве, якобинстве и прочих пороках ее будущего зятя и в доказательство привели его застольные стихи, которые Елизавете Петровне и впрямь показались противунравственными.

Не известно, чем бы дело и кончилось, если бы в него, к счастью, не вмешался приехавший в Москву старый приятель покойного Сониного отца генерал Алексей Григорьевич Щербатов.

— Побойся бога, матушка, — сказал он в ответ на высказанные вдовой опасения, — генерал Давыдов, сколь я его знаю, человек

достоинств примерных, и воин славный, и поэт знаменитый. Что же касаясь воспеваемых им пороков, то это не более как бравада, в художествах позволительная.

Доброе заступничество генерала Щербатова и решило все дело.

13 апреля 1819 года в Москве состоялась свадьба, в которую опечаленный Денис Давыдов совсем было перестал уже верить.

Штурм или осада?



*Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный снова пламенею
Воспоминаньем прежних дней.*

А. С. Пушкин — Д. В. Давыдову

17 апреля 1819 года в доме известного главара петербургской «золотой молодежи», страстного театрала, переводчика французских комедий и водевилей, любителя музыки и пения, заядлого картежника и крупного богача Никиты Всеволожского на Екатерингофском проспекте вновь широко распахнулись двери «приюта гостеприимного, приюта любви и муз».

В просторной зале, обставленной античными статуями и дорогими китайскими вазами, за круглым столом под висячею лампой с зеленым абажуром, которая почиталась символом света и надежды, вновь заседало учрежденное около месяца назад вольное литературное общество, так и поименованное с общего согласия «Зеленой лампой» и бывшее, по сути дела, побочной управой тайного Союза Благоденствия.

Все присутствующие, занявшие места за столом, имели на головах красные фригийские колпаки, носимые в свое время французскими

якобинцами, а на пальцах — кольца с изображением лампы. Кроме братьев Всеволожских, под зеленым светочем надежды в подобных убранствах заседали Федор Глинка, известный поэт Гнедич, Дельвиг, Яков Толстой, Сергей Трубецкой и прочие.

Секретарствовать и вести протоколы на этот раз было поручено Александру Пушкину, слава которого уже гремела по Петербургу.

Молодой литератор, критик и публицист Александр Улыбышев с пафосом читал свою статью «Разговор Бонапарта и английского путешественника». Пушкин, как и прочие, внимательно слушал все более воодушевляющегося чтеца и по обыкновению своему набрасывал своим быстрым пером на полях протокольных листов, раскинутых перед ним на столе, произвольные рисунки. Несколькими росчерками он изобразил мужское лицо с чертами Никиты Всеволожского. А потом, повинувшись, должно быть, каким-то своим сокровенным мыслям и ассоциациям, принялся столь же стремительно рисовать очень характерный и, видимо, хорошо ему запомнившийся профиль с пухлыми щеками, вызывающе вздернутым маленьким носиком, непокорным завитком волос над крутым упрямым лбом и задиристо торчащими усами. Каждая деталь в отдельности была чуточку утрирована, но, соединенные вместе, они явили портрет, в котором не узнать оригинал было невозможно. Пушкин глянул и сам улыбнулся: ну, конечно, это он, отчаянный весельчак, рубака и поэт, любезный его сердцу Денис Давыдов!

Может быть, слушая Улыбышева, воспроизводившего тяжеловатым, несколько напыщенным слогом беседу Наполеона с английским вояжером, Пушкин представлял своею летучей фантазией встречу Дениса Давыдова с Бонапартом в Тильзите в 1807 году, о которой он слышал от самого поэта-партизана, или он только что узнал от кого-то из общих приятелей о предстоящей либо свершившейся уже большой перемене в жизни отчаянного гусара — его женитьбе — и представил себе своего старшего друга отягощенным и смиренным сладостными узами Гименея... Во всяком случае, помыслы его этим весенним вечером были обращены к Давыдову, которого не было в дружеском кругу, собравшемся под мягкою сенью горящей над столом зеленой лампы...

А Денис Васильевич в эту пору в Москве привыкал к новому, действительно на удивление необычному для себя положению семейного человека. Вместе со своею супругою он по-домашнему принимал гостей, наносил чинные визиты друзьям, окончательно смягчившейся к нему теще и прочей новой и старой родне, разъезжал по модным лавкам и магазинам, до которых жена оказалась великой охотницей, а большею частью же

любовался своею Софьенькой, в которой находил все большую прелесть. Она, как и предрекала когда-то сестра Сашенька, оказалась и славною хозяйкой, и доброй советчицей, и умной собеседницей, с которою говорить можно было о чем угодно.

Ко всему прочему, вместе с женитьбой к Денису Васильевичу, привыкшему всегда довольствоваться малым достатком, неожиданно пришла и внушительная материальная обеспеченность. Покойный Сонин отец генерал Николай Алексеевич Чирков и в армии, а потом и живя в отставке в первопрестольной, слыл несусветным скрягою и скопидомом, долгими годами до самой смерти ходил в потертом, засаленном мундире, однако дочерям своим оставил весьма солидное состояние. Так, за Софьей Николаевной в приданое, кроме значительной денежной суммы и процентных прибыльных бумаг, дано было немалое поместье — Верхняя Маза в Сызранском уезде Симбирской губернии и к нему же второе имение в Бугульминском уезде Оренбургской губернии при 402 крестьянских душах и винокуренном заводе.

Богатство, пришедшее к нему, радовало его лишь тем, что в будущем обещало некую свободу и независимость от превратностей судьбы. И еще тем, что впервые за многие годы он мог тратить на покупку и выпуск книг, бывших, как известно, весьма дорогими, столько, сколько хотел. Уж в этом он, как говорится, наконец отвел душу.

1 июня 1819 года истек срок отпуска, предоставленного Денису Васильевичу по семейным обстоятельствам, и он вместе с молодою своею женою, пожелавшею быть при нем неотлучно, отбыл в Кременчуг к месту службы.

Лето на Украине выдалось жаркое, вспышливое. И не только по причине знойной погоды.

Вскоре после приезда Давыдовых в Кременчуг стало известно о волнениях военных поселян в южных районах. Доведенный до отчаяния жесточайшими условиями и порядками, взбунтовался Чугуевский уланский полк. К нему примкнул тоже определенный на поселение и Таганрогский уланский. Против мятежников были двинуты войска, которыми командовал сам спешно приехавший из Петербурга граф Аракчеев. Его жестокосердием и железной рукою возмущение было подавлено. Свыше двух тысяч восставших оказались арестованными. Началась суровая расправа. Шпицрутены к месту наказания возили возами. Многих осужденных, как сказывали, запарывали насмерть, однако они предпочитали умирать в муках, но не раскаиваться в содеянном и не

просить помилования у взбешенного по сей причине Аракчеева.

Эхо этого события прокатилось по всей России. Правительство опасалось новых волнений в армии. Потому один за другим назначались войсковые смотры, куда требовали высших офицеров из других корпусов. И Аракчеев, и соизволивший прибыть из столицы государь придирчиво оглядывали полки, неизменно находя выправку недостаточно отменного, а дисциплину ослабевшую. Следовали строгие указания, приказы, выговоры, должностные взыскания, горечь которых более высокое начальство, конечно, спешило выместить на остальных подчиненных. Это была суровая проза службы, в которую Давыдову волей-неволей пришлось вновь с головою окунуться. Единственным просветом в сумрачности армейских будней оставалась для него Софья Николаевна.

В квартиру Давыдовых в Кременчуге продолжали поступать книги, выписанные разом более чем на тысячу рублей. Самообразование Денис Васильевич в эту пору почитает, как и его либерально настроенные друзья, будущие декабристы, своею первейшей потребностью. Его внимание привлекают в первую очередь сочинения французских просветителей Мабли, Монтескье, Руссо, Вольтера, экономические работы Адама Смита и Бентама, работы немецкого историка и теоретика права Ансильона, шотландского историка Робертсона.

Те же самые увлечения и у его друга Михаила Орлова.

В творчестве своем Денис Васильевич в это время тоже старается следовать декабристской заповеди, по которой серьезная проза почиталась куда нужнее поэзии. Тот же Михаил Орлов увещевал Вяземского: «Займись прозою, вот чего недостает у нас. Стихов уже довольно». С подобным призывом он обращался и к Давыдову.

Вняв этому совету, Денис Васильевич в Кременчуге продолжал приводить в порядок свой «Дневник партизанских действий» и почти полностью завершил крупную военно-теоретическую работу, первоначально названную им «Опыт о партизанах», где впервые в отечественной военной литературе рассмотрел и исторические и практические аспекты организации и успешного действия во вражеском тылу летучих поисковых партий и их взаимосвязь с вооруженным населением. По сути дела, это была попытка создать своеобразное руководство по ведению в широких масштабах народной войны.

Женитьба отнюдь не отдалила Давыдова от прогрессивно настроенных друзей. Связи с ними, напротив, крепили и упрочивались. Еще будучи в Москве, Денис Васильевич с удовлетворением узнал, что его доброго приятеля флигель-адъютанта Павла Киселева произвели в генерал-майоры

и назначили начальником штаба 2-й армии, которой, как известно, командовал престарелый фельдмаршал Петр Христианович Витгенштейн, давно от служебных дел отстранившийся и большую часть времени преспокойно живший в одном из южных своих имений. Было ясно, что, назначая Киселева на новую, столь важную должность, государь, как всегда, вел лукавую двойную игру: не желая обижать старого фельдмаршала, он вроде бы не удалял его от командования, но тем не менее передавал все практическое руководство армией своему доверенному лицу — молодому свитскому генералу, обладавшему, на его взгляд, и умом, и ревностным отношением к службе, и придворной обходительностью.

Близким же друзьям Павла Дмитриевича Киселева, среди которых на первом месте значились Михаил Орлов и Денис Давыдов, он был известен к тому же своими весьма либеральными воззрениями. Осуждал рабство крестьян, выступал против всевозможных жестокостей и палочной дисциплины, насаждаемых в войсках Аракчеевым; не одобрял военных поселений, склонялся к мысли о необходимости ограничения самодержавного правления. Правда, при этом Киселев отнюдь не являлся сторонником крутых, решительных мер. Перемен в отечестве, по его мнению, следовало добиваться не политическими переворотами, всегда чреватými «пагубной анархией», а постепенным давлением на правительство, более доверяясь нравственности и просветительским идеям.

Впрочем, и во время своих встреч, и в переписке друзей, которая становилась все более оживленною, они горячо спорили на политические темы, опровергая доводы друг друга, выдвигая собственные, казавшиеся им более состоятельными.

Денис Давыдов хорошо знал о существовании тайной политической организации, но попытки Орлова в паре с Дмитриевым-Мамоновым потрясти устои самодержавия ему казались и поспешными и наивными. И свои опасения по этому поводу он откровенно высказывал в письме Павлу Киселеву в Тульчин, где располагался штаб 2-й армии.

«Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу... Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовый долго еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслабься ночью грёзою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом... Но Орлов об осаде и знать не хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия движется, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл (которые вдвоем хотели взять Трои), предприняли приступ».

В то же время Давыдова не устраивала чрезмерная осторожность

Павла Дмитриевича, который слишком веровал в реформы «по манию царя». В том же самом письме Киселеву Денис Васильевич спорил и с ним:

«Опровергая мысль Орлова, я также не совсем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, которые сами собою образуют народ».

По этому поводу Давыдов обменивался мнением с Орловым при их очередной личной встрече, о которой тут же сообщал Киселеву:

«Я ему давал читать твои письма... насчет ожидания законов от самого правительства. Он говорит, что ты похож на гуся Пиго-Лебрена, который топчется в грязи в ожидании благотворного дождя».

Друзья говорили меж собою откровенно, задиристо, прямо. В их оживленной полемике выкристаллизовывались политические убеждения каждого. Все трое сходились на том, что перемены и в государственном устройстве, и в обществе необходимы. Однако пути к достижению этих перемен каждому виделись по-своему. Точка зрения Давыдова на сей счет была вполне определенной: не возражая в принципе против необходимости штурма твердыни самовластья, он искренне полагал, что успех в этом деле может быть достигнут лишь при соблюдении всех правил военного искусства. Если крепость столь крепка и могущественна, для взятия ее нужна заблаговременная терпеливая осада и немалые сплоченные и хорошо подготовленные боевые силы, способные дожидаться своего решительного часа и устремиться по единому знаку с разных сторон на приступ. Тогда твердыня немедленно падет. Предпринимать же атаку с малым, хотя и отчаянным отрядом, не ослабив засевшей в цитадели обороняющейся стороны, слишком рискованно.

Это убеждение Давыдова, по сути своей, несомненно, декабристское, останется твердым и незыблемым, несмотря на многие события и перемены в его отнюдь не безмятежной судьбе. Оно было выстрадано всею его жизнью ж творчеством, беспрестанными столкновениями с царствующими особами, постоянными гоненьями и обхожденьями по службе, умышленною задержкою или лишением чинов и завоеванных кровью наград, распространением про него высочайших нелепых слухов и домыслов⁴⁶. Общение с друзьями и родственниками, среди которых почти все исповедовали вольнолюбивые идеи и были одержимы ненавистью к самодержавию, лишь укрепляли его антиправительственные настроения. Другое дело, что об истинных помыслах Давыдова знали лишь самые близкие и доверенные ему люди, которые, кстати, в свою очередь, стремились всячески оградить его и без того много нашумевшее с молодости имя от излишних подозрений. Да и всем известный его характер, прямой и открытый, отвергающий всякую затаенность и

конспирансьон, как тогда говорили, мало способствовал привлечению Дениса Васильевича в тайное общество. Несколько же обычных верноподданнических фраз, умышленно, для любопытного постороннего глаза оброненных им в отправляемых по почте письмах (подобные фразы были отнюдь не лишними в ту пору, и их немало можно найти и у Пушкина, и у Вяземского, и у Ермолова, и у многих декабристов), послужат составлению о нем превратного мнения не только у тех, чьему вниманию они нарочито предназначались, но и у многих неосведомленных современников, а позднее и у тех не слишком дотошных исследователей, кто обратится к его жизни и творчеству. В соответствии с этим скоропалительным мнением Дениса Васильевича Давыдова станут представлять чуть ли не убежденным монархистом, готовым своею гусарскою саблей встать на защиту государя и существующих самодержавных порядков против тех, кто вынашивал революционные намерения...

Давыдов же всем своим существом, всем сердцем и разумом как на заре декабризма, так и в последующие годы неизменно оставался на стороне тех, кто готовил себя к ниспровержению твердыни самовластья, зловещей «крепости у моря». Единственный вопрос на этот счет, который он ставил перед собою и перед своими ближайшими друзьями и сподвижниками, был сформулирован предельно сжато: штурм или осада? И сам же отвечал на него после глубоких раздумий и дружеских споров: после осады — штурм!..

Чем более приглядывался Денис Васильевич к своей штабной деятельности, тем более уверялся, что она есть не что иное, как пустое времяпрепровождение среди бесконечных и в конечном счете не нужных никому казенных отчетов, предписаний и рапортов. Должность воистину подьяческая, хоть целыми сутками не выпускай из рук пера, конца этому бумаготворчеству нет и, должно быть, не будет.

Все чаще Давыдов задумывался о том, что не худо бы обрести для себя хотя бы относительную свободу.

Оглядываясь вокруг себя, Давыдов по беспокойному и бескомпромиссному свойству души рвался к живому, ощутимо полезному делу и покуда не находил его. Армейские порядки, насаждаемые свыше, как еще раз показали высочайшие смотры, производили на него весьма гнетущее впечатление.

Иную обстановку Денис Васильевич видел пока лишь в Тульчине, в главной квартире Павла Дмитриевича Киселева.

Здесь вокруг либерально настроенного начальника собрались деятельные, высокообразованные и обладающие незаурядными способностями офицеры, среди которых обращали на себя внимание своими познаниями и прочими достоинствами адъютант главнокомандующего большелобый подполковник Пестель, награжденный за сражение при Бородине золотой шпагой с надписью «За храбрость»; старший адъютант Киселева, капитан квартирмейстерской части Иван Григорьевич Бурцов, которого Давыдов несколько знал по Петербургу; волоокий красавец кавалергардский ротмистр Ивашев; сосредоточенный и вдумчивый, недавно прибывший в армию юный прапорщик Николай Басаргин. С ними со всеми Давыдов сошелся на удивление быстро. И откровенные беседы с ними, и оживленные споры были истинною отрадою для его души.

И тем тягостнее было Давыдову возвращаться в Кременчуг, где на него вновь наваливалась унылая сумрачность изрядно опостылевшей казенно-бумажной службы. Близких его убеждениям и интересам людей в 3-м корпусе как-то не находилось.

По зимней поре, незадолго до рождества, Денис Васильевич взял соизволение на двухмесячный отпуск и отбыл с женою в Москву.

— Хорошо бы сюда, Денисушка, более и не возвращаться, — вздохнула Софья Николаевна, с осторожностью усаживаясь в санях и закрываясь меховым пологом. Она была на сносях. Давыдовы ждали своего первенца.

Сразу же по приезде в первопрестольную Денис Васильевич начал прощупывать почву относительно того, чтобы задержаться в Москве подольше. Закревский посоветовал взять заграничный отпуск для лечения. Такие отпуска давались обычно без ограничения срока, и многие военные, не рвавшие к службе, находились в них годами. Это была, по сути дела, неофициальная форма добровольной отставки.

С 17 марта 1820 года подобный «заграничный отпуск» с состоянием по кавалерии оформил и Давыдов. Однако ни в какие дальние края ехать он и не собирался. Супруга его родила чернобровую и курносую дочь Сонечку. Денис Васильевич боготворил ее и жену. Он был счастлив. Уставший от однообразия армейской службы, он упивался семейным покоем, благополучием и простой человеческой радостью.

В начале лета он купил село Приютово в 70 верстах от Москвы, «в местах, — как сам он сообщал друзьям, — прелестных, с домом, садом и со всеми принадлежностями». Теперь о себе он мог говорить своими же элегически-пасторальными стихами:

Погибните навек, мечты предрассудений,
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы и побед!
В уединении спокойный домосед
И мирный семьянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою
Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой
Взмахнуть среди лугов железною косой.

В подчеркнуто безмятежных тонах он описывал свою сельскую жизнь и Арсению Андреевичу Закревскому:

«...Встаю рано, пишу, роюсь в огороде, скачу по полям за зайцами, покоен и счастлив, более нежели ожидал когда-нибудь быть столько счастливым!...»

Версию о своей полной безмятежности и отрыве от тревожных веяний времени Давыдов поддерживал старательно и заботливо. Те, кто его маловато знал, с готовностью в нее верили. В петербургских литературных кружках и салонах толковали о том, что поэт-гусар, женившись, окончательно остепенился и оставил все свои ухарские замашки и благие порывы. Приятель Жуковского и сотоварищ по «Арзамасу» поэт и историк Александр Воейков, которому, кстати, ни Жуковский, ни Денис Давыдов особо не доверяли, прислал даже пространное стихотворное послание, в котором выражал свое недоумение по поводу столь разительных перемен:

Давыдов, витязь и певец
Вина, любви и славы!
Я слышу, что твои совсем
Переменились нравы:
Что ты шампанского не пьешь,
А пьешь простую воду
И что на розовую цепь
Ты променял свободу...

Автора этого послания, будущего редактора «Русского инвалида», Денис Васильевич в его предположениях разуверять не спешил, как и прочих не слишком близких ему приятелей. Пусть полагают, что он действительно ничего, кроме семейного покоя, не жаждет в этой брэнной

жизни.

Однако это была еще одна своеобразная самоохранительная мера, для принятия которой у Давыдова, видимо, были свои соображения и основания. И это подтвердят впоследствии и личные его бумаги, и рукописи, и отрывочные записи этой поры, и переписка, которую он вел отнюдь не по почтовым каналам с теми людьми, которым он верил безраздельно.

Главную заботу его оставалась литературная работа. В Москве к нему вернулась рукопись «Опыты о партизанах», которую он отправлял Жуковскому для прочтения и замечаний. Вдумчивый и усердный Василий Андреевич, горячо одоблив труд Давыдова, испестрил, однако, многие листы своими пометками, сделанными красными чернилами. Внимательно вчитавшись в них, Денис Васильевич убедился, что они в большинстве своем точны и справедливы, и с душевной благодарностью к Жуковскому засел за исправление отмеченных им мест. Одна переделка, как водится, влекла за собою другую, и в результате пришлось заново переписать и переписать всю рукопись.

С головою занятый переработкой и подготовкою к печати «Опыта о партизанах», Денис Васильевич оставался по-прежнему хорошо осведомленным в том, что происходит у его друзей на юге. Он знал о всех повышениях и перемещениях знакомых офицеров в штабе Киселева. Оттуда к нему в Москву с каким-то важным поручением еще по весне приезжал один из адъютантов Павла Дмитриевича, член Союза Благоденствия прапорщик Николай Басаргин. У него, кстати, возникла нужда, связанная, должно быть, с деятельностью все того же тайного общества, срочно оформить перевод в 1-ю армию, и Давыдов, конечно, деятельно помогал ему в этом. 10 июня 1820 года Денис Васильевич писал по этому случаю Закревскому:

«Нельзя ли перевести квартирмейстерской части прапорщика Басаргина, находящегося при Главной квартире 2-й армии, во 2-й корпус 1-й армии? Большую бы ты милость сделал».

Впоследствии в своих показаниях суровой Следственной комиссии декабрист Николай Басаргин ни словом не обмолвился о своих деловых и дружеских связях с поэтом-партизаном. Точно так же упорно и бережно оставят его имя в тени и прочие ближайшие друзья, арестованные по делу 14 декабря...

Разумеется, сразу же узнал Давыдов и о новом назначении душевного приятеля своего Орлова на должность командира расположенной в Кишиневе 16-й пехотной дивизии. Подобного назначения непосредственно

в войска, что тоже было установкою Союза Благоденствия, Михаил Федорович давно добивался.

Немедленно извещен был Давыдов и о том, что в Кишиневе, где размещалась главная квартира 16-й дивизии, объявился их общий с Орловым юный друг Александр Пушкин, высланный сюда за противоправительственные стихи из Петербурга. Теперь добрые арзамасские приятели «Рейн» и «Сверчок» в кругу еще нескольких доверенных офицеров проводили время в беседах и спорах о литературе, политике и прочих волнующих их вещах.

Сразу же неведомым образом легли на стол Дениса Васильевича и копии приказов Михаила Орлова по своей 16-й дивизии, о которых с невероятной быстротою начали распространяться слухи по всей армии. Эти приказы, обращенные в одинаковой мере и к офицерам, и к нижним чинам, дышали истинным порывом человеколюбия, справедливости, патриотизма и демократичности. Среди начальственной жестокости и тупости, процветающей в войсках, они звучали чуть ли не революционными прокламациями:

«Я прошу господ полковых командиров и всех честных начальников вспомнить, что солдаты такие же люди, как и мы, что они могут чувствовать и думать, имеют добродетели, им свойственные, и что можно их подвигнуть ко всему великому и славному без палок и побоев. Пускай виновные будут преданы справедливому взысканию законов, но те, кои воздерживаются от пороков, заслуживают все наше уважение. Им честь и слава, они достойные сыны России, на них опирается вся надежда отечества, и с ними нет врага, которого не можно бы было истребить».

Читая эти приказы, Денис Васильевич от души радовался и за Михаила Орлова, и за то дело, которому они служили сообща, каждый по своим силам, убеждениям и возможностям.

На удивление богатым оказался 1820 год и на громкие европейские события, которые возбуждали ум и заставляли о многом задуматься.

В январе около Кадикса вспыхнуло восстание в испанских войсках, предназначенных для отправки в Америку. Во главе мятежников встали полковник Квируга и подполковник Риго. Восставшие провозгласили отмененную королем Фердинандом конституцию, с которою испуганный монарх вынужден был согласиться.

В феврале парижский рабочий-седельщик Лувель убил герцога Беррийского, наследного королевского принца, которого прочили на французский престол.

В июле грянула революция в Неаполитанском королевстве, бывшей

вотчине Мюрата. Тамошние карбонарии с оружием в руках завоевали народу конституцию.

Менее чем через месяц революционное волнение охватило Португалию. Вслед за этим пламя освободительного мятежа вскинулось в Пьемонте...

И как продолжение этих всеевропейских потрясений пришло ошеломляющее известие из Петербурга. Там в ночь с 16 на 17 октября доведенный до предела жестокими бесчинствами командира Шварца взбунтовался гвардейский Семеновский полк, шефом которого, как известно, был сам Александр I, бывший в эту пору на конгрессе Священного союза в Троппау.

Отгородиться от этих событий было невозможно. Особенно при мятежном, вихревом и впечатлительном характере Давыдова.

В самый канун крещения по крутому скрипучему снежку Денис Васильевич на резвых почтовых поскакал в Киев.

Хотелось немного развеяться на контрактах после долгих сидений за письменным столом, повидаться с друзьями и близкими. К тому же, как обычно, на ярмарку должны были привезти деньги из имения Балты по казенной аренде, продолжавшей покуда за ним числиться.

Где-то в дороге, на одной из почтовых станций Денис Васильевич повстречал знакомого офицера, приятеля Базиля Давыдова, навещавшего его по каким-то делам в Каменке. От этого офицера он и узнал, что в Давыдовском имении еще с поздней осени гостит Пушкин, до того проехавший с семейством Раевских по Кавказу и Тавриде.

Ну как было не использовать случай и не повидаться с продолжавшим находиться в опале молодым чародеем-стихотворцем, к которому после встреч в Петербурге он испытывал все большую искреннюю сердечную привязанность!.. Тем более что и крюк, слава богу, невелик, а киевские контракты и дела ради такой встречи могут и подождать.

Недолго думая, Денис Васильевич переменил маршрут и поскакал напрямик в Каменку.

Как ни торопился Давыдов, но в дороге припозднился и к хорошо знакомой ему давыдовской усадьбе приехал уже по ночной поре. Благо, хоть луна сияла над головою, яркая, голубая, осененная радужными морозными кольцами.

Промелькнули каменные заиндевело-спящие львы на парадных воротах. И тут же открылся взору облитый лунной эмалью огромный барский белый дом на заснеженном холме, увенчанный ротондой

бельведера, с куполом, на котором темнел промороженный флаг. Четыре массивные колонны с коринфскими капителями по фасаду, меж колоннами в три ряда окна. Почти все они желтеют теплым медовым светом. Стало быть, не спят Давыдовы и по поздней поре.

На звон колокольчика из дома проворно выкатился заспанный ветеран из отставных, со следами угловых шевронов на левом мундирном рукаве и привычно стал налаживать небольшую пушечку, стоящую при входе.

— Эй, служба, — крикнул ему Давыдов, — стоит ли пальбу затевать да весь дом по ночному времени булгачить? Гаси фитиль!..

— Никак-с нет, ваше высокопревосходительство! Когда бы гость ни припожаловал, пренебреженно салют-с. У меня к тому приказ наистрожайший. Иначе никак нельзя-с! Так что извиняйте!..

— Ну, коли так, шут с тобою, — усмехнулся Давыдов. — Пали, бомбардир!

Запал зашипел, пушечка гулко ухнула, разбив в осколки чуткую заледенелую тишину.

Гостя уже встречали.

Давыдов нежно коснулся губами чуть дрогнувшей при этом точеной руки Аглаи Антоновны и перешел в тесные объятия двоюродных братьев и Пушкина. После взаимных восклицаний и вопросов, на которые ответы обычно не надобны, Дениса Васильевича повели с дороги к столу, на котором хоть и наскоро, но уже был накрыт поздний ужин.

После него, когда дородный Александр Львович стал откровенно позевывать и клевать носом в тарелку, гости распрощались с хозяевами. Однако Пушкин не успокоился и тут же предложил Давыдову:

— А может, Денис Васильевич, еще и ко мне в берлогу заглянем? Ежели, конечно, вы не особо притомились с дороги. — И тут же с улыбкою признался: — Мне не терпится попотчевать вас лафитом и стихами...

— Да я, любезный мой Александр Сергеевич, для того и скакал сюда, чтобы прежде всего с вами повидаться да творения ваши послушать. Вы меня своим «Русланом» в сладостный восторг привели!.. А что касаясь Дорожной усталости, то она меня, старого партизана, слава всевышнему, покуда не берет!

— Ну и славно!.. Кабы вы знали, как я рад приезду вашему. — Пушкин, как тогда в Петербурге, при первой встрече у Жуковского, порывисто сжал обеими ладонями его руку.

Через несколько минут, накинув враспах шубы, они уже подходили к хорошо знакомому Давыдову «карточному домику», отданному хозяевами в полное распоряжение Пушкина.

— Никита! — легко стукнув в дверь, позвал он.

Его неизменный дядька и слуга, белея исподней рубахой, отпер дверь.

— Живо, Никита, запали все свечи! Гость у нас дорогой, — бодро воскликнул Пушкин. — Трубки нам подай и лафиту!..

— Да какого ж лафиту, батюшка Александр Сергеевич, — недоуменно протянул дядька. — Вы его еще третьего дни выкушать изволили с барином Василием Львовичем, бильярдные шары гоняючи...

— Вот тебе на! — залился серебристым смехом Пушкин. — Истинный бог, не помню! В расстройстве я был, потому, должно быть, и запомнил. Ну тогда, благодетель мой, — обратился он к Никите, — найди что-нибудь из своих запасов. У тебя на крайний случай всегда припрятано. Знаю я тебя!

Дядька с горестными вздохами и тихим бормотанием себе под нос удалился куда-то и скоро явился, облаченный уже в чистый армячок, с расчесанной головою и прибранный бородой. На подносе, который он держал не без торжественности, ароматно дымились два длинных раскуренных чубука⁴⁷ и светилась матовым зеленым стеклом бутылка рейнвейна.

— Я же говорил, — улыбнулся Пушкин. — Ну молодец, Никита! Уважил!

Друзья-поэты устроились в жестковатых креслах друг против друга. Давыдов оглядывал прибежище Александра Сергеевича. Тесноватая комната с двумя полукруглыми венецианскими окнами, густо разрисованными морозом. Печь старинного зеленого изразца. В углу тахта, крытая легким беличьим одеялом. Некрашенный стол с фарфоровой чернильницей в виде водовозного ушата на санях, из которого торчало перо. Тут же рядом раскинутые и по полу и по столу бумажные листы, исписанные летучим пушкинским почерком, с быстрыми рисунками на полях.

— Как вижу, времени зря не тратите, Александр Сергеевич, — кивнул на листы Давыдов. — Вон сколько наработано, завидки берут! Горю нетерпением услышать.

— Еще будучи на Кавказе с семейством почтеннейших ваших родственников Раевских, замыслил я поэму на тамошний сюжет. Она мне не давала покою. И вот здесь наконец вылилась на бумагу. Еще немного — и завершу своего «Кавказского пленника». Однако, прежде чем прочесть из этой поэмы, хочу повиниться перед вами. В одной из чудных ваших элегий, читанных еще в Петербурге, мне прямо в сердце запали стихи:

...Но ты вошла... и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!..

О любви в поэзии российской до вас с такою силой и страстью никто не говорил. Право слово, поверьте мне! Диво, как хорошо! — восторженно воскликнул Пушкин. — А ваше «бешенство желанья» меня буквально заморозило и держит под своим магнетизмом уж сколько времени. Мне все кажется, что я должен был так написать по своему арапскому характеру. Поэтому и включил сие выражение поначалу в своего «Мечтателя», а недавно оно само повторилось в послании к Юрьеву. Вот послушайте:

...А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний...

Каюсь, Денис Васильевич, за дословный повтор и прошу милости вашей. Коли сочтете возражать — вымараю!..

— Да что вы, Александр Сергеевич! Оставьте все как есть. Тут гармония истинная. Ни убавить, ни прибавить... Я лишь радуюсь, что малою толикою послужил вам в помощь. Вы в способностях своих так шагаете, что и конному гусару, каковым себя считаю, за вами не угнаться...

Оба они были польщены взаимной похвалою, и оба полны искренней радостью.

А потом Пушкин читал своего «Кавказского пленника». Лицо его то светлело мечтательной задумчивостью, то темнело сдержанным гневом, то пламенело волнением и необоримой страстью, то туманилось пронзительно-щемящей грустью. Он был прекрасен.

После чтения Пушкин, не в силах сдержать себя, нервно расхаживал по комнате. А Денис Васильевич сидел, опустив голову, с зажатым в руке давно угасшим чубуком. Когда он поднял лицо и обратил его к Пушкину, тот увидел в темных, смоляных глазах его слезы восторга и восхищения. Повинуясь какому-то вихревому бессловесному порыву, Давыдов поднялся

с кресла и шагнул навстречу к Пушкину. Они обнялись.

Через какое-то время Денис Васильевич в задумчивости взял один из исписанных листов и снова прочел, невольно вторя голосом своим пушкинской интонации:

Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Он помедлил немного, вдумываясь в только что вновь прозвучавшие строки, и вдруг спросил:

— А признайтесь-ка, Александр Сергеевич, что пленник Кавказский не кто иной, как вы сами. Вся душа в нем ваша!

— Весь свет может поэт обмануть, — с улыбкою и дымкою грусти в глазах откликнулся Пушкин, — только не собрата своего, поэта истинного!..

Когда Никита, передремав остаток ночи на своей лежанке, вошел в комнату, чтобы растопить выстывшую к утру печь, в окнах уже сияло и искрилось белесое январское солнце, а хозяин с важным усатым гостем в генеральском мундире все еще сидели у стола и о чем-то толковали с прежней живостью. Зеленая же бутылка рейнвейна из его кровных запасов так и стояла перед ними нераскрытою. Баре о ней, должно быть, даже и не вспомнили...

В самый канун отъезда, заглянув к Пушкину, Денис Васильевич случайно заметил на его столе лист, испещренный стихотворными строфами, над которыми было выведено: «Денису Давыдову».

— Простите, Александр Сергеевич, имя свое увидел непроизвольно. И законному любопытству моему, конечно же, нет предела.

— Пока это лишь наброски, дорогой Денис Васильевич. Похвастаться нечем. Может быть, что-то и напишется. Впрочем, ежели хотите, прочту и то, что есть, — ответил он с обычною своею простотою и непринужденностью. — Не судите строго. — И, держа перед глазами исчерканный лист, прочел:

Певец-гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов.

С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутылъ...

...Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею
Воспоминаньем прежних дней...

...Я все люблю язык страстей,
Его пленительные звуки
Приятны мне, как глас друзей
Во дни печальные разлуки.

Видите, сколь невесело получилось. Должно, когда писал я сии строфы, уже предчувствовал печаль нашего расставания. Впрочем, даст бог, мы еще, может быть, свидимся и в Киеве. Вот завершу я «Пленника» своего, мне уже немного осталось, и тоже махну за вами следом. Страсть как хочется побывать на контрактах, а более того еще раз повидать премилых моих Раевских. Да и братцы ваши, Александр Львович и Базиль, обещали мне составить компанию.

Ясные глаза его были полны доброго голубого света.

Однако Давыдов в Киеве долго не задержался. В несколько дней он завершил арендные дела, нанес свои обычные визиты — друзьям, знакомым, родне. У Раевских вовсю готовились к помолвке старшей дочери Екатерины Николаевны с генералом Михаилом Орловым. Об этом событии было уже объявлено. Ждали жениха, который неожиданно по каким-то своим спешным делам в первых числах января уехал в Москву. Стало быть, с ним Денис Васильевич разъехался где-то дорогою.

От Раевских же узнал Давыдов и еще одну весьма взволновавшую его новость: в свое орловское имение прибыл с Кавказа Алексей Петрович

Ермолов, который далее должен следовать в Петербург, а потом будто бы за границу, куда требует его к себе находящийся ныне в Лайбахе государь.

— Не иначе как царь намеревается его заставить покорять итальянских карбонариев, — рассудительно сказал Николай Николаевич Раевский. — Зачем же еще Ермолов потребовался с его авторитетом и громкою военного славою? Что и говорить, незавидная участь ожидает нашего братца. Ослушаться вроде нельзя, вызовешь гнев и немилость монарха. И в то же время пятнать себя кровавыми расправами с борцами против деспотизма — значит заслужить презрение и честных соотечественников, и вольнолюбивой Европы. Стало быть, уподобляться полицейскому либо палачу тоже невозможно. Надобно третий путь искать, единственно разумный. Поехал бы ты к нему, Денис, вместе-то, глядишь, что-нибудь бы и надумали.

Денис Васильевич не мешкая поскакал в Орел.

Встреча была сердечной.

Пять лет, проведенных Алексеем Петровичем на юге, не прошли для него даром: лицо, прокаленное кавказским солнцем, густо забронзовело, а непокорная львиная грива его сплошь заснежилась раннею, не по годам сединою.

— Так вот ты каков, господин проконсул Иберии, как тебя официально величают в газетах, — говорил Давыдов, обнимая дорогого двоюродного брата и старшего друга. — Хорош! Только что это с твоею головою — бела, как облако.

— Это я под местные условия подладился, — улыбался Ермолов. — На Востоке седина в почете.

Первым делом, конечно, Денис Васильевич пересказал брату опасения, высказанные в связи с его новым назначением Николаем Николаевичем Раевским.

— Да я уже и сам понял, что государь сим доверием своим готовит мне двойную западню.

— А я кое-что дорогою к тебе прикидывал. И вспомнилось мне, кстати, мое сидение в Варшаве, у великого князя Константина. Ты про то помнишь. И подумалось мне, что тебе к государю в Лайбах надобно ехать непременно через Варшаву. С его высочеством ты чуть ли не в приятелях, а коли подыграешь ему, мол, уму-разуму приехал учиться, выправку его войск перенять для Кавказа, он тебя надолго вахтпарадами своими задержит на радостях, это уж как пить дать! А там, глядишь, и без тебя дело в Италии обойдется...

— А ведь дело говоришь, брат Денис, — подумав, согласился

Ермолов. — Истинный бог, дело! Молодец!

Через несколько дней Давыдов с Ермоловым вместе выехали в Москву. А потом в начале февраля Денис Васильевич проводил брата в Петербург. План, который они сообща прикинули, удался в конце концов полностью. К государю в Лайбах Ермолов в общей сложности добирался более двух месяцев, причины его задержек были самые уважительные. За это время дело в Италии действительно решилось без его участия. Австрийцы сами силой оружия подавили освободительные выступления сначала в Неаполе, а затем в Пьемонте. Из-за неприбытия главнокомандующего русский экспедиционный корпус, который должен был по замыслу Александра I тоже участвовать в этом черном деле, так и не был послан...

Весна 1821 года ознаменовалась для Дениса Васильевича Давыдова двумя событиями. Где-то в марте стало известно, что находившийся до сей поры на русской службе греческий князь полковник Александр Ипсиланти возглавил вооруженное выступление своих соотечественников против турецкого рабства. Передовое русское общество встретило весть эту с энтузиазмом. Все ждали, что государь не останется равнодушным к мужественной борьбе восставших братьев по вере и окажет им помощь. Давыдов намеревался подать рапорт, в котором хотел просить, чтобы ему, как имеющему опыт войны с турками, при отборе офицеров для новой дунайской кампании было отдано предпочтение.

В разгар этих тревожных ожиданий и предположений произошло и другое событие — в Москве неожиданно объявился князь Вяземский, которого, как оказалось, за либеральные его воззрения уволили с государственной службы и окончательно отослали из Варшавы. Экспансивный и легкоранимый, он пребывал в горестном отчаянии. Надобно было поддержать его и утешить, тем более что по горячности своей и несдержанности речей он мог лишь усугубить свое положение.

Кстати, именно Вяземский привез с собою достоверное известие о том, что Александр I перед лицом европейских держав наотрез отказался помогать греческому восстанию, усмотрев в нем революционный характер.

В английском клубе, где князь Петр Андреевич был вместе с Давыдовым и Федором Толстым, он, должно быть, излишне громко толковал о греческих делах и выражал недовольство политикой России в этом вопросе, называя ее предательством братьев в угоду интересам венского двора. По инстанциям тут же пошел донос, в котором фигурировали все трое. Слава богу, доброму ангелу-хранителю Закревскому удалось каким-то образом не дать хода зловещей бумаге. Однако в частном письме, присланном с дружеской оказией, он строго

выговорил Денису Васильевичу за подобную неосторожность. И ему, в свою очередь, в доверительной записке, отвезенной в Петербург уезжавшим из отпуска братом Левушкой, пришлось оправдываться, причем не особо убедительно:

«Слухи, которые дошли до тебя насчет моей нескромности, вовсе несправедливы... Я знаю, как и другие, что Москва не менее Петербурга наводнена людьми, которых я не опасался бы, если б они доносили о том, что слышат, но чего не сочинит мерзавец для того, чтобы выслужиться? К тому же, — горькая истина! — какая храбрая служба, какая благородная жизнь перевесить может донос бродяги, продавшего честь свою полиции?»

Тем не менее предостережение Закревского он оценил. Добрейший Арсений Андреевич недвусмысленно дал понять, что над его головою сгущаются невидимые тучи, которые могут обрушиться тяжелой, размашистой грозой. Надобно было срочно принимать самоохранительные меры: уговорить уехать несдержанного Вяземского, укрыться хоть на время в свое Остафьево, подальше от посторонних ушей и глаз, а самому поменьше выезжать и по возможности никого не принимать, кроме самых близких...

Летом, к радости Давыдова, вышла отдельным изданием его работа, которой он посвятил столько времени и сил, — «Опыт теории партизанского действия». Несмотря на нарочито суховатое название, книга эта сразу же обратила к себе всеобщее внимание. В военных и государственных верхах ею оказались недовольны, усматривая в сочинении Давыдова воспевание казачьей вольницы, пренебрежение к армейской дисциплине и неумеренное прославление «мужицких» методов ведения войны.

Вольнолюбиво и патриотически настроенные друзья и в первую очередь будущие декабристы приняли книгу Давыдова с восторгом. Откликнулся на нее и Пушкин. Прислал стихотворное интимно-дружеское послание:

Недавно я в часы свободы
Устав наездника читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога...

К осени 1821 года в Москву после своего столь долгого заграничного

путешествия вернулся Ермолов, несказанно довольный тем, что ему не пришлось воевать с итальянскими карбонариями. Он привез с собою из Петербурга лицейского приятеля Пушкина — худого и долговязого Вильгельма Кюхельбекера.

— Вот упросил меня Николай Тургенев взять сего рыцаря печального образа под свою опеку, — сказал Алексей Петрович Давыдову. — Он был секретарем при Александре Львовиче Нарышкине в Париже и выступал там с литературными лекциями, содержание коих вызвало неудовольствие в ведомстве духовных дел и народного просвещения, то бишь в «Министерстве затмения», как называет его Карамзин. Хода Кюхельбекеру здесь покуда не будет, а в моей канцелярии, глядишь, он и пользу принесет. Как не помочь вашему брату литератору?..

После отъезда Ермолова на Кавказ Давыдов всерьез задумался о том, что не худо бы и ему вернуться к стоящей и полезной службе. Числиться в заграничном отпуске, никуда не выезжая, далее было рискованно. Своими опасениями он делился с Закревский: «Боюсь, чтобы не рассердились на меня за то, что отпросился в отпуск для излечения болезни за границу, а живу в России, или об этом не ведают?»

Самым лучшим выходом было бы, конечно, служить при Алексее Петровиче. На Кавказе Ермолов непременно подыщет ему дело и по способностям, и по душе. Только как на все это глянет Петербург?

Денис Васильевич начал официальные хлопоты о переводе в Отдельный кавказский корпус. Он послал прошение в Главный штаб и письмо Ермолову с просьбой поддержать его стремление. Теперь ему приходилось лишь сожалеть, что во время пребывания Алексея Петровича в Москве он так и не улучил времени поговорить с ним о своей судьбе.

«Какой чудак наш Денис! — откликнулся на просьбу брата Ермолов в письме Закревскому от 15 октября 1821 года. — Всякий день бывали мы вместе, и никогда ни слова не сказал он о деле, о котором не бесполезно было бы посоветоваться вместе... С Денисом желаю я служить и мог бы из способностей его извлечь большую себе помощь...»

Началось настойчиво-длительное коловращение казенных бумаг. Надобно было набираться терпения.

В начале января 1822 года Денис Васильевич по обыкновению своему отправился в Киев на контракты и остановился, как всегда, у своего любимого двоюродного брата Базиля. На этот адрес и присылала ему с каждою почтою нежные тоскующие письма из Москвы продолжавшая о чем-то тревожиться Софья Николаевна.

Как станет известно позднее из материалов следственных дел

декабристов, именно в это время в том же самом давыдовском доме в течение нескольких дней проходил приуроченный для конспирации к зимней ярмарке съезд членов Южного тайного общества. Помимо Василия Львовича Давыдова, на нем присутствовали Пестель, Сергей Волконский, бывший адъютант Н. Н. Раевского Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, подвергшиеся опале после восстания Семеновского полка, генерал Юшневский и другие видные декабристские лидеры. Все они были или добрыми приятелями, или хорошими знакомыми поэта-партизана. Мог ли Денис Васильевич не знать, что происходило при нем в доме брата Базиля, куда сходились отнюдь не для веселья столько известных ему офицеров? Разумеется, не мог. Однако его присутствие не вызывало неудобства и не смущало никого из заговорщиков. Значит, формально не принадлежа к тайному обществу, он был среди его членов своим человеком, которого единодушно любили и которому в высшей степени доверяли... Это безграничное доверие подтвердится впоследствии и прямо и косвенно многими другими фактами его биографии.

Вскоре после возвращения в Москву Давыдов узнал о весьма прискорбном и, конечно, глубоко его встревожившем происшествии в Кишиневе, причиной которого, как он мог предположить, была все та же заносчивая горячность и безрассудная смелость Михаила Орлова. Склонный торопить события, он, как стало известно, не только завел в своей дивизии ланкастерскую школу для нижних чинов, которых правительство отнюдь не поощряло, но и повел откровенную революционную пропаганду среди солдат. Непосредственно занимавшийся по заданию дивизионного командира подобной деятельностью приятель Пушкина, талантливый поэт, майор Владимир Федосеевич Раевский был уличен в крамоле корпусным начальником генералом Сабанеевым, арестован, как говорится, с поличным и препровожден в Тираспольскую крепость. Самое страшное оказалось то, что в его бумагах, взятых при аресте, обнаружился список членов некоего тайного общества. Сабанеев сразу же донес об этом Киселеву: «Союз 16-й дивизии называется Союзом благоденствия... Союз этот есть новость, в которую замешано много народу. Словом, Союз воняет заговором государственным».

Павел Дмитриевич, поняв, что дело может принять весьма крутой оборот, кинулся в Кишинев, чтобы под видом расследования по возможности уладить грозящую обратиться в громкий скандал историю. При его молчаливом попустительстве Ивану Бурцову удалось уничтожить злополучный список. Но где была гарантия, что туповатый, но ревностный в службе Сабанеев не поднимет шум по этому поводу? Не удалось целиком

выгородить и Михаила Орлова, волей-неволей пришлось отстранить его от командования 16-й дивизией и оставить пока без должности. Многие теперь зависело от томившегося в крепости майора Раевского, над которым уже велось следствие. Хватит ли у него сил и выдержки для умолчания о своих далеко идущих связях?..

Кишиневская история не выходила у Дениса Васильевича из ума, она еще раз наглядно учила осмотрительности и осторожности.

К тому же правительство, давно ощущавшее брожение умов и напуганное призраками тайных организаций, начало против них нещадное гонение, и в первую очередь против масонских лож, полагая, что именно в них зреют планы грядущего переустройства России.

Многие декабристы поначалу в своей деятельности действительно были связаны с мартинистскими орденами, но очень скоро распознали их зловещую антинародную и антинациональную сущность. «Для будущих декабристов, — отметит один из советских историков, С. Б. Окунь, — характерным является не то, что они были масонами, а что в 1816–1817 годы, то есть в период расцвета деятельности масонских лож, они окончательно с ними порвали».

1 марта 1822 года Александр I подписал рескрипт на имя министра внутренних дел графа Кочубея, которым предписывалось немедленное закрытие всех масонских лож в империи заодно с прочими негласными сообществами. Исполнение сего предписания должно было осуществляться при строгом полицейском надзоре. Всем государственным ведомствам было поведено взимать со своих служащих обязательные подписки о непринадлежности к тайным орденам и братствам.

Подобная бумага была послана и Денису Васильевичу, и он, конечно, посчитал подобный метод проверки лояльности для себя крайне оскорбительным.

«На днях, — писал он, не скрывая своего возмущения, Закревскому, — получил я из инспекторского департамента форму подписки, что я отказываюсь от **братии масонов**. А так как я не был, не есть и не буду ни в масонских, ни в каких других тайных обществах и в том могу подписаться кровью, то эта форма для меня неприлична. Прошу прислать другую, или не написать ли мне просто рапорт? Я о сем от тебя жду разрешения...»

Кишиневское «дело» и крутые правительственные меры против тайных обществ заставляют его всерьез задуматься о судьбе своих друзей и близких, и прежде всего столь любимого им Базиля Давыдова. Ему опасность, по мнению Дениса Васильевича, грозила более всего. Хорошо зная, что твердый в своих воззрениях Василий Львович революционных

занятий отнюдь не оставит, он в доверительном письме, посланном с оказией, настоятельно, по-братски посоветовал ему срочно выйти в отставку. Если, не дай бог, в крайнем случае его и привлекут к ответу, то хоть наиболее страшного обвинения в нарушении воинской присяги Василию удастся тогда избежать. А это уже немало. Обоснование к снятию мундира должно выглядеть внушительно и пристойно: из-за ран, полученных за отечество.

Василий Львович внял этому разумному совету. Денис Васильевич тут же взялся за хлопоты, обратившись все к тому же Закревскому:

«Прошу тебя, любезный друг, постарайся скорее выдать в свет отставку двоюродного брата моего Василия Давыдова (подполковника, считающегося по армии), он просится в отставку за ранами, то, пожалуйста, не забудь, чтобы сказали о нем в приказе за *ранами*, ты меня сим крайне обяжешь...»

Как покажут дальнейшие события, эта предусмотрительность поможет смягчить наказание одному из деятельнейших участников декабристского движения Василию Давыдову: смертный приговор будет заменен ему вечною ссылкой в каторжные работы...

Меж тем дело с переводом Дениса Васильевича на Кавказ явно встречало какие-то неодолимые препоны в самых верхах. Судя по всему, снова упрямылся император. Все старания Давыдова и Ермолова, как на глухую стену, натывались на высочайшую недоброжелательность к поэту-партизану.

15 декабря 1822 года Алексей Петрович из Тифлиса сетовал Закревскому в явном расчете, что содержание его письма дойдет и до государя: «Получил я от Дениса уведомление, что вновь по просьбе моей отказано его сюда назначение. Конечно, уже не стану говорить о нем впредь, но это не заставит меня не примечать, что с ним поступают весьма несправедливо...» Ермолов на этом, однако, не успокоился. Он продолжал бомбардировать Петербург своими просьбами относительно назначения Давыдова к нему в начальники Кавказской пограничной линии. Наконец ему ответили в таких тонах, что он понял: обращаться далее с этим делом к государю бессмысленно.

Удрученный тем, что царь пресек ему все пути к дальнейшей службе, Денис Васильевич решился на окончательную отставку. Таковую просьбу государь удовлетворил с готовностью. Это событие Давыдов в своей мистифицированной автобиографии опишет с обычной веселостью, повествуя о себе в третьем лице: «Но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от

глотки до пупа надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни и в начале 1823 года выходит в отставку».

Однако в эту пору ему было отнюдь не весело. Но он крепился. За многие годы царской немилости Денис Васильевич, как-никак, превозмогать обиды уже научился. На свою судьбу он не жаловался. И все же близко общающиеся с ним люди замечали, сколь нелегко переживал он очередную высочайшую несправедливость...

Денис Васильевич не уединялся со своею обидою. Живой и общительный по натуре, он всегда тянулся к друзьям. Во многом его выручал все тот же дружеский кружок московских литераторов: Вяземский, Василий Львович Пушкин, Иван Иванович Дмитриев, граф Федор Толстой... Именно в это время круг его знакомств и добрых приятельских связей расширился. И он тоже был весьма показательным.

Через князя Вяземского Давыдов очень быстро сошелся с приехавшим в Москву молодым гвардейским офицером, одним из руководителей Северного тайного общества Александром Бестужевым, уже известным литературным критиком и прозаиком, печатавшим свои имевшие шумный успех повести под псевдонимом Марлинский. Дружба их, завязавшаяся буквально с первой встречи, быстро крепла и обретала черты сердечной привязанности и единомыслия.

Особую теплоту их отношений подтвердил номер «Полярной звезды», в котором Александр Бестужев опубликовал свою новую повесть «Замок Нейгаузен». Она печаталась с посвящением Денису Васильевичу Давыдову.

В числе людей, к которым Давыдов питает искреннее расположение, быстро оказался и один из самых близких лицейских друзей Пушкина и опять же видный деятель декабризма, Иван Пущин, весной 1824 года переехавший на жительство в Москву, конечно, в целях и интересах своей тайной организации. С ним Дениса Васильевича свел вернувшийся с Кавказа после службы у Ермолова Вильгельм Кюхельбекер, который в первопрестольной теперь совместно с Владимиром Одоевским затеял выпуск нового альманаха «Мнемозина». Экспансивный Кюхля, деятельно привлечший Давыдова к участию в этом издании, и поведал ему первый о решительном поступке своего сотоварища Пущина. До недавней поры, как оказалось, он был блестящим гвардейским артиллерийским офицером. Однажды при выходе из дворца у него произошло резкое столкновение с великим князем Михаилом Павловичем. Не стерпев мелочных придирок и грубости младшего брата царя, Иван Пущин тотчас подал в отставку. После этого демонстративно хотел поступить в квартальные надзиратели, «желая показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было

бы считать унижительной». Родные взмолились, сестра на коленях упрашивала не делать подобного шага. Тогда выпускник Лицея, гвардейский офицер и сын сенатора пошел служить простым чиновником в Петербургскую палату уголовного суда, где в это время уже служил и другой отставной офицер — Кондратий Рылеев. По приезде в Москву Иван Пущин принял на себя хлопотную должность надворного судьи и в короткий срок прославился бескорыстием и защитой бедных просителей.

Все это, без сомнения, было близко Денису Васильевичу, всегда тянувшемуся душою к истинному благородству. По достоинству, конечно, оценил он и еще один смелый и возвышенный порыв Ивана Пущина, презревшего всяческие запреты и навестившего в Михайловском без всякого соизволения властей своего опального друга Пушкина, находившегося, как было известно, под двойным надзором — полицейским и духовным. Тот же Пущин привез Давыдову и Вяземскому сердечный привет от ссыльного поэта и передал от него отрывок из только что завершенных им «Цыган».

Вероятно, при посредничестве Грибоедова у Дениса Васильевича завязалась переписка с офицером Нижегородского драгунского полка, отчаянным храбрецом и ярким противником самодержавия Александром Якубовичем, любимцем Ермолова, который поручал ему особо важные и рискованные дела.

В конце 1824 года Якубович приехал в Москву — подтянутый, быстрый, с черной шелковой повязкой на лбу вследствие недавно полученной им в столкновении с горцами жестокой раны. Явившись к Давыдову, который в это время из-за перестройки собственного особняка снимал с семьею обширную квартиру на Поварской в доме Яновой, он откровенно выложил свое намерение отправиться в Петербург и, улучив удобный момент, убить государя, хотя бы за то ему пришлось заплатить собственной жизнью...

Почти в это же время проездом из Воронежа в Петербург на неделю объявился в Москве приятель Александра Бестужева и Ивана Пущина поэт Кондратий Рылеев, острая сатира которого на Аракчеева, озаглавленная «К временщику» и напечатанная в одной из книжек «Невского зрителя», не так давно привела в восторг Давыдова. С ним Денис Васильевич познакомился на вечере у Нарышкиных, где были к тому же Вяземский, Полевой, Штейнгель, издатель Селивановский. Здесь, как вспомнит впоследствии один из очевидцев, Рылеев читал свои патриотические «Думы» и «открыто велись противуправительственные речи».

К этой же поре относится горячее участие Дениса Васильевича в

судьбе молодого поэта Евгения Баратынского. Он, как было известно, еще 11-летним мальчиком в Пажеском корпусе, начитавшись книг о разбойниках, организовал «общество мстителей» корпусным начальникам и совершил несколько неблагоприятных шалостей. Дело дошло до императора, и Александр I повелел Баратынского как зачинщика из корпуса исключить и закрыть ему всяческий путь к службе.

«Разве, если пожелает, в солдаты», — соблаговолил при этом заметить император.

Баратынский пошел в солдаты. И уже без малого девять лет как служил в Нейшлотском пехотном полку, расквартированном в Финляндии. Никакой выслуги ему не полагалось. За талантливого поэта хлопотали Жуковский, Александр Тургенев, однако царь на эти просьбы отвечал неизменным отказом.

К счастью, стало известно, что Закревский получил новое высокое назначение и занял место генерал-губернатора Финляндии. Тут уж, конечно, к хлопотам о судьбе Баратынского подключился Давыдов, решивший лихим партизанским маневром, действуя через своего старинного приятеля, обойти упрямство государя. Он тут же написал любезному Арсению Андреевичу:

«Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты; он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более, неужели не умилосердятся? Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и, верно, будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние».

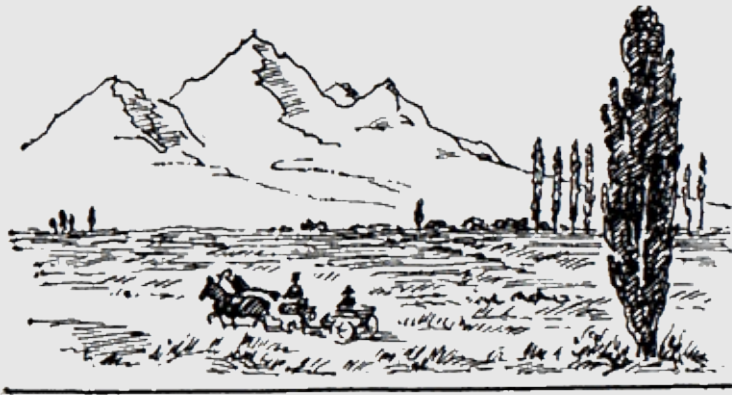
Заботы Давыдова увенчались полным успехом. Сначала он добился производства Баратынского в прапорщики, а затем с помощью все того же Закревского исхлопотал для него долгожданную отставку с офицерским чином.

В первых числах декабря 1825 года Баратынский «веселый, как медный грош», как писал о нем сам Денис Васильевич, приехал в Москву и, конечно, тут же пришел благодарить Давыдова за столь деятельное участие и помощь. С первой же встречи, несмотря на разницу в возрасте и чинах, они стали искренними друзьями.

Оба они были уверены, что вот-вот должны грянуть какие-то события, способные потрясти устои существующего порядка.

Потаенный огонь общественного возмущения рвался наружу. Время до восстания на Сенатской площади, до первого вооруженного штурма самодержавия исчислялось уже днями.

Эхо декабрьской грозы



Немалая честь для меня, живущего на покое, быть предметом столь лестного мнения человека, справедливо вызывающего восхищение той патриотической доблестью, с которой он служил родине в час грозной опасности, человека, имя которого останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории.

Вальтер Скотт — Денису Давыдову

По невероятно случайному стечению обстоятельств правительственные известия о мятежных санкт-петербургских событиях соседствовали в столичных газетах с упоминаниями имени Пушкина. Денис Васильевич Давыдов, с нетерпением и тревогой ожидавший каждую почту, невольно обратил на это внимание.

В «Русском инвалиде» за 29 декабря 1825 года впервые публиковалось более-менее подробное (до сей поры появлялись лишь краткие сообщения, из которых что-либо уразуметь было трудно) описание «происшествия, случившегося в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года». Здесь назывались имена главных виновных — Рылеева, братьев Бестужевых, Пущина, Кюхельбекера и прочих. А в другой столичной газете, «Северная пчела», за

это же самое число объявлялось, что завтра, 30-го, поступит в продажу новая книга — «Стихотворения Александра Пушкина».

В «Journal de St. Petersburg» за 5 января 1826 года Давыдов прочитал извещение об образовании Следственной комиссии для расследования «ужасного заговора» 14 декабря 1825 года, а в пришедшем с этою же почтой «Русском инвалиде», помеченном той же датой, печаталось объявление: «Стихотворения Александра Пушкина. 1826. Собрание прелестных безделок, одна другой милее, одна другой очаровательнее. Продается в магазине И. В. Оленина у Казанского моста, цена 10 р., с пересылкою 11 р.»...

«Ну, слава богу, — подумалось Давыдову, — коли рекламируется книга любезного Александра Сергеевича, стало быть, с ним ничего не приключилось. Значит, он в круг заговорщиков не зачислен. А дружба его с Пуцциным, Кюхельбекером и другими, причастными к делу 14 декабря, о коей широко известно, в вину ему не поставлена. Иначе и книге его никакого хода дано не было бы...»

В этой связи мысли Дениса Васильевича, конечно, обращались и к себе. Москва полнилась глухими слухами об арестах: взяты и препровождены в Петербург с фельдъегерями Михаил Орлов, родственник Пущина Павел Калошин, в доме которого близ Арбата у Спаса на Песках он и жил по приезде в первопрестольную, множество соучастников заговора оказалось под стражей на юге после возмущения Черниговского полка, и среди них столь близкие сердцу поэта-партизана Василий Давыдов, молодые братья Раевские, Сергей Волконский, незадолго перед этим женившийся на Марии Раевской... Имена, имена... Родственники, друзья, приятели, добрые знакомые. Что покажут они на следствии? Легко может вскрыться, что, не принадлежа к тайному обществу, Денис Васильевич знал немало и молчанием своим способствовал заговорщикам. Одно признание Якубовича в намерении убить своими руками государя, сделанное в его доме, чего стоит!..

Единственное, что предпринял Денис Васильевич в эту пору, — разобрал свои бумаги. Причем огню ничего не предал. Все, что могло посчитаться крамольным либо бросающим тень на кого-либо из приятелей, он сложил в отдельный портфель, который и увез в подмосковную деревню и запрятал до поры так, чтобы его не одна живая душа отыскать не смогла.

Вскоре на его стол легла долгожданная книга Пушкина, выписанная им от книготорговца Оленина сразу же по прочтении объявления в «Русском инвалиде». Прежде всего внимание Давыдова привлек латинский эпиграф, предпосланный собранию стихотворений. В переводе на русский

пушкинский эпиграф звучал по нынешним временам куда как рискованно: «Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятения». После недавних роковых событий слова эти воспринимались проявлением явной симпатии к восставшим.

«Ай да Пушкин! — подивился про себя Денис Васильевич. — Будто знал о готовящемся смятении. Прямо в точку попал! Вот уж истинно у него — каждое лыко в строку. Лишь бы сего те, кому не надобно, не заметили...»

Заметили, однако, многие. Смертельно больной Николай Михайлович Карамзин, как станет потом известно, прочитав эпиграф, не скрыл своего опасения и с упреком сказал издателю Плетневу:

— Что это вы сделали! Зачем губит себя молодой человек?

От новой нападки Пушкина спасло, видимо, лишь то, что высшим политическим чинам и новому царю, занятым дознаниями по делам арестованных декабристов, в это время было не до новинок словесности...

Самое тягостное для Давыдова в создавшемся положении было, пожалуй, томиться неизвестностью. Все обдумав и взвесив, он сам порешил сделать первый шаг к прояснению своей судьбы и подал прошение о желании вновь вернуться на военную службу. «Ежели против меня что-то имеется, — рассудил он, — на просьбу мою последует незамедлительный отказ. Тогда и попыток более не стану делать, уеду окончательно в деревню, коли к той поре на свободе еще буду...»

23 марта 1826 года неожиданно быстро последовал высочайший приказ об определении генерал-майора Давыдова на службу, с назначением состоять по кавалерии. Определенного места покуда не было, но и это он посчитал немалой победой. Никакими прямыми уликами, стало быть, Следственная комиссия против него не располагала. В противном случае молодой император своего соизволения на его возвращение в армию, конечно, не дал бы.

Аресты, по слухам, прекратились. Наоборот, стало известно, что кое-кого из арестованных по подозрению в связи с заговорщиками начали освобождать. Пришло, например, радостное известие от Николая Николаевича Раевского из Киева, что оба сына его, Александр и Николай, вернулись с оправдательными аттестатами.

Давыдов успокоился окончательно. И даже перевез портфель с секретными бумагами из подмосковного имения обратно в Москву. Он, разумеется, и не предполагал, что именно в эти самые дни над его головой за клубилась, сгущаясь, грозная туча.

9 апреля 1826 года на заседании следственного комитета было

зачитано показание одного из вожakov тайного общества, Михаила Бестужева-Рюмина, относительно возмутительных стихов, распространяемых среди заговорщиков. Собственно, он лишь подтверждал то, что сказано было на следствии другими арестованными: «Показание Спиридова, Тютчева и Лисовского совершенно справедливо. Пыхачев тоже правду говорит, что я часто читал наизусть стихи Пушкина (Дельвиговых я никаких не знаю). Но Пыхачев умалчивает, что большую часть вольнодумчивых сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него еще прежде принятия его в общество...

...Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет, мне совершенно неизвестно».

Новый император, дотошно прочитывавший все протоколы дознаний, тут же потребовал представить ему «вольнодумческие сочинения», о которых шла речь. Вместе с крамольными стихами Пушкина и Вяземского на стол перед Николаем I явились басни Давыдова «Река и Зеркало», «Голова и Ноги» заодно с его хлесткими эпиграммами на высших вельмож и сановников. Все это автоматически становилось составною частью следственных дел.

Стихотворные произведения, прочитанные молодым государем, буквально ошеломили его своей политической остротой и противуправительственной дерзостью. Никогда раньше не питавший интереса к поэтическим творениям, он, должно быть, припомнил слова, сказанные ему в свое время по этому поводу старшим покойным братом Александром:

— Запомни, поэзия для народа играет приблизительно ту же роль, что музыка для полка: она усиливает благородные идеи, разгорячает сердце, она говорит с душой посреди печальных необходимостей материальной жизни.

Теперь Николай I убеждался в справедливости этих предостерегающих слов. Более того, столкнувшись с обилием вольнодумческих стихотворений в личных бумагах арестованных, он мог теперь добавить, что поэзия ко всему способна звать и вести подданных к вооруженному мятежу, что авторы подобных крамольных сочинений опасны для самодержавной власти отнюдь не менее самих бунтовщиков. Как быть с господами сочинителями, обладающими такой всеокрушительною силою слова и защищенными от державного гнева общественным признанием и громкой литературной славою?

Об этом новый император думал долго и обстоятельно. Он, видимо, понял, что прямым ударом по крамольным поэтам достичь сможет

немногого. К каждому из них меры принимать надобно было особое, не слишком бросающиеся в глаза. Тем более что о снисхождении к их «поэтическим вольностям» настоятельно хлопотал Жуковский и из последних угасающих сил своих просил умирающий Карамзин. Во всяком случае, 29 мая, через несколько дней после торжественно-пышных похорон знаменитого историографа, последовал строго секретный приказ царя: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Это была, должно быть, охранительная мера против того, чтобы кто-нибудь из следственных чиновников случайно не списал или не выучил бы наизусть столь опасных поэтических произведений. Вместе с противоправительственными творениями Пушкина, Вяземского и других поэтов под непосредственным приглядом военного министра Татищева сгорели и дерзкие, «вольномысленные» басни и стихи Дениса Давыдова, о которых новый российский самодержец, однако, отнюдь не собирался забывать.

Москва готовилась к коронационным торжествам. День ото дня она становилась все шумнее и официально-праздничнее. После завершения процесса над декабристами в старую столицу из Петербурга переехал двор, а вместе с ним несметное количество высокопоставленных чинов и вельмож, иностранных дипломатов, знатных гостей со всех краев империи и из стран Европы. Сюда же для участия в военных парадах и смотрах, сопровождающих празднества, прибыли сводные полки гвардейского и гренадерского корпусов.

Невзирая на суровость приговора военного суда над главными виновниками возмущения, который был уже известен, в обществе широко распространилось мнение, что именно в связи с коронационными торжествами участь осужденных по делу 14 декабря будет непременно смягчена. Упование на монаршую милость было поистине всеобщим.

Весть о казни, совершенной над пятью вожаками декабристов, ошеломила Давыдова.

Поначалу Денис Васильевич с невероятной горечью и тяжестью на душе уехал в свое подмосковное сельцо Мышецкое, купленное им года три назад взамен проданного Приютова. Там, как и всегда в летнюю пору, находилась Софья Николаевна с детьми. Быть на московских празднествах ему было поистине не вмоготу. Прожил с семьей более двух недель и все же с печалью понял, что совсем не объявиться на коронационных торжествах ему решительно нельзя: как-никак он вновь числился теперь на службе. Потому, переселив себя, поехал.

В Москве, как оказалось, Давыдова уже разыскивал начальник

Главного штаба, старый его знакомец, оборотистый барон Дибич. По нынешним временам он был фигурой преважной. По обыкновению своему, не глядя собеседнику в лицо и отводя глаза куда-то в сторону, Дибич изволил подчеркнуто дружески пожурить Дениса Васильевича за исчезновение:

— Везде ищу тебя, дорогой мой, а тебя и след простыл... Ты разве забыл о представлении государю? Завтра же быть после развода в Кремле при всем параде.

В означенное время Давыдов в числе прочих военных чинов томился в проходной зале Грановитой палаты. Представляющихся собралось человек шестьдесят. Деятельный Дибич выстроил всех в ряд, по ранжиру. Денис Васильевич оказался, к радости своей, рядом с младшим братом Ермолова — Петром. В ожидании церемонии они успели перекинуться несколькими фразами.

— Что-то в Кавказском корпусе нездорово, — сказал Петр Ермолов.

— Отчего ты так полагаешь?

— Высшее начальство, с Дибича начиная, меня в один голос вопрошает о том, давно ли я письма от братца Алексея Петровича получал. Неспроста это...

Государя меж тем все не было. Исчез куда-то и расторопный Дибич. Выстроенные для представления уже начинали отчаиваться.

Наконец Дибич прибежал и объявил, что его величество пожелал принять господ генералов у себя в Чудовом дворце. Всех строем, словно кадетов, повели туда. Все это показалось Давыдову и утомительным и унижительным.

Наконец к ним, выстроенным прежним порядком в приемной зале, соизволил выйти Николай I. Тридцатилетний император, которого Денис Васильевич видел в последний раз еще в бытность его великим князем на высочайших смотрах 2-й армии года три назад на Украине, с той поры почти не переменился: тот же серо-бесцветный взгляд, какого-то тяжелого оловянного оттенка, те же жестко закушенные губы. Только не было прежней белизны лица, оно выглядело сероватым и блеклым, да и приметные тени под глазами свидетельствовали то ли об усталости, то ли о скрытом нездоровье.

Царь натренированным, почти строевым шагом шел вдоль ряда представляющихся. Кивал, останавливался, говорил милостивые фразы. Поравнялся с Денисом Васильевичем. Обратил на него пустой, пугающе-холодный взгляд. Губы, однако, улыбались.

— Рад тебя видеть, Давыдов. Благодарю за то, что вновь надел

эполеты в мое царствование. А ты нимало не постарел. Здоров ли?

— Слава богу, здоров, ваше величество.

— Можешь ли служить в действительной службе?

— Могу, государь!

— Ну-ну, — неопределенно сказал Николай Павлович, ухмыльнувшись чему-то. И проследовал далее.

Смысл царской ухмылки стал понятен Давыдову на следующий день, когда при разводе, перенесенном из-за душного знойного ветра и пыли с кремлевской площади в экзерциргауз, к нему как-то вкрадчиво подкатился маленький и выглядевший, как обычно, неряшливым Дибич и, отводя глаза в сторону, с кривлянием на лице, изображавшим сожаление, сказал:

— Государю угодно, чтобы ты поехал в Грузию. Там персияне зачали войну. Положение весьма серьезно. Его величеству нужны туда отличные офицеры, он избрал тебя, однако желает сперва знать, согласишься ли ты на это назначение?

Давыдов мгновенно понял, что в такой ситуации не исполнить монаршего пожелания ему никак нельзя: он сам просился вступить обратно в службу, и вот царь облачает его своим доверием и посылает не куда-нибудь, а туда, где идут военные действия.

— Прошу доложить его величеству, — Денис Васильевич перешел на официальный тон, — что я не колеблюсь ни минуты и готов вступить на этот путь, который он мне сооблаговолит указать. Когда прикажете ехать?

Дибич вздохнул с явным облегчением.

— Я не сомневался в твоём решении. Ехать же надо после того, как прибудет первый курьер из Грузии.

— А примет ли меня государь перед дорогою?

— Непременно. Я про то извещу особо.

Аудиенция у царя была выдержана в тонах, претендующих на доверительность. Николай I, только что приехавший с маневров, принял Давыдова в своем дворцовом кабинете весьма милостиво. Начал с извинения:

— Прости меня, Давыдов, что я посылаю туда, где, может статься, тебе быть не хочется.

— Я лишь могу благодарить ваше величество за выбор, столь лестный для моего самолюбия, — ответил Денис Васильевич как можно спокойнее.

— Есть ли у тебя какие пожелания либо просьбы?

— Единственная, государь. Когда война кончится, позвольте, не просясь ни у кого, возвратиться в Москву, — я здесь оставляю жену и детей.

— Как! Я и не знал, что ты женат, — изобразил изумление Николай Павлович, — много ли у тебя детей?

— Три сына.

— Послушай, Давыдов, я тебя не определяю в Кавказский корпус, а посылаю туда лишь для войны с оставлением по кавалерии. Следственно, ты к этому корпусу принадлежать не будешь, когда же война окончится, ты лишь скажи Алексею Петровичу, что я желаю твоего возвращения, он тебя отпустит, и дело кончено.

Во время всего разговора с царем Денис Васильевича не покидало смутное ощущение какого-то обмана, вершившегося в высочайшем кабинете. Николай I был явно беспокоен. Хотя лицо монарха выглядело непроницаемо-благожелательным, о тщательно скрываемых чувствах говорили его руки, находившиеся, как отметил про себя Давыдов, в беспрестанном суетливом движении...

Софья Николаевна, которую Денис Васильевич вызвал перед тем из подмосковной нарочным, выслушав его домашний успокоительный отчет о встрече с императором, своим обостренным женским чутьем сразу же заподозрила неладное. Возле рта у нее обозначились горестные морщинки.

— Коли царь посылает тебя, Денисушка, без определения к твердому месту, — сказала она задумчиво, — значит, назначение твое его не особо заботит. Ему более надобно не то, чтобы ты должность полезную занял, а чтобы был там, где подалее да поопаснее. Очень уж эта доверенность государева на ссылку похожа, под персидские пули да сабли... На убой он тебя посылает, на убой! А мне-то как быть без тебя? — И заплакала в голос.

Софья Николаевна ждала четвертого ребенка и была, конечно, в своем положении излишне возбуждена.

Денис Васильевич, как мог, утешал жену. Однако сам чувствовал, что все его утешения звучат не особо убедительно.

Еще несколько дней провел Давыдов в Москве в тягостном ожидании. За это время удалось узнать кое-что о положении, сложившемся на кавказском военном театре. Из поступавших донесений следовало, что наследник персидского престола Аббас-Мирза, подстрекаемый англичанами, внезапно перешел пограничную линию, вторгся в Карабах во главе сотысячного войска и обложил своими ордами крепость Шушу, в которой заперся немногочисленный русский отряд под командованием полковника Реута. Значительную часть своих сил персидский принц двинул в сторону Тифлиса, до которого ему уже оставалось будто бы не более 150 верст. Со стороны Эриванской крепости действовал сардар Эриванский с братом своим Гассан-Ханом. Им, в свою очередь, удалось захватить

Бамбакскую и Шурагельскую провинции и направить передовые отряды опять же в сторону Тифлиса. Ермолов персам, как было известно, смог противопоставить не более 10 тысяч человек, поскольку войскам его приходится занимать множество пунктов для поддержания спокойствия в горах и охраны единственного сообщения с Россией. Кампания обещает быть весьма нелегкой и кровопролитной.

Все эти известия лишь еще более отягощали душу Дениса Васильевича недобрыми предчувствиями. Из головы его не выходили горестные и, как казалось, провидческие слова жены. Побывав на нескольких балах, званых вечерах и дипломатических приемах, которые в Москве теперь устраивались почти непрерывно, и вдоволь наглядевшись на розоволиких, разогретых вином и музыкой, беззаботно веселящихся высших офицеров, Давыдов не удержался и сочинил едкую эпиграмму, которую так и озаглавил — «Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну 1826 года»:

Мы несем едино бремя,
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.

Томимый мрачными предчувствиями, Денис Васильевич в эти дни, должно быть, окончательно отрешился от своих последних зыбких иллюзий, связанных с новым монархом. Ничего доброго от него он уже не ждал, но и не страшился более его жестокосердия и гнева. Махнув рукою на расчетливую осторожность, Давыдов записывал теперь, как говорится, открытым текстом в свою тетрадь, предназначенную, по его мысли, для потомства, насмешливо-резкие суждения о Николае I, подтвержденные подлинными фактами либо достоверными рассказами очевидцев.

Едва на коронационных торжествах объявился костромской монах Авель, известный своими прорицаниями и предсказавший, как говорили, с удивительной точностью дни кончины Екатерины II и Павла I, как Давыдов, повидавшийся, по всей вероятности, с ним, сделал в своей крамольной тетради весьма красноречивую запись:

«Авель находился в Москве во время восшествия на престол Николая; он тогда сказал о нем: «Змей проживет тридцать лет».

После встречи на празднествах с бывшим своим сослуживцем по партизанскому отряду, тогда ротмистром, а теперь генералом Александром

Чеченским, Денис Давыдов занес на бумагу весьма примечательное его свидетельство об откровенной трусости нового царя:

«Я всегда полагал, что император Николай одарен мужеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчиненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и некоторые другие обстоятельства поколебали во мне это убеждение. Чеченский сказал мне однажды: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах, я не привык врать...»

Дополняли отталкивающий портрет нового императора и другие заметки Давыдова.

Одних этих записей, попади они каким-либо путем в руки неумолимо-жестокого и трусливого-вероломного монарха, было бы, конечно, достаточно для того, чтобы объявить непокорного поэта-партизана и государственным преступником, и дерзким злоумышленником против самодержавно царствующей особы. Но это, видимо, не слишком страшило Давыдова.

15 августа 1826 года Денис Васильевич, распрощавшись с женою, проводившей его до заставы, со стесненным сердцем, как он сам вспоминал впоследствии, отправился в дальнюю дорогу.

Путь его лежал на Елец, Воронеж, Ставрополь. Где-то на подъезде к Владикавказу Давыдов, пересев в седло и оторвавшись вперед от сопровождавшего его пехотного и казачьего конвоя, нагнал военнопочтовый караван, с которым возвращался на Кавказ арестованный несколько месяцев назад, привлеченный к следствию по делу декабристов, но сумевший оправдаться Грибоедов. Нечаянная эта встреча для обоих была великой радостью. Они тут же решили следовать далее до самого Тифлиса неразлучно.

Тяжелый, неповоротливый караван тащился медленно. Путь же от Владикавказа, как уверили знающие люди, уже представлял меньшую опасность в смысле нападения немирных горцев. Потому Давыдов с Грибоедовым и порешили смело отправиться вперед в легких двухместных дрожках, любезно предоставленных им знакомым майором Николаем Федоровичем Огаревым. К тому же, видимо, добрым приятелям хотелось быть подальше от посторонних глаз и ушей.

За несколько дней, проведенных в дороге до Тифлиса, они, конечно, наговорились всласть о литературе, о жизни, об общих друзьях, о

трагических событиях 14 декабря и связанных с ними происшествиях. Грибоедов не скрывал своей искренней радости по поводу собственного вызволения из цепких лап Следственной комиссии и спасителем своим и благодетелем справедливо называл Алексея Петровича Ермолова.

Видимо, отзвуком рассказов Александра Сергеевича о всех перипетиях его ареста и роли в этом деле оппозиционно настроенного к правительству проконсула Кавказа и явилась запись, сделанная Давыдовым где-то в это время в своей памятной книжке:

«Вскоре после события 14 декабря Ермолов получил высочайшее повеление арестовать Грибоедова и, захватив все его бумаги, доставить с курьером в Петербург; это повеление настигло Ермолова во время следования его с отрядом из Червленной в Грозную. Ермолов, желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Грибоедов, предупрежденный обо всем адъютантом Ермолова Талызиным, сжег все бумаги подозрительного содержания».

От Грибоедова узнал Денис Васильевич и подробности задержки с принятием присяги Отдельным кавказским корпусом новому монарху, так напугавшей Петербург. Этого Николай I Ермолову, вероятно, никогда не простит. С целью его замены, по мнению Александра Сергеевича, государь и послал на Кавказ с весьма широкими полномочиями генерала Паскевича, приходящегося по его жене, кстати, дальним родственником Грибоедову.

Только тут Денис Васильевич понял до конца всю хитрость и вероломство нового царя. Отправляя его на кавказский военный театр под начальство Ермолова, император, оказывается, перед тем уже послал туда же Паскевича с секретною миссией найти повод к смещению Алексея Петровича. Не имея определенного назначения, Давыдов мог теперь лишиться и единственного своего покровителя. А как же тогда он сумеет обрешить дело со своим возвращением в Москву, коли не будет Ермолова? Ведь царь на этот счет никаких письменных распоряжений и указаний не сделал. Все осталось лишь на словах...

Из-за каменных завалов, происшедших в горах, Давыдову и Грибоедову пришлось задержаться в дороге. В Тифлис они смогли приехать лишь 10 сентября.

Ермолов встретил Дениса Васильевича ласково, однако сам был невесел. На темно-бронзовом лице его еще глубже прорезались жесткие морщины.

— Ничего доброго от нового царствования не жду, брат Денис, — сказал он, поблескивая своей серебристой гривой. — С Николаем

Павловичем у меня лада никогда не было. Он под моим начальством в гвардейском корпусе числился в Париже, и мне его гуляния по тамошним кабакам урезонивать приходилось. Разве он сего забудет? А задержку мною присяжных листов и тем паче... Вот прислал мне своего приятеля и лизоблюда Паскевича с пожеланием, чтобы он стал моим «первейшим и полезнейшим помощником». Разве я не понимаю, к чему дело клонится? Ну, как говорится, проживем — увидим!..

Поговорили о военных действиях. Персы, по рассказу Ермолова, покуда все еще наступали. Конница Гассан-Хана продвигалась к Караклису. Пограничные русские части под командою полковника князя Севардземидзе и полковника Муравьева отошли к недостроенной крепости Джелал-Оглу близ селения Лоры. Здесь они стояли крепко, дожидаясь подкрепления.

Медленно продвигался вперед и Аббас-Мирза с главными персидскими силами. Он вышел к Елизаветполю, а авангардом дотянулся до Шамхора.

Однако Алексей Петрович отнюдь не считал положение угрожающим. Войска для отпора уже были собраны, ни о каких волнениях в горных районах, на которые, видимо, надеялись персы при вторжении, слухи не доходили.

— Ну теперь пришла пора с незванными гостями и поквитаться, — сказал он спокойно. — В том, что победу одержим, не сомневаюсь нисколько. Персияне в войне азартны лишь до первой серьезной трепки. После того у них весь запал разом пропадает. Более-менее стойкими в сражении у них держатся лишь сарбазы, или регулярные войска. Но и они русскому штыковому напору противостоять не могут. Конные же орды хотя и шумливы, но бестолковы. Впрочем, сам все вскорости увидишь. Пока генералы мои славные Вельяминов и Мадатов двинутся против Аббас-Мирзы, ты бы Гассан-Ханом тем временем занялся. Поезжай в Джелал-Оглу, принимай отряд, коим полковник Муравьев командует. Он же у тебя начальником штаба станет. Офицер качеств отменных, сам убедишься.

— А из каких он Муравьевых? — тут же спросил Денис Васильевич.

— Из тех самых, — все поняв, ответил Ермолов, — четверо его родственников проходили по делу 14 декабря. И сам он взглядов весьма либеральных. Я же люблю и ценю Николая Николаевича как грамотного, дельного и храброго офицера. Буду искренне рад, если ты с ним подружишься.

— А не обидит Муравьева то, что команду над отрядом ему сдать мне придется? — спросил Давыдов в задумчивости.

— Думаю, что поймет все правильно. Ты, слава богу, по чину генерал и определен к военным действиям не мною, а самим государем... Впрочем, для верности я напишу ему еще, кроме приказа, и доверительное письмо.

Приняв отряд и ознакомившись с обстановкой, Денис Васильевич сразу же предложил своему начальнику штаба предпринять против Гассан-Хана смелый рейд, наподобие партизанского, с неперменным условием вторжения в персидские пределы. По замыслу Давыдова, их войскам следовало выйти из крепости, скрытно для врага одолеть Безобдалскую горную гряду и, нанеся неожиданный удар по коннице Гассан-Хана, перенести военные действия на неприятельскую территорию, что должно крайне озадачить впечатлительных персиян; после же завершения дерзкого поиска опять выйти к русской границе, куда к заранее намеченному пункту загодя доставить огневые и продовольственные припасы.

Этот план показался Муравьеву вначале чуть ли не фантастическим. Однако чем более он в него вникал, тем больше реальных выгод видел от его осуществления.

И все удалось на славу.

Отряд, составленный из девяти рот пехоты, конной артиллерийской бригады, ста пятидесяти казаков и шести сотен конных грузинских ратников-ополченцев, ведомый Давыдовым, миновал Безобдал, тесня передовые неприятельские порядки, спустился в долину Мирака, где в яростном бою нанес сокрушительнейшее поражение коннице Гассан-Хана, и устремился в персидские владения, где были заняты большое селение Кюлюджэ и несколько деревень. После удачного поиска русские войска вышли, как и предполагалось, к Гумрам.

Денис Васильевич с радостью донес Ермолову о победоносном рейде. Верный своему давнему принципу, он ни слова не говорил о своих собственных заслугах, но не жалел добрых слов в адрес своих солдат и офицеров.

Личную скромность командира и его заботу о своих подчиненных оценили и соратники Дениса Васильевича по отряду, оценил и Алексей Петрович Ермолов, написавший Давыдову:

«Рад сердечно успехам твоим и для пользы службы и для тебя. Не досадую, что залетел ты немного далеко. Напротив, доволен тем, что ты умел воспользоваться обстоятельствами, ничего не делая наудачу. Похваляю весьма скромность твою в донесениях, которая не омрачена наглою хвастливостью. Вижу с удовольствием, что ты одобряешь заслуги других; вот истинный способ найти добрых сотрудников и быть ими любимым. Ты моложе меня, но как будто из одной мы школы; теперь ты

еще более мне брат.

Имей терпение, не ропщи на бездействие, которое налагаю на тебя; оно по общей связи дел необходимо».

Положение на военном театре, как и предполагал Ермолов, быстро переменилось. При Елизаветполе решительным ударом были разгромлены основные силы Аббаса-Мирзы. Урон, понесенный Гассан-Ханом от отряда Давыдова, а тем более рейд его по неприятельским владениям заставили персов самих перейти к обороне.

В это время Денис Васильевич с Николаем Муравьевым уже прикинули другой, не менее смелый и дерзкий план — малыми силами, используя замешательство противника, овладеть Эриванью и Тавризом. Местное армянское население, ненавидящее жестоких правителей из персидской династии Каджаров, наверняка бы оказало русским войскам вооруженную помощь.

В других обстоятельствах Ермолов, несомненно, одобрил бы и поддержал подобную военную экспедицию, а может быть, даже самолично ее возглавил. Теперь же его более занимала внутренняя война, разгоревшаяся в Главном штабе. Паскевич, уверенный в твердой поддержке государя, набирал силу и уже открыто интриговал против Алексея Петровича.

Ознакомившись с новым планом Давыдова и Муравьева, Ермолов распорядился покуда не форсировать военных событий, а заняться достройкою крепости Джелал-Оглу.

На персидском фронте установилось временное затишье.

Проведя еще два месяца с отрядом и завершив строительство крепостных сооружений, Денис Давыдов в декабре, томясь вынужденным бездействием, приехал в Тифлис с единственной целью — отпроситься у Ермолова в отпуск.

— Я, конечно, любезный брат, не возражаю, — сказал на это Алексей Петрович, — однако, сам понимаешь, ты прислан сюда государем, и пригляд его за тобою здесь непременно ведется. Дабы излишних придинок к нам не было, напиши-ка рапорт о болезни. Скажем, о местной лихорадке, столь здесь распространенной... Эдак-то вернее будет. Хворого держать во фрунте — грех!..

Получив соизволение на шестинедельный отпуск «для исправления здоровья», Денис Васильевич в канун дня Николы зимнего отбыл на почтовых в Москву.

Отпускное времечко пролетело, как на крыльях.

Въехавший в первопрестольную столицу по звонкому веселому

морозцу, радостный и возбужденный предстоящей долгожданной встречей с семьей, свиданиями с добрыми друзьями и приятелями, Давыдов покинул Москву по хлипкой весенней распутице, как сам он выразился, «с потушенным лицом и сердцем».

В утомительно-протяжной дороге на Кавказ, где, как он знал наверняка, ожидать ему по нынешней поре было абсолютно нечего, его опечаленную новою разлукою душу могли согреть лишь воспоминания о недавних, так быстро пролетевших днях.

Дома, слава богу, было все ладно. Софья Николаевна счастливо разрешилась от бремени и родила ему четвертого сына — курносого, темноглазенького крепыща, которого с обоюдного согласия нарекли Ахиллом. Остальные трое — Вася, Николенька и годовалый Денис — тоже были здоровы и обещали вырасти отчаянными сорванцами. Весь давыдовский дом на Арбате, на углу Староконюшенного переулка, был с утра и до вечера наполнен их неумолчными то восторженными, то требовательными голосами.

«О, господи, как Сонюшка без меня только управляется с этими лихими партизанами», — ласково думалось Денису Васильевичу в дальней дороге о жене и сыновьях.

Вспоминалось, конечно, и о друзьях. И в первую очередь — о Пушкине. Встречами с ним, словно лучистым солнышком, было освещено все московское пребывание Давыдова.

Весть о том, что любезный Александр Сергеевич еще в сентябре возвращен из псковской ссылки, привезен с фельдъегерем в Москву и милостиво принят новым царем, пожелавшим стать его личным цензором, Денис Васильевич узнал еще в Тифлисе от Грибоедова. Поэтому на другой же день по приезде в старую столицу поспешил к Вяземским, которые наверняка знали, где искать Пушкина. Семейство князя Петра Андреевича совсем недавно с сельскохозяйственного подворья в Грузинах, принадлежавшего отчиму Веры Федоровны Кологривову, переехало в свой собственный просторный и со вкусом обставленный дом в Большом Чернышевском переулке. Как раз напротив в доме своего тестя жил в эту пору Баратынский, женившийся минувшим летом на старшей дочери генерал-майора Энгельгардта — Анастасии Львовне.

Перецеловав милых Вяземских, Денис Васильевич первым делом справился о Пушкине.

— Здесь, здесь, — подтвердил князь Петр Андреевич, — ненадолго уезжал в свое Михайловское и вот этими днями только сызнова вернулся. Остановился покуда у приятеля своего Сергея Соболевского на Собачьей

площадке, в доме статской советницы Ренкевич. Там у них квартира холостяцкая и завсегда дым коромыслом. Истинный двор проходной, а не жилище. Однако Пушкину по его характеру, должно, все это нравится.

Давыдов с Вяземским покатили к Соболевскому. Дорогою князь Петр Андреевич продолжал вытряхать новости вперемешку со своими колкостями и язвительными шутками ворохом, как из короба. Он рассказал о том, что Пушкин «привлюбился» было в свою дальнюю родственницу Софью Федоровну Пушкину, почитавшуюся в Москве чуть ли не первой красавицей. Дело как будто бы уже шло на лад, Пушкин уехал в Михайловское в надежде. Однако по возвращении узнал, что Софья Федоровна предпочла поэту скромного чиновника Панина, смотрителя Московского вдовьего дома.

Тут же Вяземский восхитился новой трагедией Пушкина «Борис Годунов», чтения которой вызвали в литературных московских кругах бурю восторга. Но эти же чтения неопубликованной пьесы, по его словам, привели в негодование пушкинского «высочайшего цензора», и теперь, как достоверно известно, царь поручил рецензирование «Бориса Годунова» известному прощелье Фаддею Булгарину. Это, конечно, привело Александра Сергеевича в бешенство. Ко всему прочему появились и стали ходить по рукам сорок четыре выброшенные цензурой строки из вышедшей уже пушкинской элегии «Андрей Шенье». На сем отрывке, гуляющем в списках, значилось проставленное кем-то заглавие «14 декабря», а внизу подпись «А. Пушкин». Это тоже вызвало великую тревогу правительства и грозит поэту изрядными хлопотами...

В деревянном одноэтажном домике на Собачьей площадке действительно дым стоял коромыслом. В комнатах толкались какие-то неведомые люди, в темноватой передней, несмотря на дневную пору, горели свечи, в углу под образами шла карточная игра, тут же звенела гитара и несколько хриплых голосов тешились исполнением «Черной шали», на туалетном столике, обсыпанном пеплом, курились, должно быть, позабытые кем-то трубки с длинными чубуками.

Пушкина они нашли в боковой маленькой комнатке с двумя окнами. Он был в полосатом халате, обвязанном шелковым платком. Сидя за изящным бюро красного дерева с бронзой, то ли писал, то ли разбирал раскиданные перед ним бумаги. Увидев друзей, весь засветился восторгом.

— Денис Васильевич, вот радость! Уж не чаял вас повидать. Только и слышу, что персов на Кавказе громите! Дайте обниму сурового воина с душою нежной... Здравствуй и ты, душа моя, Петр Андреевич! Вот уважили! А то я от забот моих уже и в печаль впадать начал... Впрочем,

грустить в доме нашем дело непростое, сами видели. Не квартира, а съезжая⁴⁸. Все идет своим заведенным порядком — частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы же, драгуны и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера... Сейчас в доме, считайте, тишина, Сергей Александрович изволил с самого утра уехать к обер-полицмейстеру Шульгину за меня хлопотать. Посему у нас и эдакая благодать. При Соболевском куда веселее!..

— Я же тебя давно к себе кличу, Александр Сергеевич, — с легким упреком сказал Вяземский. — Разве возможно жить в эдаком бедламе?

— Sans rancune⁴⁹, мой милый князь, — улыбнулся Пушкин. — В твоём доме я и так более времени провожу, чем в прочих местах. Здесь же я не удобства ценю, а вольготность, до коей после ссылок моих стал великий охотник... Ну ладно, об этом более не стоит, послушайте лучше, друзья, высочайшую оценку трагедии моей. Вот, только что прислана мне с сопроводительным письмом генерала Бенкендорфа.

Он раскрыл синий казенный конверт, лежащий на столе, и, достав из него гербованную бумагу, прочел:

— «Я имел счастье представить государю императору комедию вашу о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Его величество изволил прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее:

«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал Комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта».

Пушкин сложил бумагу и в сердцах швырнул ее на бюро:

— Каково, а? Эдакое царское мнение я должен, судя по всему, выучить наизусть и повторять утрами и вечерами вместо молитвы, для прояснения ума своего!.. Вот же мой ответ Бенкендорфу, перед вашим приездом писанный.

Он взял из вороха бумаг черновой лист со многими пометками и начал читать с подчеркнуто-монотонной интонацией:

— «С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостившем отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

— Достойный ответ, Александр Сергеевич, — возбужденно

воскликнул Давыдов. — Лихо вы смазали высочайшего ценителя словесности. Ничего не скажешь!..

— Молодец, душа моя! — подтвердил с разгоревшимся румянцем на щеках и Вяземский.

— Только, чур, о сем происшествии покуда никому ни слова, — предупредил Пушкин, просияв лицом. — Не хочу лишних разговоров. Хлопот у меня сейчас и без того хватает, лишь успеваю оправдываться.

Денис Васильевич невольно залюбовался им. Несмотря на множество непростых забот, Пушкин был, как в лучшее свое время, порывист, дерзок и деятелен. Узкое лицо Александра Сергеевича за прошедшие с их последней встречи годы утратило юношескую мягкость, его прорезали резкие морщины и оттенили длинные бакенбарды, и это придало ему, пожалуй, черты какой-то спокойной внутренней силы и возмужания. Таким Давыдову он был еще более по душе.

— Да, Денис Васильевич, я уже писал о том князю Петру Андреевичу, — вспомнив о чем-то, с улыбкою обратился к Давыдову Пушкин, — так уж и быть, открою и вам сию тайну. Сестра моя Ольга влюблена в вас с первой же встречи в Петербурге. И поделом ей! Вы ведь теперь, сказывают, примерный отец семейства, и надежд ей, стало быть, никаких не оставляете. Так ли?

Денис Васильевич лихо покрутил свой смоляной ус.

— Гусар остается гусаром, Александр Сергеевич. Он ни ворогу, ни возрасту не сдается. Сделайте милость, поклонитесь сестрице вашей, однако чувств ее не охлаждайте. Я еще, может статься, налечу в Петербург, как буря. А далее уж, как говорится, лишь богу известно, что произойти может!

— Ну пусть живет верою в гусарскую доблесть! — воскликнул Пушкин и рассыпал свой залиvistый смех. — Так бы я и сам отвечивал! — И тут же, задумавшись, спросил: — А правда, Денис Васильевич, что вы Ольге Сергеевне критиковали Заремины очи в «Бахчисарайском фонтане»? Я вашим мнением всегда дорожил, и услышать замечания старшего друга, коего давно люблю и почитаю, мне не в обиду.

— Был такой разговор с сестрою вашей, — подтвердил Давыдов. — При описании Зареминых очей смутила меня цветистость слога. Про то я и сказывал. Не мне, может быть, учить вас, однако следование восточному канону показалось мне излишне нарочитым. Уж не обессудьте!..

Потом было еще несколько дружеских и душевных встреч с любимым Александром Сергеевичем — и у Вяземских, и у Погодина в его только что начавшем издаваться «Московском вестнике», и в знаменитом

литературном салоне княгиня Зинаиды Александровны Волконской на Тверской, и в итальянской опере в доме Апраксина на Знаменке на представлении оперы Россини «Сорока-воровка», и на одном из балов в Благородном собрании. Дважды Пушкин заезжал накоротке и в дом Дениса Васильевича на Арбате, с интересом расспрашивал о персидской войне, о Ермолове, читал несколько сцен из «Бориса Годунова» и написанные недавно здесь, в Москве, «Стансы»...

Возвращаясь на Кавказ, Давыдов вспоминал с теплотою сердечной и еще об одной радости, которую ему подарила отпускная Москва.

Вскоре после его приезда в доме у них побывал племянник Дениса Васильевича, сын дяди Петра Львовича, семнадцатилетний Владимир Давыдов, прибывший незадолго перед тем из Эдинбурга, где он учился в тамошнем университете. Он-то и привез из далекой Шотландии портрет Вальтера Скотта, переданный с ним в подарок поэту-партизану знаменитым романистом, с его собственноручной надписью: «Вальтер Скотт — Денису Давыдову». У этого подарка, которому Денис Васильевич, конечно, искренне порадовался, была своя предыстория.

Еще год назад Владимир Давыдов, отправленный учиться в Эдинбург, написал своим родителям, что познакомился с Вальтером Скоттом, который, узнав, что он племянник знаменитого русского партизана, принял его весьма ласково и неоднократно приглашал в гости в свое поместье Эбботсфорд. Кроме того, Владимир сообщал, что знаменитый писатель очень интересуется историей кампании 1812 года, особенно действиями русских партизан, а в рабочем кабинете его на видном месте красуется портрет Дениса Васильевича Давыдова, которого в Англии почитают истинной грозой французов и называют романтическим именем — «Черный Капитан».

Содержание этого послания вскоре стало известно Денису Васильевичу, и он посчитал своим долгом написать письмо и горячо поблагодарить Вальтера Скотта за такое внимание к своей особе. Тот, в свою очередь, откликнулся письмом от 17 апреля 1826 года, присланным из Эбботсфорда, в котором, в частности, говорилось: «Немалая честь для меня, живущего на покое, быть предметом столь лестного мнения человека, справедливо вызывающего восхищение той патриотической доблестью, с которой он служил родине в час грозной опасности, человека, имя которого останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории. Вы едва ли можете себе представить, сколько сердец — и горячее всех сердце пишущего Вам — обращалось к вашим снежным бивакам с надеждой и тревогой, внушенными происходившими там

решающими событиями, и какой взрыв энтузизма в нашей стране вызвало ваше победоносное наступление. Ваша чрезвычайная любезность позволяет мне обратиться к Вам с просьбой, исполнение которой я буду рассматривать как неоценимую услугу.

Я очень хотел бы знать подробности партизанской войны, которая велась с такой отчаянной смелостью и неутомимой настойчивостью во время московской кампании. Я знаю, что было бы безрассудно обращаться с просьбой, требующей от Вас столь большой затраты времени, поэтому я ограничился бы получением нескольких описаний и эпизодов, написанных рукой Черного Капитана, и это считал бы величайшей любезностью...»

Получив портрет знаменитого романиста с его дарственной надписью и повесив, в свою очередь, изображение Вальтера Скотта в своем кабинете, Денис Васильевич написал ему 10 января 1827 года новое письмо:

«Я слышал от своего племянника Владимира Давыдова, что Вы коллекционируете оружие. Позвольте мне прислать Вам несколько образцов оружия кавказских горцев, курдов, живущих у подножия Арарата, и персов. Я был бы весьма счастлив пополнить Вашу коллекцию своими трофеями...

Вы писали мне, что хотели бы иметь некоторые представления о характере партизанской войны. Обстоятельства помешали мне ответить Вам своевременно, но по возвращении из Персии я буду иметь честь и удовольствие сослаться на мои «Мемуары об операциях моего отряда в 1812 г.» и мой «Опыт теории партизанских действий», которые года два тому назад вышли в 3-м издании и которые перед моим отъездом в действующую армию я еще раз пересмотрел, исправил и дополнил. Владимир хорошо знает оба языка — русский и английский — и с удовольствием переведет Вам мои мемуары и плоды наблюдений...»

На Кавказе, как и предполагал Денис Васильевич, его ждали отнюдь не радостные известия.

Тяжелая внутренняя война между Ермоловым и любимцем государя Паскевичем подходила к своей неминуемой развязке.

Алексей Петрович, обнявший Давыдова по его приезде в Тифлис, сказал прямо:

— Сия борьба мне не по силам. Царю я неугоден и тому имею многие подтверждения. Плетью обуха не перешибешь. Надобно убираться с Кавказа самому, пока не повезли силою... Вот погляди письмо, какое я послал уже на высочайшее имя. Копию с него я для себя сохраняю...

На листе, поданном Ермоловым, Денис Васильевич прочел:

«Недостаток доверенности вашего величества поставляет меня в положение весьма затруднительное... В этих обстоятельствах, не имея возможности быть полезным для службы моего отечества, я почти вынужден желать увольнения от командования Кавказским корпусом...»

Вскоре в Тифлисе объявился присланный царем начальник Главного штаба Дибич, все такой же дергающийся, неряшливый и суетливый. Он, как оказалось, повел лукавую двойную игру. Поначалу заверил Ермолова, что все остается в прежнем виде. Об этом же успокоительно говорил и войскам, должно быть, побаиваясь их привязанности к главнокомандующему. Однако интриги против Ермолова с появлением Дибича несколько не прекратились, а обрели, пожалуй, новую силу.

Через некоторое время хитрый и оборотистый Дибич, по своему обыкновению отводя глаза в сторону, все же объявил о смещении Ермолова волею государя. И тут же повернул дело таким образом, будто в случившемся повинен не кто иной, как сам Алексей Петрович, добивавшийся своей отставки, о чем он изволил писать царю.

Главномандующим Кавказским корпусом был тут же провозглашен Паскевич, который, ничуть не стесняясь тем, что Ермолов еще не выехал из Тифлиса, проводил смотры войскам и кричал на площади пронзительным фальцетом:

— Я из вас ермоловский дух вышибу!..

Столь же двулично, как с Ермоловым, повел себя Дибич и в отношениях с Давыдовым. Он уверял его в верности старому приятельству и обещал достойное место в действующих войсках. Однако время шло, но никакой должности для Дениса Васильевича так и не находилось. Наконец ему предложили состоять при Главной квартире, то бишь болтаться без дела и заниматься пустой писаниной. В это же самое время только что сформированный для военных действий с персами отдельный 6-тысячный отряд был поручен Дибичем и Паскевичем генералу Панкратьеву, не только не имевшему боевого прошлого, но и бывшему тремя годами моложе Давыдова по службе. Это окончательно убедило Дениса Васильевича, что новое начальство на Кавказе никакого служебного продвижения родственнику смещенного главнокомандующего давать не собирается. Чуть позже он с горечью посетует об этом Закревскому:

«Не повезло! Что делать?.. Я к тому привык, все 14 кампаний, мною прослуженных, основаны на неудачах, не против неприятеля, а относительно к приятелям...»

— Нам с тобою, брат Денис, один крест нести, — задумчиво сказал собиравшийся к отъезду Ермолов. — Без меня эти резвые молодцы, зная

доподлинно, что и ты у государя не в чести в единой мере со мною, тебя намертво стопчут. Напиши-ка рапорт по болезни, просись покуда на минеральные воды.

Денис Васильевич последовал этому разумному совету. Просьба его о лечении кавказскими минеральными водами была рассмотрена с удивительной быстротою. На нее тут же последовало соизволение нового главнокомандующего.

Проводив Ермолова, которому теперешним начальством не разрешено было даже попрощаться с войсками из-за опасений недовольствия солдат и офицеров, Давыдов на какое-то время еще задержался в Тифлисе и убедился, что возня вокруг имени Алексея Петровича не утихла даже с его отъездом из Грузии. По-прежнему строчились кляузы и доносы на него, собирались любые материалы, которые хоть в чем-то могли опорочить бывшего проконсула Иверии. Доходили слухи, что и в Петербурге жандармское ведомство опрашивает с тою же целью всех приезжающих с Кавказа.

Денис Васильевич не без желчи записывал по этому поводу:

«Когда впоследствии жандармские власти стали допрашивать прибывших в Петербург грузин с намерением узнать от них что-либо, могущее послужить к большему обвинению Ермолова, они отвечали: «Мы лишь за то были недовольны им, что он говорил, что у грузин вместо голов — тыквы».

В эти же дни он написал гневную эпиграмму, обращенную к ретивым преследователям Ермолова:

Гонители, он — ваш! Вам пляски и хвала!
Терзайте клеветой его дела земные,
Но не сорвать венка вам с славного чела,
Но не стереть с груди вам раны боевые!

Эта эпиграмма, прочитанная кому-то из близких друзей еще в Тифлисе, мгновенно разлетелась по кавказским войскам и с невероятной скоростью распространилась по всей России. Жандармскому столичному ведомству Бенкендорфа она была, во всяком случае, известна менее чем через месяц после написания. Главным адресатом эпиграммы и полицейские власти, и читающая публика справедливо посчитали Николая I.

Хлесткое четверостишие это Денис Васильевич не убоится вставить в

свое первое и единственное прижизненное собрание стихотворений, выпущенное в 1832 году. Правда, чтобы провести не слишком бдительную московскую цензуру, ему придется придумать к своей эпиграмме печально-безобидный заголовок: «На смерть NN...».

Покинув «тифлисское гнездо интриг», Давыдов еще два самых знойных месяца томился на кавказских минеральных водах в чопорно-скучном курортном обществе, без особого энтузиазма пил шипуче-кислый нарзан из стаканов, обвязанных кручеными бечевками и исправно подаваемых гостям отставными солдатами-инвалидами, рвался душою в Москву, тоскуя о домашнем уюте, и писал стихи о недавнем боевом походе к подножию Арарата, в которых в соответствии с теперешним своим неопределенным положением величал себя полусолдатом:

Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца...

Эти стихи приведут в восторг Пушкина. И не случайно он позднее чуть ли не дословно повторяет:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой...

Денис Васильевич смотрел на торжественно-пышные кавказские картины, на увенчанную снеговой папахой, высоко взметнувшуюся главу Казбека, но душа его была далеко, она рвалась на родимую Русь, до которой, казалось, было немыслимо далеко, как до звезд.

Пребывание Давыдова на Кавказе действительно по всем статьям напоминало ссылку. Тяжелую длань надзора он ощущал над собою постоянно. Как оказалось, и прежний отпуск его, устроенный Ермоловым,

и нынешнее лечение на минеральные водах — все оставалось под высочайшим приглядом, все вызывало неудовольствие государя. Снова надобно было хоть как-то прикрывать себя и оправдываться:

«Недавно дошла до меня весть неприятная, — писал Денис Васильевич Закревскому, — будто бы свыше мною недовольны, зачем я сим отпуском воспользовался. Неужто это правда? Я не могу этому поверить! Я болен и очень болен с самого моего прибытия к отряду, которым я командовал...»

Лишь в конце лета Давыдову удалось наконец под предлогом «обострения протекающей болезни» вырваться в Москву, Зная, что и здесь его не оставят в покое, он большую часть времени проводил в селе Мышецком, а в первопрестольную наезжал большею частью лишь к докторам. В Москве широко распространились слухи о том, что поэт-партизан опасно болен «воспалением в кишках от взволнования желчи». Денис Васильевич, наученный горьким опытом, никого в этом не разубеждал, даже самых близких друзей.

О своей хворости Давыдов исправно писал и в письмах, отнюдь не без основания полагая их одним из самых надежных источников полицейской информации.

Посылая в эти дни небольшую посылку с кавказским оружием Вальтеру Скотту для его коллекции, Денис Васильевич сопроводил ее письмом от 10 сентября 1827 года, в котором не преминул упомянуть о своей болезни, а заодно и поделился некоторыми творческими замыслами:

«Заболев от убийственного грузинского климата, я не успел собрать оружия, которое мне хотелось прислать Вам, а то, что уже было у меня, пропало в пути из-за небрежности моих людей, растерявших почти все мои трофеи. То немногое, что я посылаю Вам, почтительнейше прошу принять от Вашего восхищенного почитателя и как слабое выражение благодарности за сделанный Вами ценный подарок.

Лук — теперь уже редкое оружие на Кавказе: им еще пользуются только наиболее отсталые племена, вот почему у посылаемого Вам экземпляра такой сильно подержанный вид...

По возвращении из Грузии я провел некоторое время на знаменитых кавказских минеральных водах, находящихся как раз в стране тех воинов, оружие которых я Вам посылаю. Мне очень бы хотелось сделать эти воды фоном для романа вроде «Сент-Ронанских вод». Сколько контрастов можно было бы здесь найти при сравнении!..»

Кстати, Пушкин, бывший в эту пору в Петербурге у родных, каким-то образом узнал о посылке с оружием и письме Давыдова в Англию. Давно

интересуясь Вальтером Скоттом, Александр Сергеевич попросил поэта-партизана рассказать ему о его связях со знаменитым романистом. На эту просьбу Денис Васильевич, конечно, откликнулся и в письме, отправленном Пушкину, изложил вкратце историю своего заочного знакомства с Вальтером Скоттом.

Последняя война



*Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
А вокруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...*

А. С. Пушкин

Жизнь шла своим чередом.

С Кавказа поступали утешительные вести о победоносном ходе персидской кампании. В октябре 1827 года Паскевич взял Тавриз, угрожал Тегерану. В феврале 1828 года персидский шах признал свое полное поражение. В деревне Туркманчае был подписан мирный трактат, по которому ханства Ереванское и Нахичеванское оставались за Россией. Кроме всего прочего, Персия соглашалась выплатить 30 миллионов рублей контрибуции.

Текст почетного Туркманчайского договора царю в Петербург было поручено доставить Александру Сергеевичу Грибоедову.

Успех в этой войне позволил России почти сразу же открыть новую кампанию — против Турции, за освобождение от османского ига

Балканских государств. Благо, к этому располагала и международная обстановка: Англия, Франция и Австрия в эту пору были заинтересованы в ослаблении Османской Порты и в отторжении у нее под любыми предлогами европейских владений.

Русская же общественность давно требовала оказания более действенной помощи сражающейся за свою независимость, истекающей кровью Греции. Бывший императорский статс-секретарь по иностранным делам, почетный член литературного общества «Арзамас» граф Каподистрия, избранный еще в апреле 1827 года греческим правителем, взывал к России за помощью. На все попытки облегчить положение восставших дипломатическим путем турецкая сторона высокомерно отвечала: «Высокая Порта не принимает никакого предложения, касающегося греков... и постарается защитить свои интересы собственными силами».

26 апреля 1828 года Россия объявила войну Османской империи. Боевые действия почти одновременно начались на двух театрах — на Дунайском и Кавказском...

В обществе новая кампания встречена была поначалу с известным энтузиазмом.

Князь Вяземский помчался в Петербург, где вместе с Пушкиным просил у царя разрешения присоединиться к действующей армии. Им обоим, однако, в этой просьбе было категорически отказано.

Давыдов, намеревавшийся было тоже ходатайствовать о своем возвращении в войска, узнав о высочайшем недоверии, проявленном к его друзьям-стихотворцам, с тоскою понял, что ему-то в его теперешнем положении надеяться на царскую снисходительность и тем более нечего. Состояние, в котором он пребывал, было куда как незавидным. Отправленный на Кавказ непосредственно самим государем, он верными царскими слугами был поставлен в такие условия, что продолжать свою службу там решительно не мог. Однако и возвращение вопреки императорскому желанию в Москву обрекало Дениса Васильевича на двусмысленно-тягостное положение. Не случайно же, кем-то усердно подогреваемые, по старой столице ползли и распространялись слухи о том, что Давыдов едва ли не самовольно оставил армию в разгар боевых действий, его обвиняли чуть ли не в трусости...

Все это Денис Васильевич переживал остро и болезненно.

Открещиваться же от попавшего в царскую опалу Ермолова, как сделали многие на его глазах, честный и прямодушный Давыдов не собирался, поскольку постоянство в дружбе для него никогда не

измерялось никакою выгодою и корыстью:

«Если меня обвиняют в преданности Алексею Петровичу, который, в течение всей своей службы, успел внушить к себе во всех своих подчиненных неимоверную любовь и уважение, — писал он в одном из писем, — то многие и в особенности те, которые поклоняются лишь восходящему светилу, не поймут того; в самом деле, как им понимать постоянство в дружбе, самоотвержение и всякий возвышенный порыв благородной души? Их правила заключаются в том, чтобы приветствовать того, кому улыбается фортуна, и разрывать связь с тем, к кому она обращается тылом, и которые потому для них бесполезны».

Убеждения и моральные принципы Дениса Васильевича оставались прежними. Поступить ими хоть в чем-то он не мог. А значит, и принужден был в сложившейся обстановке неизбежно оставаться не у дел, по крайней мере, до лучшей поры.

Одним спасением для Давыдова оставалась литературная работа. Князю Вяземскому, проводившему лето в селе Мещерском близ Пензы, он сообщал:

«Я теперь пустился в записки свои военные, пишу, пишу и пишу. Не позволяют драться, я принялся описывать, как дрались».

Петр Андреевич же в ответном послании с восторгом описывал свое вольное житье-бытье в пензенских краях, шутил про себя, что окончательно остепенился, потому что зарылся в степь, хвалил тамошние просторные для тела и души цветущие и солнечные равнины, с добродушной улыбкой отзывался о простых и здоровых местных нравах. Заодно сообщал, что в соседстве с ним живет премилый и преостроумный отставной штабс-капитан Дмитрий Бекетов, бывший сослуживец Давыдова по партизанскому отряду и к тому же двоюродный брат камергера Матвея Михайловича Сонцова, мужа родной тетки Пушкина — Елизаветы Львовны. Вяземский от своего имени и от имени семейства Бекетовых радушно звал Дениса Васильевича в гости, пожить тихой, размеренной и открытой жизнью и, ругая душную атмосферу столицы, приводил к большей убедительности свои собственные стихи, которые во многом были созвучны и душевному настрою поэта-партизана:

Прости, блестящая столица!
Великолепная темница,
Великолепный желтый дом,
Где сумасброды с бритым лбом.
Где пленники слепых дурачеств,

Различных званий, лет и качеств,
Кряхтят и пляшут под ярмом...

Эти увещевания Вяземского, видимо, окончательно убедили Давыдова, что самое лучшее в его неопределенном состоянии поселиться с семейством где-нибудь подальше от Москвы, от назойливых глаз, слишком внимательных ушей и досужих языков. В тех же самых степных краях, которые расхваливал Петр Андреевич, у него, слава богу, было обширное, полученное за Софьей Николаевной имение Верхняя Маза, до коего у него до сей поры руки как-то не доходили. А что, ежели отправиться туда и заняться без особых мудрствований устройством хозяйства и хлебопашеством? И творческой работе эдакая перемена образа жизни пойдет лишь на пользу.

Супруга, с которой Денис Васильевич поделился своими раздумьями на этот счет, неожиданно легко согласилась с его предложением.

Порешили, что в Верхнюю Мазу со всеми чадами и домочадцами отправятся по будущей весне.

А пока же Денис Васильевич уже загодя готовил себя к вынужденной роли мирного хлебопашца. Обреченный на бездействие и тоскливое одиночество, он как бы прощался со своею ратною судьбой. И мысли его невольно обращались к близким его сердцу славным героям незабываемого 1812 года, с которыми он делил все опасности и лишения великой войны. Об этом и говорил он с просветленной памятью о минувшем и с болью и горечью о настоящем в своей элегии «Бородинское поле», написанной после поездки в родное подмосковное имение, название которого оказалось навечно вписанным на скрижали отечественной истории:

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековой славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...

Несмотря на минуты печали, а порою и отчаяния, горячая, пылкая натура Давыдова все же побеждала меланхолию. Не видя возможности использовать свои силы на поле брани, он рвется в литературную борьбу,

мечтает о сплочении своих друзей и единомышленников по российской словесности в единую боевую когорту.

«Примись издавать журнал, — пишет он где-то в это же время Вяземскому, — я тебе буду помощником по какой-нибудь части. Жуковский, Пушкин, Баратынский, Дельвиг и множество лучших наших литераторов поддержат нас, и с таким ополчением я уверен, что мы все журналы затопчем в грязь».

Всю осень и зиму 1828 года Денис Васильевич прожил замкнуто, никуда не выезжая и почти никого не принимая. В его затворничестве Давыдова навещали лишь самые близкие, особо доверенные друзья: Баратынский, Вяземский, граф Федор Толстой...

В декабре в Москву неожиданно приехал Пушкин. На святочной неделе заявился в дом к Денису Васильевичу запросто, без всякого приглашения, чем порадовал его еще более.

— Еле разыскал славного партизана, — воскликнул, скинув на руки слуге завьюженную свою шинель, — поехал по прежнему адресу, на Арбат, сказывают, его превосходительство не проживают. Еле толку добился. Наконец указали дом ваш в Большом Знаменском...

— Семья растет, потому квартиры и меняю, — улыбнулся Давыдов. — Заодно и следы по старой привычке заметаю, неприятелей своих, что пригляд за мною держат, запутать пытаюсь. Истинные же друзья вроде вас, любезный Александр Сергеевич, меня завсегда найдут по одному биению сердечному!..

Пушкин по обыкновению своему порадовал новыми творениями. Прочитал стихотворение «Чернь», предназначенное для «Московского вестника», замечательно звучную и красочную новую свою поэму «Мазепа»⁵⁰, которую, по его словам, писал всю осень в петербургском Демутовом трактире. Рассказал о новостях северной столицы, о Жуковском и прочих старых «арзамасцах». Обмолвился и о том, что здесь, в Москве, на одном из балов танцмейстера Иогеля в Благородном собрании увидел юную Гончарову, которая его буквально заворожила своею красотой.

— Я был представлен ей графом Толстым, Американцем, — сказал он задумчиво. — Теперь уповаю на его старания, поскольку думаю упросить его стать моим сватом. Пора уж и вправду мне закончить жизнь молодого человека. Холостятство и несоответствующее летам положение в обществе мне изрядно надоели... То ли вон дело у вас, Денис Васильевич, и дом, и супруга добрая, и сыновья геройские — молодец к молодцу!.. У меня же до сей поры лишь скитания по чужим углам...

Пушкин на сей раз показался Денису Васильевичу совсем не таким,

как прежде. Хоть и улыбался часто, однако в голубых глазах его было какое-то то ли смятение, то ли беспокойство.

Весною 1829 года, едва пообдуло и пообсушило дороги, Денис Васильевич со всем своим «многолюдством», как он выразился, отбыл в степные края, в имение Верхняя Маза.

Нет, не зря расхваливал эти благодатные места князь Вяземский. И неоглядные просторные равнины, расшитые буйным весенним разноцветьем, и спокойные тихоструйные реки, полные рыбой, и свежезеленые леса, упрятанные в степные балки и пронизанные неистовым птичьим перезвоном, и невероятно высокое и ясное небо — все пришлось ему к сердцу.

С присущей ему горячностью и страстью Денис Васильевич занялся устройством дома, имения, дворового хозяйства. В хлебопашестве, о котором он столько говорил, его познания, конечно, были весьма скромны, и поэтому Давыдов предпочел все сельскохозяйственные работы препоручить управляющему, на должность которого занарок пригласил из Пензы молодого, но толкового и сведущего землемера Расторгуева, имевшего к тому же некоторую тягу к сочинительству. Сам же, вспомнив раннюю молодость в Бородине, решил посвятить себя в основном заботам охотничьим, поскольку условия для этого были воистину сказочными — и зверя, и птицы в округе, как он успел уже убедиться, водилось по подмосковным меркам в немислимых количествах.

Денис Васильевич купил отменных скаковых лошадей, завел борзых и гончих, а заодно с увлечением занялся приручением и тренировкой степных ловчих ястребов, намереваясь с наступлением сезона испытать и этот, показавшийся ему весьма романтичным способ охоты. Когда же подошла пора для добычи зверя и птицы, возможности, которые открыла ему щедрая пензенская земля, превзошли все его ожидания.

В распахнутой белой рубашке, опоясанной теплым ветром, окрепший, загоревший, помолодевший, Давыдов носился на быстром коне по только что сжатым полям, вздымая на кожаной рукавице бьющего крылами серого с серебряным отливом степного ястреба, готового взмыть по первому его знаку и бить с налету ввинченных в плотный воздух перепелов, чувствовал свою вольность, не зависящую ни от чьих высокомерных прихотей, и полагал себя счастливым. Иногда, вспомнив свой партизанский азарт, пугивал для острастки местных разбойников. Остальное же время проводил за своим рабочим столом, над военными записками, а иногда и над стихами.

Так и шло время.

Оторванный от ратных трудов, Денис Васильевич пытался настроить свою поэтическую лиру на возвышенно-нежный любовный лад:

Бывали ль вы в стране чудес,
Где жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья,
Живет изгнанница небес?..

Он написал несколько любовных посланий и тонких по краскам и звукам элегий. Присовокупив к ним кое-что из сатирических творений, в том числе шутливую прижизненную эпитафию на безмерно долговязого и тощего князя Мосальского, вознамерился послать все это на суд кому-нибудь из своих друзей-стихотворцев. Хотел поначалу Пушкину, но тот, как стало известно, отправился в путешествие на Кавказ. По дороге туда, сделав изрядный крюк, он заезжал в Орел, где, не убоявшись навлечь на себя неудовольствия свыше, посетил опального, живущего под полицейским надзором Ермолова. Алексей Петрович с удовлетворением известил об этом Давыдова:

«Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я не нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».

Неугомонный Вяземский, вероятно, тоже где-то разъезжал, поскольку писем от него давно не было. Баратынский с семейством своим, по слухам, гостил где-то в Казанской губернии.

Оставался любезный Жуковский, адрес которого не менялся, поскольку Василий Андреевич по-прежнему нес службу при дворе.

Ему Давыдов и послал свои переписанные набело стихи с просьбою глянуть их дружеским оком, а ежели будет к тому необходимость, поправить их твердою, но столь же дружескою рукою.

На это как всегда внимательный и чуткий Василий Андреевич откликнулся теплым приятельским письмом:

«Давыдов, пламенный борец, благодарю тебя за твои поэтические и прозаические строки. Очень было мне весело получить от тебя весточку и видеть, что ты все по-старому беседуешь со своей милой музой. В своей поэтической небрежности — это привлекательные создания. Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил твои стихи; это все равно, что если б ты стал

меня просить поправить в картине улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца в высоте утеса и т. д. Нет, голубчик, ты меня не проведешь. Я не решился коснуться твоих произведений и возвращаю все тебе. Не отдать ли все в «Северные цветы»; эпитафии однако не пропустят. Уведомь меня, а я обнимаю тебя душевно...»

В этом же 1829 году, уже по зимней поре, Давыдов с великой печалью узнал о кончине в своем киевском имении Николая Николаевича Раевского. Об этом известила обширная некрология, помещенная в «Русском инвалиде». Никакой подписи под ней не было, однако по слогу, по часто встречающимся знакомым словосочетаниям и оборотам Денис Васильевич безошибочно определил автора — Михаил Орлов.

О старом друге Давыдову было известно, что, арестованный по делу декабристов 29 декабря 1825 года, Михаил Федорович был прямым препровожден в Петропавловскую крепость, где и пребывал до середины июня 1826 года. Благодаря заступничеству брата своего графа Алексея Орлова, находящегося в фаворе у нового государя, суда избежал и поплатился лишь исключением со службы и высылкой в свою деревню под надзор полиции с запрещением въезда в обе столицы. Ясно, что «ссылошный» Михаил Орлов не мог покуда обозначать собственного имени даже под некрологией, посвященной памяти своего знаменитого тестя.

Когда Денис Васильевич прочел траурный очерк о Раевском, то сразу же убедился, что хотя и написан он с искренностью и благородным порывом, однако страдает довольно ощутимой односторонностью — Николай Николаевич выведен в нем лишь как славный и искусный генерал. Но ведь не только одним военачальством жив человек. Даже отстраняясь от службы волею или неволею, он остается и благородной личностью, и твердым в убеждениях своих гражданином, и поборником добра и справедливости, ежели, конечно, обладает этими качествами в полной мере, так, как обладал ими покойный Николай Николаевич. А разве не тому же живой пример — Ермолов? А тот же Михаил Орлов? Да и себя Давыдов мог бы, пожалуй, смело поставить в этом же ряду.

А сколько на глазах иных примеров, когда слава и известность человека держатся лишь его высокою должностью, которой прикрывается заурядная душевная мелочность, пустота и никчемность. Разве мало подобных людей явило новое царствование?

Тут же по горячим следам скорбного известия Денис Васильевич начал набрасывать свои замечания на «Некрологию Н. Н. Раевского». Именно эти, отнюдь не благостные мысли хотелось ему высказать в первую очередь

в своих размышлениях, связанных с кончиною дорогого Николая Николаевича:

«Он представлен нам только на коне, в дыму битв и с гласом повелительным. Мы ищем благочестивую душу его, хранилища всего возвышенного, отголоска всему благородному. Мы ищем верного друга, тайного благотворителя сира и нища, мужа твердого в бедствиях жизни, равнодушного к почестям и высокому сану, им заслуженным, и довольствующегося единым миром своей совести, словом, мы ищем человека, и видим в некрологии одного храброго и искусного генерала...

Неужели военное звание, впрочем, столь почтенное и благородное, до того превышает звание добродетельного человека, что, говоря о первом, можно пренебречь последним?..

Но пусть представят вполне жизнь каждого, и тогда всякий займет место, ему принадлежащее; тому, коего потерю долго не перестанут оплакивать все истинные сыны отечества, мало останется соперников, соединявших в себе доблести воина с добродетелями гражданина...»

Принявшись поначалу за обычную рецензию, Давыдов сам чувствовал, что работа его расширяется и, выходя за рамки литературно-критических рассуждений, все явственнее обретает некоторые черты политического трактата. Потому и трудился над своими «Замечаниями» вдумчиво и серьезно в течение нескольких месяцев.

Находясь вдалеке от обеих столиц, Денис Васильевич тем не менее не терял связи со своими литературными соратниками и друзьями. Он искренне радовался в эту пору тому, что у него все ближе и сердечнее складывались отношения с Пушкиным. В один из приездов своих в Москву любезный Александр Сергеевич, оказавшись вместе с Давыдовым на обеде у общего их приятеля отставного полковника Сергея Киселева, родного брата Павла Дмитриевича, откровенно признался за столом в его квартире на Никитском бульваре, в доме графини Головиной, что стихотворная манера поэта-гусара многому научила его и в молодости, показала, как надобно свободно и в то же время круто обращаться с поэтическим словом. Признание это, без всякой позы, простое и откровенное, до сих пор согревало Денису Васильевичу душу. Об этом Давыдов писал Вяземскому:

«Пушкина возьми за бакенбард и поцелуй за меня в ланиту. Знаешь ли, что этот черт, может быть не думая, сказал прошедшее лето за столом у Киселева одно слово, которое необыкновенно польстило мое самолюбие?.. Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам моим, что потом вошло ему в привычку... Ты знаешь, что я не цеховой стихотворец и не весьма

ценю успехи мои, но при всем том слова эти отзывались во мне и по сие время меня радуют».

Вполне естественно, что, когда с 1 января 1830 года начала выходить в свет «Литературная газета», издаваемая по инициативе Пушкина, Денис Васильевич сразу же принял в ней самое активное и живое участие. Он не только посылал туда свои стихи, которые печатались во многих ее номерах и с указанием автора, и анонимно, но и находился в курсе редакционных дел, и цензурных перипетий, и сложностей, которые пыталась стоически преодолеть газета.

Издание это когда-то было сообща задумано в Москве в противовес болгаринской «Северной пчеле». Пушкин упорно и настоятельно добивался разрешения на выпуск собственной газеты. Дело решилось с помощью Жуковского, замолвившего где-то в верхах свое веское слово. Однако тут же встал вопрос о редакторе. Ни Пушкин, ни князь Вяземский, числившиеся у правительства в разряде неблагонадежных, занять эту должность не могли. Пришлось посадить в редакторское кресло ничем не замаранного, но весьма мало подходящего для этой роли по своей неразворотливости и меланхоличности барона Дельвига. Обаятельно-мягкий Антон Антонович, конечно, более представлял в газете, всю же редакционную «кухню» меж тем довольно решительно и ухватисто взял в свои руки бойкий журналист Орест Михайлович Сомов, переметнувшийся к Пушкину из болгаринской «Северной пчелы». Личность эта была во многом темной и загадочной. Говорили о его довольно близких отношениях с Рылеевым и Бестужевым, которые даже редактировали его весьма либеральные по духу статьи о романтической поэзии. Потом он ходил в сотрудниках собственной газеты Булгарина «Северная пчела», которая начала выходить, как известно, с 1 января 1825 года. В разгар трагических событий 14 декабря он заявился к своему хозяину и с волнением на лице доверительно поведал ему, что был арестован по делу мятежников, попал в Петропавловскую крепость, откуда ему чудом удалось бежать, и теперь он умолял укрыть его от погони. Перепуганный Булгарин уверил Сомова в покровительстве, для надежности запер его в своем кабинете на ключ и тут же, конечно, вызвал полицию. Орест Михайлович был взят, как говорится, под белые руки и тут уж действительно отвезен в Петропавловскую крепость, из которой, однако, 6 января 1826 года был отпущен с миром, поскольку заявил, что он всего-навсего эдак пошутил. И это в те самые страшные и роковые дни, когда никому было не до шуток — ни разбитым восставшим, аресты которых продолжались, ни их еще не особо уверенным в себе

преследователям и гонителям. Тем не менее Сомову его более чем странная выходка сошла с рук. Он как ни в чем не бывало продолжал служить все у того же Булгарина до самой той поры, когда стало известно о намерении Пушкина издавать «Литературную газету». Александр Сергеевич искал сотрудников. Тут под рукой у него как нельзя кстати оказался дельный, хваткий и знающий журналистское дело Орест Михайлович Сомов, видимо, сумевший каким-то образом расположить к себе поэта. Впрочем, Пушкин, отпустивший Дельвига по издательским делам в Москву и оставшийся за редакторским столом «Литературной газеты», внимательно приглядывался к командовавшему редакцией Сомову и очень скоро в отношении его почувствовал что-то неладное.

«Высылай ко мне скорее Дельвига, если ты сам не едешь, — сетует он Вяземскому в Москву в конце января 1830 года. — Скучно издавать газету одному с помощью Ореста, несносного друга и товарища. Все Оресты и Пиллады на одно лицо...»

Однако никого другого у Александра Сергеевича покуда не было. А Орест же Михайлович с каждым выпуском ревностно демонстрировал свою незаменимость...

Давыдов, посвященный своими друзьями и в издательские планы, и во многие редакционные «тайнства», располагавший к тому же и собственными сведениями о том же Сомове, изрядно тревожился о судьбе «Литературной газеты». И, как покажет время, отнюдь не без основания.

Правда, вскорости совершенно неожиданно грянули события, которые разом чуть ли не целиком заслонили его литературно-издательские интересы.

В середине августа Денис Васильевич, ездивший в Пензу за покупками и повидаться с тамошними приятелями, вернулся необыкновенно скоро, чуть не загнав лучшую свою выездную тройку. Мундир его густо побелел от пыли, а лошади были черны от пота. Спрыгнув с круто осаженных дрожек, он, не отряхнув с себя даже белесого степного покрова, взбежал на крыльцо, где встретила его поспешившая на звон колоколов Софья Николаевна.

— Беда, матушка! — выдохнул Денис Васильевич с разгона.

— Не иначе сызнова война?

— Хуже! Черный мор объявился, холера морбус... По Волге от Астрахани кверху подымается. В Пензе бог знает что творится. Все в панике. Сказывают, в Саратове сия напасть страшная людей валом косит. Именья опустошает чуть ли не в одночасье. Скоро по всем приметам здесь

будет. Собирай детей и немедленно в дорогу. С этой заразой неумной не шутят.

Наскоро собравшись, Давыдовы со всем своим многочисленным семейством налегке, без излишнего скарба, прихватив лишь самое необходимое, уехали из Верхней Мазы.

До Москвы, слава богу, добрались безо всяких происшествий. В первопрестольной было еще относительно спокойно. О холере, объявившейся в Поволжье, поговаривали, однако надеялись, что этот проклятый мор до старой столицы не докатится. Такое ранее случалось.

Поселив своих домашних в селе Мышецком, Денис Васильевич, конечно, тут же отправился по московским друзьям, приятелям и знакомым. И сразу же узнал целый ворох новостей самого разного свойства, в первую очередь европейских, относительно которых в своем степном захолустье он пребывал в полном неведении. Как оказалось, во Франции еще в июле вспыхнула революция. Вслед за парижским восстанием, как только это стало известно, последовало вооруженное возмущение в Брюсселе, откуда принц Фридрих II со своими войсками вынужден был бежать, опасаясь народного гнева. Поступали туманные слухи, что в связи с этими событиями беспокойно и в Польше, где шляхта уже открыто ратует за полное отделение от России.

Все политические европейские новости узнать можно было либо от русских, приезжающих из-за границы, либо из иностранных газет. В русской же печати даже упоминание об этих событиях было строгойше запрещено.

С горестью узнал Давыдов, что совсем недавно, пока он с семейством был в дороге, умер Василий Львович Пушкин. На похоронах его был и Александр Сергеевич, буквально этими днями уехавший в свою нижегородскую деревню Болдино. О его женитьбе на юной красавице Наталье Гончаровой, проживавшей со строгою маменькой и сестрами в собственном их доме на углу Скарятинского переулочка и Большой Никитской, говорили в Москве как о деле уже решенном.

Федор Толстой — Американец похвалялся, что это он все так ловко устроил со сватовством.

— Кабы не я, — не без гордости говорил он, восседая в Английском клубе, — Пушкин до сей поры бы вел «Осаду Карса», как называл он ухаживания за Гончаровой, и все бы без успеха...

Среди вихря больших и малых новостей, дружеских застолий, литературных разговоров, деловых визитов Давыдов на какое-то время даже позабыл о губительной эпидемии, которая шастала где-то по

волжским городам.

И вдруг оглушительная в своей беспощадности весть: холера в Москве!

Количество жертв эпидемии росло с каждым днем, доходя в сутки уже до двухсот человек.

Для борьбы с холерой в Москву прибыл не так давно назначенный министром внутренних дел Арсений Андреевич Закревский. Давыдов, узнав о его приезде, сразу же явился к старинному своему приятелю и защитнику:

— Могу ли быть чем полезен в столь пагубный для соотечественников час?

Закревский, не спавший трети сутки, с бело-пергаментным лицом и синевую под глазами, обняв его, отвечал:

— Можешь, друг мой любезный, можешь! Я с сего дня ввожу в Москве карантинное, то бишь осадное, положение. Город оцепляют войска. К завтрашнему утру и мышь не проскочит. Положение, сам понимаешь, чрезвычайное. Кое-где по старой столице отмечены бесчинства. Это надобно пресечь в самом начале. Посему нужны мне очень люди боевые, хладнокровные и в то же время порядочные и уважаемые. Вроде тебя. Москва и уезд разделены на 20 санитарных участков. Принимай должность смотрителя над любым!..

— Мне бы сподручнее тот, что примыкает к Петербургской дороге, поскольку здесь же, в семи верстах от Черной Гязи, мое сельцо Мышецкое, а в нем все семейство...

— Стало быть, 20-й участок, — раскинув на столе карту Москвы, уточнил Закревский. — И скажу тебе, что, пожалуй, самый труднейший. Дорога на столицу, сам понимаешь...

14 октября Денис Васильевич вступил в хлопотную и далеко не безопасную должность санитарного надзирателя. Центр подведомственного ему участка находился в Черной Гязи. С присущей ему энергией и неутомимостью Давыдов занялся устройством спешно открывшейся здесь на пожалованные московскими купцами средства больницы, карантинных бараков, бань, караульных помещений для солдат, несущих заставную службу. Ему же пришлось заботиться о подборе медицинского персонала, комплектовавшегося в основном из добровольцев-студентов Московского университета, хлопотать о транспорте, о своевременной доставке лекарств и пропитания, о конвойном вывозе и захоронении умерших и прочем.

На чудовищную болезнь Денис Васильевич вдоволь насмотрелся

вблизи. Проистекала она по обыкновению стремительно и неотвратимо. Занемогший человек умирал через день, но худел за эти злосчастные сутки до полного измождения, черты его искажались до неузнаваемости.

Хоть и был генерал Давыдов отнюдь не робкого десятка, поначалу от подобных картин у него душа леденела до ужаса. Воистину эпидемия была страшнее войны. Но должен же был кто-то сражаться и с этим невидимым и безжалостным врагом!.. И Денис Васильевич, которому от множества дел и забот и вздохнуть свободно, как говорится, было некогда, незаметно для себя пообвык и пообтерпелся. Насквозь пропахший вонючей хлористой известью, которую в народе называли «уксусом четырех разбойников», он в домашнем кругу почти не являлся, дневал и ночевал на своем участке, либо на военных заставах, либо в холерном комитете у Закревского.

Москва в эту тревожную пору действительно напоминала осажденный город. На опустелых улицах почти не было видно экипажей. Лишь в сопровождении конных полицейских проезжали кареты с больными да мрачные черные фуры, в которых вывозили умерших.

Самоотверженная, подвижническая деятельность Дениса Васильевича принесла свои плоды: в подведомственной ему округе болезнь резко пошла на убыль. В особой ежедневной газете «Ведомость о состоянии города Москвы», выходящей с первых дней эпидемии под редакцией профессора М. П. Погодина, 20-й участок, надзираемый генерал-майором Давыдовым, с полным основанием назывался лучшим и образцовым, с коего всем прочим зрителям предлагалось брать пример.

К Денису Васильевичу потянулись за опытом московские медицинские светила Пфеллер, Сейделер, Герцог, Левенталь, Гейман и прочие вкуче с правительственными чиновниками разных рангов.

Именно в эти дни объявился у него на участке и быстроглазый приветливый старичок с острым носиком-клювиком и кокетливыми курчавыми бачками — Яков Иванович де Санглен, возглавлявший, как хорошо знал Давыдов, при покойном императоре его личную тайную полицию, а теперь как будто бы находившийся не у дел. Нежданный гость наговорил Давыдову кучу комплиментов, расхвалил его патриотический порыв и беззаветное служение благородному богоугодному делу, просил показать ему все санитарные помещения и воинские заставы, по поводу устройства которых начал изливать восторг пуще прежнего. И тем самым, должно быть, расположил к себе доверчивого Давыдова. Более того, де Санглен напросился к Денису Васильевичу в гости, где после обеда начал живо интересоваться его литературными занятиями. Причем опять без усталости хвалил стихи поэта-партизана и его военные записки. Давыдов не

удержался и прочел любезному собеседнику несколько страниц из своих «Замечаний на некрологию Раевского». Тот с мягкой улыбкой указал автору на некоторые, излишне либеральные идеи, содержащиеся, на его взгляд, в этом сочинении. И тут же стал настойчиво переводить разговор на политические темы. Только после этого Денис Васильевич и заподозрил неладное...

Кое-как отделившись от приторно-ласкового гостя, Давыдов тут же обратился к своему старому приятелю начальнику Московского жандармского округа, генерал-лейтенанту Александру Александровичу Волкову с полуофициальным запросом, в котором писал по поводу насторожившего его явно провокационного приезда к нему де Санглена:

«...В течение вечера и на другой день поутру он... переменял со мною ежеминутно разговор, переходя от одного политического предмета к другому, — словом, играл роль подстрекателя и платим был мною одним безмолвным примечанием изгибов его вкрадчивости и гостеприимством...».

Волков, как оказалось, был относительно вояжа де Санглена в полном неведении. Он, в свою очередь, навел справки о подозрительной деятельности бывшего начальника императорской тайной полиции у московского генерал-губернатора, светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына и шефа жандармов графа Бенкендорфа. Последний ответил весьма уклончиво и витиевато:

«Я считаю долгом уведомить вас, что господин де Санглен столько известен нам, что он ни мною, ни вами употреблен быть не может ни для каких поручений».

Давыдову было объявлено, что старый специалист политического сыска действовал будто бы по собственной инициативе и что губернатору Москвы отдано распоряжение к принятию мер для того, чтобы впредь де Санглен «не смел тревожить московских жителей таковыми посещениями».

Дело о шпионстве таким образом прикрылось.

Однако от близкого друга своего Закревского Денис Васильевич вскорости узнал, что де Санглен после посещения 20-го санитарного участка был принят лично государем, находящимся в эту пору в Москве, и имел с ним весьма длительную, доверительную беседу без свидетелей...

О том, чье поручение выполнял пронырливый и хваткий провокатор де Санглен, склоняя его к политическим разговорам, Денис Васильевич узнал вполне доподлинно. Кстати, и сам шпион, как дошли слухи, проговорился кому-то о том, что, выполняя секретный приказ, проверял политическую благонадежность Давыдова и нашел ее весьма сомнительною, о чем с

верноподданнейшим чувством и донес посылавшей его высокой особе.

С наступлением холодов эпидемия, бушевавшая в старой столице, начала затихать.

Однако в народе успокоения покуда не было. Князь Вяземский, укрывшийся от холеры в своем Остафьевском имении, записывал в эти дни в своем дневнике:

«В самом деле любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей сказывается здесь решительно. Даже и наказания божия почитает она наказанием власти... Из всего, из всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту годину революциею».

Еще более подлило масла в огонь многоустной молвы грянувшее, как разорвавшаяся бомба, известие о восстании в Польше. Европейские газеты сообщали о том, что готовится постановление Варшавского сейма, коим польский царь Николай Первый будет непременно ссажен со своего конституционного престола, и пророчили по этому поводу большую войну, к ходу которой западные страны не собирались относиться безучастно...

6 декабря, в николин день и день именин Николая I, был снят холерный карантин и въезд в Москву объявлен свободным. Газеты сообщали о расцеплении первопрестольной столицы как о великой милости народу.

Давыдов, сдавший дела по 20-му санитарному участку, целиком отдался семейным заботам. Надо было перевозить жену и детей из Мышецкого. Для этого он снял «квартиру с мебелью» около Зубовской площади, в доме Стрекаловой. Наконец все его многочисленное семейство, включая нянек, мамок, воспитательниц и гувернанток, было водворено на московское жительство.

Тут же стало известно, что уже несколько дней, как в Москве объявился приехавший из своей нижегородской деревни Пушкин. Любезного Александра Сергеевича Давыдов разыскал в Глинищевском переулке в гостинице «Англия», в довольно простом темноватом номере с письменным столом и широкою турецкою тахтою. Он, должно быть, куда-то собирался, на креслах лежала внаброс приготовленная меховая шуба. Однако Пушкин, расцеловавшись с Давыдовым, никуда не заспешил, а тут же усадил его послушать одну вещицу в прозе, суждение о которой ему не терпелось узнать именно от Дениса Васильевича.

— Действие сей повести, названной мною «Выстрел», происходит

большую часть в армейском кавалерийском полку, а главный герой — отставной гусар, бывший буйан и повеса. Все это должно быть вам близко. Посему уважьте, Денис Васильевич, послушайте!.. Впрочем, тут есть строки, которые непременно должны прийти и к вашему сердцу...

Пушкин начал читать сначала ровно и спокойно, потом все более воодушевляясь. Он уже не мог сидеть на месте, а вскоре расхаживал с листами по номеру. Чувствовалось, что повесть нравилась ему самому и была связана с какими-то волновавшими его личными воспоминаниями. Наконец он приступил к тому месту, где герой его Сильвио рассказывал о себе, и, не без лукавства поглядывая на Дениса Васильевича, понизил голос и читал с особою расстановкою:

«— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолodu это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде: я был первым буйаном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно».

— Не иначе как наш Белорусский гусарский! — не удержавшись, с жаром воскликнул Давыдов. — Этот полк воистину гремел своим удалством по всей армии. Точно...

— Мог ли я, описывая старое незабвенное гусарство, не упомянуть вас, Денис Васильевич, и лихого Бурцова — адресата ваших дивных зачашных песен и дружеских посланий. Как-никак это целая эпоха! — улыбнулся Пушкин.

Повесть, дочитанная до конца Александром Сергеевичем, была драматична, жива и прекрасна. Давыдов не скрыл своих восторгов. Дениса Васильевича, конечно, тронуло и взволновало вошедшее в текст наряду с именем лихого Алешки Бурцова и его собственное имя. А еще более, пожалуй, то, что Пушкин не убоился поставить эпиграфом к «Выстрелу» строки, принадлежавшие объявленному государственным преступником сердечному приятелю Давыдова Александру Бестужеву:

«Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел)». После расправы над декабристами, объяснявшими, как известно, свое стремление к цареубийству правом на дворянскую дуэль, строки эти, вынесенные в качестве эпиграфа к пушкинской повести, неожиданно обретали еще один, хотя и скрытый, но отнюдь не безобидный смысл. Давыдов с опасением указал на это Александру Сергеевичу:

— Ну и глаз у вас, Денис Васильевич! — живо откликнулся Пушкин. — Остер, словно сабля гусарская. Я до вас повесть сию Баратынскому

читал — он ничего не заподозрил... А вы же сразу!

В эту встречу Давыдов узнал от Пушкина и печальную новость: над «Литературной газетой» разразилась жандармская гроза. По недосмотру Дельвига в ней месяц назад появились четыре стихотворных строчки Казимира де Виня, сопровождаемые крохотной заметкой, в которой косвенно упоминалось об июльской революции. Это вызвало великий гнев в верхах. Дельвиг был затребован к генералу Бенкендорфу, который грубо наорал на него, угрожая упрятать барона в Сибирь вместе с его беспутными друзьями. Мягкий Антон Антонович не выдержал жандармского хамства и, вернувшись домой, слег в нервической горячке⁵¹. Издание газеты под угрозой запрета.

— Ох, чует мое сердце, Александр Сергеевич, что все это дело свершилось не без Ореста Сомова, — задумчиво молвил Давыдов. — Не верю я ему ни на грош, хоть убейте меня! О нем, помню, еще Рылеев с Пушциным говорили с предостережением. Этот хват, по моему разумению, либо хитроумный масон, либо агент полицейский, а может быть, то и другое разом! Держались бы от него подальше, не ровен час...

Лицо Пушкина сделалось серьезным, но он ничего не ответил.

В эти дивные, чистые, осыпанные лебяжьими снегами дни Давыдов с Пушкиным виделись часто. И у милых домоседов Баратынских, и в шумной квартире Павла Воиновича Нащокина в Большом Николо-Песковском переулке в доме Годовиковой, где лихо звенели гитары и заливался цыганский хор; и в не менее шумном собственном доме графа Федора Ивановича Толстого — Американца, на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка... Где-то в одном из этих мест Денис Васильевич читал в дружеском кругу рукопись своих «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского», вызвавшую всеобщее одобрение.

2 января 1831 года Пушкин среди прочих московских новостей сообщал об этом Вяземскому, все еще сидевшему в своем Остафьево над биографией Фонвизина:

«Денис здесь. Он написал красноречивый Eloge⁵² Раевского. Мы советуем написать ему жизнь его».

4 января, в воскресенье, Пушкин с Давыдовым, прихватив с собою двоих общих московских приятелей Николая Муханова и князя Николая Трубецкого, помчались на быстрых санках в Остафьево, в гости к Вяземскому. Сюда же к вечеру приехал и старинный товарищ Дениса Васильевича князь Борис Антонович Четвертинский с женою. Как можно судить по обрывочным дневниковым записям Вяземского, разговор

вращался в основном вокруг трех главных предметов: Франции, Польши, литературы. Пушкин шутил по поводу великого князя Константина, что он теперь «дважды вдов» — поскольку в декабре 1825 года потерял империю, а недавно — Польское королевство. Обсуждалось обнародованное воззвание Николая I, грозившего полякам, что он не положит оружия, доколе не будет наказан последний возмутитель. Сей документ сравнивали с манифестом покойного Александра I в 1812 году, где он, в свою очередь, клялся не положить оружия, доколе не будет ни единого врага на земле русской. Если тогда высочайшее слово походило на речь царя-освободителя, то в нынешнем более слышалась самоуверенность палача... Не была обойдена молчанием и весть о вооруженном возмущении в Тамбове, в котором приняли участие крестьяне большого пригородного села, местные мещане и выступивший на их стороне тамбовский батальон внутренней стражи. Усмирение восставших было произведено по высочайшему приказу с невероятной жестокостью...

Разговоры в остафьевском доме, как видим, носили откровенно противоправительственный характер. Узнай об их содержании кто-либо из полицейских осведомителей, ни хозяину, ни его гостям, конечно, не поздоровилось бы...

События в Польше меж тем разгорались. Судя по всему, там завязывалась большая война.

Денис Васильевич, продолжавший состоять по кавалерии, совершенно неожиданно для себя получил предписание военного ведомства отбыть в распоряжение Главного штаба действующей армии. Отказаться на этот раз означало навсегда распрощаться с военной службой. Кому-то в верхах было угодно, чтобы он снова непременно оказался в огне, причем как можно быстрее. Казенной бумагой обозначался почти незамедлительный срок отъезда из Москвы — 15 января 1831 года⁵³.

Особого желания начинать новую кампанию у Давыдова, конечно, не было. Под всеми благовидными предлогами он оттягивал отъезд, в глубине души надеясь, что тем временем польские события придут к мирному исходу.

Во всяком случае, Денису Васильевичу удалось задержаться в Москве более чем на месяц и даже попасть на «мальчишник» Пушкина, устроенный им 17 февраля, за день до своей свадьбы. На прощание с холостой жизнью Александр Сергеевич пригласил человек десять самых близких ему друзей в свою новую квартиру, снятую им в доме Хитрово на Арбате. Среди них, кроме Давыдова, были еще Нащокин, Вяземский, Баратынский, Варламов, Елагин со своим пасынком Иваном Киреевским и

прочие. Здесь, кстати, Денис Васильевич впервые встретился с поэтом Николаем Языковым, описавшим эту встречу в письме к своему старшему брату Петру от 25 февраля 1831 года.

Знакомство с Николаем Языковым, состоящим к тому же в дальнем родстве с Ермоловым, в будущем очень быстро перерастет во взаимную приязнь и сердечную дружбу...

Пока Денис Васильевич неторопливо готовился к отъезду, а потом, видимо, тоже не очень поспешая, следовал в сторону западной границы, русская стодвадцатитысячная армия, зараженная холерой, под командованием его старого знакомого Дибича, получившего за турецкую кампанию фельдмаршальский чин и громкое прибавление к фамилии «Забалканский», вторглась в Польшу. Под городом Гроховом поляки оказали ей упорнейшее сопротивление. 17–25 февраля здесь разгорелись кровопролитные бои, которые так и не принесли русским войскам особых успехов, хотя восставшие и отошли в сторону укрепленного варшавского предместья — Праги. Штурмовать знаменитую польскую твердыню Дибич не решался. Ходили слухи, что он вел с восставшими через каких-то иностранных посредников темные переговоры.

К Главной квартире Денис Васильевич прибыл лишь 12 марта. Новоиспеченный фельдмаршал встретил его весьма приветливо, наобещал определить его к хорошему командному месту и опять, конечно, sluкавил: выделив Давыдову отряд из трех казачьих полков, он тут же целиком подчинил его своему доверенному генералу Крейцу. О какой-либо самостоятельности в военных действиях Денису Васильевичу нечего было и помышлять. Он понимал, что его по-прежнему держат под зорким присмотром. Посему и настроение у него было отнюдь не воинственное. Еще не встретившись с неприятелем, Давыдов уже думал о том, чтобы эта злосчастная кампания побыстрее завершилась.

«Кажется, скоро все кончится, — писал он жене 19 марта 1831 года, направляясь к своему отряду, — боюсь даже, что мне не удастся подраться — я почти в этом уверен...»

«Дай Бог скорее конец! — в той же надежде твердил он Софье Николаевне 1 апреля из Высокого. — Дай Бог скорее быть в Мышецком или в Мазе возле тебя, моего единственного друга! Повторяю как тебе, так и здесь всем, что это моя последняя кампания — даю тебе в том честное слово. Пора на покой: 15-я кампания не 15-й вальс или котильон! Пора! Пора на печку!...»

Впрочем, когда ему пришлось столкнуться с неприятелем, генерал-майор Давыдов воевал храбро и лихо. Иначе он не умел.

В конце апреля в «Русском инвалиде» и в других петербургских газетах печаталось, например, вот такое сообщение с военного театра:

«Генерал-майор Давыдов, получив сведения, что генерал Дверницкий оставил во Владимире особую команду со многими офицерами и старшим адъютантом своим, для возбуждения мятежа в Волынской губернии между Бугом и Стиром, поспешил усиленным переходом к Владимиру. Перед самым городом передовые разъезды наши встречены мятежниками в числе до 1000 человек и отступили за одну версту от города. Вскоре прибыл туда Донской казачий полк командовавшего авангардом нашим, полковника Катасанова, стремительно ударил на мятежников и вогнал их в город, где они, засев в домах и церквях, открыли сильный ружейный огонь... Между тем генерал-майор Давыдов, вскакав в город с полками Киреева и Финляндским драгунским, окончательно овладел городом и довершил поражение мятежников».

За отчаянно-лихое отбитие у неприятеля города Владимира-Волынского Главная квартира представила Давыдова к ордену Святого Георгия 3-й степени, однако новый государь шел по стопам прежнего и тоже посчитал необходимым приуменьшить награду поэту-партизану: за эту удачно проведенную боевую операцию он получил Анну 1-го класса.

Кстати, после этой победы противник, страшившийся не только храброго напора Давыдова, но и громкой его партизанской славы, начал всячески чернить лихого генерала, придумывая несусветные небылицы о его жестокости и кровожадности. Особенно старался в этом плане «Польский вестник», издававшийся на французском языке. Он из номера в номер поливал грязью известного русского партизана и призывал население беспощадно расправиться с ним. На эту злобную ложь Давыдов отвечал по обыкновению своему добродушием в отношении мирных жителей и милосердием к поверженному врагу. В своем походном дневнике он записывал по этому поводу: «Поляки, почитая меня жестокосердным, трепетали при имени моем. Я с намерением рассеивал эти слухи...»

В эти дни в армии, страдавшей от эпидемии и военных неудач, все более распространялись вести о предательстве главнокомандующего фельдмаршала Дибича. Непомерное же высокомерие и заносчивость бывшего захудалого остзейского барона, прорвавшегося к высотам власти, его полнейшее пренебрежение к войскам, которыми он командовал, вызывали всеобщую ненависть к нему как со стороны офицеров, так и нижних чинов. В своих военных записках о польской войне Денис Васильевич позднее напишет об этом: «Получив начальство над армиею в Польше, что почиталось его совместниками за верх благополучия, он

возвысился над толпой, насколько веревка возвышает висельника. Под влиянием этих мыслей и прозрения, невольно запавшего в душу каждого солдата, что главнокомандующий подкуплен врагами, я написал... песню, имевшую некоторый современный успех».

Стихи «Голодный пес», направленные против Дибича, получились весьма хлесткими и желчными. В них к тому же явственно слышался современникам отзвук испанской революционной песни «Трагала, перро!» («Глотай ее, собака!»), сложенной в годы освободительной борьбы в Испании и широко распространенной в России декабристами. В «Голодном псе» Давыдов выдавал своему бывшему приятелю, как говорится, по первое число:

Ох, как храбрится
Немецкий фон.
Как горячится
Наш херр-барон.
Ну, вот и драка,
Вот лавров воз!
Хватай, собака,
Голодный пес...

Стихи эти разлетелись по армии с невероятной быстротой. Их, как ходили слухи, распевали даже польские повстанцы. Стараниями доброхотов дошли они, конечно, и до царского любимца фельдмаршала Дибича, и до великого князя Константина. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы «голодный пес» — главнокомандующий — вдруг не умер в конце мая от холеры. Та же самая участь через какое-то время постигла и оставшегося при армии великого князя. Денис Васильевич потом шутливо говорил в этой связи о том, что «не было бы счастья, да холера помогла...».

Новым главнокомандующим волею государя был назначен Иван Федорович Паскевич-Эриванский, от которого, впрочем, ожидать чего-либо доброго для себя Давыдов тоже не мог. Характеризуя его, Денис Васильевич записывал в своей походной тетради:

«Паскевич, при замечательном мужестве, не одарен ни прозорливостью, ни решительностью, ни самостоятельностью, свойственными лишь высоким характерам. Не отличаясь ни особенной твердостью духа, ни даром слова, ни способностью хорошо излагать на

бумаге свои мысли, ни умением привлекать к себе сердца ласковым обращением, ни сведениями по какой-либо отрасли наук, он не в состоянии постигнуть духа солдат и поэтому никогда не может владеть сердцами их...».

К этой записи Давыдов вскоре после неумеренно щедрых царских милостей, посыпавшихся на Паскевича после успехов в Польше, добавит и еще одну, чисто анекдотического плана:

«Однажды льстецы, говоря с отцом его, Федором Григорьевичем Паскевичем, восклицали: «Князь Варшавский — гений!» Умный старик возразил по-малороссийски: «Що гений, то не гений, а що везе, то везе».

Везло Паскевичу действительно знатно. Взять Варшаву ему удалось 26 августа 1831 года — как раз в день годовщины Бородинской битвы. В самом начале боя главнокомандующий ухитрился получить легкую контузию и сразу же выбыл из огня, в котором погибли многие генералы. Все кровопролитное и жестокое сражение провел начальник штаба генерал Толь, однако вся слава занятия польской столицы досталась единолично Паскевичу. Повезло Ивану Федоровичу даже в том, что в нужный момент у него под рукою оказался флигель-адъютант ротмистр князь Суворов, внук знаменитого полководца. Именно его избрал главнокомандующий для доставления победного донесения царю в Петербург, что как бы сближало известное взятие Варшавы Суворовым со взятием ее Паскевичем.

Все эти во многом случайные совпадения, но умело использованные и преподнесенные, произвели немалое впечатление не только на правительство, но и на русское общество. Пушкин и Жуковский откликнулись на эти события звучными стихами. Так Паскевич оказался увенчанным не только необычайно щедрыми монаршьими милостями, но и пышными поэтическими лаврами первых певцов России...

Денис Васильевич искренне радовался завершению нелегкой кампании. Она для него прошла успешно. Николай I, наказав Польшу за возмущение, отняв у нее конституцию, дарованную ей в свое время Александром I, и переведя Царство Польское на общее положение всех прочих российских губерний, торжествовал победу и не скупился на награды. Во всяком случае, боевые заслуги Давыдова были уважены на этот раз, как, пожалуй, ни в одну прежнюю войну. Кроме ордена Анны 1-го класса, врученного ему за взятие Владимира-Волынского, он за упорный бой у Будзинского леса, где ему, кстати, вновь пришлось скрестить оружие с известным еще по 1812 году противником — польским генералом Турно, получил чин генерал-лейтенанта; «за отличное мужество и распорядительность» во время горячего сражения у переправ на Висле

Давыдову был пожалован орден св. Владимира 2-й степени; и к этому за всю польскую кампанию еще прусский знак отличия «Virtuti militari»⁵⁴ 2-го класса.

Уезжая из армии, Денис Васильевич твердо знал, что закончил свою последнюю в жизни кампанию. Более воевать он не собирался. Взять снова в руки свою испытанную гусарскую саблю его теперь могла заставить лишь смертельная угроза любезному отечеству. Однако такой угрозы в обозримом будущем вроде бы, слава богу, не предвиделось.

Любовь и слава



Будьте честны, смелы и любите отечество наше с той же силой, как я любил его.

Из наказа Д. В. Давыдова сыновьям

Вошедшая в мирную колею жизнь покатила для Давыдова относительно ровно, без особых, уже давно привычных ему ухабов и рытвин.

В отставку он не вышел, продолжая числиться по кавалерии, однако вся служба его ограничивалась лишь ношением генерал-лейтенантского мундира. Военное ведомство его, к счастью, более не тревожило и ничем не докучало. Почти все свое время и внимание Денис Васильевич уделял теперь литературной работе и заботам по семейству. 13 ноября 1831 года он писал Закревскому из Москвы:

«У нас балы следуют за балами, концерты и все шумные удовольствия не прерываются. Я гляжу на них издали, ибо мой домашний спектакль, жена и дети, отвлекают меня совершенно от публичных спектаклей...»

Из друзей-литераторов в Москве в эту пору почти никого не было. Вяземский, недавно пожалованный царским указом в камергеры за деятельное участие по устройству Всероссийской промышленной выставки, жил с семейством большею частью в Остафьеве и в старую столицу наведывался редко. Баратынский, как сказывали, еще летом

отправился в имение, отстоящее в 20 верстах от Казани, где намеревался провести и зиму. Пушкин с молодою женою окончательно переселился в Петербург...

Зато в Москве, как с радостью узнал Давыдов, еще с половины мая находился Михаил Орлов, которому наконец высочайше было разрешено покинуть калужскую деревню и переехать в первопрестольную. Теперь он жил на Малой Дмитровке в доме Шубиной. Денис Васильевич, конечно, поспешил навестить семейство старого своего приятеля.

Екатерину Николаевну он нашел хоть и несколько привядшей, но державшейся с прежней величественностью и строгостью. Михаил Федорович окончательно облысел, но это, как ни странно, отнюдь не портило его вида. Пожалуй, наоборот, совершенно обнаженный череп придавал какую-то скульптурную законченность всей его атлетически-могучей фигуре, еще более подчеркнув и его красивые мужественные черты, и благородную осанку.

Натура Орлова была все тою же — кипучей и неутомимой. Энергия, клокотавшая в нем, искала выхода, и поэтому он неутомимо придумывал для себя всевозможные занятия. Михаил Федорович рассказал, что в деревенском уединении всерьез увлекся политической экономией и химией и даже изобрел новую химическую номенклатуру, отличную от общепринятой французской. Теперь он был одержим мыслью завести хрустальную фабрику, на которой думал производить средневековые стекла с картинками, кроме того, намеревался писать книгу о кредите и переустройстве финансов, для коей уже собрал горы справочного и статистического материала.

Орлов с жаром рассказывал Давыдову о своих занятиях и прожектах. Но, слушая старого друга, Денис Васильевич невольно чувствовал какую-то обреченную безвыходность его теперешних увлечений. Душа Михаила Федоровича устремлялась, конечно, совсем к другому, к чему все пути куда были напрочь закрыты...

В эту осень Денис Васильевич, истосковавшийся, как сам он говорил, по «пище духовной», внимательно просматривал вышедшие без него номера московских и петербургских журналов, с великим удовольствием зачитывался только что появившейся искрящейся живым добродушно-лукавым малороссийским юмором книгой молодого, еще неведомого ему писателя Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». И одновременно впервые собирал воедино и готовил к изданию рукопись своих стихотворений.

6 декабря 1831 года оттепельная, сумрачно-слякотная Москва, будто

солнышком, осветилась приездом Пушкина. Он прибыл пущенным не так давно велосифером, или: поспешным дилижансом, тащившимся из Петербурга до Белокаменной по непогоде пять суток, и остановился у своего доброго приятеля Нащокина, который к этой поре из Большого Николо-Песковского переулка перебрался в Гагаринский переулок в дом Ильинской. На новой квартире Павла Воиновича, человека ума необыкновенного и доброты несказанной, впрочем, было все то же самое, что и на старой, — в полном соответствии с его широко распахнутою холостяцкой натурой и постоянными переходами от «разливанного моря» к полной скудости, доходившей до того, что приходилось топить печи мебелью красного дерева. Атмосферу этого жилища Пушкин живописно обрисовывал в письме жене:

«...Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный ход. Всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет, угла нет свободного — что делать?..»

В этом шумном и дымном бедламе Давыдов и разыскал Пушкина буквально на следующий день по его приезде. Александр Сергеевич был душевно рад встрече и тут же вручил старому другу экземпляр «Повестей Белкина», отпечатанных незадолго перед тем в типографии Плюшара, сопроводив его своею простою и доброю надписью. Хотя и не без труда, они все же отыскали укромный уголок в безалаберной нащокинской квартире, где смогли уединиться от всевозможных гостей и просителей и более-менее спокойно поговорить.

Александр Сергеевич живо интересовался польской кампанией, расспрашивал дотошно о военных действиях, об умонастроениях в войсках, о лозунгах повстанцев, о Дибиче, о Паскевиче... Ему к сердцу, конечно, пришелся искренний восторг поэта-партизана по поводу стихов «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», написанных по следам последних событий.

— А князь Вяземский меня, как сказывали, за эти стихи резко порицает, — с печалью молвил Пушкин. — Толкует, что коли я решился быть поэтом событий, а не соображений, то почему бы мне теперь, после прославления взятия Варшавы, не воспеть графа Алексея Орлова за его победы Старо-Русские⁵⁵ или Нессельроде за подписание мира... А вот Чаадаев, хотя и известен своим всесветным скептицизмом, меня, наоборот, хвалит за те же стихи. — Александр Сергеевич достал письмо, писанное по-французски, и привел из него несколько строк: — «Я только что прочел

ваши два стихотворения. Друг мой, никогда вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание...» Кого слушать? — отложив письмо, с грустной улыбкой спросил Пушкин. — Ох уж эта республика словесности! За что казнит, за что милует?.. И все же вам, Денис Васильевич, в сей ситуации я особо признателен. Ваше мнение как непосредственного участника польских дел для меня воистину дороже всех прочих мнений, — и крепко и порывисто, как когда-то в юности, сжал руку Давыдова.

Потом он рассказал о том, что совершенно счастлив своею семейной жизнью, что жена его — прелесть, единственная радость и утешение. Поделится и важною для себя новостью: волею царя три недели назад он определен на службу в Государственную коллегия иностранных дел с тем, чтобы лишь числиться при месте и свободно заниматься розыскною работою в архивах и собирать материалы для большого, задуманного им труда «История Петра Великого».

— Ну что же, радуюсь за вас, Александр Сергеевич, что император наконец-то явил вам и свою милость, — сказал Давыдов. — Давно пора!

— Цену сей милости я знаю, — отвечивал Пушкин с тою же невеселой улыбкой. — Поначалу кнут державный на мне испробован — не помогло. Теперь надежды возлагаются на высочайший пряник. Авось он мне к зубам придется. Однако, как молвится, поживем — увидим...

— А я-то уж грешным делом подумал, не изменилось ли что в характере и воззрениях государя в лучшую сторону...

— С тех пор, как его величество соизволил пожелать стать моим личным цензором, я достоверно убедился, что в лучшую сторону перемениться ничего не может. Теперь я окончательно отказался ото всех иллюзий, которые питал в начале нового царствования, когда писал записку на высочайшее имя по народному воспитанию.

— Я про то ничего не слыхал, — простодушно признался Давыдов.

— Было, было такое, — кивнул головою Александр Сергеевич. — Осенью двадцать шестого года. Еще в Михайловском... Государь наш, придя к власти в пору известных потрясений, всеобщего безверия и брожения умов посчитал, что всему причиною явились недостатки в воспитании юношества. Ему, как всякому более-менее уважающему себя правителю, конечно же, показалось, что до него детей учили не тому и не так... Потому в правительственных сферах сразу с жаром заговорили о народном образовании и пересмотре школьного законодательства. Пошли в ход записки по воспитанию, услужливо писанные руководителем политического сыска на юге России графом Виттом, небезызвестным

Булгариным и прочими. Николай запросил и мое мнение о сем предмете. Я был в затруднении. Мне бы легко было написать то, что хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Тогда я полагал еще, что государь способен внять разумным и полезным советам. Движимый этим стремлением, я и написал официальную записку, в коей настойчиво проводил мысль, что корень всякого зла есть не просвещение, а отсутствие оногo. Я осудил домашнее воспитание в России как самое недостаточное и самое безнравственное... Воспитание в частных пансионах немногим лучше. Потому я и утверждал пользу хорошо поставленного государственного образования. Однако серьезною помехою ему, по моему мнению, у нас служат экзамены. Отсюда указ об экзаменах, писал я, мера слишком демократическая и ошибочная... Так как в России все продажно, то и экзамен сделался новою отраслею промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною... За мысли сии мне тогда, разумеется, хоть и в учтивой форме, но вымыли голову. Впрочем, вскоре, как обычно у нас бывает, весь шум по поводу народного просвещения и воспитания прекратился. И правитель наш занялся другими, более серьезными, по его разумению, делами, а может статьсЯ, более серьезною видимостью этих дел. Поскольку и ранее и теперь его главнейшею заботой было и остается охрана собственного самовластья...

После этого доверительного разговора Давыдов за довольно краткое время пребывания Пушкина в Москве встречался с ним еще не менее пяти раз. 11 декабря они вместе обедали у Вяземских, где, помимо их и хозяев, среди званных гостей присутствовали графиня Елизавета Петровна Потемкина, сестра декабриста Сергея Трубецкого, которая была, как известно, посаженою матерью на свадьбе Александра Сергеевича, хорошая общая знакомая княгиня Анна Васильевна Голицына (урожденная Ланская), граф Федор Толстой — Американец и не так давно возвратившийся из своего длительного путешествия по западным странам Александр Иванович Тургенев, который, кстати, и оставил запись об этом обеде в своем дневнике.

Встречались они в эти декабрьские дни и у Николая Михайловича Языкова, где Пушкин читал отрывки из своих чудных сказок, и на большом бале у обходительной и чрезвычайно образованной Веры Яковлевны Сольдан, который она давала в своем доме на Пречистенке, и на цыганском вечере у Нащокина, устроенном им в честь любезного Александра Сергеевича, — с гитарным звоном, хором, плясками, шампанским и дымом

столбом.

22 декабря Денис Васильевич был в числе близких друзей, проводивших поэта в обратную дорогу.

Долгое время после отъезда Пушкина Москва еще полнилась живыми впечатлениями и рассказами о нем, из уст в уста передавались его остроумные высказывания, шутки и пролетные словечки. Необычайно широко распространился, например, его ответ Дмитриеву во время их обеда в Английском клубе. Старейшина московских поэтов заметил за столом, что ничего не может быть страннее самого названия Московский английский клуб. Пушкин на это, смеясь, откликнулся, что есть, однако, названия еще более странные. «Какие же?» — спросил Дмитриев. «Императорское человеколюбивое общество», — ответил поэт...

Над этою утонченно-хлесткой и в то же время глубокомысленной шуткой Александра Сергеевича Давыдов от души хохотал. Сердцем своим он чувствовал, что общаться с Пушкиным, разговаривать, дышать с ним одним воздухом, наэлектризованным обаянием его гения, — значит непременно проникаться его страстью служения добру, правде и справедливости, его неиссякаемой душевной щедростью и гражданской смелостью.

1832 год ознаменовался для Давыдова выходом в свет его первого поэтического сборника, куда из всего написанного за многие годы он посчитал возможным включить лишь 39 стихотворений, отобранных им с большим старанием и тщательностью.

Книга эта вызвала добрую оценку и читающей публики, и критики. Друзья тепло поздравляли Дениса Васильевича с заслуженным успехом.

Не особо избалованный широким признанием его поэтических заслуг, Давыдов, окрыленный и радостный, уехал в свою степную Верхнюю Мазу с новым, еще более обострившимся желанием творить. В салонной благопристойной Москве ему было тесно и душно, не хватало буйного свежего ветра, ощущения воли, простора и распашки. Об этом он и писал вскоре после приезда в пензенское имение в своей «Гусарской исповеди»:

Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов — все раб молодой привычки,
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех —
Мне душно па пирах без воли и распашки.

Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной затяжки!

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты,
Где под подушками потеет столько...,
Где столько пуз затянуто в корсеты!..

Этими стихами он громогласно объявлял, что не собирается изменять пристрастиям, увлечениям и убеждениям своей бурной молодости, что гусарство для него навсегда остается символом удалого раздолья, душевного благородства и «живого братского своеволия».

В степных пензенских краях вместе с ощущением беспредельной воли и простора к Денису Васильевичу совершенно неожиданно пришла и на целых три года закружила, как ослепительно-лихая весенняя гроза, его последняя, неистовая, самозабвенная, безрассудная, счастливая и мучительная любовь...

Все случилось как-то само собой. Однажды на святочной неделе он, заснеженный и веселый, примчался за двести верст в село Богородское навестить своего сослуживца и подчиненного по партизанскому отряду, бывшего гусара-ахтырца Дмитрия Бекетова и здесь встретился и познакомился с его племянницей, 22-летней Евгенией Золотаревой, приходившейся через московское семейство Сонцовых дальней родственницей Пушкину. Живая, общительная, легкая и остроумная, с блестящими темными глазами, похожими на спелые стенные вишни, окропленные дождевой влагой, в глубине которых, казалось, таилась какая-то зазывная восточная нега, она буквально в одно мгновение очаровала славного поэта-партизана. К тому же, как оказалось, Евгения хорошо знала о всех его подвигах по восторженным рассказам дяди и была без ума от его стихов, особенно от любовных элегий, которые прекрасно читала наизусть...

Обоюдный интерес с первой же встречи обернулся взаимной симпатией. Дальше — больше. Воспламенившиеся чувства вспыхнули с неудержимой силой.

Денис Васильевич, конечно, помнил о том, что стоит на пороге своего пятидесятилетия, что давным-давно женат, что у него уже шестеро детей и репутация примерного семьянина, и тем не менее ничего не мог поделаться с нахлынувшим на него и яростно захлестнувшим все его существо любовным порывом, который по своему прямодушию он не собирался скрывать ни от любимой, ни от всего белого света:

Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и сплетней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,
Уста роскошествуют и взор Востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...
Я вас люблю затем, что это — вы!..

Любовь к Евгении Золотаревой явилась для Давыдова великой бедой и великим, ни с чем не сравнимым счастьем. Три года этой любви, как сам он говорил впоследствии, были краткими, как три мгновения, но вместили в себя три нескончаемые, заново прожитые жизни. Все, что выпало ему, он испытал полной мерой — и восторженное упоение юной красотой, и тяжелый гнев и ледяной холод оскорбленной жены; и мечтательный полет души и змеиное шипение сплетен; и головокружительное кипение страсти и горько-трезвое осознание непреодолимости суровых жизненных обстоятельств... Пожалуй, никогда прежде он не испытывал и такого бурного прилива творческих сил, как в эти три года.

«Без шуток, от меня так и брызжет стихами, — признавался он в одном из писем Вяземскому. — Золотарева как будто прорвала заглохший источник. Последние стихи сам скажу, что хороши, и оттого не посылаю их тебе, что боюсь, как бы они не попали в печать, чего я отнюдь не желаю... Уведомь, в кого ты влюблен? Я что-то не верю твоей зависти моей помолоделости; это отвод. Да и есть ли старость для поэта? Я, право, думал, что век сердце не встрепенется и ни один стих из души не вырвется. Золотарева все поставила вверх дном: и сердце забилося, и стихи явились,

и теперь даже текут ручьи любви, как сказал Пушкин. А propos⁵⁶, поцелуй его за эпиграф в «Пиковой даме», он меня утешил воспоминанием обо мне...»

Последний, неистовый и страстный роман Давыдова, конечно, с самого начала был обречен на печальную развязку. Так он и закончится. Не в силах ничего изменить в их отношениях, они будут рваться друг к другу и понимать, что соединение двух сердец невозможно, будут писать пылкие сбивчивые письма, мучиться разлукой и ревностью. Наконец Евгения в отчаянии выйдет замуж за немолодого отставного драгунского офицера Василия Осиповича Мацнева. А Денис Васильевич, как говорится в таких случаях, смиренно возвратится в свое твердое семейное лоно.

Но памятью об этой любви останется большой лирический цикл стихотворений, искренний, пылкий и нежный, посвященный Евгении Дмитриевне Золотаревой, о котором восхищенный Белинский впоследствии напишет:

«Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви Давыдова; но как благородна эта страсть, какой поэзии и грации исполнена она в этих гармонических стихах. Боже мой, какие грациозно-пластические образы!»

Светлое и протяжное эхо последней любви Давыдова благотворно отзовется и на его прозе. Именно в эти три года он напишет значительную и, по всей вероятности, лучшую часть своих военно-исторических записок, среди которых «Встреча с великим Суворовым», «Встреча с фельдмаршалом графом Каменским», «Урок сорванцу»⁵⁷, «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау», «Занятие Дрездена» и обстоятельная, острополемическая статья «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?».

Почти все эти работы, причем буквально одна за другою, появились в журнале «Библиотека для чтения», редактируемом Сенковским, и вызвали смелостью многих суждений живой интерес читающей публики, горячую похвалу друзей Давыдова и глухое недовольство верхов и официальных историографов вроде услужливо-хитроватого Александра Ивановича Михайловского-Данилевского. Кстати, надо сказать, что большинство очерков, статей и военно-исторических записок Дениса Васильевича, печатавшихся в этом журнале, выходили в свет ощутимо искореженными цензурой и произвольной редакторскою правкой.

Розово-благополучный, всегда надушенный и напояженный, с тщательно уложенными кудряшками на голове редактор «Библиотеки для чтения» Осип Иванович Сенковский, ученый-ориенталист, писатель и

журналист, печатавшийся под претенциозным псевдонимом «Барон Бромбеус», почитал себя изрядным стилистом и имел великую страсть выглаживать проходящие через него рукописи до утюжного блеску. Особенно доставалось Давыдову с его живописно-угловатым, неподражаемым слогом, и это, конечно, выводило из себя поэта-партизана. На редакторское самоуправство он сетовал Пушкину, и тот, как мог, утешал его:

— Сенковскому учить вас русскому языку, Денис Васильевич, все равно, что евноху учить Потемкина!..

Любовь, закружившая Давыдова на целых три года, нисколько не отдалила его от друзей. Связи с ними в это время, пожалуй, еще более укрепились и упрочились. Все ближе и сердечнее, например, становились его отношения с Николаем Языковым.

В 1835 году в «Московском наблюдателе» появилось новое стихотворное послание Языкова к Давыдову, получившее широкий общественный и литературный резонанс:

Славы звучной и прекрасной
Два венка ты заслужил!
Знать — Суворов не напрасно
Грудь твою перекрестил;
Не ошибся он в дитяти:
Вырос ты — и полетел,
Полон всякой благодати,
Под знамена русской рати
Горд и радостен и смел...

...Знайте ж крепость нашей силы!
Вы зачем сюда пришли?
Иль не стало на могилы
Вам отеческой земли? —
Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу
У врагов ты отнял славы,
Ты, боец чернокудрявый
С белым локоном на лбу!

Удальцов твоих налетом —

Ты их честь, пример и вождь —
По полям и по болотам,
Днем и ночью, в вихрь и дождь,
Сквозь огни и дым пожара
Мчал — с неистовой толпой,
Вездесущ, как божья кара —
Страх неожиданного удара,
И нещадный, дикий бой!

Лучезарна слава эта,
И конца не будет ей!
Но такие ж многи лета
И поэзии твоей!
Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно-живой,
Упоительный, кипучий
И воинственно летучий,
И разгульно-удалой...

Сохранится собственноручное свидетельство Николая Васильевича Гоголя, что у Пушкина, прочитавшего эти полноразличные, мощные по мысли и чувству стихи, напечатанные в журнале, на глазах выступили слезы... «У кого не брызнут слезы после таких строф? — вопрошал в раздумье Гоголь. — Стихи его, точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подниматься кверху».

Все тою же сердечной оставалась дружеская и творческая связь Давыдова с Жуковским. Из Верхней Мазы он посылал Василию Андреевичу в Петербург свои стихи, военно-исторические записки и статьи. Тот их всегда читал с великим вниманием, делал пометки на листах своими излюбленными красными чернилами, давал полезные и ценные советы. Если же иногда по занятости своей Жуковский задерживал рукопись, то сопровождал ее по обыкновению шутливо-дружеским извинительным стихотворным посланием, вроде этого, отправленного им Денису Васильевичу в 1835 году вместе с очередным собственным изданием «Для немногих», в котором он, как известно, небольшими тетрадиками в 12-ю долю листа печатал свои переводы немецких поэтов-романтиков в малом числе экземпляров, предназначенных исключительно для близких друзей:

Мой друг, усатый воин,
Вот рукопись твоя;
Промедлил, правда, я,
Но, право, я достоин,
Чтоб ты меня простил!
Я так завален был
Бездельными делами,
Что дни вослед за днями
Бежали на рысях,
А я и знать не знаю,
Что было в этих днях.
Все кончив, посылаю
Тебе твою тетрадь;
Сердитый лоб разгладь
И выговоров строгих
Не шли ко мне, Денис!
Терпеньем ополчись
Для чтенья рифм убогих
В журнале «Для немногих».
В нем *много* пустоты;
Но, друг, суди не строго:
Ведь из *немногих* ты
Таков, каких *не много*!
Спи, ешь и объезжай
Ты коней быстроногих,
Как хочешь, — только знай,
Что я, друг, как *не многих*
Люблю тебя. — Прощай!

Когда Пушкин на полученную у государя ссуду в 20 тысяч рублей издал свою «Историю Пугачевского бунта», он, хорошо зная, что ее с нетерпением ожидает Денис Давыдов, послал первый исторический труд уже признанному военному историку и поэту, сопроводив книгу красноречивым дружеским стихотворным признанием:

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне

Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и на этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

«Это для меня грамота на бессмертие», — сказал растроганный Давыдов.

В начале 1836 года Денис Васильевич порешил устроить, как он выразился, «великий праздник для души» и съездить из верхней Мазы в Петербург, где давно уже не был.

Нашелся и подходящий, весьма серьезный повод: подросли старшие сыновья Василий и Николай и надобно было разведать о возможностях помещения их в столичные учебные заведения. Кроме того, были и кое-какие издательские дела и заботы. Ко всему этому Давыдову, конечно, очень хотелось повидаться с друзьями, по которым он в своем заснеженном степном захолустье истосковался всем сердцем.

После крещения он выехал на собственной тройке в Москву, а оттуда на почтовых по новому шоссированному тракту, строившемуся 17 лет и завершённому года два назад, — в Петербург.

Северную столицу Денис Васильевич нашел заметно раздавшейся вширь, похорошевшей и чрезвычайно многолюдной.

Невольно бросилось в глаза множество военных. Куда ни глянешь — повсюду султаны, кивера, эполеты. И впрямь «военная столица», как писал о Петербурге Пушкин.

Зоркий взор Давыдова отмечал и другие новшества.

В центре Дворцовой площади вздымался ещё не виденный им Александровский столп, установленный здесь в 1834 году по проекту Огюста Монферрана и превышавший, как с восторгом писали газеты, римскую колонну Траяна и парижскую Вандомскую колонну. В зябкой вышине над этим внушительным сооружением кружился волглый снег и

залеплял вознесенную в небо черную фигуру ангела с крестом и благопристойно-лукавым лицом покойного Александра I.

По Невскому проспекту тяжело двигались, скрипя полозьями, запряженные четверкой недавно пущенные омнибусы — огромные кареты, впереди которых восседал кучер, а сзади на особом сиденье кондуктор в форменном одеянии с блестящей трубой, по знаку которой производились остановки. Пассажиры же помещались как внутри кареты, так и на империале, то бишь на крыше, где тоже были установлены скамьи. Взирать на этот новый вид транспорта Денису Васильевичу было весьма непривычно...

Первым делом по приезде в столицу Давыдов направился к Вяземскому. Тот был рад несказанно. Сговорились вечером собраться у него по-домашнему, узким кругом.

Князь Петр Андреевич тут же со слугою послал записку Пушкину:

«Приезжай сегодня к нам, будет
Наш боец чернокудрявый
С белым локоном во лбу.
22 января 1836 года.
Середа».

Тем же манером был извещен и Жуковский.

Вечер выдался чудный.

Они отужинали вместе с княгиней Верой шумно, весело и непринужденно. Все были в ударе. Особенно Пушкин. Потом удалились в кабинет Петра Андреевича для душевной дружеской беседы, затянувшейся глубоко за полночь. Разговор вращался главным образом вокруг журнала «Современник», который Пушкин вознамерился издавать с этого года, конечно, с неперменной активной помощью своих друзей.

— Без вас, други мои, — сразу же сказал Александр Сергеевич, — я этого возу не потяну. С вами же сей журнал такой разгон возьмет, никто не остановит!..

— Как раз остановить-то могут, — откликнулся Вяземский. — Нынче это проще простого. Вон «Европеец», единственно объявившийся порядочный журнал, был остановлен на третьем номере. И настоятельные хлопоты не помогли. По сему поводу и я писал Бенкендорфу, и Василий Андреевич, — он кивнул на Жуковского, — обращался непосредственно к государю с ручательством за Ивана Киреевского, и Чаадаев целый меморандум сочинил с тою же целью — и все без толку. Долго жить

приказал «Европеец» по высочайшему повелению. Как бы и наш журнал не постигла та же участь...

— Ты прав, правительство наше на каждое новое издание, не являющееся его собственностью, смотрит с одною-единственной целью: как бы его прикрыть побыстрее да поудобнее, — с задумчивостью в голосе отвечивал Пушкин. — Презиравя всякую грамотность, оно меж тем имеет большие притязания на литературу. Вы только поглядите, сколько плодится у нас казенных изданий от правительственных мест. Ныне каждое более-менее значачащее присутствие почитает долгом своим выпускать журнал, в котором прославляет прежде всего собственную деятельность. Каких только нет у нас изданий — и торговые, и горные, и соляные, и морские, и сухопутные, и русские, и немецкие... И несть им числа. И при всем этом толкуется о сбережении бумаги и казенных средств. Воистину говорят, что правительство, взяв себе все монополии, оставило за собою и монополию болтовни: приказывая всем прочим молчать, оно само не прочь говорить без умолку.

— И тем не менее, дозволение на собственный журнал тебе дано, — сказал Жуковский.

— Лишь твоими стараньями, любезный Василий Андреевич, — живо отозвался Пушкин. — И то не знаю, надолго ли? Процветать на издательской ниве ныне могут разве лишь Булгарин да Сенковский. Первый пытается уравнивать словесность с полицейским доносом и на сем пожинать барыши. Второй же торгует вразнос своею начитанностью и литературными способностями, сведя все собственные убеждения к единственной услужливой фразе: «Чего изволите-с?..»

— И все же того же Сенковского ты сам жалуешь, Александр Сергеевич, — не без некоторой язвительности, посверкивая очками, возразил Вяземский. — «Пиковую даму» свою не ему ли передал? А уж о Денисе Васильевиче и не говорю, он со своими статьями у него прямо-таки штатный автор!

— Грешен! Грешен! — с улыбкою закивал головою Давыдов, разведя руки. — Корысть попутала. Гонорары-то Осип Иванович платит самые высокие, без переторжки. И тираж «Библиотеки для чтения» баснословный, уже к шести тысячам подбирается. Журнал идет на всю Россию. Это и привлекательно для пишущей братии. Но коли теперь собственный журнал у нас будет, я, конечно, к Сенковскому отныне ни ногой. Как старый гусар переприсягаю на верность «Современнику», и слово свое буду держать твердо!

— Вот спасибо! — не удержался Пушкин и порывисто обнял Дениса

Васильевича. — Отныне считаю вас своим сотрудником и по журналу и по сердцу!

— Однако брат Денис, говоривший о притягательности писателей к «Библиотеке для чтения», во многом прав, — рассудительно молвил Жуковский. — Кое-чему у того же Сенковского нам не грех поучиться.

— Уж не цветные ли картинки мод для завлечения провинциальных барышень-подписчиц по его примеру печатать? — с живостью спросил Пушкин.

— Ну картинки можно и отставить, — в тон ему ответил Жуковский. — А вот культуру издания позаимствовать можно. Разве худо печатать журнал на хорошей бумаге, ясным и четким шрифтом? Да и аккуратность выхода номеров у Сенковского примерная — строго 1-го числа каждого месяца!..

— Тут правда твоя, Василий Андреевич, — с готовностью согласился Пушкин. — Не славному же нашему стихотворцу Измайлову, издававшему «Благонамеренный», уподобляться. У него, случалось, журнальные выпуски задерживались месяцами, а то и вовсе не выходили. Никогда не забуду, — со смехом продолжил Александр Сергеевич, — его простодушного стихотворного извинения перед читающей публикой, напечатанного в одном из задержанных номеров:

Как русский человек, на праздниках гулял,
Забыв жену, детей, не только что журнал!

Эдакие признания редактора всех трогали и веселили, однако подписке на «Благонамеренный» отнюдь не способствовали, доведя издателя, как вы знаете, до разорения... Впрочем, хватит о делах журнальных! Давайте-ка подумаем, как гостя дорогого, Дениса Васильевича, отшельника нашего степного, поладнее представить всему петербургскому литературному свету и почтить по достоинству его добрую славу — и партизанскую, и поэтическую, и военно-историческую? В кои-то веки он в столицу выбрался!..

— Пожалуй, не только литературному свету его явить надобно, — рассудил Жуковский. — Но и государю представить, и наследнику-цесаревичу... Даст бог, это к пользе Дениса Васильевича послужит. Эдакую заботу я, как водится, возьму на себя. И вечер у меня устроим в его честь с приглашением лучших столичных писателей.

— И самого его заставить почитать новые творения надобно непременно! — подсказал Вяземский.

— Право, милые мои, мне неловко даже утруждать вас столькими хлопотами, — пытался возражать взволнованный и растроганный Денис

Васильевич.

— Искреннее дружество и сердечная привязанность, которую мы к вам испытываем, не может быть в тягость! — ответил за всех Пушкин.

Друзья действительно не пожалели ни сил, ни времени для того, чтобы этот приезд Давыдова в северную столицу стал его своеобразным литературным и общественным триумфом.

«Кланяйся Жуковскому и Пушкину; вы трое сделали то, что я о кратковременном пребывании моем в Петербурге вспоминаю с душевным удовольствием», — писал Денис Васильевич Вяземскому вскоре после отъезда.

Девять дней, проведенных им в стольном граде Петра, слились в его памяти в одно непрерывное «празднество души». В эти дни он по обыкновению обедал у радушных Вяземских, а ужинал в милом семействе Пушкина.

На диво удался и вечер, устроенный в его честь в казенной квартире Жуковского на Большой Миллионной по соседству с Зимним дворцом, в доме, принадлежавшем в свое время камергеру Шепелеву, а потом приобретенном императрицей Елизаветой и считавшемся с той поры как бы дворцовым флигелем. Здесь в пятницу, 25 января, собрался весь цвет литературного Петербурга: Пушкин, Вяземский, Крылов, Плетнев, Владимир Одоевский, молодой Гоголь, Тепляков и много других. И все внимание было обращено к поэту-партизану. «Из 25 умных людей я один господствовал, все меня слушали», — делился своим восторгом по поводу этого памятного вечера Денис Васильевич в письме к жене.

Потом, как и обещал любезный Василий Андреевич, состоялось представление Давыдова государю и наследнику. Николай I был подчеркнуто любезен. Говорил о предметах малозначительных. Денис Васильевич еще раз убедился, что в его взаимоотношениях с царем ничего не переменилось и вряд ли когда переменится. Однако все равно он был благодарен Жуковскому, устроившему эту встречу, за его дружескую заботу.

После представления высочайшим особам он вместе с тем же Василием Андреевичем обошел весь Эрмитаж, осмотрел, конечно, не без волнения знаменитую Военную галерею, где среди изображений героев 1812 года, писанных знаменитым английским художником Доу, красовался и его парадный портрет в красном лейб-гусарском доломане, какого он в пору Отечественной войны уже не носил. Денису Васильевичу сразу припомнилось, как в 1822 году он получил уведомление из Главного штаба о том, что с высочайшего соизволения живописцу Доу предложено написать его портрет для Военной галереи. О там же писал и сам

художник, прося героя-партизана для этой цели прибыть в Петербург. Денис Васильевич в эту пору пребывал в самых расстроенных чувствах: ему тогда в очередной раз отказали в просьбе о переводе на Кавказ к Ермолову. Причем отказали в самой пренебрежительной форме. Будучи оскорбленным, он сослался на болезнь и позировать в Петербург не поехал. Доу же он послал копию с собственного наиболее похожего, по его мнению, портрета работы Лангера и учтивое письмо, в котором просил художника воспользоваться сим изображением вместо живого оригинала, что талантливый мастер-портретист и сделал с большим искусством...

Приезд Давыдова в Петербург, кстати, чрезвычайно заинтересовал другого известного живописца — Григория Чернецова, писавшего в эту пору по велению государя две картины военных парадов на Марсовом поле. С ним Дениса Васильевича познакомил Жуковский. Вид он имел весьма примечательный: несуразно длинная и тощая фигура в черном сюртуке, который болтался на нем, как на вешалке, столь же удлинненное, похожее на лошадиное лицо с приплюснутым, будто невзначай стесанным носом, спутанные бакенбарды на худых щеках и небольшой аккуратнококетливый кок над высоким обрывистым лбом. Более всего поражали его глаза — широко распахнутые, внимательные и грустные.

Чернецов тут же попросил разрешения у Давыдова зарисовать его во весь рост для изображения в одной из своих картин.

— Удобнее всего это исполнить в моей квартире, — предложил Жуковский, обратившись к художнику. — Завтра у меня Гоголь для близких друзей читает своего «Ревизора». Будет и наш славный поэт-партизан. Милости прошу и вас, любезный Григорий Григорьевич, к пяти часам пополудни. Совместите, как говорится, полезное с приятным: и набросок свой сделаете с Дениса Васильевича, и Гоголя послушаете. Комедия, которую он сочинил, чудо как хороша и презабавна, а в его исполнении — и тем паче!..

Вечер чтения «Ревизора» тоже останется для Давыдова незабываемым...

Удачно провел Денис Васильевич в Петербурге и свою «рекогносцировку» относительно определения на учебу своих сыновей. Посоветовавшись с друзьями и приятелями, он надумал определить старшего, Василия, в Институт путей сообщения, а второго, Николая, — в Училище правоведения. С радостью узнал, что должность главноуправляющего путей сообщения с недавних пор исполнял его старый приятель по Отечественной войне, любимец Кутузова Карл Федорович Толь. Ему же был подведомствен и интересовавший Давыдова институт.

Толь принял Дениса Васильевича с большим вниманием и радушием, обещал свое полнейшее содействие, сообщил подробные сведения о занятиях и порядках во вверенном его попечению учебном заведении.

Столь же обстоятельные справки навел Давыдов и об Училище правоведения, а заодно и о Военно-топографическом училище, которым, как оказалось, командовал его старый сослуживец еще по прусской и финской кампаниям генерал-квартирмейстер Федор Федорович Шуберт.

Поездкою в Петербург Денис Васильевич был чрезвычайно доволен по всем статьям. Вернувшись в Москву в самом начале масленицы, он писал жене в Верхнюю Мазу:

«Словом, скажу тебе — я счастлив, что побывал в Петербурге. Могу сказать, что недаром съездил и именно в этот-то год и надлежало мне быть там... Надо было видеть мою деятельность!»

Он был действительно счастлив.

По возвращении из столицы Дениса Васильевича долго не покидало чувство окрыленности и кипучего ощущения полноты жизни. Он еще раз воочию убедился в любви и доверенности своих лучших друзей, особенно Пушкина. Искренние беседы с глазу на глаз в его доме с достаточною ясностью выявили и единомыслие, и взаимно притягательную силу их родственных душ.

Давыдов вновь вспоминал, как взволновало и растрогало Александра Сергеевича сибирское письмо, которое он привез ему в подарок из Москвы. Это письмо было адресовано Екатерине Орловой, бывшей Раевской, и писано ее сестрою Марией Волконской из далеких Петровских заводов, где томились «во мраке заточения» осужденные декабристы. В нем были строки о «Повестях Белкина», каким-то чудом дошедших до не сломленных духом каторжников, и Денис Васильевич, прочитавший это послание у Орловых, тотчас же решил переписать его для Пушкина. В письме, в частности, говорилось:

«Повести Пушкина, так называемые Белкина, являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. Он открыл новые пути...»

Ясные голубые глаза Александра Сергеевича, прочитавшего эти слова, повлажнели и подернулись дымкой боли и грусти, пальцы и губы его дрожали.

— Вот она, наша с вами истинная критика и признание, — сказал он глухим, прерывающимся голосом. — Никогда не забуду, Денис Васильевич, сего вашего бесценного подарка!..

Живым продолжением их сердечных петербургских встреч явилась переписка, которая оживилась в эту пору с необыкновенной силой.

Еще в Москве Давыдов получил удивительно теплое письмо Пушкина, в котором он впервые за долгие годы знакомства и дружбы перешел с несколько церемониального вы на сердечное ты. Об этом Денис Васильевич давно просил его, однако Александр Сергеевич, благоговевший перед опытом и летами славного поэта-партизана, все никак не решался одолеть эту невидимую, но тем не менее как бы разделяющую их возрастную грань. И теперь наконец она была преодолена. Кроме всего прочего, Пушкин хотел обговорить и материальную сторону участия Давыдова в «Современнике». В этих делах он был, как известно, чрезвычайно заботлив и щепетилен.

2 марта 1836 года радостный Денис Васильевич писал ему из Москвы:

«Твое **ты** сняло мне двадцать пять лет с костей и развязало мне руки — по милости его я молод и свободен. Теперь слово о журнале: Смирдин давал мне по 300 р. за печатный лист с тем, что статьи, помещаемые им в «Библиотеке для чтения», я имел право печатать в особой книжке. Хочешь так? Или как тебе угодно, я с тобой на все согласен, только уведошь.

Жаль, что не дождусь тебя в Москве. Я сегодня еду отсюда в мои степи. Баратынский хочет пристать к нам, это не худо; Языков верно будет нашим; надо бы Хомякова завербовать, тогда стихотворная фаланга была бы в комплекте.

Пожалуйста, пробеги статью⁵⁸, доставленную тебе Шеншиным⁵⁹, и переправь, что нужно; одолжишь.

Боюсь за цензуру. Хотя Данилевский мне хороший приятель, но, читав мою статью, он что-то морщился. Увидим: смелым бог владеет... Прости. Пиши мне: Симбирской губернии, Сызранского уезда в село Мазу».

Из Верхней Мазы Денис Васильевич вскоре помчался к Языкову в его симбирскую деревню с единственной целью — «завербовать» и его для участия в «Современнике». Николай Михайлович с готовностью откликнулся служить своей звонкоголосой музой новому журналу и славному поэтическому братству.

Денис Васильевич с удовлетворением извещал об этом Пушкина, живо интересовался журнальными делами:

«Я был у Языкова. — Он готов и поступает под знамена твои. Уведошь ради бога, пропустит ли цензура мою статью? Если будут споры на какие-нибудь слова или даже целые периоды — я уполномочиваю тебя вымарывать, изменять во всей статье что твоей душе угодно. В случае же, что всю статью остановят на таможне просвещения, то дай знать — я

примусь за работу и другую пришлю тебе.

Нет ли прижимки журналу твоему от наследника Лукулла?⁶⁰ Я знаю, что «Наблюдатель» охает; было замечание Строганову на счет какой-то статьи Погодина. Считаю на меня — я под твоим начальством лихо служить буду. Кланяйся Вяземскому и Жуковскому и повергни меня к стопам жены своей».

...Подумав немного, Денис Васильевич сделал к этому письму доверительную приписку и привел только что сочиненные в дальней дороге стихи, явившиеся печальным отзвуком его еще, видимо, не до конца отбушевавшей любви:

«Вот что я дорогой мысленно сложил, только прошу не печатать:

Я помню — глубоко,
Глубоко мой взор
Как луч проникал и рощи и бор
И степь обнимал широко, широко.
Но зоркие очи
Потухли и вы...
Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!

Пожалуйста, не давай никому даже списывать. — Есть причина этому».

Вскоре пришло известие от Александра Сергеевича, что статья Давыдова «Занятие Дрездена», на которую он возлагал столько надежд, понесла великий урон от военно-цензурного комитета. Все, что касалось резких описаний столкновения с покойным генералом Винценгероде, было из нее вымарано по личному приказу военного министра Александра Ивановича Чернышева.

Денис Васильевич остро переживал искажение одной из своих любимых статей, однако вида старался не показывать, а более успокаивал Пушкина:

«Правда твоя, видно, какая-нибудь особого рода немецкая ведьма горой стоит за Дрезден и за Винценгерода. Вот другой раз, как я в дураках от этого проклятого городишка, и другой раз, как Чернышев спасает Винценгерода: первый раз от французских жандармов, которые везли его на заклятие во Францию; в другой раз от анафемы, воспетой мною поганой его памяти. Право, это замечательно!.. Надо, чтобы в министерстве его, 23

года после, я вздумал потешиться над человеком, которого он продолжает прикрывать своею егидою и за пределами гроба...

Как бы то ни было, а эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею цензуры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников — ура! — и снова в атаку на военно-ценсурный комитет. Так я делывал в настоящих битвах, — унывать грешно солдату — надо или лопнуть, или врубиться в паршивую колонну Цензуры... Между тем — не забудь без замедления прислать мне чадо мое (рукопись), потерпевшее в битве; дай мне полюбоваться на благородные его раны и рубцы, полученные в неровной борьбе, смело предпринятой и храбро выдержанной, — я его оставлю дома до поры и до время. Это мне приводит на память Берниса, который был в том же почти отношении к кардиналу Флери, как я к Чернышеву. Флери с гневом сказал Бернису: *Tant que je vis, monsieur, vous n'imprimerez pas ce mandement*⁶¹, тот ему отвечал: *Monseigneur, j'attendrai*⁶². Если успею, то к 2-му номеру, а если не успею, то к 3-му пришлю тебе такой эскадрон, который пройдет через военную цензуру нос кверху, фуражка набекрень и с сигаркою в зубах — как, бывало, я хаживал в трактирах и борделях мимо общества приказных. Пожалуйста, присылай рукопись искаженную; умираю, хочу видеть ее в этом положении. Прости».

Пушкин, только что вернувшийся из Москвы в Петербург, отвечал незамедлительно⁶³.

«Статью о Дрездене не могу тебе прислать прежде, нежели ее не напечатают, ибо она есть ценсурный документ. Успеешь наглядеться на ее благородные раны.

Покамест благодарю за позволение — напечатать ее и в настоящем виде. — А жаль, что не тиснули мы ее во 2-м № «Современника», который будет весь полон Наполеоном? Куда бы кстати тут же было заколоть у подножия Вандомской колонны генерала Винценгероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его побери.

Вяземский советует мне напечатать **твои очи**⁶⁴ без твоего позволения — я бы рад, да как-то боюсь. Как думаешь — ведь можно бы — без имени?..

От Языкова жду писем».

Живой, дружеский, откровенный эпистолярный диалог Давыдова и Пушкина, преодолевая чуть ли не полторы тысячи пропыленных,

ухабистых почтовых верст, продолжался.

Почти все, что теперь выходило из-под пера Дениса Васильевича, он спешил послать своему любезному другу Александру Сергеевичу. Едва, например, написал он полушутливую стихотворную челобитную, адресованную председателю Строительной комиссии в Москве Александру Александровичу Башилову с предложением купить в казну его огромный дом на Пречистенке, который он задумал поменять из-за непосредственной близости к нему пожарного депо, то немедленно отправил это веселое прошение Пушкину:

«7 июня — Симб. губ. Сызран. уез. С. Маза.

Посылаю тебе, любезный друг, стихи, сейчас мною написанные. Я об них могу кричать «стихи горячие», как блинники кричат «блины горячие». Это «Челобитная» Башилову. У меня есть каменный огромный дом в Москве, окно в окно с пожарным депо. В Москве давно ищут купить дом для обер-полицмейстера — я предлагаю мой — вот все, о чем идет дело в моей «Челобитной». Ты можешь напечатать ее в «Современнике». Только повремени немного, то есть до 3-го номера»⁶⁵. Главное дело в том, чтобы «Челобитная» достигла своей позитивной, а не поэтической цели...»

Однако последние любовные свои стихи, присланные в одном из писем Пушкину, Денис Васильевич покуда упорно не хотел видеть в печати:

«Очи» не позволяю тебе печатать ни за что, — писал он в письме от 7 июля Александру Сергеевичу, — даже без подписи. «Челобитная» к твоим услугам. Не хочешь ли двух эпиграмм?.. Посылаю тебе еще мадригал — подраженный Волтеровскому: мне противны первые четыре стиха, переломай их по-своему и пусти в ход с подписью моею или нет, как хочешь...»

Когда на 1-й номер «Современника» ополчилась «Северная пчела», Денис Васильевич тут же кинулся в бой на его защиту и послал Пушкину хлесткую эпиграмму на Булгарина со своею припиской:

«В «Пчеле» есть ругательство на «Современник». По слогу, кажется, Булгарин машет лаптою, нельзя ли махнуть его ладонью по ланите, как некогда ты махнул его в «Литературной газете»...

Во 2-м номере «Современника» с небольшим предисловием, написанным Пушкиным, появилась часть «Записок» воевавшей в 1812 году под именем корнета Александрова кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, привлекая к себе внимание читателей.

Денис Васильевич тут же откликнулся на эту публикацию в своем письме Александру Сергеевичу от 10 августа:

«Дурову я знал, потому что я с ней служил в арьергарде во все время отступления нашего от Немана до Бородина. Полк, в котором она служила, был всегда в арьергарде, вместе с нашим Ахтырским гусарским полком. Я помню, что тогда поговаривали, что Александров женщина, но так, слегка. Она очень уединена была и избегала общества столько, сколько можно избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым. Нам хотелось напиться молока в избе (видно, плохо было, что за молоко хватились — вина не было капли). Там нашли мы молодого уланского офицера, который, только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: это Александров, который, говорят, женщина. Я бросился на крыльцо — но он уже скакал далеко. Впоследствии я ее видел во фронте, на ведетах, словом, во всей тяжелой того времени службе, но много ею не занимался, не до того было, чтобы различать, мужского или женского она роду; эта грамматика была забыта тогда».

Тут же Денис Васильевич указал на некоторые противоречия и недосмотры, которые он опытным зорким глазом усмотрел в «Записках» Дуровой. Потом побранил Сенковского за его бездумно-шутовское обращение с рецензиями на книги. А заодно сообщил о своих домашних новостях:

«Я еду или... переселяюсь со всей семьей в Москву, в сентябре, — или, лучше сказать, жена едет со всем моим народишком, а я остаюсь еще в степях для рысканья за зайцами, лисицами и волками и не прежде буду в Москву, как в конце октября; пиши ко мне туда и адресуй письма на Пречистенку в мой собственный дом, бывший Бибиковой. Прости».

Вскоре к Денису Васильевичу пришло августовское письмо Пушкина, в котором он сетовал на нестерпимую лютость цензуры...

Подобные письма, по понятным причинам, конечно, пересылались не почтой, а с надежной оказией.

Оставались считанные месяцы жизни Пушкина, но оба они, не ведая о том, целиком были заняты общими заботами о журнале, с нетерпением ждали выхода каждого номера «Современника».

13 октября 1836 года Давыдов писал Пушкину:

«Я совсем переселился в Москву; живу в собственном доме на Пречистенке (бывшем доме Бибиковой). Слышу, что вышел 3 номер «Современника», в котором и «Партизаны» мои и Башилов, — пожалуйста, присылай скорее этот номер, дай взглянуть на моих детищ; да не забудь прислать и пострадавшего в битве с ценсурой, ты давно мне это обещал;

мне рукопись эта и потому нужна, что нет у меня черновой; черт знает куда делась...»

В это время в обществе уже бушевала буря, вызванная напечатанием в № 15 журнала «Телескоп» Надеждина одного из «Философических писем» Чаадаева. «Басманный философ», как называли Петра Яковлевича в Москве по месту жительства его на Новой Басманной, при всей его блестящей начитанности а беспощадной логичности мышления отличался чрезвычайной крайностью воззрений.

Отвергая со справедливым пафосом духовную нищету самодержавия и гневно протестуя против «жалкой действительности», автор «Философического письма» обрушился и на русский народ, обвиняя его в том, будто он явился в мир «без наследства», лишен «развития собственного, самобытного», не породил «ни одной великой истины» и потому «не приобщил ни одной идеи к массе идей человечества». Даже декабризм, к которому он сам тяготел когда-то в молодости, вызвал у него лишь прямое и жестокое осуждение.

Пушкин, глубоко оскорбленный, как и многие другие передовые и мыслящие люди в лучших своих патриотических чувствах, споривший с Чаадаевым и ранее, вступил с ним в блистательную эпистолярную полемику. Поддержав его в критике современной общественной жизни, поэт непримиримо выступил против огульного и высокомерного охаивания России, ее народа, ее истории:

«Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

В этом непреложном споре Давыдов, конечно, всем своим горячим и возмущенным сердцем был на стороне Пушкина. Смутили Дениса Васильевича не только многие положения «Философического письма», но и то, что поведение автора после обрушившегося на него и на издателей «Телескопа» официального гонения было отнюдь не безупречным. 23 ноября Давыдов писал об этом Пушкину из Москвы:

«Ты спрашиваешь о Чаадаеве? Как очевидец я ничего не могу тебе сказать о нем; я прежде к нему не ездил и теперь не езжу. Я всегда считал его человеком начитанным и, без сомнения, весьма умным шарлатаном в непрерывном пароксизме честолюбия, — но без духа и характера, как белокурая кокетка, в чем я не ошибся. Мне Строганов рассказал весь разговор его с ним; весь, — с доски до доски! Как он, видя беду неминуемую, признался ему, что писал этот пасквиль на русскую нацию

немедленно по возвращении из чужих краев, во время сумасшествия, в припадках которого он посягал на собственную свою жизнь; как он старался свалить всю беду на журналиста и на цензора, — на первого потому, что он очаровал его (Надеждин очаровал!) и увлек его к позволению отдать в печать пасквиль этот, — а на последнего за то, что пропустил оный. Но это просто гадко, а что смешно, это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным знаменитые друзья его, ученые Balanche, Lamene, Guisot и какие-то немецкие Шустера — метафизики! Но полно; если б ты не вызвал меня, я бы промолчал о нем, я не люблю разочаровывать; впрочем, спроси у Тургенева, который на днях поехал в Петербург, он, может, расскажет происшествие это не так...»

В эти самые дни Давыдов, дыша полемическим запалом, написал свою сразу ставшую известной «Современную песню», где наотмашь, погусарски, хлестнул разящей насмешкой по разного рода высокопарным болтунам, которые свои замашки векового дремучего барства не прочь прикрыть модными либеральными словесами:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок
Корчит либерала.

Деспотизма сопостат,
Равенства оратор, —
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций

Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей...

Знавший цену истинному либерализму, не убоившемуся с оружием в руках выступить против самодержавия на Сенатской площади, а потом безропотно и гордо нести свою тяжкую долю на сибирских рудниках, Давыдов клеймил новоявленных ряженных, для которых чистые покровы свободы нужны были лишь для того, чтобы покрасоваться на публике в этом привлекательном одеянье.

В своем прямодушии и полемическом задоре Давыдов, может быть, где-то, как говорится, и хватил через край. Но это, пожалуй, можно было понять: уязвленный в лучших чувствах воина, патриота и гражданина, он в соответствии со своей кипучей натурой не очень заботился о выборе выражений, поскольку вступался в данном случае за самое святое — за свою родину, за свой народ.

А потом был беловато-серый, придавленный низкими тучами, ничем не примечательный февральский день 1837 года.

Денис Васильевич, вставший по солдатской привычке рано, с утра сидел в своем кабинете и работал над новой статьей для «Современника», навеянной последними европейскими событиями. Она называлась «Мысли при известии о неудачном предприятии на Константину французских войск в 1836 году». Она опять получалась острой, полемической и, конечно, злободневной. Денис Васильевич снова сражался в ней с клеветниками и хулителями России:

«Кто из нас не заметит явной и всеобщей ненависти к России чужеземных историков, журналистов и большей части писателей? Везде, где коснутся они России, ее государей, вождей, народа и войска, везде возводят на них клеветы. Не благоразумнее ли поступили бы враги наши, если б к общему ополчению гортаней и перьев присоединили бы и логику...»

Дверь неожиданно распахнулась. В кабинет прямо в заснеженной шубе вошел Баратынский, глядя куда-то мимо него покрасневшими, должно быть, ничего не видящими глазами. Он был без шапки: то ли так и вышел из дому, то ли обронил где-то дорогой. Со спутанных волос его на лицо стекала ручейками талая вода, мешаясь со слезами.

— Пушкин... Пушкина нет более!.. — выдохнул он и протянул Денису Васильевичу скомканный и отсыревший лист «Литературных прибавлений

к «Русскому инвалиду».

Еще не поняв и не осмыслив страшного известия, Давыдов машинально расправил газетный лист. Взор его упал на краткую заметку, обведенную рамкой:

«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое Русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!...»

Строчки затуманились и, качнувшись, поплыли перед глазами...

Горе было чудовищным, невероятным, необъяснимым.

Лишь на следующий день Давыдов нашел в себе силы, чтобы написать в Петербург Вяземскому:

«Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и который был при последних минутах его, скажи мне, ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами обоего пола. Пожалуйста, не поленись и уведомя обо всем с начала до конца, и как можно скорее.

Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России! *Uraiment une calamite publique!*⁶⁶ Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертью на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это бог знает какое несчастье! А Булгарины и Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти.

Денис».

Вяземский откликнулся пространным письмом от 9 февраля 1837 года, в котором довольно подробно изложил и саму несчастную дуэльную историю, и события, ей предшествующие. Писал он и о всенародном горе:

«Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нем... Участие, которое было принято публикою и массою в этом несчастье, могло бы служить лучшим возражением на письмо Чаадаева, и Чаадаев, глядя на общую скорбь, нанесенную несчастьем одного лица,

должен был бы признаться, что у нас есть отечество, есть чувство любви к отечеству, есть живое чувство народности...»

Князь Петр Андреевич передавал и последний пушкинский наказ своим друзьям по жизни и соратникам по российской словесности:

«...Более всего не забывайте, что Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприкащикам, завещал священную обязанность оградить имя жены его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна, и мы очевидцы всего, что было проникнуто этим убеждением; это главное в настоящем положении.

Адские козни опутали их и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их...»

Смерть любезного Александра Сергеевича настолько потрясла и поразила Давыдова, что он слег. Появились глухие ноющие боли в груди, сопровождаемые удушьем. Ему не хватало воздуха, и потому окна в его кабинете, несмотря на холод, почти все время держали открытыми. Врата определяли признаки нервической астмы.

Лишь почти через месяц Денис Васильевич смог ответить Вяземскому:

«Я все был нездоров, мой милый Вяземский, и только что теперь собрался писать к тебе и благодарить тебя за письмо твое... Веришь ли, что я по сию пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня!..»

Давыдов приходил в себя медленно. Он с тоскою понимал, что утрата Пушкина для него не может быть восполнена ничем и никогда. В душе с его гибелью образовалась какая-то зияющая пустота.

В этот несчастный год к великой печали, связанной с кончиною Пушкина, добавились и другие печали.

С Кавказа пришло горькое известие, что во время высадки русского десанта на мысе Адлер в рукопашной схватке с горцами пал старый добрый приятель Давыдова и прекрасный писатель Александр Бестужев-Марлинский, тело которого так и не было найдено...

Потом осенью на 77-м году жизни скончался милейший и добрейший Иван Иванович Дмитриев, сильно скорбевший по Пушкину и беспрестанно повторявший в последнее время: «Думал ли я дожидаться такого с ним катастрофа!.. Думал ли я пережить его!..» Пережил он своего любимца, как оказалось, совсем ненадолго...

А жизнь меж тем продолжалась.

Подошла пора отвозить старших сыновей в Петербург для устройства их на учебу. Денис Васильевич отправился с мальчиками в дорогу. Снова он волновался и хлопотал, однако дело вроде бы обрешилось более-менее удачно. Младшего, Николеньку, он, как и предполагал, успешно пристроил

в Училище правоведения, где почетным попечителем числился добродушный и рассеянный принц Петр Георгиевич Ольденбургский. Спервенцем же, Василием, все вышло ладно не до конца: экзамен в Институт путей сообщения он выдержал, но лишь по 5-му классу. А отцу хотелось, конечно, чтобы он проходил не иначе как классом или двумя старше. Поразмыслив, Денис Васильевич, порешил оставить Василия покуда у своей сестры Александры Васильевны Бегичевой, жившей с семейством своим в эту пору уже в Петербурге, с тем чтобы сын позанимался под ее присмотром с расторопными и хваткими столичными репетиторами и вновь бы держал экзамен в тот же самый институт.

Занятый этими хлопотами, Давыдов почти не бывал у своих друзей. Петербург без Пушкина казался ему пустынным, неприветливым и зябким. Едва завершив дела, он поспешил из него уехать.

Тяжело переживаемое горе и семейные хлопоты, видимо, послужили причиной тому, что Денис Васильевич оказался в стороне от отмечаемых в этом году торжеств по случаю 25-летия победной войны 1812 года. В самый разгар церемониальных смотров и парадов он уехал со всем семейством в Верхнюю Мазу в надежде на свое излечение свежим и сухим степным воздухом.

Но память, конечно, возвращала его к незабытым событиям, немеркнущая слава которых озаряла и эти дни. И вновь перед мысленным взором Давыдова представляли герои той великой и многострадальной години, живые и павшие, и первую среди них ему, конечно, виделась величественная и гордая фигура князя Петра Ивановича Багратиона. Вспоминалась и сиротливо затерянная в неизвестности его могила возле старенькой, покосившейся часовни в Симах Владимирской губернии, куда он однажды ездил, чтобы поклониться праху своего любимого командира. Разве так должен быть упокоен один из храбрейших полководцев отечества, верный ученик и соратник Суворова и Кутузова? Место его праха лишь там — на поле его славы и бессмертия, на Бородинском поле!

30 октября 1837 года Давыдов написал взволнованную и обстоятельную записку на имя продолжавшего пребывать в фаворе у государя брата Михаила Орлова — председателя государственного совета, генерал-адъютанта, графа Алексея Федоровича Орлова, — в которой и высказал предложение о достойном перезахоронении праха и увековечивании памяти князя Багратиона. Вскоре стало известно, что государь, с которым всеподданнейше снесся Орлов, соизволил к ходатайству генерал-лейтенанта Давыдова отнестись благосклонно. Дело, как говорится, двинулось по державным инстанциям...

Оставалось — ждать.

Весь 1838 год Денис Васильевич прожил в Верхней Мазе почти безвыездно.

Здоровье то будто бы налаживалось, то вдруг снова ухудшалось. «Мучили ревматизмы», — как писал он в письмах к друзьям. Литературная работа что-то застопорилась. Стихи на ум не шли. Да и проза едва продвигалась. Записки о польской войне, начало которых он так живо обсуждал с Пушкиным, лежали незавершенными. Прервалась где-то на середине и полемическая статья, которую Давыдов писал для «Современника» в тот роковой февральский день, когда вдруг со страшною вестью пришел Баратынский... Лишь в свою памятную потаенную тетрадь он продолжал делать иногда краткие, иногда пространные записи о примечательных, на его взгляд, фактах, событиях, людях. Большею частью эти записки касались Алексея Петровича Ермолова, который хотя и был призван царем в столицу, но продолжал пребывать в высочайшей немилости, поскольку не собирался менять своих прежних убеждений. Это как раз подчеркивал и особо отмечал целиком единодушный со старшим двоюродным братом Давыдов:

«...Государь сказал ему: «Я хочу вас всех, стариков, собрать около себя и беречь, как старые знамена», — это были лишь слова... После этих довольно милостивых слов последовало полное неблаговоление к Ермолову, которому предложили место председателя в генерал-аудиториате... Ермолов отказался под следующим предлогом: «Единственным для меня утешением была привязанность войска; я не приму этой должности, которая бы возлагала на меня обязанности палача».

Денис Васильевич ясно понимал, что годы шли, а в отношениях государя с теми, кого он считал сопричастными с декабристской крамолой, ничего не менялось. Пример тому — и сами декабристы, которым Николай I мстительно не желал никак облегчить их несчастную участь, Ермолов, Пушкин... Да, в конце концов, и он сам, пренебрежительно оставленный не у дел, несмотря на все его заслуги перед отечеством и российской словесностью.

Осознавать все это было горько.

И в то же время росла и крепла гордость за то, что, не пользуясь милостью высоких особ на протяжении всей службы своей, а, наоборот, терпя лишь постоянные обиды и всевозможные препоны, он тем не менее никогда не унизил себя ни подобострастьем, ни лестью, ни лукаво-злой завистью. Всем, чего он сумел достичь в этой жизни, он был обязан лишь

себе самому и своим добрым, столь же бескорыстным друзьям.

Обо всем этом Денис Васильевич и писал в своих письмах к старшему сыну Василию, который, будучи оставлен в Петербурге, вдруг вознамерился не излишне обременять себя учебой в институте либо в другом учебном заведении, а, избрав наиболее краткий путь к воинской службе, поступить сразу в гвардейские юнкера. Отец не стал перечить и ломать его волю, но, однако, посчитал долгом своим дать неопытному и неискушенному юноше письменные родительские наставления по приобретению и воспитанию в себе тех основных черт характера, которые, по его мнению, и формируют облик честного и благородного человека, гражданина и патриота. Этим письмам суждено было стать своеобразным нравственным наказом не только старшему, Василию, но и прочим сыновьям Дениса Васильевича, а, может быть, и всему русскому юношеству, которое виделось Давыдову уверенно идущим по пути славы и чести, проложенному их отцами.

В первом письме он писал:

«Одна из главных черт моего характера — откровенность, следовательно, с тобой, милый Вася, я по характеру и по долгу отца обязан быть откровеннее, чем с другими... Я мог и не должен был соглашаться на просьбу твою, потому что я остаюсь при своем мнении, что поступление в артиллерийское училище принесло бы тебе несравненно более пользы... Теперь меня беспокоит уже недостаток познаний, с которым ты вступишь на военное поприще... Я с самой нежной молодости своей не переставал твердить и толковать тебе, что ни самый красивый мундир, ни самый высокий чин не дают познаний, необходимых для человека, желающего быть полезным своему отечеству; но приобретшему обширные сведения легко с честью и со славою носить всякий мундир и быть облеченным в самый высокий сан...Помни любимую пословицу мою: «Береги платье снову, а честь смолоду...» Вспомни сказанное мной в «Партизанском дневнике»: «в нашем ремесле (военном) лишь тот выполняет свои обязанности, который переступает через черту их». Мой век уже короток, мне приходится считать жизнь не годами, но месяцами. Ты едва вступаешь на поприще жизни; на пути твоём встретятся тебе много обстоятельств, для которых будут необходимы добрый запас сведений и честное имя. Ты теперь в эпохе, во время которой всякий человек запасается всем этим, а потому пользуйся этим золотым временем...»

В другом письме:

«Ради бога, милый друг, старайся быть тверд в твоих правилах, не поддавайся внушениям легкомысленной молодежи, которая будет стараться

сбивать тебя с избранного пути; я уверен, что по чувствам, которые я старался вселить в тебя, по примеру моему, по крови, которая течет в твоих жилах, путь, тобою избранный, — прямой и честный. Следуй неуклонно по нем и не гляди по сторонам, где бывают болота с лягушками... Наблюдай бдительно за собой, старайся направлять движения души сообразно с правилами чести...»

В третьем письме:

«...В течение сорокалетнего, довольно блистательного моего военного поприща я был сто раз обойден, часто притесняем и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловредными, но это было дело судьбы; мое же дело заключалось лишь в том, чтобы служить ревностно, не глядя по сторонам. Я никогда не сравнивал судьбы своей с судьбою других... И потому в итоге моей службы почитаю себя более других счастливым. На мой удел пала, могу сказать без хвастовства, не дурная репутация, на обошедших меня по службе — чины и ленты. Я с ними, конечно, не поменяюсь. Вот тебе живой пример перед глазами, взирай на него и руководись им, как попутной звездой, и ты будешь счастлив, если не наградой людей, то наградой своей совести, что, в миллион раз сладостнее и восхитительнее; с ней легче живется и дышится, чем в чинах и лентах, но с душою порочною и недостойными делами».

Все, чем дышал он сам, что исповедовал в течение всей своей бурной и переменчивой жизни, Давыдов отдавал в дорогу своим сыновьям...

Лишь в начале 1839 года Денис Васильевич узнал, что торжественное перенесение праха Багратиона высочайше утверждено на нынешнее лето. Он был несказанно рад этому известию и, конечно, волновался о самой траурно-парадной церемонии, быть при которой ему очень хотелось.

20 марта 1839 года он писал Алексею Петровичу Ермолову из Верхней Мазы в Петербург:

«Перемещение праха кн. Багратиона требует заблаговременного распоряжения и предписаний в те места, которые в этом деле должны несколько соучаствовать и коим нужно будет употребить несколько времени для приведения в исполнение предписанного. Места эти — синод и Владимирское губернское правление. Сверх того, если честь его перемещения возложена будет на меня (и на которую, впрочем, я имею все право и потому, что я был более времени, чем другие, адъютантом князя, и потому, что я подал мысль о перемещении его праха и хлопочу о том), то мне нужно будет получить на сие предписание военного министра заблаговременно, дабы иметь время распорядиться по сему случаю».

Он снова ждал и очень волновался. Наконец Денис Васильевич получил извещение управляющего инспекторским департаментом П. А. Клейнмихеля о том, что государь высочайше повелел перевезти прах Багратиона на Бородинское поле в сопровождении генерал-лейтенанта и кавалера Давыдова под почетным конвоем одного из расквартированных во Владимирской губернии кавалерийских полков. Траурному кортежу предписывалось прибыть к Бородинскому полю 22 июля, где и должно в этот день состояться торжественное перезахоронение праха полководца у подножия недавно сооруженного памятника Славы «с положением на этом месте мраморной и чугунной досок с приличною надписью».

Денис Васильевич тут же, ясным делом, начал составлять проекты этой «приличной надписи»: «Князь Багратион Петр Иванович... закален в боевом огне на приступах Очакова и Праги... Око и десница Суворова в Италии... Щит чести русского оружия в Пруссии, Финляндии, во Фракии и России... Враг врагу противившемуся, друг побежденному... Любовь и надежда Русского солдата везде и всюду... В роковой день священного Бородинского боя он пал... Здесь покоится прах его. Благословите!..»

Давыдов, узнав, что для почетного конвоирования отряжен Киевский гусарский полк, для уточнения деталей церемонии сносился с командиром 6-й легкой кавалерийской дивизии генерал-лейтенантом Гельфрейхом, в чьем подчинении находился этот полк, а также с другими воинскими начальниками, уточнял маршрут движения и произведение всех торжественных эволюций. Он снова был возбужден, порывист и деятелен.

Однако этого торжества, к которому он так готовился, увидеть ему было не суждено...

22 апреля 1839 года около 7 часов утра на 55-м году жизни Денис Васильевич скоропостижно скончался апоплексическим ударом в своем имении Верхняя Маза.

Жуковский на эту скорбную весть отозвался искренними печальными стихами:

И боец — сын Аполлона,
Мнил он гроб Багратиона
Проводить в Бородино, —
Той награды не дано:

Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!

Как в нем друга жаль друзьям!..

И все-таки по невероятному стечению обстоятельств они вновь встретились уже после смерти — прославленный полководец Багратион и его верный боевой адъютант, лихой гусар, поэт и партизан Денис Давыдов, которого князь Петр Иванович с любовью называл своим меньшим братом. Когда прах Дениса Васильевича в соответствии с давним обычаем по истечении 6 недель содержания в склепе под алтарем Верхнемазинской церкви был привезен в Москву для захоронения в Ново-Девичьем монастыре подле родовых могил его предков, в этот самый день первопрестольная столица под печальный гул колоколов встречала траурный кортеж, сопровождавший покрытый боевыми знаменами и цветами гроб Багратиона...

...А в далекой степной Верхней Мазе в приземистом и длинном барском деревянном доме под окнами кабинета, где с размаху остановилось сердце Дениса Васильевича, хлопотали, ставя на крыло подросших птенцов, веселые ласточки, за которыми он так любил следить в минуты раздумий, катилось по бесконечно-просторному безоблачному небу знойное солнце, а за припущенными шторами в рабочей комнате поэта-партизана все было точно так же, как при нем. Софья Николаевна, которой выпадет более чем на 40 лет пережить своего мужа, долгие годы не позволит никаких перемен в его кабинете.

На столе под зеленою лампою все так же будут лежать его перо и листы недоконченных военных записок, письма друзей и третий том пушкинского «Современника», раскрытый на статье Дениса Васильевича «О партизанской войне», которая заканчивалась его строгими, провидческими, летящими сквозь время словами, упредительными для недругов так любимого им отечества:

«Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется!»

Основные даты жизни и творчества Д. В. Давыдова

1784, 16 июля — В дворянской семье Василия Денисовича Давыдова и его супруги Елены Евдокимовны, урожденной Щербининой, родился сын Денис.

1793, лето — Встреча 9-летнего Дениса с А. В. Суворовым.

1798–1802 — Жизнь в Москве. Первые стихотворные опыты.

1801, 28 сентября — Денис поступает эскадрон-юнкером в Кавалергардский полк.

1803–1804 — Написаны политические басни «Голова и Ноги», «Река и Зеркало», «Орлица, Турухтан и Тетерев».

1804, 13 сентября — За свои политические басни переведен ротмистром в Белорусский гусарский полк» стоявший в Киевской губернии.

1806, 4 июля — Приказ о переводе Д. Давыдова в лейб-гусарский полк прежним чином поручика.

1807 — Участие в войне против Наполеона в Пруссии. Исполнение обязанностей адъютанта князя П. И. Багратиона.

1808, январь — 1809, июнь — Участие в кампании против Швеции.

1809–1810 — Находится в Дунайской армии, ведущей боевые действия против турок.

1812, 8 апреля — «С переименованием в подполковники» вступил в Ахтырский гусарский полк.

1812, июнь — август — Участие в крупных кавалерийских сражениях и многих арьергардных боях.

1812, 21 августа — Встреча с князем П. И. Багратионом при Колоцком монастыре. Предложение Давыдова по организации партизанской войны.

1812, конец августа — конец декабря — Партизанская война.

1813–1814 — Участие в заграничном походе русской армии против Наполеона.

1812, 26 марта — Общество любителей российской словесности при Московском университете избрало Д. В. Давыдова своим действительным членом.

1816, декабрь — В Петербурге в квартире Жуковского познакомился с юным А. С. Пушкиным.

1819, *апрель* — Жени́тьба на дочери генерал-майора Софье Николаевне Чирковой.

1821 — Издание книги «Опыт о партизанах».

1823, *февраль* — Знакомство и сближение с Александром Бестужевым.

1823, 14 *ноября* — Высочайший приказ об отставке Д. В. Давыдова.

1824 — Сближение с Кюхельбекером, Грибоедовым, Якубовичем, Пушциным.

1826, 23 *марта* — Высочайший приказ об определении Д. Давыдова на службу.

1826, *осень* — Участие в боевых действиях против персов на Кавказе.

1830, *осень* — Исполняет должность надзирателя 20-го санитарного участка Москвы по борьбе с холерой.

1831, *весна* — *конец августа* — Участие в польской кампании.

1832 — Первое издание стихотворений Д. Давыдова в Москве.

1833–1834 — Плодотворная работа над военно-историческими трудами.

1836, *январь* — Поездка в Петербург. Дружеские встречи с Пушкиным, Вяземским, Жуковским.

1837, *начало февраля* — Весть о кончине А. С. Пушкина. Болезнь.

1837, 30 *октября* — Подание записки о перенесении праха Багратиона на Бородинское поле.

1839, 22 *апреля* — Смерть Д. В. Давыдова от апоплексического удара на 55-м году жизни в своем имении Верхняя Маза.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



А. В. Суворов благословляет 9-летнего Дениса Давыдова на военное поприще. Рисунок А. Коцебу.



Бюст А. В. Суворова работы Василия Можалова, который Д. Давыдов считал «удачнейшим изображением генералиссимуса».



*Василий Денисович Давыдов — отец поэта. С портрета О.
Кипренского.*



Евдоким Давыдов. С портрета О. Кипренского.



*Владимир Денисович Давыдов — дядя поэта. С портрета О.
Кипренского.*



*Здание университетского благородного пансиона. Акварель Б.
Земенкова.*



А. М. Карамзин.



В. А. Жуковский.



К. Н. Батюшков. Рис. О. Кипренского.



В. Л. Пушкин. С гравюры С. Галактионова.



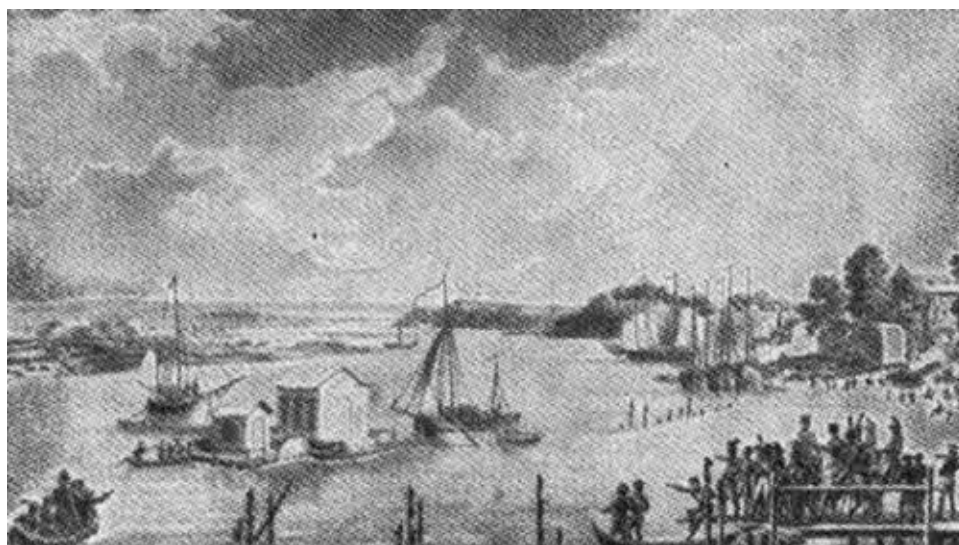
Князь Петр Иванович Багратион. С портрета В. А. Тропинина.



М. А. Нарышкина.



Я. П. Кульнев. С гравюры Ф. Вендрамини.



Встреча на Немане Наполеона и Александра I. Гравюра Ламо и Мюльбаха.



А. А. Закревский. С портрета Доу.



Светлейший князь М. И. Кутузов-Смоленский.

Художник А. Орловский.



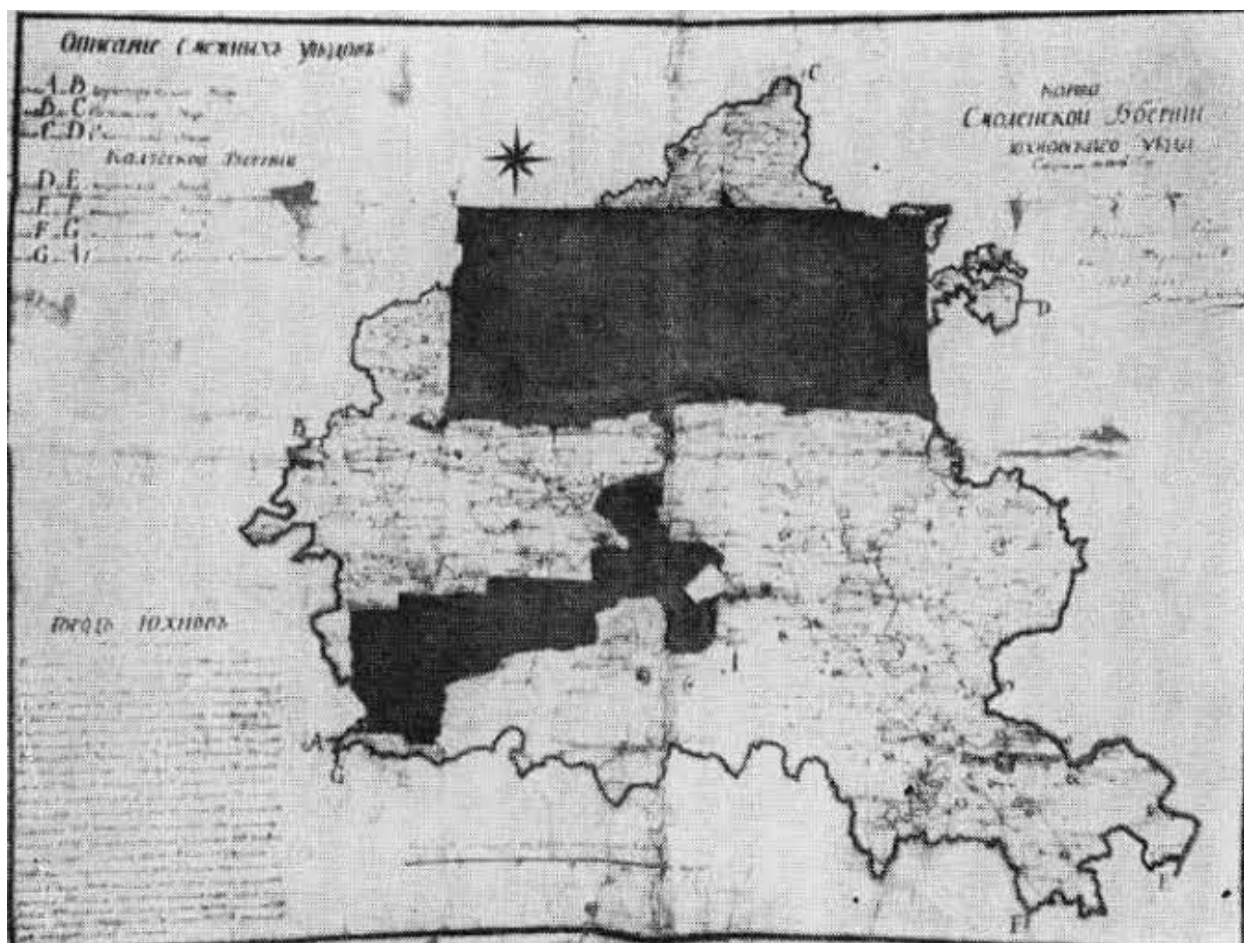
М. Б. Барклай-де-Толли. Миниатюра на кости 1-й четверти XIX века.



П. П. Коновницын. С портрета Доу.



Атаман войска Донского граф М. И. Платов. Художник А. Орловский.



Карта Смоленской губернии Юхновского уезда, подаренная Д. В. Давыдову П. И. Багратионом.



А. С. Фигнер.



А. Н. Сеславин.



М. Ф. Орлов.



С. Г. Волконский.



Денис Давыдов в крестьянском платье.

Гравюра А. Афанасьева.



Н. Н. Раевский (старший).



А. П. Ермолов.

С портрета Доу.



Храбрый партизан Денис Васильевич Давыдов. Лубок.



Преследование отступающих французов. С картины А. Дезарно.

[illegible]

Дневник поисков партизана Дениса Давыдова.

Автограф первой страницы черновой рукописи.



Денис Давыдов. С портрета В. Лангера. 1819 г.



Л. А. Вяземский.

Рисунок А. С. Пушкина.



В. Ф. Вяземская.



Ф. И. Толстой — «Американец».



И. И. Дмитриев.



П. Д. Киселев.



Е. Н. Раевская (Орлова).



М. Н. Раевская (Волконская).



А. С. Пушкин. С портрета О. Кипренского.



Д. В. Давыдов. Рисунок А. С. Пушкина.



Д. В. Давыдов. Рисунок А. С. Пушкина.



Генерал Д. В. Давыдов. Рисунок А. Клюквина.



В. Л. Давыдов.



В. К. Кюхельбекер.



И. И. Пуцин.



А. И. Якубович.



А. Н. Бестужев-Марлинский.



К. Ф. Рылов.



Титульный лист «Полярной звезды».



Е. А. Баратынский.



Н. М. Языков.



Н. В. Гоголь.



И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич. Фрагмент картины Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле».



О. И. Сенковский.



П. В. Нащокин.



Д. В. Давыдов. С литографии К. Гампельна. 1830-е годы.




А. С. Грибоедов.



Сэр Вальтер Скотт. С гравюры по картине Дж. Гордона.



Дом Д. В. Давыдова в Москве, на Пречистенке.


Я помню, — глубоко
Глубока мой взоръ
Когда любъ протыкала и ~~и~~ роуи и боръ
и стѣнь обнимала широко, широко.
=
Но зоркѣ отъ
потухли нвы. —
Я взглянулъ васъ на зову любви;
Я вытлакала васъ въ безсонный нощь!

—
Давидъ Давыдовъ

Стихотворный автограф Д. В. Давыдова.



Титульный лист одного из альманахов, в котором печатался Д. В. Давыдов.



«Современник», т. 1, 1836 г. Титульный лист.



Рождественская церковь в селе Бородине



Могила Д. В. Давыдова.

Краткая библиография

Произведения Д. В. Давыдова

Стихотворения Дениса Давыдова. М., 1832.

Давыдов Д. Замечания на некрологию Н. Н. Раевского с прибавлением его собственных записок на некоторые события войны 1812 года, в коих он участвовал. М., 1832.

Сочинения в стихах и прозе Дениса Васильевича Давыдова. Три части. Спб., 1840.

Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные, Лондон — Брюссель, 1863.

Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Три части. М., 1860.

Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. В трех частях, Спб., 1893.

Давыдов Д. Опыт теории партизанских действий. М., 1912.

Давыдов Денис. Полное собрание стихотворений. Редакция В. Н. Орлова, «Библиотека поэта», 1933.

Давыдов Денис. Военные записки. М., 1940.

Давыдов Д. Дневник партизанских действий 1812 года. М., 1941.

Давыдов Денис. Сочинения. М., 1962.

Давыдов Денис. Записки партизана. Стихи. М., «Молодая гвардия», 1984.

Литература о Денисе Давыдове

«Известие о жизни Д. В. Давыдова» в 3-й части «Сочинений Дениса Васильевича Давыдова», М., 1860.

Памяти Д. В. Давыдова. — «Русская старина», 1884, июль.

Денис Васильевич Давыдов. Последние годы жизни партизана и поэта по неизданным письмам и воспоминаниям. — «Русская старина», 1891, август.

Попов М. И. Д. В. Давыдов и князь Багратион. — «Русская старина», 1895, апрель.

Осипов А. А. Денис Васильевич Давыдов. 1784–1839 гг. — «Исторический вестник», 1890, июль.

Жерве В. В. Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов. Очерк его жизни и деятельности 1784–1839 гг. По материалам семейного архива и другим источникам. Спб., 1913.

Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к князю П. А. Вяземскому. Пг., 1917.

Давыдов В. Д. Денис Васильевич Давыдов, партизан и поэт. — «Русская старина», 1872, т. IV.

Партизаны 1812 года. Давыдов, Фигнер, Сеславин, Спб., 1911.

Малышев В. Н. Генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов. (Партизан). Спб., 1904.

Левшин А. Партизаны в Отечественную войну. М., 1912.

Михневич Н. П. Партизанские действия кавалерии в 1812 и 1813 годах. Спб., 1888.

Ассонов В. И. В тылу армии. Калужская губерния в 1812 году. Калуга, 1912.

Задонский Н. Денис Давыдов. Историческая хроника. Кн. 1–2. М., 1958.

Попов М. Я. Денис Давыдов. М., «Просвещение», 1971.

Переписка А. С. Пушкина, т. II. Пушкин и Давыдов. М., 1982.

Друзья Пушкина. Переписка, воспоминания, дневники. М., «Правда», 1984, т. II (Денис Васильевич Давыдов).

Примечания

1

Гверильясы — так называли в России испанских партизан, сражавшихся против поработителей-французов.

Все даты приводятся в книге по старому стилю.

Карей (каре) — построение войск четырехугольником. Внутри каре Суворов помещал часть артиллерии и резервы.

Плутонг — расчетный взвод для производства залповой стрельбы.

5

В ранжире — на своем месте в строю.

Цельно — прицельно.

Пепельного цвета (*франц.*).

Задевало, раздражало (от французского слова froisser).

Бригадир — военный чин 5-го класса, промежуточный между армейским полковником и генерал-майором, был упразднен Павлом I.

Экзерциция — учение.

Малый эрмитаж — неофициальный прием у императрицы.

Сюркуп — старинный карточный термин, означающий, что карта перекрыта.

Выписная карета — выписанная из-за границы; в цене и моде в эту пору были кареты венских мастеров.

Кордегардия — служебное караульное помещение.

В оригинале — «Дитя, Зеркало и Река».

«Сколько ран, мосье?» — «Семь, ваше величество». — «Столько же знаков чести!» (*франц.*).

«Верните мне мои морозы» (*франц.*).

Передовыми стрелками, застрельщиками (*франц.*).

Эгалите (Egalite) — равенство.

Герцог Энгийенский (1772–1804) — один из представителей королевской династии Бурбонов, по приказу Наполеона был арестован на чужой территории (в Бадене), обвинен без улик в роялистском заговоре и 21 марта 1804 года расстрелян в Венсеннском рву.

Щеголи, вертопрахи (*франц.*).

Вид картечного снаряда, состоявшего из деревянного поддона и холстинного обвязанного и замасленного мешка с чугунными пулями.

Штуцер — винтовальное ружье с нарезным стволом.

Военный провиантский склад.

Строка из приказа Кульнева накануне нападения, которое было назначено за два часа до рассвета. (Прим. Давыдова.)

О женщина, женщина! Создание слабое и обманчивое (*франц.*).

Табор — отдельная часть, примерно равная батальону. Низам — регулярные султанские войска.

Импет — стремительный удар.

Люнет — легкое полевое укрепление.

Таин (*турец.*) — норма выдачи довольствия в турецких войсках, паек.

Арнауты — наемные турецкие войска, набрбованные из жителей Албании.

Взять абшид — уйти в отставку.

Атрей — в греческой мифологии царь, отличавшийся чрезвычайной злобой.

Ведеты — ближайшие к неприятелю посты.

По неизвестной причине казачий полк Кутейникова к отряду Д. Давыдова так и не прибудет.

Эти полки по неизвестным причинам к Давыдову не придут.

Жермена де Сталь — известная французская писательница, которую Наполеон изгнал из пределов своей империи. В это время находилась в России.

Наполеон бежал из России под именем герцога Винченцкого, то бишь А. Коленкура.

Пруссия к этому времени подписала договор с Россией и вступила в союзную военную коалицию против Наполеона.

Екатерина Федоровна Муравьева — вдова писателя и попечителя Московского университета Михаила Муравьева и мать будущих декабристов Александра и Никиты Муравьевых.

Анакреон (VI–V вв. до н. э.) — греческий лирик, воспевавший любовь и пиры.

— Вы — отъявленные свиньи и негодяи, истинное несчастье — командовать вами! (*франц.*).

В № 5 журнала «Амфион» за 1815 год была опубликована элегия Д. Давыдова «Пусть бога-мстителя могучая рука...», посвященная Т. И. Ивановой.

Члены «Арзамаса» называли себя «гусями», так как город Арзамас, давший имя литературному кружку, славился своими гусями, гусь был изображен и на печати общества.

Выражение «Жомини да Жомини, а об водке — ни полслова» вошло в обиходную речь и стало пословицей. Эти слова В. И. Ленин использовал в своей статье «Кабинет Бриана».

Великий князь Константин Павлович, например, с удовольствием разносил при дворе сплетню о том, что Денис Давыдов, воспевающий вино, и сам пьяница. На это, как известно, последовало резкое возражение Ермолова: «Нисколько, ваше высочество, я пожертвовал бы половиною моего состояния, чтобы укрыть его от несправедливых обвинений и преследований».

Трубки в ту пору почитались предметом угощения, раскуривались и подавались слугами.

Съезжая — полицейский участок.

Sans rancune — без обид (*франц.*).

Так первоначально называлась поэма «Полтава».

А. А. Дельвиг не пережил грубости Бенкендорфа, от расстройства он тяжело заболел и 4 января 1831 года умер.

Eloge — похвальное слово (*франц.*).

Эту дату отъезда Д. В. Давыдова в Польшу ошибочно будут указывать некоторые его биографы.

«За военное достоинство».

Летом 1831 года войсками под командованием графа Алексея Орлова и при личном участии Николая I были жестоко подавлены холерные бунты в военных поселениях под Старою Руссою.

Между прочим (*франц.*).

Первоначальное название «О том, как я, будучи штаб-ротмистром, хотел разбить Наполеона».

Пушкину была отправлена статья «О партизанской войне».

Шеншин — видимо, Владимир Александрович, студент Московского университета, однокашник и друг Лермонтова.

Имеется в виду ярый враг Пушкина министр народного просвещения С. С. Уваров, высмеянный им в стихотворении «На выздоровление Лукулла».

Пока я жив, сударь, вы не напечатаете этого послания (*франц.*).

Ваше высокопреосвященство, я могу подождать (*франц.*).

Сохранился лишь черновик этого письма А. С. Пушкина.

Стихотворение Давыдова, присланное в письме от 6 апреля 1836 года.

Это стихотворение так и было напечатано в т. III «Современника».

Воистину общественное бедствие! (*франц.*).